



ТУРЕЦКАЯ
РОМАНТИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ



ТУРЕЦКАЯ
РОМАНТИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ

Кемаль Бильбашар

ДЖЕМО



Ашар Кемаль

ЛЕГЕНДА ГОРЫ



Дженгиз Шунджер

КОНФИСКОВАННАЯ
ЗЕМЛЯ



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1986

Перевод с турецкого
Вступительная статья
Г. А. Горбаткиной
Иллюстрации
А. К. Яцкевича

Т $\frac{4703000000-1092}{080(02)86}-1092-86$

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Современная турецкая проза известна своими демократическими, гуманистическими традициями. Наиболее талантливые писатели Турции в своих произведениях рассказывают о реальной действительности. Жизнь в ее бурном кипении, в острых столкновениях добра и зла, справедливости и угнетения, красоты и безобразия запечатлена в них.

Одна из характерных особенностей турецкой прозы — широкое использование и переосмысление писателями различных направлений традиционных образов, сюжетов, художественных приемов фольклора. Это помогает донести до сознания народных масс новые идеи, продиктованные современностью. Выдающийся турецкий поэт Орхан Вели отмечал: «Современная турецкая поэзия рассказывает народу о народе». Эти слова полностью можно отнести и к современной турецкой прозе. Подтверждением их правильности могут служить произведения, включенные в данное издание. Они принадлежат перу трех турецких писателей разных поколений, обладающих различным жизненным опытом, различным видением мира, различной манерой письма. Печатью этого своеобразия отмечены повести Кемаля Бильбашара «Джемо», Яшара Кемаля «Легенда Горы», Дженгиза Тунджера «Конфискованная земля».

Что сближает эти произведения? Прежде всего пафос неприятия действительности, того уклада жизни, который коверкает человеческую личность, топчет человеческое достоинство. Лучшие из героев, каждый своим путем, приходят к открытому протесту, к вооруженной борьбе против существующего уклада, против «сильных мира сего». Незаурядная личность, гордый, сильный характер самой логикой развития событий ставится перед дилеммой: покориться обстоятельствам, смириться, изменить себе, погибнуть как личность или бороться. Именно в силу своей

незаурядности Ахмед у Яшара Кемалья, Хасан у Дженгиза Тунджера, Мемо у Кемалья Бильбашара не могут смириться, не могут приспособиться и влачить рабски смиренную жизнь. Эти герои олицетворяют лучшее, что есть в народе.

А ведь персонификация лучших качеств народа в одной героической личности — древнейшая традиция фольклора. Создана целая галерея образов богатырей — заступников народа. В них находит наиболее полное выражение идея социальной справедливости. В древнетюркских героических эпосах («Манас», «Книга моего деда Коркуда») богатырь *один* олицетворяет весь народ. Он защищает своих сородичей, соплеменников от сказочных чудовищ, от врагов-чужеземцев. Обычно богатыри в древних тюркских эпосах сражаются с внешними враждебными силами, не вступая в конфликт с земными владыками. Если же подобные конфликты случались, то они носили личный, а не социальный характер. Да это и понятно, так как древние эпосы зарождались при первобытнообщинном строе, когда социальные конфликты еще не выявлялись четко и определенно.

Эпос — широкое художественное обобщение исторической жизни народа. С течением времени в нем появились новые идеи, герои, события, эпизоды, как бы наслаиваясь на первооснову. В более поздних эпосах, сложившихся в эпохи, когда социальные конфликты приобретали все более определенную форму, появляются герои-бунтари, защитники бедных и угнетенных против произвола и насилия богачей. Таков герой одного из наиболее популярных тюркских эпосов «Кёроглу». Он известен у многих тюркских и других народов в различных интерпретациях, со своими сюжетными линиями, эпизодами, образами, но везде фигурирует защитник бедных, борец за справедливость — Кёроглу и чудесная страна равенства и счастья Чамлыбель, где каждый житель — труженик и воин.

В образах богатырей наиболее полно выражены социальные и морально-этические идеалы народа. Эти образы стали неотъемлемой частью крестьянской психологии. Именно поэтому герои в произведениях современных турецких писателей К. Бильбашара, Я. Кемалья и Д. Тунджера так часто упоминают их имена, рассказывают об их подвигах и, защищая народ от тиранов и угнетателей, продолжают дело своих предков — эпических богатырей. Так зримо воплощается «связь времен». Конечно, эти герои живут в иных условиях и действуют по-новому, но внутренняя общность и прямая преемственность несомненны.

У турецких писателей-реалистов: и у К. Бильбашара, и у Д. Тунджера, и у Я. Кемаля в центре внимания — непримиримые социальные противоречия турецкого общества. Но каждый автор по-своему освещает грани этой проблемы. Если Д. Тунджер показывает пробуждение самосознания крестьянских масс, переход от пассивности к активной борьбе, то К. Бильбашар рисует уже картины активной борьбы с оружием в руках, трагический пафос этой борьбы, отчаянную решимость восставших, предпочитающих погибнуть, но не сдаться. А у Я. Кемаля главное — морально-философский аспект этой проблемы, поднятой на высоту библейской притчи.

Для всего творчества Я. Кемаля — одного из крупнейших турецких писателей-реалистов — характерна глубина философского осмысления жизненных явлений. Он обращается к «вечным вопросам», «вечным антагонизмам», вечно противостоящим друг другу и взаимосвязанным полюсам: жизнь и смерть, любовь и ненависть, верность и предательство, красота и безобразие, личность и общество.

В «Легенде Горы» писатель тоже ставит эти проблемы, и в частности проблему «власть и народ».

Проблема взаимоотношений правителя и народа издавна привлекала внимание крупнейших художников Востока: Саади, Фирдоуси, Низами, Навои. Разрабатывали ее и средневековые турецкие поэты: Ш. Хамза, Х. Хамди, Шейхи. В турецком фольклоре создана целая галерея образов идеальных «добрых владык»: добрые султаны в сказках, Хосров в дестане¹ «Ферхад и Ширин», Ноуфаль в «Лейли и Меджнун», Хусейн Байкара в «Гюль и Алишер» и др. Эти образы лишены каких бы то ни было отрицательных черт. «Добрые цари» заботятся о благе своих подданных, они мудры, благородны, бесстрашны. Так в фольклоре отражается мечта народа о правителе, человеческие качества которого соответствовали бы его высокому социальному положению. Но реальных владык турецкие сказители изображают совсем по-иному. Так, в турецких сказках султан, падишах, нередко обрисован как тиран и самодур. Именно с образами неправедных владык перекликается образ Махмуд-хана у Я. Кемаля. Следуя древней фольклорной традиции, писатель сумел привнести в этот образ и дыхание современности, сумел вложить в него раздумья прогрессивного писателя XX века о взаимоотношениях «сильных мира сего»

¹ Д е с т а н — крупное фольклорное произведение лиро-эпического характера, где проза перемежается стихами.

с народом, психологически достоверно показать противоречивый внутренний мир своего героя.

Махмуд-хан — человек образованный, многое повидавший на своем веку, но он невероятно жесток, спесив, деспотичен. Это приводит к подавлению в его душе естественных человеческих чувств. Он без колебаний обрекает родную дочь на смерть, выбирает ей и ее избраннику Ахмеду самую мучительную казнь, любой ценой стремится добиться покорности гордых горцев, но чувствует только их глубокую ненависть. Махмуд-хан презирает своих подданных, их обычаи и в то же время в глубине души панически боится народа, его гнева, накапливавшегося всками, и особенно — его грозного молчания.

Форма легенды и отнесенность сюжета к XVII веку дали автору возможность развивать такие «крамольные» в условиях сегодняшней Турции мысли, как мысль о народном гневе, о страхе «властей предержащих» перед ним. Я. Кемаль убедительно показывает бессилие тирании перед гневом народа. Несмотря на варварские казни для устрашения непокорных, Махмуд-хан удерживает власть лишь ценой уступок, компромиссов. Он сознает, что единственное средство его спасения — разобщенность людей, и постоянно стремится достичь этого.

Образ народа в повести собирательный. Для его создания большое значение имеет образ Хюсо — замечательного мастера кузнечного дела, обладающего нечеловеческой силой. Здесь Я. Кемаль продолжает древнюю традицию восточных литератур и фольклора, согласно которой бунтари и вожаки народных восстаний зачастую были именно кузнецами (Каве в «Шахнаме» Фирдоуси). В романе Я. Кемаля Хюсо — признанный вожак народа. Для него не существует никаких законов, кроме закона правды и справедливости. И, повинаясь ему, рискуя жизнью, он помогает Гюльбахар. В Хюсо воплощены черты, присущие передовым слоям народа: жажда справедливости, активность в борьбе за нее, смелость, благородство, ум. Он понимает, что сила народа в единении: «Если бы мы всегда держались вот так, вместе, никто не смог бы с нами справиться, только зубы обломал бы. Ни горы, ни шахи не устояли бы против нас. В единстве наша сила». Недаром паша содрогается при виде Хюсо. Так в Хюсо персонифицируется самосознание народа. Но автор показывает, что народ в массе своей далек от подобных взглядов, что все смотрели на кузнеца Хюсо с удивлением, когда он произносил эти слова, а некоторые называли огнепоклонником и вероотступником.

В раскрытии образа Караванного Шейха Я. Кемаль тоже остается верен исторической правде: религиозные течения, оппозиционные ортодоксальному исламу, издавна получили широкое распространение на территории Малой Азии и пустили глубокие корни в народе. Они были не только прибежищем и утешением людям, разоренным феодальными усобицами, угнетаемым кровавыми деспотами, но и знаменем народных восстаний. Главы сект пользовались огромным влиянием, в чем не последнюю роль играла их враждебность к официальной власти. Именно такую позицию занимает Караванный Шейх — духовный владыка и защитник народа. Характерно, что святость шейха имеет у Я. Кемалья вполне реалистическое обоснование: он покровительствует караванам, предсказывая путь по звездам. Если Караванный Шейх олицетворяет мудрость и справедливость народа, то в Софи к этим качествам присоединяется талантливость. Изумительный музыкант, именно он научил Ахмеда и других чабанов играть мелодию «Гнев Горы», которой отведена в повести такая большая роль. Признанный глава всех народных мастеров, столетний Софи чувствует природу, воспринимает ее как истинный поэт. Столь же тонко понимает он и сокровенные движения человеческого сердца. Этим объясняется его дружба с Гюльбахар. Но этот прозорливый старец непреклонен, когда речь идет о его убеждениях. Он бесстрашно говорит паше правду и готов умереть во имя того, что считает правильным. Такой сплав поэтичности натуры и спокойной непреклонности придает характеру Софи особое обаяние. И Софи, и Хюсо, и Караванный Шейх горячо сочувствуют Гюльбахар и помогают ей. Я. Кемаль показывает, что высшие взлеты человеческой души, благороднейшие чувства находят отклик и поддержку народа.

Сложный синтез традиционного и новаторского отличает и трактовку любви в произведениях Я. Кемалья.

В турецком фольклоре любовь трактуется как единственное, всепоглощающее чувство, которому герои остаются верны всю жизнь, несмотря ни на какие страдания и испытания. Ради своей любви герой совершает подвиги, сражается с целыми армиями врагов, скитается в снежных горах и раскаленных пустынях, крушит неприступные скалы.

В любви раскрываются лучшие человеческие качества: глубина натуры, благородство, мужество, верность своему чувству, борьба, а нередко и гибель за него. Вот почему фольклорные произведения так часто заканчиваются трагически.

Опираясь на многовековую традицию фольклора, Я. Кемаль трактует любовь как великую силу, возвышающую человека, вдохновляющую на подвиги. Ахмед ради своей любви совершает подвиг, который до него не удавалось совершить никому, — зажигает костер на вершине неприступного Арарата. Герои Я. Кемалья готовы заплатить за свою любовь жизнью. Все это роднит их с героями фольклора, но, как большой художник, Я. Кемаль не рабски следует традиции, а развивает, обогащает, изменяет ее, показывает становление и развитие своих героев, трансформацию их чувств. Особенно интересны в этом отношении образы Ахмеда и Гюльбахар.

Ахмед — человек бесстрашный и бескомпромиссный. В нем воплощены лучшие черты, свойственные народу: благородство, храбрость, верность в дружбе и любви, чувство собственного достоинства. Он — олицетворение свободолюбия народа, его протеста против всяческого гнета. Ахмед — плоть от плоти своего народа — ощущает себя его частью и делает все, что в его силах, для избавления народа от страданий. Это он уводит всех горцев от войск Махмуд-хана, ибо не хочет, чтобы ради его личного счастья лилась кровь. И в этом образ Ахмеда перекликается с образом Кёроглу.

Любовь Ахмеда к Гюльбахар — глубокое и сильное чувство. Но для такой цельной натуры, как Ахмед, любовь немыслима без полного доверия. Стоило сомнению зародиться в его душе, и он уже не может относиться к Гюльбахар по-прежнему, кладет между нею и собой обнаженный меч... (древний фольклорный мотив, встречающийся у многих народов Востока и Запада).

Обычно в фольклорных произведениях влюбленные погибают из-за каких-то внешних причин: противодействие родителей, неравенство социального положения, непреодолимость препятствий, вероломство соперника. У Я. Кемалья все внешние, казалось бы, неодолимые препятствия сокрушены, и не они, а мучительное сомнение, грызущее душу Ахмеда, приводит к трагической развязке. Древний индийский афоризм гласит: «Победи сначала себя, а потом врагов». Всех врагов сумел одолеть Ахмед, но справиться с собой не в силах.

Так Я. Кемаль переосмысливает традиционные образы, изменяет их психологические характеристики, что приводит к изменению финала произведения.

Особенно удался автору психологический портрет Гюльбахар. Гюльбахар — глубокая и страстная натура. Ради своей любви она

готова на все: нарушает волю отца, пренебрегает вековыми обычаями, рискует жизнью при каждом свидании с Ахмедом, устраивает его побег. Становится женой Ахмеда, хотя знает, что они больше никогда не увидятся, а если и увидятся — отец никогда не согласится на их брак. Гюльбахар прекрасно понимает, какая пропасть разделяет дочь паши и чабана. Я. Кемаль очень тонко показывает, как под влиянием большого чувства в душе девушки происходит переоценка ценностей. Раньше Гюльбахар любила только отца и восхищалась им. Но жестокость и самодурство паши в истории с конем уронили его в глазах дочери. Ей стыдно за него. Жалость и сочувствие к Ахмеду перерастают в любовь. В своих отчаянных попытках спасти любимого Гюльбахар наталкивается на равнодушие или враждебность людей, среди которых выросла. Родной брат, на вид такой спокойный и смелый, предает ее, обезумев от страха. Девушка мечется в поисках выхода, и все, и всё, окружающее ее во дворце, становятся чуждым, даже сам дворец с его разноцветными мраморными колоннами.

Так автор показывает антигуманистическую сущность среды, в которой живет Гюльбахар, непонимание и неприятие этой средой высоких человеческих чувств.

Большая удача писателя — внутренние монологи Гюльбахар, в которых перед читателем предстает мир поистине шекспировских страстей, терзающих душу девушки: человек, ради которого Гюльбахар пожертвовала всем, единственный, кто нужен ей и кто (она это знает) тоже любит ее, отвергает любовь девушки! В душе ее начинается трагический разлад.

Я. Кемаль рисует обаятельный образ Гюльбахар во всей его сложности и противоречивости. Глубокая разработка психологии любви — главное в нем. Нежность и героизм любящей женской души, страсть и страдание, надежда и отчаяние, боль и восторг изображены так живо, талантливо, что Гюльбахар воспринимается не как героиня древней легенды, а как наша современница.

Новаторство Я. Кемалья проявляется и в том, что он связывает проблему любви с проблемой долга и расплаты, дозволенности и недозволенности, ответственности за свои поступки. Проблема дозволенности и недозволенности приобрела особенно большое значение именно в нашу эпоху, эпоху расцвета технических возможностей человека. Теперь, когда созданы и накоплены колоссальные средства разрушения, которые могут уничтожить все живое на земле, проблема эта, оставаясь одной из важнейших морально-философских проблем, приобрела актуальный политический

характер. Эта трансформация нашла отражение и в литературе. Приведем только один пример. В романе Достоевского «Преступление и наказание» дан непревзойденный по глубине психологической разработки анализ морально-философского аспекта проблемы дозволенности и недозволенности, ответственности за свои поступки. Разрабатывая ту же проблему, современный советский калмыцкий поэт Давид Кугультинов в своей поэме «Бунт разума» показывает трагические последствия, вызванные американским атомным взрывом в Хиросиме, как в сознании лучших представителей американской интеллигенции, так и в сфере политической жизни. Вправе ли человек жертвовать жизнью других людей ради своих целей? Вот как стоит вопрос. А если эта цель диктуется алчностью, своекорыстием, эгоизмом?

Турецкий художник-реалист Я. Кемаль тоже ставит эту «вечную» проблему и решает ее в образе Гюльбахар. За свою любовь Гюльбахар готова заплатить жизнью. Но жизнью своей! А вольна ли она жертвовать чужой жизнью, жизнью Мемо? Автор убедительно показывает, что большое чувство толкает Гюльбахар на жестокость. Девушка знает, что Мемо поплатится жизнью за побег узников, что он любит ее и исполнит любую ее просьбу. Но все существо Гюльбахар поглощено одной мыслью: спасти Ахмеда. Любой ценой, во что бы то ни стало! И с бессознательной жестокостью она обрекает Мемо на смерть. Может быть, трагический финал — расплата за это? Именно к такому выводу подводит читателя автор. Ведь гибель Мемо, вернее, мысль о том, какой ценой Гюльбахар заплатила за спасение Ахмеда, — причина терзаний Ахмеда, приведших в конце концов к трагической развязке. Даже самое возвышенное чувство, самая благородная цель не могут оправдать человека, жертвующего жизнью других людей, — такова, на наш взгляд, позиция автора. Так художник-гуманист решает проблему дозволенности и недозволенности, ответственности человека за свои поступки.

Мемо же приносит себя в жертву с радостью, с восторгом. Образ его очень важен для понимания идейного замысла произведения. Я. Кемаль продолжает традицию восточных литератур и фольклора в изображении любви жертвенной, самоотверженной. Эта традиция имеет многовековую историю. Один из ее основоположников — Низами, создавший в поэме «Хосров и Ширин» образ Ферхада, для которого само чувство великой любви, приносящей и радость и страдания, служит наградой. В течение последующих веков этот образ варьировался в бесчисленных про-

изведениях литературы и фольклора. Как же трансформируется этот образ в произведении современного художника? Прежде всего он усложняется. Автор показывает борьбу любви и долга в душе Мемо: ведь паша любит его и доверяет, как родному сыну, а открыв темницу, юноша совершает измену. Но Мемо знает, что узники невинны, что деяния Махмуд-хана — вопиющее беззаконие. Не это, а любовь к Гюльбахар — движущая сила его поступков. Любовь великая и трепетная. Сильный и храбрый Мемо застенчив, как девушка. Сначала Гюльбахар только чутьем угадывала его чувство и предлагала ему золото, чтобы увидиться с Ахмедом. Но Мемо даже не взглянул на сокровища, и постепенно девушка поняла все. Мемо чувствует себя счастливым, отдавая жизнь, чтобы исполнить желание любимой. Все это идет от древней фольклорной и литературной традиции народов Востока. Я. Кемаль показывает, что просветленному концу предшествовала страшная борьба любви и ревности в душе Мемо. И великая любовь помогла ему превозмочь ревность и темную жажду убийства. Благодаря этому (а не только потому, что он исполняет просьбу Гюльбахар) Мемо покидает мир в согласии с собой и людьми. В этом Мемо выше Ахмеда.

Так раскрывается в образе Мемо другой аспект проблемы любви. В его обрисовке проявился подлинный гуманизм автора, утверждающего торжество истинно человеческого над темными инстинктами человека и условными канонами общества.

В сюжетах произведений Я. Кемаля, почерпнутых из жизни сегодняшней Турции или ее истории, встречаются мотивы, характерные для самых древних тюркских эпосов. Так, в ряде эпосов мы встречаем культ богатырского крылатого коня, разумного, как человек, а в некоторых вариантах наделенного даром речи. Этот конь обычно спасает героя от смертельной опасности, предупреждает о приближении врагов, утешает в горе. В сказках и в эпосе тюркских народов подробно рассказывается о том, как герой растит тулпара — крылатого скакуна. Гибель коня для героя — невосполнимая утрата.

В «Легенде Горы» борьба за коня — это борьба горцев за соблюдение вековых обычаев, а в конечном счете борьба за достоинство и свободу, против произвола и насилия.

Большое место в фольклоре занимает образ мудрого старца — музыканта, сказителя, наставника народа. Такую же роль играет у Я. Кемаля Софи. Корни таланта писателя глубоко уходят в фольклор родного народа. Обращение его к фольклору обуслов-

лено не только спецификой его таланта, но и самим жизненным опытом писателя. Выходец из самой гущи народа, Я. Кемаль до тонкостей знает жизнь народа, его психологию, обычаи, верования, его фольклор.

Органическая связь с фольклором прослеживается не только в проблематике, сюжете, характере героев Я. Кемаля, но и в композиции, языке, стиле его произведений.

Лаконизм, поэтичность и образность языка сочетаются у Я. Кемаля с новыми, оригинальными приемами: индивидуализацией речи персонажей, портретом и пейзажем как средствами психологической характеристики героев, неожиданными эпитетами, метафорами и сравнениями. В «Легенде Горы» автору удалось соединить традиционные и новаторские приемы, благодаря чему появилось произведение, тысячью нитей связанное с современностью, несмотря на то, что действие его происходит в XVII веке, а форма повествования сказочна. Вот что говорил об этом сам Я. Кемаль в связи с экранизацией «Легенды Горы»: «Хотя «Легенда Горы» кажется легендой, старой сказкой, это совершенно реалистическое произведение, в нем рассказывается о борьбе природы и человека, о борьбе человека с человеком, о неисчерпаемой силе природы и народа».

Важность поставленных проблем, как социальных, так и морально-этических, гуманистическое решение этих проблем, умение наполнить древний сюжет новым содержанием, обусловленным современностью, тонкий психологизм, красота форм, оригинальность композиции, выразительность языка делают «Легенду Горы» одним из лучших произведений Я. Кемаля. Это — заметное явление в современной турецкой литературе.

Высокую оценку турецкой критики получила и другая повесть, включенная в эту книгу, — «Джемо» Кемаля Бильбашара. Она представляет собой первую часть дилогии К. Бильбашара «Джемо» и «Мемо». Заслуживает внимания уже сам факт обращения писателя к этой теме: дилогия К. Бильбашара является первым в турецкой литературе крупным произведением о жизни курдов. Важно отметить, что позиция писателя совершенно лишена национальной и религиозной нетерпимости, столь характерной для официальных турецких властей, проводящих по отношению к национальным меньшинствам политику угнетения и репрессий, унаследованную от правителей Османской империи. В таких условиях требовалось большое гражданское мужество, чтобы написать произведение, подобное дилогии К. Бильбашара. Она

проникнута глубоким уважением и сочувствием к простым труженикам-курдам. Прогрессивный турецкий художник создал подлинную эпопею жизни многострадального курдского народа, насыщенную романтикой и трагизмом. Писатель-реалист воссоздает своеобразие уклада жизни, общественных отношений, обычаев, верований курдских племен в первую половину XX века.

Победа национально-освободительного движения под руководством Мустафы Кемаля (1923 г.) совпала с периодом интенсивного разложения остатков родо-племенных отношений у курдов Восточной Анатолии. Несмотря на крупные социальные сдвиги, на образование новой Турецкой республики, курдские племена продолжали жить по законам феодального, а зачастую и рабовладельческого общества. Всесилие владык, нередко выступающих в двух ипостасях — светского и духовного вождя, нищета и бесправие крестьян, неразвитость их общественного сознания приводили к истинно трагическим последствиям в период национально-освободительной борьбы. Подавляющее большинство тружеников-курдов выступало «за» или «против» новой власти в зависимости от позиции «своего бека», «своего шейха». В результате курдские общины разделились на два лагеря, и между ними началась братоубийственная война. Веками, тысячелетиями культивировалась в сознании скотоводов-кочевников и крестьян мысль о том, что каждый из них раб «своего» господина, без которого немисливо самое их существование. «Был я у бека любимый раб», — говорит Джано — один из главных героев повести К. Бильбашара. А вот слова другого персонажа: «Кому лучше знать: шейху или крестьянам? Дело рабов — своему аге подчиняться, его приказы выполнять, обычаям чтить». Мучительную ломку в сознании таких рабов, начинающих понимать, что каждый из них — личность, борьбу извечного стремления человека к счастью и свободе со страхом и покорностью, насаждавшимися веками, удалось показать К. Бильбашару, блестящему мастеру-психологу. С таким же мастерством рисует он и целый комплекс национальных и религиозных связей и предрассудков, осложняющих эту борьбу. Дело в том, что турки и курды исповедуют ислам, но придерживаются различных его течений — суннизма и шиизма. В войнах, которые вели турки-сунниты с персами-шиитами, курды нередко сражались на стороне персов, что использовалось администрацией Османской империи для разжигания межрелигиозной и межнациональной розни, которая, в свою очередь, вела к еще большему социальному и духовному закабалению и трудящихся курдов и трудящихся турок. Поэтому вполне понятна

настороженность, а часто и враждебность, с которой относятся герои повести к новой администрации. К. Бильбашар реалистически изображает пропасть между городом и деревней, особенно заметную на востоке страны. Здесь он тоже близок к фольклору: исстари в произведениях народных певцов и сказителей, в сознании народа город — средоточие чиновников, жандармов, солдат — выступает как враждебное начало, как нечто чуждое и опасное: из города приезжают сборщики налогов, из города присылают жандармов и войска для подавления бунта. В ряде моментов К. Бильбашар не чужд идеализации своих героев. Рисуя кемалистского офицера Фахри-бея — представителя новой власти — «добрым гением» крестьян-курдов, писатель, конечно, идеализирует его. Но и в восприятии героев повести, и в интерпретации автора он явление исключительное, единичное. Эта исключительность лишь подчеркивает общее правило: весь административный аппарат, доставшийся молодой буржуазной республике в наследство от Османской империи, по-прежнему берет взятки, по-прежнему защищает интересы курдских беков и угнетает трудящихся курдов. Читатель узнает, как при прямом попустительстве чиновников приспешники Сорик-оглу разоряют поселение крестьян, ушедших на свободные земли, предоставленные им новыми властями. Когда беи расправляются с непокорными, физически уничтожая их, представители новой власти не только не защищают крестьян, но, наоборот, во всем потакают богатым, сажают бунтарей в тюрьму, как и много веков назад. Так писатель показывает, что, в сущности, для бедняков все осталось по-прежнему, и попытки Фахри-бея как-то облегчить участь трудового народа оставались лишь попытками честного, убежденного в правоте кемализма одиночки, которые разбиваются о косность, рутину, феодальные пережитки, продажность государственного аппарата, забитость и покорность крестьянской массы. Трагизмом насыщено все повествование, трагичен и его финал: события, описываемые во второй части, относятся к 1937—1938 годам, когда курдские племена восстали против новой буржуазной администрации. Восстание это, носившее национально-освободительный характер, было потоплено в крови войсками Турецкой республики, которая в недалеком прошлом сама вела национально-освободительную борьбу. В. И. Ленин писал: «Маркс умел оценить и то, что бывают моменты в истории, когда отчаянная борьба масс даже за безнадежное дело необходима во имя дальнейшего воспитания этих масс и подготовки их к следующей борьбе»¹.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 14, с. 377.

Именно такая борьба талантливо изображена К. Бильбашаром. Форма дилогии «Джемо» и «Мемо» необычайно своеобразна: это настоящий дестан, но дестан, созданный мастером, которому подвластны достижения современной литературы. К. Бильбашар поставил перед собой задачу невероятной сложности: написать народный дестан, но вложить его в уста различных героев, совершенно не прибегая к авторскому тексту, и с этой задачей он справился блестяще.

К. Бильбашару удалось сохранить форму дестана — чередование стихов и прозы (правда, при явном преобладании последней), зачины и концовки, повторы, рифму, ритмический рисунок, широко используемые народными сказителями, а главное — неповторимый дух дестана. Форма дилогии настолько своеобразна, что крупнейший турецкий юморист и сатирик Азиз Несин в беседе с советскими востоковедами заметил, что это произведение стоит особняком в турецкой литературе и не поддается переводу на иностранные языки. Тем значительнее заслуга Л. Н. Дудиной, которая осуществила перевод «Джемо», опровергнув такое авторитетное мнение.

Глубокий психологизм, великолепное знание жизненного материала, фольклора и живого разговорного языка позволили К. Бильбашару вылепить подлинно эпические образы, полные силы, поэзии, страсти. Прежде всего это относится к образу главной героини — Джемо. Это истинная дочь гор, сильная, независимая, гордая. Недаром ее называют «Джемо-джигит». Именно Джемо спасает своих односельчан от бандитов Сорик-оглу, именно она убеждает крестьян держаться вместе и сообща бороться за новую жизнь. Не только удаль, красоту, силу духа, но и ум, сообразительность, способность быстро принимать верное решение подчеркивает в ней автор. В этом она близка к идеальным героиням древних эпосов.

Одно из центральных мест в турецком фольклоре занимают образы женщин-воительниц, богатырш. Воспеваются не только красота, нежность, верность, но и ум, воля, чувство собственного достоинства.

Именно с героическими женскими образами из эпоса перекликаются героини К. Бильбашара Джемо и Сенем. Даже вид испытания, назначенный Джано женихам Джемо, остается таким же древним, как в самых ранних эпосах, — это поединок, в котором невеста и претенденты на ее руку соперничают в силе и ловкости (бьются, правда, не на мечах, а на дубинках). И так же,

как в седой древности, девушка сдается без боя своему избраннику.

Продолжая традиции народных сказителей и певцов, и Джано и Мемо подчеркивают в Джемое сочетание мужской доблести и женственности, красоты. Джано говорит: «Вырастил ее смелой, как волчица, быстрой, как газель. Кудри черные синевой отливают, в глазах черных огонь полыхает... Губы—что твой ширванский гранат... Кожа нежней розового лепестка, рука тверже стали».

Чертами эпического богатыря обладает и образ отца Джемое — Джано. В сценах укрощения коня, богатырской потехи, когда Джано съедает целую коровью голову вместе с костями и полмешка грецких орехов с кожурой, слышны отголоски древнейших алтайских и тувинских эпосов, где описывается богатырский пир, во время которого герой «крупные кости из рта выплевывает, а мелкие — из носа выдувает». Но у этого человека могучей силы и могучего духа нежное, любящее сердце. Своей любви к Кевии он остается верен всю жизнь и переносит ее на Джемое, как две капли воды похожую на мать. Талантливый художник-психолог, К. Бильбашар показывает, что именно эта безграничная любовь подняла Джано над уровнем окружающей среды, дала ему силу пренебречь нерушимыми обычаями и не продать дочь, как рабыню. Так же психологически достоверно рисует автор душевную борьбу, сомнения и колебания Джано, вставшего на путь борьбы за новую жизнь. С каким трудом бесстрашный Джано вытравляет из своего сознания рабскую покорность! Какие усилия прилагает, чтобы избавить крестьян от векового страха перед господином, убедить их работать и пользоваться плодами труда сообща!

Такое сочетание черт эпического богатыря и вчерашнего раба, только начинающего осознавать себя человеком, делает образ Джано неповторимо своеобразным и притягательным.

Если Джано — прямой потомок богатырей — заступников народа, то Мемо продолжает линию легендарных певцов-ашугов (в турецком произношении — ашык) — лирических героев народных дестанов. Согласно фольклорной традиции, юноша становится ашугом, когда в его сердце просыпается любовь. Он чудесным образом (обычно во сне) обретает способности певца и музыканта-импровизатора. Мемо же от рождения одарен талантом, а у дяди — замечательного ашуга — он проходит настоящую школу мастерства. Дядя обучает его и ремеслу — литью звонких колокольчиков, которые сродни его искусству. Мемо по натуре — поэт,

художник, возвышенная и гордая душа. Как и герои старшего поколения, юноша силен, отважен, ловок, умен, но он превосходит их широтой кругозора и жизненного опыта. Это герой нового типа, прошедший армейскую школу, выучившийся грамоте, знающий «османский» язык. Мемо может постоять и за себя и за своих односельчан. Закаляясь в борьбе, он мужает, превращается в настоящего борца, начинает лучше разбираться, кто друзья и враги крестьян, и в конце дилогии становится вожаком восставших, предпочитающих гибель рабскому существованию. Развитие характера Мемо с большим мастерством запечатлено К. Бильбашаром, который ставит перед собой труднейшую задачу — показать рост самосознания крестьянских масс на востоке Турции — самом отсталом, глухом уголке страны. Мемо начинает понимать, что им нечего делить с «простыми османцами», что эти «османцы» далеко не одинаковы и не одинаково относятся к беднякам-курдам. В борьбе против «своего» аги он ищет поддержки у передового «османского» офицера.

К. Бильбашар создает многоплановый, полнокровный характер. Благодаря мастерству художника-психолога перед читателем возникает мир чувств Мемо: его любовь к Сенем, страдания в разлуке с ней, потрясение и отчаяние, вызванные потерей любимой, медленное возрождение души и новая любовь — к Джемо, и трагическое столкновение двух этих чувств, возникшее в результате трагического стечения обстоятельств. Так под пером современного художника традиционная для турецкого фольклора сюжетная коллизия — беззаветная единственная любовь — обретает черты трагедии сегодняшнего дня.

К. Бильбашар нарисовал широкое полотно жизни народа, впечатляющую картину «торжеств и бед народных». Знаток нравов, обычаев, верований, обрядов, автор устами своих героев с восхищением описывает бурлящий народный праздник, красоту девушек, борьбу джигитов, игру народных певцов. Значительность темы, подлинный гуманизм автора, своеобразие его художественного почерка, близость к фольклору и по сути и по форме сразу выдвинули дилогию К. Бильбашара в число лучших турецких романов, написанных в последние десятилетия. Вот как говорит сам К. Бильбашар о задачах писателя, о своем художественном методе: «Я добиваюсь в своих рассказах двух целей. Во-первых, чтобы между строчками не промелькнула даже тень личности автора, чтобы сам рассказ обращался к своему читателю как живое, конкретное, свободное существо. Во-вторых, я пытаюсь

отразить роль народа в историческом революционном процессе. Быть факелом, освещающим мрачные тайны бесчеловечных режимов; кулаком, гневно сжатым перед лицом насильников, порожденных этим мраком. Назначение писателя — указать путь тем, кто поднимается на борьбу со злом и несправедливостью, вдохнуть новую силу в обессиленных, отвагу в отчаявшихся, дать ответ на мучительные вопросы».

И лучшим подтверждением плодотворности этих принципов стала повесть К. Бильбашара «Джемо» — современный дестан, созданный прогрессивным художником.

Действие повести Дженгиза Тунджера «Конфискованная земля» происходит в Западной Анатолии — относительно развитой области Турции, где процесс проникновения в сельское хозяйство капиталистических отношений идет гораздо быстрее, чем на востоке страны. Автор — уроженец Западной Анатолии — прекрасно знает особенности этого процесса, что помогает ему создать впечатляющую картину жизни турецкой деревни. Яркими мазками рисует Д. Тунджер тяжелое положение крестьян, их стихийный протест, расслоение турецкого крестьянства.

Автор создает целую галерею реалистических образов крестьян и их угнетателей. Одна из удач Д. Тунджера — образ кулака Мастана. Писатель сумел показать, что это умный и опасный хищник, сочетающий в себе черты современного дельца и феодального князька. Мастан — и землевладелец, и ростовщик, и местная власть в одном лице. Мастан заранее продумывает свои махинации, ведущие к разорению крестьян. У него всегда наготове все документы, все нужные бумаги, и хотя его действия — сущий грабеж, они имеют видимость законности. Мастан не сгоняет крестьян с земли при помощи грубой силы, как это делает Сорикоглу в повести «Джемо». Он «законно» призывает в деревню конфискаторов. «Мы не в диких горах живем. У нас на все есть закон», — любит повторять он. Все власти в касабе подкуплены Мастаном. Он не уничтожает физически непокорных: просто пишет ложный донос, вызывает жандармов — и неугодного бросают в тюрьму. Д. Тунджер реалистически показывает, как под личиной «законности» таится грубый произвол, спесь и самодурство. Мастан чувствует себя совершенно безнаказанным, он уверен, что даже убийство сойдет ему с рук. И когда он убивает ножом разоренного им владельца виноградника, ему удается выйти сухим из воды.

Мастан презирает крестьян, унижает их, но в глубине души их боится. Он чувствует себя окруженным врагами, совершенно

одиноким, даже единственная дочь восстает против него. Борьба злобы, неуверенности, презрения со страхом, происходящая в душе Мастана, сближает его с Махмуд-ханом из «Легенды Горы» Я. Кемалья. Конечно, это хищники разного масштаба и разных эпох, но знаменательно, что оба автора высвечивают в них именно это сочетание — характерный признак несправедливой власти, опирающейся на насилие.

Антиподом Мастана в повести выступает Хасан, характер которого дан в развитии, в становлении. Если в начале повести Хасан — обыкновенный крестьянский парень, сильный, трудолюбивый и честный, то по мере развития сюжета его внутренний мир, его мировосприятие меняются. Очень медленно, постепенно выкристаллизовывается в уме Хасана мысль о необходимости борьбы с Мастаном, причем не столько за свою землю (ее Мастан уже отнял), сколько за поля других крестьян. Важно отметить, что Хасан борется против несправедливости, олицетворением которой для него является Мастан. Не ведая никаких иных путей борьбы, Хасан силой оружия заставляет кулака пойти на попятный, а впоследствии убивает его, но убивает обороняясь. Характерно, что Мастан, ненавидя Хасана как бунтаря и вожака крестьян, пытается его подкупить, добиться его отъезда из деревни.

Д. Тунджер подчеркивает в Хасане мужество, доброту, ум и особенно — чувство человеческого достоинства.

Интересен и центральный женский образ повести «Конфискованная земля» — Алие. Не забитая и покорная жертва, а смелая и независимая девушка, способная бороться за свое чувство, предстает перед нами. Ее не смущает разница в социальном положении, образовании, не страшит гнев отца и тяжелые испытания в будущем, которые она ясно себе представляет. Цельность натуры, верность своему чувству, гордость и воля сближают ее с лучшими героинями фольклора. Сама сюжетная ситуация — любовь дочери врага к герою — часто встречается в турецком фольклоре.

В повести Д. Тунджера нарисован коллективный образ турецкого крестьянства — нищего, измученного бедами, но стойкого, работающего, цепко держащегося за жизнь: «Знает Мастан, конечно, что крестьянин живуч, как сама земля, выкрутится как-нибудь и из этой беды. Неумирающая в нем надежда всегда спасает его. Рассердила небо земля-кормилица, обрушился на нее гнев небесный, а крестьянин все не смиряется, бьется за жизнь до конца».

Прекрасно зная своих героев и обстановку, в которой они живут, восхищаясь умом и силой чувств лучших представителей крестьян, Д. Тунджер, подобно Я. Кемалю и К. Бильбашару, показывает забитость и невежество крестьян, неустойчивость крестьянской массы, страх ее перед кулаками и беями. Большинство крестьян боится Мастана, ненавидит его, но все же, гонимые нуждой, они вынуждены идти к нему на поклон. Невежество и наивность крестьян особенно явственно обнаруживаются в трагикомическом эпизоде с черепахами. Но те же самые порой наивные и недалекие, порой трусливые и неуверенные крестьяне, вернее, лучшие из них, способны на истинное благородство, на самопожертвование. Так, Хасан и его товарищи помогают бежавшим влюбленным, друг Хасана Рыжий Осман добровольно приходит в тюрьму, чтобы освободить безвинно арестованного Хасана. Писатель еще и еще раз подчеркивает неоднородность и неоднозначность турецкого крестьянства.

Когда читаешь повесть Д. Тунджера, кажется, что описываемые в ней события происходят сто, а может быть, и двести лет тому назад. Но вот наконец примета современности — банк, в который решили обратиться за ссудой отчаявшиеся крестьяне. Какой горькой иронией звучат эти страницы! Каким тяжким разочарованием обернулись радужные надежды крестьян, снова вынужденных умолять Мастана дать денег в долг. Так автор одним эпизодом показывает, что, в сущности, для крестьян с установлением республиканского строя ничего не изменилось, что по-прежнему кулак в своей округе — царь и бог, что он вершит суд и расправу, правда, чаще всего руками подкупленных судей и чиновников — в этом вся разница. Так реалистически рисует Д. Тунджер сложное переплетение феодальных и новых капиталистических отношений, характерных для современной турецкой деревни.

Три турецкие романтические повести, представленные в настоящем сборнике, — впечатляющее свидетельство прочности демократических и гуманистических традиций современной художественной прозы страны. Эта проза, органично связанная с богатейшей устной народной словесностью, вдохновляется идеалами и надеждами простого турецкого труженика, его мужественной борьбой за социальную и нравственную справедливость, за лучшую долю.

Г. Горбаткина

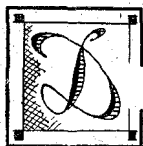
Кенань Билбашар

ДЖЕМО





РАССКАЗЫВАЕТ
МЕЛЬНИК ДЖАНО



Джемо я вырастил один. Вырастил ее смелой, как волчица, быстрой, как газель. От всех бед ее охранял. Пуше глаза берег, пуше чести своей.

В утешение ее мне жена оставила. Красотой она вся в мать уродилась. Кудри черные синевой отливают, в глазах черных огонь полыхает. Губы — что твой ширванский гранат! Засмеется — подставляй ладони: жемчуга сыплутся! Нахмурится — кинжалы бровей в сердце тебе вонзаются.

Когда матери лишилась, была она с ягненка беззубого. Возвращаюсь я с войны, а она, горе мое, по полу ползает. Теперь смотри, какая стала! Кожа нежней розового лепестка, рука тверже стали.

Мать ее Кеви звали. Была она дочерью бека, а я у другого бека рабом был. И было нас таких у него девять деревень, и все за господина своего в огонь и в воду. Скажи нам бек: «Умрите!» — умерли бы, глазом не моргнули.

Так у нас из рода в род велось. О себе и не помышляли, все о беке своем пеклись. На рисовых полях спины гнули, на состязаниях удайство показывали, табуны пасли, не смыкая глаз, бились то с волками, то с османскими войсками — все для бека, все ради славы его. Кто ружья добывал, кто контрабандой промышлял, а кто и разбоем. Для бека и пот проливали, за бека и жизнь отдавали.

Даже в молитвах ничего не просили мы для себя у всевышнего. Изю дня в день только и повторяли: «О всевышний! Пошли нашему беку долгую жизнь!»

Умножь его богатства!» Себя и за людей не считали.

В праздничные дни, бывало, выйдешь на единоборство, либо копыя метать на полном скаку, либо волка травить. Тут уж ты жизнь свою загубить готов, лишь бы от других не отстать. За что ни брались, все беку своему славу добывали, что от дедов-прадедов завещано, свято берегли.

Был я у бека любимый раб. На скакуне своим вихрем по горам носился, птиц влет стрелял, стада бековы от разбойников отбивал, верным людям гашиш переправлял да следы заметал. Снарядит соседний бек караван, чтобы за кордон ткани дорогие да сахар переправить, — первое мое дело — засаду устроить.

Бек жить без меня не мог. Чуть что — меня зовет. Хлопнет по спине, скажет только: «Покажи свою доблесть, Джано!» — а я уж на коне птицей лечу, зверем кричу, только стон стоит в горах, только ветер свистит в ушах. Что твой Зал-оглу Рустам¹ — отчаянная голова. От сучка свой глаз не оберегал, жизнь свою, что ни день, на кон ставил.

Да, видно, на роду мне другое было написано. Зовет раз меня бек к себе. Пришел я, землю перед ним поцеловал. Потом выпрямился и говорю:

— Приказывай, бек мой! Умру за тебя!

Бек меня словно и не замечает. Сидит на ковре, ноги под себя поджал, рукой бороду поглаживает, смотрит поверх моей головы.

Я опять — хлоп на землю:

— Бек мой! За тебя жизнь отдам!

Встал он, подошел ко мне, похлопал меня кнутовищем по спине да и говорит:

— Джано, должен ты мне службу сослужить. Трудное дело тебе хочу поручить.

— Приказывай, бек мой! За тебя голову сложу, за тебя кровь по капле пролью!

— Просил я соседского бека отдать мне дочку Кеви. Подарки ему послал. Он их мне назад воротил. Не хочет, видно, со мной породниться.

¹ Речь идет о Рустаме, герое эпической поэмы Фирдоуси «Шахнаме», имеющей множество фольклорных вариантов в странах Ближнего и Среднего Востока.

— Пусть небо лишит его честного имени! А ты, бек мой, увидишь, зря ли я сгрызал вместе с кожурой орехи грецкие, зря ли зубами раздирал сырые уши лошадиные!

Несколько месяцев назад послал наш бек меня с другими рабами к соседнему беку, велел передать ему в подарок полсотни овец, дюжину коров и двух чистокровных арабских скакунов и посватать за него дочку его, раскрасавицу Кеву.

По этому случаю решили мы народ потешить, бекков посмешить.

Кто борьбу затеял, кто у коня на хребте кувыркается, кто в стрельбе состязается. На мою долю выпало объездить жеребца.

Выбрали поляну, натыкали вокруг нее высоких кольев, чтоб жеребец на людей не кинулся, да и выпустили его туда.

Вижу — конь лихой. Грива волнистая по ветру вьется, шкура гладкая на солнце переливается. Не конь — огонь. Ржет, на дыбы встает, копытами землю роет.

Решил я поначалу народ развеселить.

— Где уж мне с таким гладким конем, — говорю, — на голодное брюхо сладить! Насыпьте и мне корма!

Народ со смеху покатился. Один мне кричит:

— Чего тебе насыпать? Ячменя или диких груш?

А я ему:

— Сыпь их себе! Сам поешь и жену свою накорми, да не забудь помолиться за здоровье своего бека, что вас так сытно кормит. А у нас по-другому заведено. Джигит не джигит, пока не съест мешок грецких орехов со скорлупой да коровью голову целиком.

Подают мне на подносе коровью голову с пылу с жару и кладут рядом мешок грецких орехов. Бисмилла! Хватаю я голову двумя руками и давай, как пес, уписывать все подряд, не разбирая, где кости, где мясо. Головой верчу, мясо зубами рву, смотрят люди, от смеху за животы хватаются.

Покончил с головой, вскакиваю на ноги, беру мешок и начинаю грызть орехи. Подброшу орех, зубами его хватаю! — и жую вместе с кожурой, только треск

стоит. Глядь, полмешка орехов как не бывало! Хохо-чет народ.

— А теперь,— говорю,— посмотрим, травяное брюхо, кто кого!

И — к вороному. А он почуял неладное, уши прижал — и на задние копыта. Чтобы, значит, передними меня раздавить. В два прыжка я у него на спине очутился. Конь давай задом вертеть, все сбросить меня норовит. Напружинится весь, как лук, и на дыбы. Я сижу крепко, словно меня к коню припаяли. Уж он, зверюга, сигал-сигал! Пот по нему градом льется, хрипеть стал. Тут я лег ему на шею, руками за уши его ухватил. Из последних сил вскинул он морду да цап меня зубами за ухо! Вижу: из уха кровь брызнула. Взбесился я почище коня. «Ах ты, падаль,— ору ему,— я тебя так проучу, такую серьгу на ухо навешу, что на всю жизнь запомнишь!» Повис у него на шее, пригнул морду к земле, схватил зубами его мохнатое ухо да и отхватил кусок.

Беку нашему потом всё рассказали. Вот я и напомнил ему, как грыз орехи грецкие да зубами рвал уши лошадиные, тоску его развеять хотел. Бек только криво усмехнулся.

— Зря старался, Джано,— говорит,— мы к нему со всем почетом, а он к нам спиной. Дочку свою, Кеву, продал хрому сыну соседнего бека. В следующую среду повезут ее к жениху. Покажи свою удаль, Джано! Пришло время смыть с нашей чести черное пятно.

— Самое время, бек мой!

— Если отобьешь невесту и привезешь ее сюда, на награды не поскоплюсь.

Поцеловал я землю у его ног и говорю:

— За тебя жизнь положу, бек мой, за тебя всю кровь по капле пролью! Отобью невесту у хромого пса! Приведу к тебе целую-невредимую, бек мой!

Дал мне бек в подмогу пятьдесят всадников, все молодцы как на подбор. За горой Каморит устроили мы засаду. Затаились, ждем, когда поезд свадебный станет спускаться к реке Мурат.

К вечеру дозорные принесли весть: поезд приближается. Глянул я из-за скалы, вижу — вьется над дорогой облако пыли. Впереди едут семьдесят всадни-

ков. За ними невеста, сидит на лошади в большой плетеной корзине. Ее лошадь хромою за собой на веревке тянет. Сзади еще конников тридцать.

Разделил я своих людей надвое. Решил так: одни нападут на бекову охрану сбоку, другие сзади, а я в суматохе схвачу невесту, и поминай как звали.

Как только я подал сигнал, выскочили наши из засады. Выстрелы загревели, лошади заржали. Бековы охранники мечутся как очумелые, совсем одурели с перепугу. Я — не шелохнулся, на невесту глаз нацелил. Смотрю — хромою выпустил веревку, пришпорил коня, удирает. Пристрелил я поганца, чтоб не позорил мужское племя.

А лошадь невесты ошалела, видно, от выстрелов, прыгнула в горы. Я — ей наперерез. Вытащил невесту из корзины, привязал к спине — затрепетала вся, как птица! — и в лес, только меня и видели.

И сейчас не могу в толк взять: как это я решился на такое дело, товарищей своих бросил. Бес ли попутал, на роду ли было так написано — поди разберись! Одно скажу: забыл я напрочь про бека своего, когда его невесту умыкал. Чудилось мне: за свою добычу бьюсь. Вонзила в меня кинжалы глаз своих, когда пересаживал ее к себе в седло, — и отшибло память.

Еду, а она прижалась всем телом горячим к моей спине, словно ее прилепили. В ней жар и во мне жар. Пот с меня в три ручья, сердце стучит, в горле сухо, во рту горько. Ветер лесной меня обдувает, а я весь горю, как в огне.

Услышал я — вода журчит. Спешился, привязал коня к дереву и, не снимая ружья, прямо к ручью. Окунул голову в пенистую струю, напился всласть, поплескал себе водой на грудь, на руки, пар от меня повалил.

Вдруг слышу звонкий голос из леса:

— Эй, джигит! Воды напился, а Кеву проворонил!

Смотрю — Кеву уже лошадь от дерева отвязала, в седле сидит. Кафтан на ней зеленый, на голове свадебный убор. Выпрямилась, осанка гордая, а уж красива так, что и глаз не оторвешь. Отвечаю ей ровным голосом:

— Своего не упущу. От меня и на крыльях не улетить.

Засверкали у нее глаза, как молнии. Ни слова не сказала, ударила только Джейрана ногами по бокам и помчалась прочь.

Я и бровью не повел. Коли охота, пусть потешится. Потом руки ко рту приставил и кричу:

— Хо, Джейран, хо-о...

Умный у меня конь. Сразу встал как вкопанный. Заржал, ответил мне. Бекова дочка ну его плеткой охаживать, ну кулаками по спине молотить! Джейран ни с места.

Не выдержал я, расхохотался, глядя на нее.

— Иди ко мне, Джейран,— говорю,— уморил ты бекову дочку.

Конь ко мне затрусил. Выгреб я из торбы горсть изюма, скормил коню. Достал горсть очищенных орехов грецких и сушеных абрикосов.

— Слазь с коня, бекова дочка,— говорю,— будешь слушаться меня, как мой конь, буду и тебя кормить из своих рук.

Она и не пошевелилась. Рассыпал я по земле угощение, сам снял ее с седла.

Думал я тогда, что придется мне долго возиться, приручать гордячку, а вышло все наоборот. Крепче Джейрана приросла ко мне душой красавица.

Три года укрывались мы с ней в горах и ущельях, три года рыскали по нашему следу люди моего бека. Да где им напасть на след Джано! Здешные места я знаю, как дом родной. И бекова дочка все вынесла, душой не пала. Зимой мы с ней на мельницах ночевали, летом — в лесу, на войлочной подстилке. Ни разу не охнула, не вздохнула бекова дочка. Ночью она спала, я сторожил, днем я спал, она — на дозоре. На этом же войлоке она и дочку родила, сама пупок ей перевязала, сама в честь матери своей нарекла Джемо. Привязала Кеви ее к себе за спину, и поскакали мы в горы. Так и стало нас трое. Молока своего у Кеви не было. Брали мы у чабанов козье молоко, им поили дочку.

Тем временем отступились от нас бековы люди, перестали за нами гоняться. Видать, надоело им зря

по горам-долам шастать. А может, и другая причина тут была. Новые заботы появились у шейхов-беков.

Стал ходить по деревням один ходжа, чудные вести разносил. Объявился будто бы в стране Рум¹ новый паша, из себя красавец: волосы золотые, глаза голубые, статью — богатырь. И объявил он страшную войну османскому падишаху-кровососу и всем гяурам, что с ним заодно. Закипела битва. Сошлись один на один падишах и паша, ударил паша своим мечом — падишаха пополам перерубил. Очистил паша от неверных всю страну. Освободил и самого халифа, что томился у гяуров в плену.

Сорок дней, сорок ночей праздновали все османцы великую победу. Разослал паша всем шейхам и бекам такой приказ: «Эй, горцы! Хватит вам насильничать да разбойничать! Не будут больше богатые обижать бедных. Теперь все равны. Ослушаетесь моего приказа — вам же будет хуже. Пойду на вас войной, как на падишаха ходил, потушу ваши очаги!»

Одни беки и шейхи покорились, подарки паше послали. Другие восстали против паши. Вместе с ними и наш бек оказался.

Как услышал я это, бросился ходже руки целовать.

— Теперь, — говорю, — и я буду рабом паши. Кровь за него пролью, жизнь за него положу. Буду ему верно служить, пока не покорим всех смутьянов.

Ходжа по спине меня погладил:

— Коли так, записывайся добровольцем в войско шейха Махмуда да передай ему мое благословение.

Шейха Махмуда вся округа знала. Славный джигит, храбрый воин. Одной свиты при нем — триста конников. Пастбища у него неоглядные, стада несчитанные. Кто глянет в его черные глаза — в огонь и в воду за него пойдет, рабом его станет.

Прибыл я к шейху, руку ему поцеловал, благословение от ходжи ему передал.

— Джемю и Кеви, — говорю, — отныне рабы твои.

¹ Страна Рум — так называлась в старой мусульманской религиозной литературе территория нынешней Турции, включая и азиатскую и европейскую ее части, входившие в Византийскую империю.

А шейх Махмуд про нас уже наслышан.

— Разве твоему беку неведомо,— говорит,— что раб господ не смеет перечить его воле? Что же он подымает голову против всевышнего? Кто против воли всевышнего пойдет, с пути собьется. Гази-паша¹ нечестивцев с наших земель прогнал, всем бедным свободу дал. Кто против него поднялся, тому худо придется. А ты теперь нам брат, бекова дочка нам названная сестра, берем ее к себе под защиту. Ее жизнь, ее честь пуше глаза будем оберегать.

Тяжко было расставаться с Кеви. За три года мы с ней и на миг не разлучались. Да и не осталась бы она, если бы не ребенок. В ту пору она второго ждала.

— Кеви,— говорю,— ради нашего дитяти, что появится на свет, надобно тебе здесь остаться. Ждите меня с дочкой, пока не вернусь.

Тут она пальцами себе в живот вцепилась, словно хотела вырвать из него дитя, что разлучает нас. Потом вдруг руки как плети опустила, глаза потухшие в землю уставила. Подошли к ней люди шейха Махмуда, увели в дом.

Решил шейх Махмуд удальство мое испытать да людям показать. Собрал народ и говорит мне:

— Много слышал я про тебя, Джано. Поглядим же, каков ты молодец!

Для начала потягался я силами со стрелками шейха. Вижу, все как один — знатные стрелки. Кто со ста шагов в серебряную монету попадает, кто у сигареты, воткнутой в землю стоймя, кончик сшибает, кто сосновую шишку, подброшенную вверх, насквозь пулей просаживает.

Пришел мой черед. Поставил я сзади себя ягнячью бабку. Нагнулся, просунул ружье между ног и всадил пулю прямо в серединку бабки, разлетелась она вся на мелкие кусочки.

Стали бороться. Шейх Махмуд выставил против меня своего лучшего борца — Хайдаро. Всем джигитам джигит Хайдаро: челюсти — бычьи, лапищи — мед-

¹ Гази — почетный титул героя-победителя. За победу на реке Сакарья в 1921 году анкарский парламент присвоил этот титул Мустафе Кемалю, возглавившему национально-освободительное движение в Турции.

вежья. Не дает сопернику ни отдышаться, ни сил набраться, ястребом терзает жертву, пока не закроет.

Схватились мы с ним на снегу. То он один прием применит, то я другой. Оба в поту, а перевеса ни на одной стороне нет. Он меня к земле жмет, да поди ж ты! Таких, как я, голой силой не возьмешь, только шишки себе набьешь! Народ глядит во все глаза, дух затаил!

Тут сказал свое слово шейх Махмуд:

— Хватит! Вижу я, оба вы знаете свое дело крепко. Пусть умножит всевышний вашу храбрость, закалит вашу доблесть, джигиты мои, чтобы сослужили вы Гази-паше службу богатырскую.

С этими словами поцеловал он нас обоих в лоб. И мы с Хайдаром обнялись, расцеловались.

— Теперь ты мне дороже брата родного,— говорит Хайдаро.

А я ему:

— И ты мне, клянусь, дороже жизни.

Шейх Махмуд пожаловал нам по кошелю золота. Долго мы в ту ночь пили-ели, пировали.

Пир еще не кончился, как прискакал вестовой, пошептал шейху Махмуду что-то на ухо. Вскочил шейх на ноги.

— Джигиты мои! — кричит. — Пришел день сослужить службу Гази-паше. Нашлись негодяи, что не хотят бросать свой разбойный промысел, нашлись тупоголовые, что не признают новых законов, нашлись недоумки среди шейхов да беков, объединились и подняли бунт против Гази-паши! Один из этих поганцев, Сорик-ага, бедноты обидчик, разорил очаг брата нашего, шейха Хасана. Едем немедленно на выручку к шейху Хасану!

В горах метель крутила. Выдал нам шейх Махмуд по белому кафтану и по белой папахе. Сборы были короткие, не успел я попрощаться со своей Кеви.

Задали жару мы разбойникам Сорики-аги. Разлетелись они во все стороны, как вспугнутые рябчики из гнезда.

Да дело на этом не кончилось. Ударили первые морозы, развернули свои знамена шейхи и беки уездов Драhini, Хани, Палу, Пирани, объявили себя

борцами за веру¹. От Элязиза до Диярбекира собралось у шейхов и беков войско несметное. Оружия у них и патронов — не счесть. Ты раз пальнешь, а в тебя — пять раз. Если бы не устраивали мы засады да не отбирали у них ружья, все бы в горах полегли.

Тем временем разнеслась молва, что шейхи и беки взяли Элязиз. Но вскоре наши выбили их оттуда, а потом зажали врагов в кольцо под Драхины. В боях много крови было пролито, ни одна сторона верх не взяла. Откатились в разные стороны на передышку...

Шейх Махмуд отсчитал из своих людей полсотни, дал им один пулемет, велел оставаться в деревне, дорогу на Муш перекрыть. А с остальными пошел по следу врага.

Перебрались мы по мосту на левую сторону реки Мурат. Слышим — в горах пальба идет.

— К Чарбужскому мосту пробиваются, — говорит шейх Махмуд. — Слезайте живо с коней! Устроим у моста засаду.

Укрыли мы своих коней в ивняке прибрежном, сунули им в зубы ременные уздечки, чтобы не ржали. Дает мне шейх Махмуд в руки пулемет.

— Возьмешь, — говорит, — с собой пять джигитов. Укрепитесь вон на той вершине. А мы у реки заляжем. Без моего приказа не стрелять!

Ползли мы в гору. По пояс в снегу, а все карабкаемся...

Часа в четыре пополудни пальба в горах стихла. Замаячил на дороге отряд человек в двадцать. Мчатся к мосту, коней прищипоривают. Вот уже и лица различить можно. Все одеты богато, видать, не из простых. Есть и такие, что бороды до пояса, по ветру вьются.

¹ В этот период на востоке Турции — в 1925 году — вспыхнули народные восстания, участниками которых были различные по своим устремлениям и классовым интересам слои населения. В число восставших входили как борцы за национальное освобождение и самоопределение Курдистана, выразители интересов трудящегося крестьянства и социальных низов, так и сторонники феодального и родоплеменного сепаратизма, религиозные фанатики, противники прогрессивных буржуазных преобразований в Турции, связанных с именем Ататюрка.

Впился я глазами в шейха Махмуда.

— Одно твоё слово, командир,— всех уложу!

Но шейх Махмуд отдаёт приказ не мне, а джигитам, что рядом с ним:

— Цельтесь в лошадей, людей не трогать!

Пошла пальба, пошли лошади кувыркаться через голову на полном скаку. Только две последние развернулись — и обратно. Однако и их пули настигли, затрепыхались туши на снегу.

Смотрю — копошатся на земле спешенные конники, из-под лошадиных туш вылезают. Один притаился за крупом лошади, целится в шейха Махмуда. Не выдержал я, — бах! — свалил поганца.

— Ай, Джано! — грозит мне шейх Махмуд. — Ты что приказ мой нарушаешь?

Потом поворачивается к вражьему отряду.

— Шейхи, беки! Бросайте оружие, сдавайтесь! Другого выхода у вас нет!

Первым бросил своё ружьё главарь — седая борода до пояса. Потом и другие снимали свои ружья, кинжалы — у кого что было — побросали на землю. Подъехали к ним наши джигиты, забрали оружие, раненых лошадей пристрелили, связали всех шейхов и беков одной веревкой.

Шейх Махмуд приказал распороть их тюки с поклажей — посыпались на снег съестные припасы, торбы с золотом.

Тем временем подоспел к нам отряд из армии Гази-паши. Шейх Махмуд передал им добычу и пленников. Отправили их через Варто на суд к Гази-паше.

Командир отряда отдал шейху Махмуду две торбы с золотом, обнял его крепко, а потом и говорит:

— Гази-паша телеграмму прислал, целует тебя в лоб. Пишет: только шейх Махмуд может очистить Шерафеттинские горы. Покажи же свою доблесть, шейх Махмуд!

Шейх Махмуд в ответ попросил командира поцеловать от его имени Гази-пашу в плечо.

— Мы за своего пашу головы сложим, — говорит. — Исполнить его приказ — святое дело.

Раздал нам шейх Махмуд из торбы золото.

— Братья! — кричит. — Не вернемся домой, пока в живых останется хоть один смутьян!

— Не вернемся, ага! — грянули мы как один.

На другой день пленные были уже в Диярбекире. После узнали мы, что был там грозный суд над шейхами, беками, над их пособниками за то, что против закона голову подняли. Вынес тот суд фирман — всех повесить. Нашлась работа для палачей Диярбекира и Элязиза. Закачались тела на веревках, смазанных жиром, а меж ними — и мой бек, что три года рыскал за мной по горам неотступно, как за кровным врагом, и Сорик-ага, чей сын-душегуб разорил всю округу.

А мы еще, считай, полгода лазали по горам, по ущельям, остатки их армии добивали. Кого вешали, кого в речках топили.

Не оставили в горах ни одного из войска врага. Тут вышел нам приказ: разойтись всем по домам. С поднятым знаменем пустились мы в обратный путь. Было у меня зашито в поясе триста желтеньких лир, да в торбе больше тысячи меджидие¹. Пересчитал я деньги — богач стал. Ага, да и только!

Еду, прикидываю. Куплю в Муше на базаре овец, коров, лошадей, мулов, арендую у шейхов пастбище. Выстрою дворец для моей Кеви. Валлахи², выстрою, не пожалею! Сколько времени прошло, сколько воды утекло с той поры, как мы расстались с ней! Второе дитя уж, поди, выросло. Кто же у нас родился? Может, девочка — газель с черными глазами, а может, парнишка — такой же смугляк, как и я... Да кто бы ни был, дитя кровное дороже всего на свете.

Будет у нас свое стадо. Летом будем откочевывать на горное пастбище, зимой в долину спускаться. Вай-вай! Будут все про бекову дочку Кеви говорить: «Жена Джано-аги».

Думать — думаю, а сам еще пуше коня пришпориваю. Весь путь вместо десяти дней за три дня покрыл. И конь уж чувствует — дом близко. Не скачет, птицей летит по горам.

¹ Меджидие — серебряная монета, имевшая хождение в Турции до установления республики, достоинством примерно в двадцать курушей.

² Валлахи — ей-богу (турец.).

Вхожу в дом шейха Махмуда. Говорят мне: пропала Кеви. Заходила земля у меня под ногами.

Ушла, сказывают, Кеви из дома неведомо куда еще до родов. Искали ее всюду — не нашли. Что стало с ней, родила ли она, никто не знает. Нашли только в горах ее шаровары из тонкого шелка.

С той поры как уехал я воевать, все плакала Кеви да пела одну песню:

Ах! Меня забыл милый мой,
Сердце мне разбил милый мой,
Некому теперь верить мне,
Коли изменил милый мой!

От слез исхудала, почернела вся. Видать, волки разорвали в горах ее и младенца.

Шейх Махмуд все уговаривал меня остаться у него. Сулил стадо да пастбище пожаловать, свою дочку мне в жены отдать.

— Да продлится твоя жизнь, да умножится твое богатство,— говорю.— А мне теперь не в радость ни тучные стада, ни сытная еда. Отпусти ты меня в горы. Повешу я горе свое серым волкам, диким орлам.

Обнял меня шейх Махмуд со слезами на глазах и говорит:

— Поезжай, Джано! Развей-расплескай тоску по лесам, по горам, по гремучим ручьям! Помни одно: дом мой всегда открыт для братьев-джигитов.

Поцеловал я руку шейху Махмуду, обнялся крепко с названными братьями, в седло вскочил, Джемо позади себя усадил — только меня и видели.

Месяц за месяцем кружил я по горам, все Кеви звал. Не отозвалась мне луноликая. Прискакал к ее матери: не там ли моя Кеви? Вместо дома одни обломки. Вернулся в свои края усталый, разбитый вконец.

В этих местах, где душа ее бродит, я и решил поселиться. Нашел заброшенную мельницу от людей подальше и поселился на ней. Деньги свои — все, что было,— отдал сейидам¹, гадальщикам, знахарям. Может, и разыщется след Кеви.

¹ Сейиды — люди, причисляющие себя к потомкам пророка Мухаммеда. Почитаются среди мусульман как святые.

Закрутит ночью метель, а мне чудится: то не ветер воет, то Кеви моя плачет, песню свою поет. Вскочу на коня и кружу по горам, пока от стужи все тело не одеревенеет...

Осталась у меня в жизни одна утеха — Джемо черноокая. Красотой она — мать вылитая. А как подросла дочка, лепетать стала, всем сердцем я к ней прирос. Берег пуще глаза. Сам не ел — ее кормил, сам не пил — ее поил. Не сиротой растил, львицей. Чтобы не уступала джигитам ни в силе, ни в храбрости, чтобы никто не мог ей руку в запястье согнуть.

Зимой, в стужу лютую, заставляю ее, бывало, бегом на гору взбираться. С нее пот градом катит, а я разобью снежный наст да и окунаю ее, горячую, прямо в снег. Так-то сталь закаляется! Конь ей был другом, ружье — игрушкой. Говорить умела, душа моя, с волками — по-волчьему, с птицами — по-птичьему.

В двенадцать лет Джемо умела на коне скакать, зверя дикого с собакой отслеживать, волков травить, стрелять в цель на полном скаку, и никто во всей округе не мог сравниться с ней в силе и ловкости.

Сверстницы ее, что росли при отцах-матерях, выглядели перед ней сучьями иссохшими. Джемо рядом с ними ярким цветком осенним цвела: кожа, как розовый лепесток, взгляд, как у лани горной, сердце, как у джигита, запястья крепче стали закаленной!

Смотрю я — дочка моя цветет, а на мою старую мельницу все новые мешки с зерном прибывают. Так и валят ко мне крестьяне. «Джано, — говорят, — справно мелет у тебя мельница! Мука что твоя хна получается!» А я слушаю их да посмеиваюсь. Знаю: на Джемо поглазеть ко мне таскаются.

Кто побогаче, кошель тугие с собой ташат, руку мне целуют. Один деньги, другой стада сулит, только продай им дочку.

Да ведь не для продажи я Джемо свою растил. На что мне эти деньги! С незапамятных времен, с той поры, как здесь горы стоят, заведено у нас продавать своих дочерей, и становятся они рабынями своих мужей на всю жизнь. Только народится девочка, а уж отец-мать ей тюрьму готовят. Нет, не бывать такому позору! Не станет Джемо покорной рабыней! И задумал...

мал я: отдам свою львицу лишь такому джигиту, что превзойдет ее в силе да в ловкости.

Кто ни сунется ко мне с набитым кошельем — всем один ответ: «Не продается моя Джемо. Потерпи, брат. По первому снегу устроим состязания. Кто Джемо одолеет, тому ее и отдам».

Подъехал как-то раз ко мне Сорик-оглу, сын Сорики-аги, повешенного за то, что шел против Гази. О дочке речь завел. Как тут быть? Он и богат, он и родовит. Такой бедноте, как я, не след его грязью обливать. Не скажешь ему, кто, мол, тебе, вражьему сыну, дочь свою отдаст!

Нет, я обычаи здешние крепко знаю, лисой перед ним верчусь, ковром стелюсь, а сам свое гну:

— Шейх нам милость неслыханную оказывает, породниться с беднотой хочет. Да только я уже свое слово сказал, отступить не могу. Аллах один, у джигита слово одно. Не продается моя дочь. Кто хочет ее взять, пусть одолеет в единоборстве.

Хлестнул Сорик-оглу себя плеткой по сапогам.

— Что я слышу? — рычит. — Раб не хочет знаться с шейхом! Мы тебя уважили, за человека приняли, а ты поперек идешь? Да знал бы я раньше про твою спесь, подлая тварь, я и говорить с тобой не стал бы. Уладил бы все дело с твоим беком. Сын шейха Махмуда не станет из-за раба ссору заводить с Сориком-оглу.

— Покойный шейх Махмуд, — говорю, — нашими свадьбами не распоряжался и сыну своему заказал...

Не дослушал меня Сорик-оглу, огрел плетью лошадь.

— Пожалеешь, Джано, — кричит, — да поздно будет!

Хохотал я над ним, чуть пупок не сорвал. Какой ему, подлецу, белены в пироги подложили, уж и не знаю!

Проходит время. Разнеслась в народе молва, будто сын шейха Махмуда продает свои деревни.

Послал его шейх Махмуд в свое время в Стамбул на абуката учиться. Покойный как рассудил? Враги нам житья не дадут, изводить нас начнут. А ну как дойдет дело до суда? На чужого крючкотвора надеж-

ды плохи, продаст с потрохами. Тут свой абукат нужен. Вот и послал шейх Махмуд сына учиться в Стамбул. Да поди ж ты! Сын его абукатом-то стал, а домой вернуться не захотел.

Придет, бывало, шейх Махмуд ко мне на мельницу. Хлопает себя руками по коленям, сокрушается:

— Упустили мы сына, Джано! Сгубили сына! Теперь не воротишь. Лизнула собака городскую кость — в деревню ее не заманишь.

В последний раз приехал ко мне туча тучей.

— Узнал я, Джано, — говорит, — он уж давно абукат. Живет в Стамбуле. Женился на какой-то вертушке.

Старику тогда под восемьдесят было. Подкосила его эта весть. Перед смертью все по сыну тосковал, да так и не пришлось ему сына повидать.

После смерти шейха Махмуда управляющий абукату отписал. Приезжай, мол, распорядись деревнями. Тот ему телеграмму шлет: «Продавай деревни, выезжаю».

Как-то утром пронеслась молва по деревне: абукат приехал!

Староста наш утром ко мне ввалился.

— Слыхал? — говорит. — Нашу деревню Сорикоглу покупает.

Я всполошился:

— Неужто в самом деле?

— Валлахи! Пойдем к нашему хозяину, поцелуем перед ним землю, поднесем ему подарки, чтоб не позорил нас, не продавал врагу. Ага тебя уважает, глядишь, и послушает.

Всей деревней к аге пошли. Поцеловали ему руку, поднесли подарки. Абукат и впрямь совсем османцем заделался! Одет, как Гази-паша, волосы длинные назад зачесал, разговор и тот изменил на османский лад. Выхожу я вперед:

— Прости меня, невежу темного, коли нескладно скажу, бек мой. Молва идет, будто собираешься ты погасить отцовский очаг, продать свои деревни. Ножом по сердцу полоснула нас эта весть. Скажи, бек мой, правда это или болтовня пустая?

Бек положил руку мне на плечо:

— Правда, Джано-ага. Что поделаешь, братьев у меня нет, некому здесь жить. Я привык к Стамбулу. Там моя работа, там мое гнездо. Слава аллаху, и Стамбул — наша родина. Но отсюда до Стамбула далеко. Некому вас здесь защитить будет. Вот и решил я найти для вас нового бека. Сорик-оглу хочет купить мои деревни. Управляющий с ним сторговался.

Бросился я ему руки целовать:

— Не делай этого, пощади, бек мой! Он, подлец, и ногтя твоего не стоит. Горит в душе его месть за отца. Вся деревня Карга Дюзю против него стояла. Когда разбойники шейха Саида гнездо твоего отца разоряли, наши джигиты его грудью защищали. Попадись мы в руки Сорику-оглу, он нас всех изведет. Не продавай нас этому извергу лютому. А коли продашь, лучше убей нас своей рукой, отдай ему наши трупы!

Смотрю — заблестели у бека глаза, проняло его. Тут я еще пуще разошелся.

— Послушай рабов своих, бек мой! — говорю. — Не гаси ты очаг отца своего. Оставь хоть одну деревню, порадуешь душу покойного. Уж больно он сокрушался, что послал тебя в дальние края. Пока теплится огонь в его очаге, костям его в могиле будет покойно. Оставь себе нашу деревню, Карга Дюзю, а мы, рабы твои, будем день и ночь работать, богатство твое умножать, тебе деньги посылать. Молодых парней разошлем на приработки.

Разжалобился наш бек-абукат.

— Жгут мое сердце твои слова, Джано-ага, — говорит. — Не знал я ничего. Спасибо, что предупредил меня. Даю вам слово, не буду я продавать деревню Карга Дюзю и мельницу. А вы держитесь друг за друга крепко, не давайте погаснуть отцовскому очагу. Я же при случае буду к вам наезжать, чтобы с вами повидаться, праху отца поклониться.

Бросились мы в ноги беку своему, слезы льем от радости.

— Благодарствуй, бек наш! Да пошлет всевышний тебе долгие дни! Пусть камни в руках твоих станут золотом!

Говорим, а сами к выходу пятимся.

Возвращался я домой с легким сердцем. Захожу к себе на мельницу, встречает меня Джемо, бледная как смерть, глаза горят — угли раскаленные. Оказывается, во время моей отлучки Сорик-оглу, пакостная тварь, на мельницу налет сделал, Джемо украсть хотел. Да не зря я вскормил ее на козьем молоке. Выскочила моя горная козочка за дверь, запрыгала по камням. Где им за ней угнаться! Так и спаслась, не далась в руки погубителю.

Как услышал я ее рассказ — кровь бросилась мне в голову. Видать, давно я ружья в руки не брал, разбойников не пугал! Схватил ружье, вскочил в седло, посадил Джемо позади себя и помчался, как ветер.

У кибитки Сорики-оглу осадил коня, ору во всю глотку у людей на виду:

— Эй, Сорик-оглу! От какого дерьма у тебя в башке мозги помутились?

Выходит он с абрикосом в руках. Абрикос кусает, зубы скалит:

— Что за беда? Попугали твою лань, да и только!

— А ты, сукин сын, кто таков,— говорю,— чтобы мою лань пугать? Или тебе неведомо, что я и не таким, как ты, руки веревкой скручивал?

Загорелись у него глаза.

— Дай тебе волю,— шипит,— ты бы отца моего своими руками повесил.

— Что ж,— говорю,— отца твоего не я, другие люди вешали, а с тобой, поганью, я сам разделаюсь. Посмей только хоть раз прикоснуться к моей лани! Посмей только нарушить законы Гази-паши! А коли ты в самом деле джигит, а не мешок, набитый деньгами, выходи по первому снегу на состязание!

Сорик-оглу руки на груди сложил.

— Это уж мы сами посмотрим,— говорит,— что нам делать. Скоро и ты, и дочь твоя, и вся ваша деревня — все моими рабами станете. Ваш бек-абукат османцем стал, бросил вас, мне продает.

— Брешешь,— говорю,— наш бек — благородный человек. Он нас не продаст.

Рассвирепел Сорик-оглу, слюной брызжет:

— А вот возьмет да и продаст! Его товар, хочет —

продаст, хочет — так отдаст. Думаешь, у тебя спросит?

Тут меня прорвало:

— Нам и думать нечего. Это ты думай, да не просчитайся. Ты, кровопийца, сына шейха Махмуда с собой равняешь. Врешь, не такой он человек. Ты замахнулся все его деревни к рукам прибрать, очаг шейха Махмуда разорить. Врешь, не быть по-твоему, не отыграться тебе на нас. Не продаст наш бек ни деревню Карга Дюзю, ни мельницу!

У Сорики-оглу всю рожу перекосило.

— От такой мрази, как ваш бек, всего можно ждать. Он и от слова своего откажется. Но я от своего не отступлюсь. Вот тебе мое слово: будет твоя дочь моей! Попрешь против меня — потом пеняй на себя. Обрушу твою мельницу тебе на голову! Так и знай!

Рассмешил он меня. Заготовал я так, что по горам гром прокатился, а потом и говорю ему:

— Эй, Сорик-оглу! Не жди, чтобы Джано перед тобой струхнул. Не было такого и не будет. Ты, видать, плохо знаешь, кто такой Джано. Так я тебе покажу.

Передал я поводья дочке, спрыгнул с коня. Выхватил из рук Сорики-оглу абрикос, бросил Джемю, говорю ей:

— Скачи вон на ту вершину, положи себе на голову абрикос и жди. Пусть увидят, что такое джигит.

Поскакала Джемю на вершину, положила себе на голову абрикос, выпрямилась в седле, смотрит на меня ясными глазами.

Народ затаил дух. Сорик-оглу ус кусает.

Взял я ружье двумя руками, встал к Джемю спиной. Ноги расставил пошире, назад перегнулся, прицелился — бах! Абрикос на голове Джемю вдребезги разлетелся.

Тронула Джемю поводья, подъехала ко мне. Вскочил я в седло, глянул на Сорики-оглу — тот ус закусил, глаза бегают — ни слова ему не сказал, пустил коня вскачь.

С тех пор присмирел Сорик-оглу, про Джемю не заикался.

Разлетелась весть по всей округе, как я учил Сори́ка-оглу уму-разуму. По-разному народ толковал. В нашей деревне гордились: не посрамил наш Джано звание джигита! Люди из других деревень стали поглядывать на меня с опаской: не разозлил бы я Сори́ка-оглу да не навлек его гнев на их головы. Тут я и смекнул: из тех деревень женихов нам ждать нечего. А джигиты из нашей деревни давно уж готовились к состязанию, первого снега поджидали.

И мы с дочкой сложа руки не сидели. Стал я откармливать и Джемю и верного пса своего по кличке Черный Волк. Налью ему в медное ведро́кмо́лока до краев, крошу туда хлеба да еще кость баранью рядом положу. После такого корма стал Черный Волк злее брехать на чужих. Оскалит зубы,— острые, гладкие, не зубы, а кинжалы наточенные! — схватит ими свою цепь и давай ее грызть да рвать, по полу катать.

Стали мы с Джемю в горы уезжать, стал я ее приемам борьбы учить.

Дубинкой она крутила — любо посмотреть. Хватка у нее железная, сама ловкая да изворотливая, наступает на меня, только держись! Показал я ей, как дубинку у противника из рук выбивать. Так она, душа моя, загоняла меня, старика, совсем, вышибает у меня дубинку из рук, и все тут.

Не зря я ее этим приемам обучал. Была у меня своя тайная дума. Знал я: не полюбит Джемю джигита — не покорится ему. Знал это, потому и за деньги ее не продавал. Вот и затеял я эти состязания, пусть сама себе жениха выбирает! Да так ее обучил, чтобы смогла постоять за себя перед всяким, к кому не лежит ее душа.

Пожелай я ее продать, давно бы уже богате́ем стал. Один старик сулил за нее меня золотом осыпать. Да только купленная невеста — все равно что купленный скот. Знай молчи да терпи. Нет, какой я отец, если отдам свою дочку единственную в рабство на всю жизнь!

Ой, женщины наши, девушки наши! Тяжкая доля вам выпала! Кто еще столько мук принимает, кто еще столько слез проливает, как вы, безответные!

Девочка только девяти лет от роду, она еще во дворе играет, белое от черного не отличает, а уж ее, несмышленную, хватают, на голову свадебный убор надевают. Не успела оглянуться, а она уже жена, мать, раба. Ее в доме мужа не хлебом, палками кормят. Муж бьет, мать мужа бьет, сестры мужа бьют, братья мужа бьют, бьют все, кому не лень. Еда не сварена, поле не убрано — за все она одна в ответе. Много рождает — бьют, мало рождает — бьют. Бесплодная — лучше бы совсем на свет не появлялась. Приласкает свое дитя — виновата, откроет рот, скажет слово — виновата. Кругом она виновата. Не выдержит, в отцовский дом сбежит, там ее отец с матерью прибьют да обратно пошлют. Вернется в дом мужа — тут уж на ней за все отыграются.

Намается бедная за свой век — в тридцать лет уже старуха. А другая не вынесет такой жизни, ей один путь — в реку вниз головой!

Ой, наши невесты — пальцы, крашенные хной! Ой, наши жены — горемыки!

* * *

Лето прошло, осень пролетела. Затихла песня мельничного колеса. Закуталась в туманы гора Супхан. Закрутили снежные вихри на ее вершине, завывали волками, поползли с горы вниз синими языками, проглотили нашу деревушку. Три дня плясала метель — в двух шагах ни зги не видать. Три дня стоном-плачем вторило ей эхо в горах. На четвертый день утром просыпаюсь — тишь, все кругом белым-бело. Вот и подошел срок выдавать Джемо.

Сжалось тут у меня сердце, слезы из глаз покатились. А что поделаешь? Не нами заведено, не нам отменять. Не для себя растим своих дочек. Так уж повелось — придет женщина в чужой дом — сама под палками мучается и дочерей на муки отдает. Чудно, право...

Распахнул я дверь, выскочил во двор. Зачерпнул пригоршню снега — чистый, как хлопок, — прижал к груди, чтоб пожар в ней унять. Потом все тело снегом растер, оделся, кушаком опоясался. Ружье — за пле-

чи: на случай, если подвернется Сорик-оглу. Кликнул Джемо, а она уже давно на ногах.

— Собирайся,— говорю,— повезу тебя выдавать.

Ни слова не говоря, пошла, оделась. Смотрю — джигит хоть куда! Тело закутала в волчью шкуру, голову и шею обвязала шерстяным шарфом, руки до кисти обмотала войлоком.

— Готова, душа моя?

— Готова, бабо.

— Бьется сердечко?

— Нет,— мотает головой, сама смеется. Прижал я ее к груди, поцеловал в глаза.

— Свет очей моих,— говорю,— стой твердо! Одно-го хочу: чтобы досталась ты доброму джигиту, а коли не так выйдет — подохну от тоски.

Вывел я из хлева мула, оседлал. Джемо отвязала Черного Волка, надела ему ошейник, пес прямо ошалел от радости. Визжит, передними лапами на плечи ей становится, лицо и руки лижет. Чует, животина, запах битвы.

Бисмиллах! Пустились в путь. На подходе к деревне Черный Волк поднял морду, завыл, из пасти пар клубами — призывно эдак, вроде как боевой клич издал. Оскалился, красный язык вывалил, а сам так и рвет цепь из рук Джемо, в бой ему не терпится.

Народ весь из юрт высыпал. Добрались мы до площади. Я выпрямился в седле и ору во всю глотку:

— Эй, сукины дети! Полно вам на Джемо пялиться, окосеете! Джано своему слову верен. Не я ли говорил вам, чтобы готовились к состязанию по первому снегу? Вот мы и готовы. Будем ждать вас на верхней долине. Кто на свою силу надеется — забирай калым, дубинку, собаку и айда!

Прогорланил — и прочь из деревни, скрип-скрип по свежему снегу. Миновали деревню, оборотился я — народ что муравейник растревоженный. Все снуют гуда-сюда, собак отвязывают, руки войлоком обматывают, головы — тряпьем. Эх, молодость — кровь горячая!

Как подъехали мы к верхней долине, воронье с сосен снялось. Загалдело, закружило над долиной, потеху чует.

Спешился я, привязал мула к дереву, расстелил на снегу одеяло ворсистое, сиирдское. Сижу, чубуком попыхиваю, на игру Джемо с собакой поглядываю.

Тут и народ повалил. Впереди джигиты. Выступают гордо, собак на цепях ведут. Позади за каждым — родня всем скопом. От красных, зеленых, желтых минтанов¹, от белых кафтанов в глазах рябит. И всяк своего джигита подзуживает. В бой готовит. Выстроились джигиты под соснами, стали поодаль друг от друга, цепи себе на руки намотали, чтоб собаки не сцепились, а псы так и заливаются на всю округу.

Остальные вокруг меня сгрудились, каждый свое орет, своего джигита нахваливает. А кто побойчее, спор затевает.

Джемо посредине стоит. Одной рукой на дубинку оперлась, другой пса на цепи придерживает.

Из деревни Сорики-оглу — ни одной души. Одним глазком на бой глянуть — и то страх берет! И то правда, кому в голову взбредет становиться шейху своему поперек дороги? Раз ага глаз на девку положил, тут уж какой ни есть удалец, а отступится.

Из Карга Дюзю прибыло восемь джигитов, все сыновья моих братьев названных, все мне что дети родные. Глянул я на них — ой, соколы мои! За любого Джемо отдам! А один даже на месте устоять не может, рычит, от нетерпения дубинку в воздухе крутит.

Собрались все — вскочил я, выступил на середку. Приумолкли люди.

— Эй, джигиты! — кричу. — Ягнята резвые, моих друзей боевых сыны кровные! Все вы сердцу моему любы. Да только вас восемь, а дочка у меня одна. Поборитесь сперва между собой! Кто всех осилит, тому и Джемо достанется. Захочет она — схватится с ним, не захочет — так пойдет. Согласны?

— Согласны!

— А раз так, выходите на поле по двое.

Отвел я Джемо и ее пса в сторону, чтобы пес в драку не ввязался, а сам — от нее подальше. Пускай все видят, как она сама со зверюгой управляется!

¹ Минтан — верхняя одежда, жилет с рукавами.

Выходят удальцы на поле по двое, бьются жестоко, а народ ревет, улюлюкает, всяк своего за промашки честит.

— Уле, Хасо! Что хвост поджал, как пес? Крути дубинкой!

— Уле, Генджо! Чтоб тебе ослепнуть! Пошевеливайся! А то и Джемо потеряешь, и честь свою!

— Сам кусайся, коль собака твоя не кусается!

А собаки свое дело знают: рычат как бешеные, под ноги джигитам бросаются, норовят противнику в икру вцепиться, чтобы его, значит, с ног свалить. Рухнул на землю — выходи из игры. Тут для джигита первое дело — собаку дубинкой оглоушить, да не зазеваться, а то, пока ты собаку колотишь, сам получишь по шее дубинкой — и, прощай, невеста!

До полудня бились джигиты. У кого собака удерет с поля боя, другой, глядишь, сам корчится на земле, изо рта кровь хлещет, его за ноги в сторону отволкивают. Белый как хлопок снег красным стал. Народ от крика охрип. У Черного Волка от пота вся шерсть взмокла, изо рта — пена клоками.

Из восьми джигитов остался один — Кара Сеид. Двоих уложил молодец. Сердце у меня екнуло от радости. Всем взял Кара Сеид: и удалой, и скот у него водится, отец ему у шейхов пастбища арендует. Да, видать, не приглянулся он Джемо. Я это сразу раскусил. Как остался он один на поле, вижу, она палку в руках стиснула, брови сдвинула.

Вай, горе мне! А ну как он ее одолеет! Поведет ее тогда в свой дом насильно. Вай, пропала моя голова!

Поглядел я на Кара Сеида: ладно скроен, поступь твердая, сила в нем так и играет — того гляди, кафтан лопнет. И пес ему под стать — уши, хвост подрезаны, в глазах — блеск кровавый. Похлопал я Джемо по спине:

— Всевышний тебе в помощь, душа моя!

Джемо на руки поплевала, дубинку схватила, цепь укоротила — и на поле. Цепь позвякивает, а псина от радости весь заходится, вперед рвется.

Кара Сеид хватает свою дубинку, становится против Джемо и говорит:

— Джемо, лань горная! Ты ловкая, ты смелая, да

не устоять тебе против такого медведя, как я. Пожалей свое тело белое, не подставляй под удары, пожалей розы щек своих, мед губ своих,—убереги их от кровавых ран! Подойди ко мне, сдайся без боя, стань венцом на моей голове!

Полыхнули черным огнем глаза Джемо.

— Семь джигитов честно пролили кровь на этом поле. А ты хочешь, чтобы дочь Джано пошла на пятную, отступилась от слова своего? Ах ты, тварь! Уж не знаю, какая мать тебя родила! На поле боя хвостом вертишь, как сука. А еще мнишь себя медведем!.. Не для таких, как ты, розы щек моих, мед губ моих! А ну, защищайся!

Ай, джигит-девка! Ай, курбан! Заплакал я от радости, услышав такие ее слова. И народ вокруг зашумел.

— Хей, Джемо! Вздуй хорошенько этого наглеца! Подрежь ему хвост, собаке!

Науськала Джемо Черного Волка — и на противника! Тот на руки поплевал — мое дело, дескать, упредить! — и вперед. Черный Волк сразу цап бесхвостого пса за глотку! Вцепился в него мертвой хваткой. Кара Сеид смотрит — худо псу. Давай его отбивать, Черного Волка дубасить. Джемо меж тем изловчилась, бац по его дубинке — просвистала она на другой конец поля. Кара Сеид глаза выпучил, не моргнет. Видать, мозги у него враз набекрень съехали, про пса своего забыл. Ему бы на цепь налечь, оторвать бесхвостого от Черного Волка, а он стоит балда балдой, рот разинул. Пес сам с грехом пополам вырвался из зубов нашей зверины — и наутек. Воеет истошно, а Джемо ему вслед еще своей цепью громыхает.

Повеселела родня побежденных джигитов, загаладела, как воронье.

— Ай, джигит Джемо! Ай, курбан! Проучи его, чтоб впредь неповадно было!

Подняла Джемо дубинку, над головой держит. Глаза черным пламенем полыхают.

— Ну, Кара Сеид,—говорит,—раскусил ты теперь, кто джигит, кто газель? Сдавайся по-хорошему. Домой сам пойдешь. Не сдашься — понесут тебя!

Заходила толпа ходуном:

— Не жалей его, Джемо! Будет пощады про-
сить — все равно не щади. Покажи, чего он стоит!

Утер Кара Сеид пот со лба и говорит:

— Умру, а без боя не сдамся!

Опустила Джемо дубинку.

— Ладно, иди за своей дубинкой. Сражайся, как
мужчина!

И пошла играть с ним, ровно кошка с мышью. То
дубинку у него из рук выбьет, то ударами засыплет.
Загоняла его вконец. Напоследок саданула ему с раз-
маху по шее — свалился парень. Оттащили его в сто-
рону. Ай, джигит-девка! Ай, курбан! Подбегаю я к
ней, в лоб целую. Толпа ревет на всю округу. И Чер-
ный Волк визжит от радости, Джемо руки лижет.

Вижу — народ расходиться хочет. Разъярился я.

— Что же вы, сукины дети, — ору, — про свою
мужскую честь забыли? Девку от земли не видать, а
вы ее одолеть не можете, неужто ей теперь без мужа
остаться?

Молчат, зубы стиснули. Только сопение слышно.
Ударил я кулачищами себя в грудь, еще пуще заорал:

— Тю! Жалкие твари! Нет средь вас ни одного
джигита!

Тихо стало. Горы вдали мой голос перекаывают.
И вдруг слышу — конь заржал в лесу, волк зарычал.

— Есть, Джано-ага!

Все головы повернули. Смотрим — выезжает из ле-
са Мемо, мастер по литью колокольчиков. За ним на
цепи волчица тащится.

Славный джигит Мемо, добрый мастер. Колоколь-
цами своими на всю округу славится. Все его добром
поминают: и в горных деревнях, и в степных, и кто
побогаче, и бедняки. Всем готов услужить. Кликни
только — он тут как тут. А уж петь возьмется да на
сазе подыгрывать — всю душу тебе наизнанку вывер-
нет. Не одну девку засушил на корню, а сам ни на ко-
го и не глядит. Одно слово — ашуг.

Подъезжает к нам Мемо, одним прыжком с коня —
скок! Волчицу огрел цепью, чтоб попусту не скали-
лась да не рычала, и к нам подходит. Ай, джигит!
Глаз не оторвешь! Волчица и та перед ним хвост под-
жимает, словно псина.

Да что говорить! Сердце у меня екнуло от радости, как показался Мемо со своей волчицей. Враз смекнул я: не отдавать Джемо невесть куда, невесть кому, своему достанется. Да и как не смекнуть! Уставилась она на него, глядит, не моргая, а в глазах-то страх застыл! Э-э-э, думаю, девичий страх — добрый знак. Ай да Мемо, ай да удалец!

Обступили крестьяне Мемо. Всяк ему ласковое слово норовит вставить. А я на радостях трубой затрубил, всех перекрыл.

— Мемо! Где же ты, сукин сын, пропадал до сих пор? Где тебя носило?

— Не знал я про то, что Джемо сегодня продается. Как узнал — мигом прискакал. Во весь опор гнал, упустить боялся.

— И не совестно тебе на такую девку с волчицей нападать?

— Без нее мне твою волчицу не одолеть. Будь она ягненком, я бы с нее пылинки сдувал, из своих рук изюмом кормил.

А народ уж Джемо подзуживает:

— Эй, Джемо, покажи ему, чтоб помнил Карга Дюзю!

— Чтоб помянул тот час, когда на свет родился!

— Ты его только дубинкой погладь, а уж мы за ноги оттащим!

Гляжу я на нее — рука, что цепь держит, задрожала. И сама вся словно как осела. Черный Волк меж тем уши наострил, смотрит на волчицу, облизывается. Выводит Мемо свою волчицу на поле. Дубинку в руке держит крепко. Увидала волчица нашу зверюгу, — красавец пес, черная шерсть с отливом! — так и оскалилась, так и заурчала, глазищи огнями зелеными засветились.

А Джемо все стоит, не шелохнется. Мемо тихо эдак к ней подходит, а она словно как во сне.

Тут народ всполошился.

— Эй, Джемо! Что стоишь, шевелись!

Она и не слышит. Как подменили девку. Тогда народ стал Черного Волка натравливать.

— А ну, Черный Волк, ату его, ату!

Пес вроде бы понял, что ему орут. Забрехал, стал

задними лапами снег рыть, стал к волчице подступать. Я-то сразу смекнул: не будет он драться, самец в нем проснулся. Волчица хвост поджала, съежилась вся, словно почуяла — никто за нее не стоит, все за Черного Волка.

Впился парень глазами в Джемо — не глаза, а две молнии. И она на него смотрит, да так, словно пощады просит, словно убежать от него силится, да не может.

Тут улыбнулся джигит — ясно, чья взяла. Черный Волк меж тем давай вокруг волчицы крутить! Обнюхивает ее, облизывает, хвостом виляет. И она как почуяла — не будет он ее задирать, — успокоилась, пасть закрыла, стоит, урчит. Да и народ притих, пса науськивать перестал — какой толк?

Глянул я на Джемо — румянец ей щеки заливает, губы опять зацвели ярким цветком гранатовым, в глазах уж не страх, любовь светится!

Стоят эдак оба друг против друга, им и невдомек, что цепи у них из рук выскользнули. Почуяла волчица свободу, в лес припустила. Бежит, на ходу то и дело морду оборачивает, Черного Волка, зная, за собой кличет. А его и звать не надо. Он за ней по пятам мчится.

Мемо и Джемо поглядели им вслед, потом друг на друга, улыбнулись, побросали на землю свои дубинки. Взял ее Мемо за запястья, подвел к своей лошади. Лошадь заржала радостно. Смотрю — Джемо повинуется джигиту с охотой.

Вскакивает он на лошадь, Джемо за спину сажает. Ай, курбан! Ну, как не вспомнить мне тут про Кевимою, про то, как я ее умыкал. Приникла она тогда к спине моей, ну точь-в-точь как Джемо сейчас к своему жениху. Стою, гляжу на них, слез не удержать.

Выхватывает тут Мемо из-за пазухи кошель с деньгами, мне под ноги бросает. Кошель упал, в снег зарылся.

— Плачу калым сполна, Джано! Благослови нас!

— Благословляю, курбан!

Ударил Мемо коня каблуками в бока — взвился конь и птицей по горам. Мы все только рты раскрыли да так и остались стоять с разинутыми ртами.

РАССКАЗЫВАЕТ МАСТЕР ПО ЛИТЬЮ ЗВОНКИХ КОЛОКОЛЬЧИКОВ МЕМО

Я муж Джемo. Мемо меня звать. Нет такого человека ни в Муше, ни в Битлисе, ни в Чапакчуре, ни в степных деревнях, ни в горных, чтобы не знал, кто такой Мемо. Не сыщешь другого мастера в нашей округе, чтобы отливал такие звонкие колокольчики, как я. Не счесть овец в наших отарах, коров в наших стадах, и у каждой животины на шее гремит колокольчик моей работы — и каждый колокольчик поет на свой лад.

Ой вы, мои колокольчики! Звените вы — песню складываете, звените вы — сказку рассказываете. Заплачете вы — горы с вами заплачут, засмеетесь вы — доли с вами запляшут.

Навьючу, бывало, на мула наперевес два тюка, полных колокольчиков звонких, поеду на яйлу продавать — от богачей отбоя нет.

— Эй, Мемо! Эй, курбан! Подари радость нашим оба!¹ Продай нам свои колокольчики!

В гости к себе зазовут, неделями не отпускают. Не знают, куда посадить, чем угостить. Козленка режут, угощают. А все ради песен моих.

Ой, бабо! Нет таких песен в нашем краю, чтобы я не знал! Я и сам их пою, и на сазе играю, и на зурне. Саз у меня — только тронь струны пальцами — запоет, зазвенит на тысячу голосов, что твои колокольчики. Поди попробуй устоять! Тут и стар и млад, — все в пляс пускаются. А как зурну возьму, протяжную затяну — хей, бабо! — вся душа твоя так пламенем и займется да тут же в пепел рассыплется. Будь ты хоть овцой бесчувственной, и то не выдержишь, заплачешь.

Дядя меня этому мастерству обучил. Не простой это был человек, всем джигитам джигит, всем ашугам ашуг. На коне скакать — лучше его нет. Летящую птицу бьет без промаха. Рука у него стальная — никто ее в запястье не согнул. Такому удалцу бы толь-

¹ Оба́ — курдская община. Для современной курдской общины характерны утрата кочевого образа жизни и ослабление родоплеменных отношений.

ко по горам свистать-озоровать, только он в жизни ни разу на разбой не вышел, ни одного каравана не разорил.

Посадит, бывало, меня к себе на колени и приговаривает:

— Говорят у нас, будто рабу, чтобы разбогатеть, надобно в горы на разбой податься. Не верь этой брехне, Мемо. Кто грабежом живет, тому в колокольчик живо травы напихают. А ты, душа моя, надейся только на руки да на голову. Если ремесло свое крепко знаешь, тебе уже вовек рабом не бывать да и себе рабов не добывать. Ремесло в руках — оно и есть настоящее-то богатство. Не поддавайся на уговоры, Мемо, будь сам себе ага.

Слова его с делом не расходились. Руки у него золотые были, а голос серебряный. Для шейхов, для беков делал кинжалы булатные. Из оленьего рога, из черного дерева рукоятки вытачивал — любо посмотреть. Для невест из золота, серебра украшения к головным уборам, серьги, ожерелья, ножные браслеты из его рук выходили, да такие, каких во всем белом свете не сыщешь.

Как свадьба где, выйдут пехливаны бороться — тут он первый, всех на лопатки уложит. Ашуги выйдут на состязание — он тут как тут, саз его заливаётся, будто соловей в нем сидит.

Девяти лет от роду остался я сиротой.. Бандиты меня отца-матери лишили. Когда поднялись шейхи против Кемаля-паши, бросил он такой клич: «Я поднимаю боевое знамя, чтобы проучить Кемаля-пашу и всех османцев. Они надругались над исламом, сослали халифа в край гяуров. Эй, мусульмане! Собирайтесь все под мое знамя!»

А у наших крестьян еще память свежа, как османцы делились с нами и кровом, и последним куском, когда гнала их с насиженных мест на запад русская армия¹. Выходит, люди к тебе с открытым сердцем.

¹ Речь идет о наступательных операциях царской русской армии во время первой мировой войны, в которой Османская империя выступала на стороне Тройственного союза, а царская Россия — на стороне Антанты.

а ты на них с ружьем, и все из-за страха? Какой ты после этого человек, какой мужчина? Послали наши врагу свой ответ: не будет нас под твоим знаменем. Разъярился главарь, выбрал ночь потемнее, налетел на нашу деревню, перерезал всех до единого.

Та ночь до сих пор в моей памяти... От снега все белым-бело... Вечеру подморозило. Луна вышла. Вдруг рядом выстрелы загревели. Отец и говорит мне:

— Полезай в солому, Мемо, схоронись!

Зарылся я в солому, а мать с отцом стали отбиваться. Было у нас два «мартина»¹. Пока отец из одного стреляет, мать другое заряжает. Слышу — все во дворе затрещало, загудело. Напугался я, сознание потерял. Очнулся оттого, что задохаться стал. Вижу — все кругом в дыму, а снизу меня жаром обдаёт. Выбрался я из соломы, выхожу во двор — сердце остановилось. Отец и мать лежат в луже крови. Весь дом пламенем полыхает. Знать, налетчики подожгли солому и ушли, а меня не увидели, а то бы прирезали, как овцу.

Схватил я отцовское ружье и помчался куда глаза глядят. Бегу, через трупы изувеченные перескакиваю. Во всей деревне ни одной живой души. Тихо кругом, только вдаль волки завывают. Бросился я в дубовую рощу неподалеку от деревни. Волков я тогда не так боялся, как бандитов.

Два дня бродил по лесу. Голодный, от холода закованел весь, из глаз — слезы ручьем.

Что делать, куда податься? Из всей родни остался у меня один дядя. Решил я к нему пробираться. Как деревня его называлась, я помнил, а дороги туда не знал. Попался мне в лесу одичавший мул. Оседлал я его, поехал дядю искать. Еду, у людей спрашиваю, по горам петляю. Изрядно я этак покрутился, а дядю все же разыскал. Прижал он меня к груди, как сына родного... У него я и вырос. Жен у него много сменилось, а детей так аллах и не послал. Бывало, скажет мне:

— Я красоту люблю, Мемо. У нее нет конца. Как

¹ «Мартин» — старинное однозарядное ружье.



повстречаюсь с красотой — душу за нее отдать готов, жизнь положить!

Так и жил: заплатит за девушку сто золотых монет, возьмет к себе в дом, а через два года уж обратно к отцу отсылает.

Все свое мастерство передал мне дядя без утайки. Как латунь плавить, чтобы потом струной звенела, как отливать колокольчики, чтобы гремели с подголосками. У него я и на сазе играть обучился, и на зурне, и тому, как во время борьбы противника покрепче ухватить, и тому, как в мишень стрелять, и тому, как волков в горах травить.

Учит меня и приговаривает:

— Уж коли стал моим учеником, Мемо, будь сильнее всех, ловчее всех, искуснее всех. Прицелился — попади, схватил — не упусти. Глянул врагу в глаза — страху нагнал, глянул другу в глаза — сердце в плен забрал. Бедных защищай, богатым не угождай!

И всякий раз он разбой корил. Сел как-то раз на камень, что в народе «бородачом» прозвали, и говорит:

— А знаешь ли, Мемо, эти два камня, что стоят по обе стороны горной дороги, когда-то людьми были. И были люди те страшные разбойники. Выйдут на дорогу и грабят добрых людей, деньги отымают. У кого денег нет, того убивают. Чисто звери были, никого не щадили. Что хаджи¹, что ходжа² — все для них едино было. Как-то раз заступили они путь одному бедному страннику, что после хаджа³ домой возвращался. «Давай деньги!» — «Нет у меня денег, я домой иду из страны Мухаммеда и Али. Путь далекий, притомился я, отпустите меня с миром», — отвечает им хаджи. Разъярились разбойники. Один кричит другому: «Хватай его за бороду и кончай с ним!» Понял старец, что пришел его смертный час, и говорит: «О творец милосердный, обрати этих душегубов в камни!» Всевышний внял его мольбе и тут же их в камни оборотил.

¹ Х а д ж и — мусульманин, совершивший паломничество в Мекку.

² Х о д ж а — окончивший медресе, мулла.

³ Х а д ж — паломничество в Мекку.

Хей, славный был джигит дядя мой! Не было для него порока позорней трусости. Любил он повторять: «Смелый умирает один раз, трусливый — каждый час». Чтобы я ладным да крепким рос, сил своих не жалел. Бывало, часами со мной возится, показывает, как противника под себя подмять, как на лопатки положить. В горах метель всю гуляет, а мы с ним на коней — и в горы, волков травить.

Лихая это забава — волков травить! Послушаешь, откуда вой волчий несется, подскачешь поближе к стае да, чтобы страху на зверей нагнать, парочку из них тут же на месте и уложишь. Остальные ошалеют — и врассыпную. Тут ты одного облюбует, и давай его гнать что есть мочи! Главное — не отставать, не давать ему роздыху. Бежит зверь, а сам все оглядывается, есть ли погоня. Морозный ветер ему прямо в шею бьет, ее уже не разогнуть. Смотришь — скособочился волк, из сил выбивается. Тут ты ему — аркан на шею и волочишь в деревню. У нас этих пленников потом с собаками стравливают, собак драться учат. Дядя мой говаривал: «Если собака с волком дралась, считай, джигитом стала».

Эх, славный был джигит, редкостный был ашуг дядя мой!

Как восемнадцать мне стукнуло, позвал меня к себе и говорит:

— Ну, Мемо, ты парень молодой, ухватистый. Теперь, поди, половчее меня будешь. В одном курятнике двум петухам не петь. Поначалу в подмастерьях у меня походишь, а там уже сам хватай свою судьбу за хвост. Что из миски своей хлебать будешь да с кем хлебать, сам кумекай. Станешь литейщиком в Бингеле, Чапакчуре и Дерсиме. Тамошних деревень тебе на прокорм с лихвой хватит. Стараться будешь — беком заживешь. А я возьму себе Муш, Битлис, Сиирд. Протянет границей меж нами река Мурат. Как помру, все здешние места твои будут. Покуда я жив, на мои деревни глаз не клади.

Отвез меня в город, одежонку мне новую справил и полный прибор для литья. Домой приехали.

— Бери, — говорит, — себе образцы и формы, какие душа пожелает!

Выбрал я себе формы. Дал он мне еще короб для продажи товара и мула. Зашил в пояс золото и говорит:

— Это тебе на черный день. Раньше времени не трожь.

Снял свой кинжал — рукоять оленьим рогом отделана, — мне подает.

— Знаю, — говорит. — Давно поглядываешь на него. Теперь он твой, курбан.

Обнял я его, в плечо поцеловал.

— Ты мне мастерство свое передал, дядюшка, — говорю. — Я за это твой вечный должник. А кинжал пусть у тебя останется.

— Бери, бери, — говорит, — ты только в лета входишь. Он тебе еще сгодится. В жизни всяко бывает.

Погрузил на мула мою поклажу, проводил меня до реки Мурат, по дороге все наставлял, учил уму-разуму. На мосту обнял, поцеловал. Тут я впервой у него на глазах слезы увидал.

— С дорогим человеком расставаться — все одно как от сердца кусок отрывать. Буду ждать тебя, курбан. Как случай подвернется, так и заезжай. Да пусть черноокие газели из Дерсима тебе память-то не отшибают! И от шейхов подальше держись. Что они ни посулят, не верь их брехне. Они спят и видят, как нас с османцами сравить. А ты помни всегда: мы — одной матери дети. Шах Сулейман¹, что утонул при переходе через реку Мурат, прадед наш общий. От него и турки пошли, и мы, горцы. От вражды с османцами пользы никакой, вред один. А шейхи нас на османцев неспроста натравливают. Гази-паша им поперек глотки встал. «Пусть сбудется повеленье аллаха! — говорит. — Он всех людьми сотворил: и рабов и хозяев. Нету меж ними разницы!» И нынче, скажу я тебе, сынок, беспокойна моя душа. Шейхи из Дерсима того гляди бунт подымут. Случится что — не встревай ты в грязное дело. И другим закажи. Не наша это забота.

¹ Шах Сулейман — имеется в виду султан Сулейман (правил в конце XI века), основатель централизованного государства Сельджукидов в Анатолии, который сохранился в народной памяти как объединитель кочевых племен, идеальный правитель.

пусть грызутся, кому охота. Худо будет — весть мне пошли, я тебя в беде не брошу. Ну, будь здоров!

Пока я на ту сторону реки перебирался, он все стоял, смотрел на меня. Потом махнул рукой, повернулся и пошел.

* * *

Два года прошло. Дядю повстречать так и не довелось. Стал я бродить по горным оба, по нижним деревням. То песню протяжную затяну, то на зурне заиграю, то саз свой плакать заставлю — все на душе отрадней.

Зазвенели у скотины на шеях колокольчики моего отлива. Запели-засмеялись луга и долины, подхватили мою песню. Полетела громкая слава впереди мастера Мемо, распахнула перед ним все двери. Джигиты да ашуги стали меня похваливать, красавицы газеле-окие — в мою стороны поглядывать. Вольготно катилась моя жизнь, пока я себе лоб об скалу не расшиб. А дело было вот как.

Повстречал я как-то раз девушку с глазами чернее угля. Была она дочкой шейха. Сенем ее звали. Во всем Дерсима не было розы прекрасней ее. У молодых парней от одного ее имени дух перехватывало. А в пятнадцать так расцвела, что Ширин да Аслы¹ ей и воду на руки поливать не годились. И я против той красоты не устоял. Как увидел — озноб меня затряс.

Весна была. Ехал я на муле в одну оба с готовыми заказами. Бубенцы в сундучке позвякивают, а я под ту музыку песню складываю:

У дороги, у ручья
Сад большой увидел я,
Сорву яблочко для милой,
Ешь, желанная моя!
Сколько снега навалило, вай!
Меня мать не оженала, вай!

Доехал до речки. Дай, думаю, мула напою. Спустился, разнуздав животину, посвистал малость. Подошел мул к реке. Пьет — словно насосом в себя воду

¹ Ширин и Аслы — героини народных сказаний, славились своей красотой.

втягивает. Смотрю на него, завидки меня взяли, захотелось самому студеной водицей побаловаться. Нагнулся я, а оттуда на меня сама красота глядит. Вскинул голову и застыл на месте. Вижу — сидит на скале пери, в руках черного ягненка держит. Покрывало на лбу монетами украшено, по ветру развевается. А лицо, над черным ягненком склоненное, белее снега, так солнцем и сияет.

— Постарался всевышний, — говорю, — эдакую красоту сотворил. Об одном молю творца: чтоб не послал тебе судьбу черную, как твой ягненок.

Завернулась она в покрывало, одни глаза-угли горят.

— С чего это дочке шейха черной судьбы бояться?

— Значит, ты и есть Сенем, дочка шейха?

— Я, а тебе что?

— Ничего, — говорю. — Я думал, ты пери. Испугался: заколдуешь меня. А то мне невдомек, что уже заколдован я. Один твой взгляд мне все сердце испепелил. Да уж не я первый, не я последний.

Рассыпала она свой звонкий смех под покрывалом.

— Не про мои глаза ты в своих песнях поешь?

Не дожидаясь ответа, вскочила она на ноги, подходит ко мне.

— Ну-ка скажи, найдется у тебя ошейник с бубенчиком для моего ягненка?

— Ах, жестокая, — говорю, — ты только и знаешь, что для нас, твоих баранов, ошейники готовить. Мало тебе аркана твоих глаз?

Открываю перед ней свой дорожный сундук.

— Выбирай.

Склонилась она над ошейниками, глаза у нее разбежались. Подошел я сзади и обнял ее вместе с ягненком. Она давай отбиваться!

— Что еще выдумал!

— Помилуй, не все мне в путях ходить. Побудь и ты разок в моих путях.

— Да если кто отцу скажет, он тебя в живых не оставит!

— Зачем так круто? Я выкуп за тебя добрый дам. Выскользнула Сенем из моих рук и говорит:

— Отец меня дорого ценит. За тебя не отдаст.

— А как быть? Подожгла ты мое сердце своими глазами-угольями! Все за тебя отдам! Прикажи — стану псом у твоих дверей!

Она мне пальцем на ножной браслет с серебряным колокольчиком указывает:

— Когда будешь у отца товар торговать, своей рукой надень мне на ногу вот этот браслет,— сказала и запрыгала по камням как лань.

Рассказал я про эту встречу друзьям из оба. Головами закачали, зря, мол, затеял, не про тебя дочка шейха. Разгорячился я: как не про меня! Я же выкуп сполна заплачу! Могу золотом, могу серебром, сколько запросит, заплачу!

— Не надейся,— говорят,— пошли ты шейху хоть коня, хоть пистолет, хоть стадо с погонщиком вместе, одари ты его жену шаями-кафтанами, не выгорит твое дело. Не продадут тебе Сенем. Была бы увечная, недужная, тогда другой разговор. А здоровую да красивую только за сына шейха отдадут.

— Ладно,— говорю.— Не отдадут — утащу!

Руками на меня замахали, нас, мол, в это дело не замешивай, не станем мы из-за тебя шейху поперек дороги становиться.

— А мне подручных и не надо, сам все обделаю!

Стал я кумекать, решил все же поначалу к шейху пойти, в ноги ему поклониться. В каждый мой приезд он меня к себе в гости зазывал, против себя сажал, разговоры заводил. Так и в этот раз было. Собрался я с духом.

— Сенем твою, по велению аллаха...

Только я заикнулся про Сенем, его всего перекосило.

— Эй, да ты кто ж такой, чтобы дочь благородных кровей себе в жены просить! Ты кто такой? Ага, что ли, земля у тебя, рабы? Или ты шейх, стада у тебя без счету, погонщики? А может, ты сейид, у тебя свои мюриды?¹ Слоняешься по горам, как Деджал², весь

¹ Мюрид — ученик духовного учителя, послушник.

² Деджал — безобразное создание, которое, по мусульманскому поверью, появится среди людей незадолго до дня Страшного суда.

пылью да потом провонял. Да как тебе, жалкому литейщику, только в башку взбрело про дочь шейха речь заводить?! Прочь с моих глаз! И к нам на яйлу больше не заявляйся, а то ноги пообломаю!

Выскочил я от шейха как ошпаренный, в голове джинны пляшут. Не отступлюсь от Сенем, и все тут! Не продадут — украду! Клянусь аллахом, украду!

Народ здешний стал меня сторониться. И узнавать-то сразу перестали мастера Мемо!

Вернулся я к себе, не ел, не пил, не спал — все думал, как Сенем украсть. Одному против шейха не пойти. Как быть? Надо людишек нанять. Нашел двоих молодцов. Как узнали они про мою затею, головами замотали: уволь, бабо, с шейхом нам не сладить!

Прошло несколько дней. Сижу я как-то дома, копаюсь в своих железках, отбираю, что для колокольцев подойдет, а сам в голове все проворачиваю, как мне Сенем украсть. Вдруг вваливаются в дом жандармы.

— Показывай удостоверение!

— Какое удостоверение?

— Ясно, какое. Удостоверение личности!

— Сам видишь, ага! Нету у меня никакого удостоверенья, одни колокольчики.

— Метрику тебе в отделе давали?

— ?!

Один жандарм и говорит:

— Пиши, этот тоже дезертир. Документов нету.

— Да вы в своем уме? — говорю. — Какой я дезертир?

— А ну, топай! Там разберутся!

Надели наручники и повели. Даже к соседям зайти, наказать им за домом присмотреть, и то не дали. Так и ушли — дверь нараспашку.

День целый в пути провели. Стало смеркаться. На ночлег в лесу остановились. Достали жандармы из сумок еду. Сидят, едят, я смотрю. Потом один спать завалился, другой сел огонь сторожить. Смотрю — подперся рукой, тихонько песню затянул. Голос низ-

кий, за душу хватает. Опять мне Сенем вспомнилась. И я вздохнул, рукой подперся, отвечаю ему в лад:

Светит в небе звезда— как дотянешься?
Полюбил навсегда — как расстанешься?
Ждешь удачи в любви да обманешься,
Разобьет злой рок сердце вдребезги!

Как кончил я песню, тот ко мне так и кинулся.

— Ай, курбан! И ты ашуг?

— Угадал.

Подсел он ко мне, обнял, как брата родного. Достает из сумки еду, сует мне.

— Ешь! Не обижайся, брат! Мы ведь тебя не знали!

Видит: я руками пошевелить не могу,— снял с меня наручники.

— Только не сбеги, брат, а то пропали наши головы.

Положил я ему руку на запястье.

— Ашуг ашуга не обманет. На том свет стоит!

Разговорился парень. Али его звали.

— У ашугов кругом враги, брат. Вот и на тебя кто-то наклепал, да не из простых, видно, людей. Из тех, кто мощной трясет... Голь перекадную не больно-то слушают. Ты хоть расшибись, по твоей просьбе жандармов не пошлют!

Вот когда мне глаза открылись. Смекнул я, к кому тропка ведет, и рассказал жандарму все без утайки.

Выслушал меня Али и говорит:

— Худо твое дело, курбан. Теперь тебя оштрафуют за то, что нет метрики. В солдаты возьмут да за дезертирство срок набавят. Если заступника не найдешь, года три протрубишь. Есть кому за тебя заступиться?

— Дядя у меня есть, больше никого. Но дядя ради меня жизни не пожалеет.

— Кто он, дядя твой?

— Литейщик, как я.

Уставился Али на огонь, кумекает что-то, потом ко мне оборотился и говорит:

— У кого власть в руках, тому и с властями тя-

гаться. Нет власти — мощной тряхнуть надобно. Если у твоего дяди пояс набит туго, поехали к нему, может, и пособит.

Наутро мы уже к дяде путь держали. Стали к деревне подходить, Али опять на меня наручники нацепил.

— Ты на нас зла не держи, курбан,— говорит.— Пусть все видят, что в нашей бане чисто.

Как увидел меня дядя в наручниках, между двоих жандармов, так и взревел:

— Вай, горе мне! Не впрок пошли советы мои сукиному сыну! А ну, отвечай, кого убил, кого ограбил?

— Не пугайся, дядя,— говорю.— Дело так и так.

И выкладываю ему все начистоту. Дядя меня слушает, а сам шейха честит на все корки.

Кончил я свой рассказ.

— Не трусь,— говорит.— Найдем ходы из любой беды!

У дома народ стабунился. Смотрят люди на жандармов, шепчутся. Дядя к ним выходит и говорит:

— Жандармы нынче в гостях у нас. Давайте их потешим! Вы покамест собирайтесь, а мы перекусим да к вам прибудем.

Разбрелись люди. Дядя к жандармам оборачивается:

— Заночуете у нас, отдохнете. А завтра спозаранку на свежие силы в город отбудем, выручать молодца.

Жена его, тетушка Гюльфиюз, живехонько цыпленка зажарила, выносит на блюде яйца, сыр.

Дядя угощает:

— Ешьте, гости дорогие!

Только мы пальцы к блюду протянули, дядя встал:

— Погодите,— говорит.— Есть у меня для гостей дорогих угощение почище этого. Вижу я, они племяннику добра желают.

Выносит хурмовую раку¹.

— Давненько я не трогал эту бутылочку, нынче самое время ее распить.

У Али глаза заблестели.

¹ Раки — водка.

— Ай, порадовал нас, ага! А то мы и забыли, какой от раки дух идет.

Второй жандарм наклонился к нему, что-то на ухо шепчет. Али головой замотал.

— Мемо ашуг,—говорит,—знать, и дядя у него ашуг. От ашуга зла не жди. И то правда, когда еще выпить доведется!

Плеснул дядя раки из бутылки в бокал, водой разбавил. Побелело зелье, как молоко. Глотнули сперва гости по очереди. Али рукой усы вытер, языком прищелкнул.

— Огонь, а не раки! Пошли тебе аллах удачи, ага!

Дядя мне бокал протягивает.

— Пей! Не сиди, как сыч. Развей свою тоску!

Я раки в жизни не пивал. Подношу бокал ко рту — в носшибануло. Глотнул,—о-о-ох! — всю глотку так жаром и охватило. Ну, думаю, спалит все нутро мне напрочь. Захрипел, заперхал, как овца. А жандармы и дядя со смеху катаются. На третьем глотке чую: теплая волна к голове подступила и камень на сердце словно как растворился. Захотелось мне песни голосить, плясать, смеяться. И Али разомлел: весь красный сидит, глаза сощурил. Уж и языком не ворочает. Одно твердит:

— Ай, курбан! — и дядю обнимать.

Под конец мы до того расходились, что я и думать позабыл, как завтра меня в город под конвоем поведут.

Али песню затянул. Тут дядя снял со стены два саза. Один Али протянул, другой — мне.

— Натек-ко, потешьте нас!

Прошелся Али пальцем по струнам,—сразу мастера видно! — струны так и застонали. И саз мастеру под стать.

Я зачин сделал, Али подхватил. После он начал, я ему ответил. И пошли состязаться, друг перед дружкой щеголять, друг дружку поддерживать. Кончили — встает дядя, нас обоих в лоб целует.

Тут и крестьяне подоспели. Говорят, народ на площади собрался. Всей гурьбой пришли мы на деревенскую площадь.

Выходит на середку давулджу¹ Махо — усы пала-шами. Гикнул зычным голосом: х-е-е-й! — и пошел шговую отбивать. Я на зурне заиграл. Встали парни рядком, рука об руку, и давай ногами чесать, коленца выкидывать.

До рассвета гуляли. К утру приустиали, спать разошлись. Идем мы домой, а Али и говорит дяде:

— Ты теперь для нас все равно что бек. Как прикажешь, так и сделаем. Скажешь: отпустите Мемо — отпустим.

— Как так?

— А так. Воротимся ни с чем. Вели, мол, парня в город, да по дороге родня его с ружьями налетела, отбила. С нас и взятки гладки.

Дядя по спине его похлопал.

— Не-е! После и Мемо худо будет, и вам не поздоровится. Власти все одно от своего не отступятся, других жандармов пошлют. В горы убежишь — себе врагов наплодишь. Одно дело — с шейхом поцапаться, другое — с властями. Уж лучше все миром уладить. Завтра же с рассветом и отправляйтесь в город.

Утер Али с лица пот рукавом.

— Ну, как знаешь, ага. Как ты порешил, так и будет. Пойдем в город. Там в отделе регистрации земляк мой сидит. Даст бог, подсобит нам, удостоверение выдаст.

Назавтра купил дядя у крестьян нам всем по мулу, и в путь тронулись. На мулах мы скорехонько до города добрались, часа в четыре пополудни уж там были.

Земляк Али из отдела регистрации метрику мне в два счета обтяпал.

— Если бы, — говорит, — Али не вмешался, тебе эта бумажка не в пять лир обошлась бы. Возраст я тебе двадцать один год положил, а дату старую проставил. Теперь не оштрафуют. Отслужишь срок без надбавки.

Нам тогда и невдомек было, что он возраст-то нарочно набавил, чтоб в армию меня сплавить. Откуда

¹ Д а в у л д ж у — музыкант, отбивающий ритм на большом барабане.

нам было знать, что он уже с шейхом снюхался! Мы еще паразиту и денег дали! Да поздно я об этом узнал...

Сунул дядя писарям в конторе по два меджидие, с легким сердцем на улицу выходим. Али и говорит:

— Теперь у тебя метрика есть, никого не бойся.

— А про какую он там службу плел, Али-ага? — спрашиваю.

— Есть в армии такой закон. Внес сто семьдесят лир — служи полгода, остальное с тебя спишут. Нет у тебя денег — отслужишь полгода, да еще год в штрафниках походишь, на черных работах помаешься, палок отведаешь.

А дядя мой — душа-человек! — ему и отвечает:

— Хоть мы и не богачи, а на выкуп для Мемо наскребем!

Прибыли мы в военный отдел. Повели меня жандармы к начальнику. Подал ему Али мои бумаги, стоит — руки по швам. Тот на бумаги даже и не глянул, ко мне подходит. Усы у него закручены, брови — щетиной, смотрит строго, а мне не страшно.

— Дезертир?

— Был приказ, — говорит Али, — забрать его как дезертира.

— Что за дьявол! Говори толком: дезертир он или нет?

— Не знаю, командир. У него в метрике написано: двадцать один год. Вы велели его забрать, мы и забрали.

Полистал начальник мои бумаги, повертел в руках, поворачивается к жандармам и говорит:

— Ладно, вы идите.

Жандармы каблуками щелкнули, вышли. Начальник подходит ко мне с улыбкой, руку на плечо кладет.

— Молодец, Мемо-ага! Ловко все обделал! Метрика-то совсем новая, а дата — старая. Bravo! Я таких шустрых люблю. Есть у тебя кто в провожатых?

— Дядя со мной. У дверей ждет.

— Что ему там стоять! Зови его сюда!

Вышел я к дяде — так и так, начальник и тебя зовет.

Входим к нему вдвоем. Начальник дядю сесть про-

сит. Дядя головой мотнул, на ногах стоять остался. Начальник ко мне оборачивается.

— Ты, дружок, за дверью погоди.

Вышел я. Остались они одни. О чем они говорили между собой, не слышать было. Потом от дяди я все узнал.

— Ты дядя Мемо? — спрашивает начальник.

— Я.

— Нам доложили, что Мемо уклоняется от военной службы. Теперь по его удостоверению я вижу, что он не является дезертиром.

— Нет, господин мой.

— Но поскольку он достиг призывного возраста, он должен отслужить.

— Должен, господин мой.

— Для него же хорошо, что он отсюда уедет. Я знаю, у него здесь есть враги, они его в покое не оставят.

— Не оставят, господин мой.

— Мемо сейчас в таком опасном возрасте, когда джигиты не думают, как свой глаз от сучка уберечь, сами на рожон лезут.

— Лезут, господин мой.

— Мне рассказали, что Мемо восстановил против себя одного шейха, владельца пятнадцати деревень. Конечно, с таким человеком враждовать бессмысленно. Я на шейха повлиять не могу. Сами знаете, даже наше правительство на них пока управы не нашло. Давайте отдадим Мемо в армию. Таким образом, у него будет возможность быстрее выполнить свой долг перед родиной и заодно избавиться от преследования шейха.

Потеребил дядя бороду.

— Ладно, — говорит. — Пусть послужит. Только мы хотим за него деньги внести.

— Что за дьявол! Зачем вносить деньги? Разве вам их не жалко? Поймите вы: чем дольше он останется в армии, тем лучше для него же самого. Казарма — это школа жизни, казарма — это знания. За полтора года он совсем другим человеком станет. Обучится грамоте, познакомится с новыми законами, изучит права и обязанности гражданина нашей республики.

короче говоря, станет разбираться в жизни. Уже сейчас по глазам видно, какой он смысленый. Удача сама ему в руки плывет. Разве можно лишать его такого случая? Потом такую возможность ни за какие деньги не купишь!

— Ладно, я согласен. Только его самого хочу спросить.

Позвали меня. Вошел я.

— Слышь,— говорит мне дядя,— что начальник-то говорит? Денег никаких платить не надобно. Да ты не думай, что я от слова своего отступился. Деньги при мне. Как сам решишь, так и будет.

Я стою молчу. Смотрит на меня начальник из-под густых щетинистых бровей ласково эдак, как отец родной.

— Мемо,— говорит,— откажись ты от этого выкупа. В твоих же интересах уехать от деревни подальше. Ты еще молод, пока отслужишь, все твои беды сами собой забудутся. Отошлем тебя в Диярбекир. Это настоящий рай, сам увидишь. Чем выкуп платить, лучше те деньги на себя потратишь, погуляешь в свое удовольствие.

Задумался я. А что, в самом деле, какая разница: год служить или полгода?

— Согласен, бек мой,— говорю.— Сделаю, как велишь. Пойду без выкупа.

Начальник меня по спине похлопал.

— Молодец, парень! — говорит.— Теперь ты мне еще больше нравишься. Из тебя выйдет хороший солдат. Первое качество для солдата — умение повиноваться. Таких в армии любят. Однако хочу дать тебе совет: как бы офицер к тебе ни относился, как бы ни наказывал — хоть приберет он тебя, хоть в пыль разотри — ты молчок! Кто офицера ослушался, тому прощенья нет. Сразу под трибунал. Расстрелять не расстреляют, а в тюрьме сгноят.

— Не ослушаюсь, бек мой.

— Ну, молодец!

Потом вызывает начальник какого-то солдата. Тот прибежал, каблуками шелкнул.

— Слушаю, командир.

— Документы для отправки Мемо готовы?

- Готовы, командир.
- Давай сюда!
- Слушаюсь, командир.

Начальник ладони потер, довольный. Улыбается, дяде говорит:

— У нас тут дела так и кипят!

Назавтра отправились мы с дядей в Диярбекир. Дядя как обещал начальнику, так и сделал: сдал меня в казарму с рук на руки. Снял я с себя пояс, где деньги защиты, передал дяде, попрощались мы, и остался я один среди чужих.

Ротный командир наш, капитан, сущим зверем оказался. Ему все едино было, кто ты — ефрейтор или унтер-офицер, лупил нещадно всех подряд, а уж если ты курд, лучше на глаза ему не попадайся, набросится как бешеный, до полусмерти отдубасит.

В первый же день, только я к нему явился, он меня спрашивает.

— Откуда родом?

Назвал я ему свою деревню.

— Из курдов будешь?

— Не-е, какой я курд! Мусульманин правый.

Посмотрел на меня волком, знать, известно было ему, что в тех краях курды живут. С той поры взял меня на заметку.

Бывало, на утренней поверке остановится возле какого-нибудь курда-бедолаги и давай его честить:

— Чего можно ждать от вас, сукины дети! Вы только сзади нападать ловки! Весь ваш род поганый такой! Диярбекир шейхам-бекам сдали! Какая на вас, подлецов, надежда! — Разорется да хрясть, хрясть курда по морде!

Уж как я старался, чего только не делал, чтобы не попасть ему под горячую руку! На боевых учениях и в казарме и днем и ночью так из кожи и лез, чтоб только не налетел он на меня. Грамоте вперед всех обучился. По истории, по географии ответить, товарищей выручить — тут я опять первый. Ни разу не похвалил меня капитан, ни разу на меня по-людски не глянул. Сказали мне, что таких, как я, он сам не бьет, а всю роту на них натравить норовит.

А тут еще такое стряслось, что он и вовсе взбеле-
нился. Был у одного офицера в нашей роте в денщи-
ках курд. Поначалу, пока у него сноровки не было,
бил его офицер нещадно за каждую что ни на есть
пустяковину. Тот и затаил на него злобу. Приметил,
что у офицера дочь в поре, нагрязнул к ней, когда она
одна дома была, и обесчестил. Как узнал офицер, за-
шелся весь. Вцепился в того курда мертвой хват-
кой — еле вырвали. Ну, ясное дело, курда — под три-
бунал, и, сколько положено, ему навесили. Но после
этого капитана нашего при виде курдов прямо трясти
стало. В обеденный перерыв оставил всю роту в ка-
зарме. Выстроил нас на берегу Тигра. Вызвал из
строя всех курдов. Приказывает: положить их под
палки! Всыпали нам по пяткам столько ударов, что
я и счет потерял. Ступни у нас раздулись, подняться
не можем. Отволокли нас солдаты в казарму, а там
капитан нас на гауптвахту посадил: не встаем, мол,
при виде начальства, проявляем неповиновение. За-
перли нас в казарменном подвале. Три дня мы там
трупами лежали.

После этого случая все в голове моей помутилось.
Одна дума на сердце камнем легла: бежать отсюда
куда глаза глядят! Не слышать солдатского горна,
офицерской ругани, не стоять на часах! Тоска по ро-
дине мне змеей в грудь заползла. Горы мои перед
глазами стоят. Ляжешь в траву — тимьяном тянет,
голова кружится... Тут я клятву себе дал: отсижу
срок — и деру!

От дум своих невеселых песню затянул:

Кто на чужбине слезу мне утрет,
Кто приголубит, к сердцу прижмет?

В это самое время мимо окна проходил командир
полка. Остановился, послушал. Видать, песня ему по
душе пришлась. Приказал часовому отомкнуть дверь,
входит. Часовой ревет: «Встать!» — а у нас не то что-
бы встать, пошевелиться мочи нет. Извинился я пе-
ред командиром за себя и за товарищей, рассказал
ему все. Полюбопытствовал он, за что нас так отде-
ляли.

— И не спрашивай, командир,— говорю.— Мыслимое ли это дело, чтобы невинный человек испустил грех какого-то паразита? Ехал я служить — у меня душа пела. А теперь я что? Головушка со старого пепелища...

Молчит командир полка, желваками играет. Потом спрашивает:

— А кто из вас сейчас песню пел?

— Я, командир.

— По родным местам соскучился?..

Не дожидаясь ответа, повернулся и вышел.

Не прошло и двух часов, входят в камеру двое часовых, объявляют приказ: всех переправить в госпиталь.

Провалились мы в госпитале пятнадцать дней. Уход за нами был отменный. И врачи и сестры душевно к нам подошли.

После выписки из госпиталя зовет меня к себе командир полка. Я пришел, каблуками щелкнул.

Смотрит на меня полковник ласково, как отец.

— Мемо, ты прямо как лев стал!

— По твоей милости, командир.

— Посылаю тебя в родные края на побывку. Доволен?

— Благодарствую, командир! Пусть аллах пошлет тебе долгую жизнь.

— После возвращения будешь служить при клубе.

— Слушаюсь, командир.

Приехал я домой. Все бывшее вспомнилось. Сенем передо мной ожила, как ножом по сердцу резанула. Стал у дяди проситься: пусти да пусти меня в горы, колокольцами поторговать. Обнял меня дядя.

— Не бей ноги впустую, курбан. Сенем твою давно продали.

Спина у меня холодным потом покрылась.

— Кому?

— Какому-то шейху старому. Возле самой границы живет.

Ноги мои подкосились, грохнулся я оземь. Сел дядя подле меня, гладит, приговаривает:

— Выкинь ее из головы, сынок. Роза сорвана — девка продана. Не одна она красавица на белом свете.

Мы таких тебе сыщем, что Сенем им и воду подавать не годится. Вот увидишь.

Понял я: дядя от тяжких дум меня отвлечь хочет. Виноватым себя чувствует за то, что разлучила нас с Сенем солдатская служба.

Уж он таскал меня за собой повсюду, веселил меня, веселил. Все тоску мою развеять старался. Пустая затея! Ни саз с зурной, ни пляски с песнями не задели меня за живое. Без Сенем и горы родные для меня темницей стали, и красавицы все лицом померкли. Взялся я мастерить для коня командира седло да оголовье уздечки с колокольчиком, так время и скоротал. А дядя для него из оленьего рога рукоятку для кинжала смастерил.

Вернулся я на службу, поднес командиру полка свои подарки. Обрадовался командир.

— Спасибо, дружище,— говорит.— Ну, уж если ты так ласков к моему коню, быть тебе моим конюхом.

— Слушаюсь, командир. Пуще глаза буду беречь твоего коня.

— А по ночам в клубе будешь нести службу.

— Слушаюсь, командир.

Так и началась моя новая жизнь.

А конь был у командира полка знатный — чистокровный арабский скакун, гладкий, осанистый и с норовом. Пока песню ему не затянешь, ни за что под скребницу не встанет. Мало-помалу привык ко мне конь. Так и ходит за мной по пятам, как ягненок за овцой. Изюм у меня из рук брал. Крикну, бывало: «Сеит!» — тут же прискачет. Будь хоть на цепи, по рвет цепь и прибежит.

Налью ему с вечеру чистой воды, засыплю в ясли корму, запру его на конюшне, а сам — в клуб. Солдатскую форму с себя скину, клубную надену — из белого алеппского шелка, у ворота пуговицами да шитьем отделана.

В клуб офицеры вместе со своими ханым ходили. Пили там, ели, а под конец недели еще и плясали. Загудят музыканты в трубы, загрохают в барабан — джазом это называется по-ихнему, — хватают офицеры своих ханым в обнимку и давай плясать. В такой

раж войдут, что до утра готовы скакать. А то вытолкнут одного на середину, он им поет или пляшет.

Мой командир тоже по вечерам туда хаживал. С дочкой придет, с женой. Сядут они на почетные места и смотрят. Сам он никогда не плясал, только на круг всегда первый выходил, чтоб молодежь за ним пошла. Сидит, на молодых любит. Чуть кто с круга сойдет, пригорюнится в уголке, он его расшевелить старается, со своей дочкой танцевать велит.

А больше всего ценил он песни и пляски, что у нас в народе любят. Каждый раз меня петь заставлял. Затяну я, бывало, нашу протяжную, а он, сердечный, плачет. Клянусь, не вру! Вот диво-то какое! Командир полка, а плачет, как ребенок малый!

По праздникам балы устраивали. Жены офицеров приходили на балы расфуфыренные. В такие дни офицеры на выпивку, на закуску не скупились. И городские частенько с ними пировали. Одного я в толк никак не возьму: жены у них одна другой краше, а мужьям это словно бы и невдомек. У него жена в обнимку с другим скачет, а он и бровью не поведет. Совсем никакой ревности у них нет, подумать только!

Среди женщин выделялась на тех балах одна красавица, Мюневвер-ханым. Муж у нее судьей был. После его смерти она к отцу переехала.

На каждый бал являлась Мюневвер-ханым в новом бархатном кафтане. Волосы черной гривой пышной набок зачесет, на грудь розу приколет, глаза сурьмой подведет — у всех офицеров в башке мутится. На круг выйдет — все глаза к ней прикованы. Сигарету в руку возьмет — офицеры наперегонки со спичками к ней бегут. У меня самого при ней руки-ноги отымались. Я пою, а у ней грудь так и ходит ходуном. А в глазах тоска стоит. Такие глаза у тех бывают, кто любовь познал. Плачут глаза, только слезы не по лицу, а прямо в сердце текут, не видать их. Пою я, и вот лицо Мюневвер-ханым передо мной расплывается. Чудится мне — сидит передо мной Сенем — волосы в сорок косичек заплетены, на лбу монетки блестят, и песня моя к ней рвется... Больше всех Мюневвер-ханым мне хлопала.

В обычные дни офицеры любили порой за рюмкой посидеть, посудачить. За долгий вечер никого не пропустят, всем косточки перемоют. Кто любовницу завел, кто взятки берет — все им ведомо. Чаше всего разговор на Мюневвер-ханым сворачивал. Белье у нее из бархата... В низу живота родинка... Я только рот разевал от удивления. И откуда они все знают?

Проходит время. До конца моей службы оставалось месяца два. Вот зовет меня как-то раз мой командир и говорит:

— Мемо, беру тебя завтра с собой в деревню. Приготовь для коня праздничное седло и оголовье, что ты привез.

— Слушаюсь, командир.

— И для себя конька подбери.

— Благодарствую, командир.

— Отправимся с тобой к одному моему приятелю, шейху. Его сыновьям обрезание будут делать. Сам понимаешь, праздник, саз, зурну с собой взять надо.

— Есть, командир.

Снарядились мы в дорогу. Путь нам предстоял неблизкий, по бездорожью, и решил командир добираться до деревни с попутными купцами вниз по Тигру на плоту из надутых бурдюков. Наложили на бурдюки толстых досок, скрепили их, плот спустили на воду, на одну сторону скот, мешки с товарами погрузили, на другую — людей. Так шесть часов и плыли. Погонщики мулов командиру уважение оказали: встали, руки на животах сложили, да так за всю дорогу ни разу и не присели.

Сошли мы с плота, кругом, куда ни глянь, — один желтый песок, только Тигр по нему серебряной лентой вьется.

Встречают нас четыре всадника. Один из них, смуглый парень, спешил, руку у командира поцеловал, от шейха поклон передал.

— Шейх-бабо не может на коня сесть, у него чирей на задку вскочил. Он извинения просит, что сам вас не встретил. Я его сын.

А командир наш, добрая душа, на такое и не думает обижаться. Похлопал чернявого по спине.

— Пошли ему аллах здоровья! Я и тебе рад, как ему.

Пустили мы коней вскачь. За три часа доскакали до дома шейха.

Смотрим — крыша дома куполом, как у гробницы святого, двор усажен гранатовыми деревьями, розами, яркими цветами, вымощен большими камнями, как я в Диярбекире видел. Между камней трава пробивается. По обе стороны от двора тянутся маленькие домики. Посреди двора — бассейн. Вокруг него ковры, циновки постелены.

Сам шейх у дверей стоит. Борода до пояса, хной покрашена. На голове — чалма, одет в дамаский кафтан, опоясанный кушаком, в белых шароварах. Подошел он к гостю, поцеловали они друг дружку в плечо, в дом прошли.

Ко мне шейховы слуги подбежали, лопочут не по-нашему. Не стал я слугам коней доверять. Сам их выводил, после пошел на конюшню, пот с них отер, напоил, накормил. А когда во двор вышел, там уже негде яблоку упасть — столько гостей подвалило.

Командир мой и шейх сидят рядом на ковре, поджав под себя ноги. Перед ними — серебряный поднос. На нем серебряные вилки, ложки, разноцветные рюмки, кувшины с вином, закуски. По бокам от них — именитые гости, и перед ними тоже — подносы, уставленные едой-питьем. Вкруг музыкантов, давула и зурны простой народ толпится. Посреди двора молодые парни, обнявшись, круговой танец танцуют.

Командир увидел меня, встрепнулся.

— Мемо, бери свой саз, иди к нам!

Подошел я к ним с сазом. Усадили меня на тюфяк. Тут вышли во двор два мальчика, на головах шелковые шапочки, расшитые золотом. Гостей обходят, руки им целуют, а те их деньгами одаривают. Командир подарил обоим по кинжалу с рукоятками из слоновой кости.

Вышли слуги, вынесли сверкающие бритвы на маленьких подносах, тазики, кувшины. Мальчиков подвели к сюннетчи¹. Давул загрохотал вовсю. Благо-

¹ С ю н н е т ч и — тот, кто делает обрезание.

слова, аллах! Сюнетчи взмахнул в воздухе бритвой...

Ранки мальчиков присыпали золой. Оба держались джигитами, не охнули ни разу. Свежей кровью помазали им лбы, уложили их на тюфяки.

Меж тем гостям все подливали в раки гранатовый сок, подносили все новые блюда с жареной бараниной и курятиной. Обглоданные кости прямо в толпу летели. Рабы жадно хватали их на лету, обгрызали, обсасывали остатки мяса и швыряли псам, что стаей рядом крутились.

К ночи веселье пуще разгорелось. По углам двора разложили четыре костра. В пламя то и дело керосин подливали, чтоб оно все выше вздымалось.

Вышли во двор хоккабазы¹. Уж чего они только не вытворяли, даже огонь из рта пускали. Гости только диву давались.

Когда раки хорошенько по жилам гостей разлилась, на круг мосульские танцовщицы вышли. Совсем голые, только срамные места прикрыты, в руках бубенчики. В конце своего танца встали перед гостями на колени, запрокинули головы назад, всем телом задрожали. Тут гости им на животы стали деньги кидать.

— А наши танцы они знают? — спрашивает командир у шейха.

— Хе-хе! Как не знать!

Командир мне и говорит:

— Ну-ка, Мемо, заиграй им нашу повеселей!

Настроил я свой саз, ударил по струнам, заиграл — танцовщицы не шелохнутся. Один подошел к ним, залопотал по-арабски. Они только головами качают. Подошел человек к шейху:

— Не знают они этого танца, господин!

Шейха это, знать, за живое задело. Мыслимое ли дело! Желание важного гостя не выполнить! Кличет сына.

— Поди спроси в моем гареме, кто этот танец знает, и веди сюда!

Скоро шейхов сын вернулся. Ведет за собой женщину с закрытым лицом. Бархатный кафтан на ней

¹ Хоккабаз — фокусник, жонглер.

серебром расшит. Тонкий стан золотым поясом схвачен.

Идет, бедрами покачивает, ножными браслетами позвякивает.

Пошла танцевать — мимо меня словно ветер пронесся. Я пальцами по струнам бью, она — каблуками по камням. Шейх указал на нее и говорит командиру:

— Я ее в прошлом году за две тысячи золотых купил. Редкостной красоты. И чего только она не знает! Право, не жалко такого калыма.

Подает он тут своему сыну знак рукой, чтоб он командиру лицо танцовщицы показал, тот покрывало с нее — дерг!.. Застыли пальцы мои на сазе..

Стоит передо мной Сенем. Лицо осунулось, а глаза из-под сурьмы огнем полыхают. Черные, как смоль, волосы жиром смазаны, в сорок косичек заплетены. На лоб украшение из драгоценных камней свешивается. В одной ноздре жемчужина блестит.

— Что остановился? — кричит мне командир. — Играй!

Тут я очнулся. Запел-заплакал мой саз, закружилась в танце Сенем, защелкала каблуками, а сама на меня и не смотрит, словно не замечает. Танцевала, пока пот на лице не заблестел, после убежала в дом.

Заныла моя старая сердечная рана. Чую — худо мне стало. К горлу дурнота подступает. Командир глянул на меня и говорит:

— Что с тобой, Мемо? Уж не заболел ли?

— Еда здесь непривычная, командир, — говорю. — Все нутро выворачивает. Коли разрешишь, пойду прилягу.

— Иди, сынок, — говорит командир.

Шейховы слуги увели меня в дом. Комнату мне определили рядом с комнатой командира, на случай, если я ему ночью прислуживать понадобится.

Кинулся я в чем есть на постель, из горла стон вырвался. Потом остыл малость, стал планы строить. Украсть Сенем? Не выйдет! Шейховы слуги нас найдут, на куски разорвут. Да не смерть страшна — ради Сенем я бы сто раз смерть принял, — а то худо, что из-

за меня на командира моего пятно ляжет. Опозорить его в доме, где он был гостем! Да каким подлецом надо быть!

До часу ночи во дворе шум стоял. Потом все стихло. Слышу — командира в его комнату повели. Кинулся я к нему, подсобить предлагаю. Две рабыни принесли в кувшине воды, таз, ноги ему помыли. Командир, видать, крепко набрался. Глаз продрать не может. Наконец узнал меня.

— Ну, как дела, Мемо?

— Благодарствуй, командир, я поправился. Что прикажешь?

— Какие там приказы, Мемо! Эти красавицы делают что надо. — Командир потрепал рабынь по щекам. — Иди ложись. Пошли тебе аллах спокойного сна!

Щелкнул я каблуками, повернулся, вышел.

Вот лежу я на своей постели, мысли о Сенем мне сердце гложут. В доме тишина. Все спят. Уставил я глаза в узор на потолке, сна — ни в одном глазу. Вдруг вижу: дверь тихонько приотворилась, в комнату какая-то тень проскользнула. При свете лампы я ее узнал: одна из рабынь, что командиру прислуживала. Подошла ко мне, палец к губам приложила: молчи, мол. Протягивает мне большую накидку. Знаками показывает, чтоб я надел. По-нашему, видать, не понимает.

Недолго думая, набросил я на себя накидку. Голову она сама мне хорошенько укрыла. Сапожищи с ног моих стащила. Потом из двери выглянула, прислушалась и знаком мне за ней идти велит.

Побрел я за ней, как лунатик, дыхание у меня сперло. Провела она меня по темным сенцам и впихнула в какую-то дверь. Не успел я очухаться, как в нос мне знакомый нежный запах ударил. В комнате полумрак, в углу один сальник мерцает. Тут я Сенем разглядел. Бросилась она ко мне, словно жена после долгой разлуки, прижалась всем телом, оторваться не может. Вся трепещет — как листок на ветру. И я замер, слова в глотке застряли. Только слышу горячий шепоток у себя под ухом:

— Спасибо всевышнему! Услышал он мою молитву! Уж как я молилась, чтоб еще раз увидеть тебя,



как я ждала этой минуты! Какие только жертвы святым не приносила!

Потянула меня на диван. Под тонкой шелковой сорочкой я весь жар ее тела чувствую. Чисто сон какой-то, поверить невозможно! Так и пролетела вся ночь, как один миг...

Рассказала мне все Сенем про свою горькую судьбу. Была она четвертой женой шейха. После нее он себе пятую из Алеппо привез, тринадцати лет. Пока пятой не было, он с Сенем пылинки сдувал, на руках ее носил. А потом и она всласть плетки отведала, как другие жены. Послала Сенем отцу весточку, заberi, мол, меня отсюда, сил моих нет больше. Отец отвечает ей: «Шейх именитей меня. Не могу обычай нарушить, богатого не уважить. Терпи, знать, судьба твоя такая. Не смей на судьбу свою роптать».

Шепчет Сенем мне это на ухо и все жарче всем телом ко мне прижимается, у самой из глаз слезы горячие так градом и катятся, за ворот мне капают, шею жгут. Заколотилось у меня сердце в груди, как молот по наковальне ухает.

— Не плачь, газель моя,— говорю,— не плачь, курбан! Жизни своей для тебя не пожалею. Через два месяца кончится срок моей службы. Теперь только и буду помышлять, как украсть тебя отсюда.

— Что ты, что ты, душа моя! Заклинаю тебя, глаз сюда не кажи! Слуги шейха с тобой расправятся! Я сама сбегу отсюда! Одной бежать легче. Прибуду в Диярбекир, там тебя обожду. А как свидимся, уедем в такие края, где один ветер про нас будет знать.

Так мы с ней и порешили: в начале ноября она убежит, обождет меня в отеле «Джумхуриет», а там и я прибуду.

Рабыня пришла за мной затемно. Остался я один в своей комнате — радость меня распирает. Ложиться не стал. А то, думаю, встану утром, а все, что было, сном окажется. Стою у окна, смотрю, как солнце на востоке багрянцем занимается, и в душе моей пламя бушует, не унять...

На другое утро отправились мы восвояси. Шейх командиру подарил шелковых тканей рулонами, ру-

бах, кафтанов да в придачу жеребенка арабских кровей.

Вернулись мы в Диярбекир. Принялся я опять за свою службу, только она мне теперь камнем на шее показалась. Всего и радости было, что к отъезду собираться. Деньжат решил поднакопить: чаевые стал откладывать, по ночам скорпионов взялся ловить — их государство по курушу за штуку скупало. Под конец так наловчился, что к утру по двести скорпионов приносил. Серебро так в мой кожаный пояс и текло.

Днем по службе мотаюсь, а как ночь — опять в свои думы окунаюсь. Все мне представляется, что мы с Сенем уехали в далекие края, вдвоем жизнь ведем. Всю свою ласку изливал я на жеребенка, что шейх командиру подарил: глажу его, холю, милую. За день-то раз пять на конюшню к нему забегу. Обниму его за шею и причитаю: «Красавец ты мой, красавец!» А то возьмусь ему про Сенем рассказывать, про ее красоту колдовскую. Послушает он меня и ржет в ответ, будто что смыслит.

Так и тянулись мои дни, каждый казался в год длиною. До конца срока оставалось двадцать дней, как вдруг вызывает меня к себе поутру командир. Явился я к нему, каблуками щелкнул. Гляжу — командир сидит темнее тучи, в руках какую-то бумажку вертит.

— Мемо, — говорит, — мужайся! Мы в своей судьбе не властны! Наша жизнь и смерть в руках аллаха.

С этими словами подает мне письмо с вестью о дядиной смерти.

Не выдержал я, застонал, как раненый зверь.

— Вах, дядя-курбан! Вах, дядя-арслан!¹

Командир подошел ко мне, по спине погладил, стал тихонько утешать.

— У дяди, — говорит, — жена теперь одна без средств осталась. Ее и обидеть и ограбить могут. Написала она мне заявление, просит отпустить тебя домой. Ну, что я на это скажу? До конца твоего срока двадцать дней. Отпускаю тебя раньше срока. Поез-

¹ Арслан — лев (турец.).

жай, помоги бедняжке управиться с делами. А я все документы за тобой следом вышлю.

Схватил я его руки, конопушками покрытые, прижался к ним лицом. Уж я их целовал, уж я их слезами поливал!

— Ой, командир,— говорю,— не знаю, отчего слезы лью: оттого ли, что дядя помер, оттого ли, что с тобой разлучаюсь. Какое сердце выдержит такую разлуку?

И у него глаза заблестели:

— Да ведь и я без тебя как без рук, дружище! Но что поделаешь! Так надо. Не удержишь вас возле себя. Каждый год расстаюсь я навеки с сотнями таких вот родных сынов, как ты. И что же ты думаешь? Уедут, потом разок-другой с праздниками поздравят и забывают. Да я не в обиде, пусть забывают, лишь бы живы-здоровы были.

— Не забыть мне тебя, командир, никогда не забыть! Ты меня человеком сделал. Ты мой командир, ты мой наставник, ты мой отец!

И впрямь не забыл я его. В праздник непременно его поздравлю, а то и безделушку какую в подарок ему пошлю. Худо мне — я к нему, он всегда выручит. Да и сам командир меня не забывает. Всякий раз, как переводят его на новое место, адрес свой мне шлет.

А все же, хоть я и почитал его за отца родного, про Сенем ему открыться так и не решился. Перед отъездом пообещал еще раз заехать, провести его, как управлюсь с делами, а про настоящую-то причину своего приезда в город и не заикнулся.

Прибыл я в деревню — тетка плачет в три ручья. От нее узнал я, что дядя в озере утонул. Понаехали чиновники, жандармы, говорят: «Умер от раны в голове». По их словам так выходит, что он в воде об камень ударился, сознание потерял, оттого и утонул. Тетка мне все это рассказывает, а сама не верит:

— Врут они все! Не впервой ему в озере купаться. Всякий раз, как ему с гор домой возвращаться, он сперва на озеро завернет, там поплещется, усталость смое, а уж тогда домой идет. Все это знали, и друзья и недруги. Вот и нашелся выродок, что такую подлость обмозговал: по голове поленом ударил, да в озе-

ро и спихнул, чтобы следы замести. Не верю я им, пусть болтают, что хотят. Не утонул лев мой, враги его убили!

— Какие враги, тетушка? Не было у него никаких врагов! Все его любили.

— У кого друзья есть, у того и враги всегда найдутся, Мемо, а уж кого женщины любят, у того враги лютые. Недели две назад прошел по деревне слух, что сватает он одну девку из богатого роду. Соседка Зельха мне все это рассказала. «Стада, земли, пастбища,— говорит,— всего у них вдоволь». Приходит домой сам. Я к нему. «Ты что ж это,— говорю,— такой-сякой, сдурел на старости лет? Какого тебе еще, в твои годы, богатства надо? Что ты будешь делать с молодой женой?» Подошел ко мне, смеется, по лицу меня гладит. «А в какие же годы,— говорит,— про черный день думать? Мой черный день, когда руки меня слушаться перестанут, не за горами. Вон он уж под горой Супхан лежит, в засаде притаился, только случая поджидает, чтоб вспрыгнуть мне на темя. Тут уж будет не до песен, не до саза. Я и подыскал себе богатую невесту, чтоб перед смертью не побираться».

С этими словами тетка зарыдала еще громче.

— Вот из-за этой самой богатой невесты и обрушилось горе на наши головы. Заложили мы все, что у нас было, до последней рубашки, уплатили за невесту калым. На этой неделе ждали ее к себе вместе с приданым. Тут-то беда на нас возьми да и свались! Погубили они джигита, убили льва моего!

На кого думать, тетка и сама не знала, да и времени у бедняжки не было над этим голову ломать. Кредиторы в дом нагрянули, все, что в нем было, подчистую забрали. Литейный прибор и тот унесли. В доме хоть шаром покати, один ветер гуляет. На другой день сунулся я к кредиторам. С одним поругаюсь, другому деньги всучу, третьему долговой вексель подпишу. Вот таким манером кое-какое барахлишко дядино выручил. Потом на горные пастбища собрался, у отца невесты калым обратно просить. Два дня об камни ноги бил. А вышло — все зря. Затряс ага передо мной своей длинной белой бородой.

— Не спорю, мы с ним сошлись на полтыще золо-

тых. Что было, то было. Однако доселе я ни гроша не получил.

— Опомнись! Как не получил?! Еще на той неделе дядя тебе сполна отмерил весь калым! Ты же сам его уговорил свадьбу отсрочить на неделю, чтобы приданое заготовить.

Ага весь как на иголках. То вскочит, то сядет, то желтыми четками защелкает.

— Не было этого,— говорит.— Выдумки одни...

— Как это выдумки? Тетка своими руками отсыпала в торбу пятьсот золотых, а дядя их тебе отвез!

У старика глаза забегали, того гляди из глазниц выскочат:

— Где это видано, чтобы калым раньше свадьбы платили? Эта пройдоха меня провести задумала! Мои деньги ей покоя не дают! Да пусть лопнут у меня глаза, коли я хоть ломаный грош от дяди твоего принял!

Так и вернулся я домой с пустыми руками. Иду по горной дороге, голову ломаю, а все в толк взять не могу, кто там воду мутит. Если дядя и впрямь отдал деньги старику, тут гадать нечего: тот деньги зажал, а дядю убил, чтоб еще раз дочь продать. Коли не врет старик, значит, тетка дядю из ревности прихлопнула, а чтоб подозрения с себя снять, на старика наклепала.

Сколько я ни бился, так узел тот и не распутал. Пошел к жандарму. Только о старом шейхе заикнулся, он так и закипел.

— Что ты мелешь? Да знаешь ты, что следствие уже закончено? Где у тебя совесть? Что ты на агу напраслину возводишь? Знатный ага обворовал бедного литейщика! Да за такую клевету тебя судить надо!

И пошел и пошел чесать, словно я и есть главный виновник. Потом видит — я молчу, пообмяк малость.

— Ладно,— говорит,— топай отсюда, чтоб я тебя здесь больше не видел. И запомни: ты ничего не говорил. Всю дурь эту из головы выкинь. А на будущее заруби себе на носу: бедноте с богачами лучше не связываться.

Вышел я от жандарма, и тут словно молния мне мозги просветила. Вон оно как выходит! Коли шейх на тебя с жалобой, приходят жандармы, на руки тебе — колодки, и айда! А как ты вздумаешь на шейха

пожаловаться, тебя за это в грязь втопчут. Опять ты виноват. Здесь всеми делами у нас шейхи верховодят, а не Кемаль-паша! Где уж мне справиться с такою силой! Нечего и соваться!

Все же в доме я обыскал все щели, где тетка могла деньги запрятать. Хотя и ничего не нашел, старого доверия к тетке как не бывало. Все мне мерещилось, что у молодой вдовы тоже рыльце в пуху. Под конец и самому тошно стало от своих темных мыслей. Оставил ей все дядей нажитое и свою долю завещал. Коли виновна, думаю, пусть сама казнится. Я ей не судья.

Стал в дорогу собираться. Отлил для Сенем в подарок серебряные колокольчики, подвесил их вместе с золотыми монетами к ремешку. Гляжу на убор и радуюсь, представляю себе, как она его к свадьбе на голову наденет.

Подошел к тетке прощаться.

— Поеду,— говорю,— в Диярбекир, со службы бумаги заберу. Если дело какое себе найду — останусь там. После смерти дяди тяжело мне тут жить.

Не стал ей впрямую говорить, что не ворочусь больше. Тетка меня выслушала и говорит:

— Мемо, мертвым — в могиле лежать, живым — жить да поживать. На что тебе сдалась эта чужбина? Там люди чужие и воздух чужой. Забирай поскорей свои бумаги да приезжай сюда. Как я дядю твоего любила, так и тебя люблю. Сам знаешь, жена без мужа и собакам на корм не годится. Если ты обычай наш уважаешь, бери меня в жены, буду тебе верно служить, не раскаешься. А коли не хочешь, теткой тебе останусь.

«Да пропади он пропадом, этот обычай! — думаю. — Что это за обычай такой, когда молодой парень, у которого еще молоко на губах не обсохло, должен жениться чуть ли не на своей матери! И того хлеще случается — старый дед — борода до пояса — берет себе в жены дитя несмысленное».

— Нет,— говорю,— тетушка, я тебя за мать родную почитаю. Грех мне на тебя иначе смотреть. Не горюй, что останешься одна. Пока я живу, ни голод, ни нужда тебя не скрутят. Сам буду голодать, а тебя в беде не брошу. Это мой долг перед дядей покойным.

Поцеловал ей руку — и в путь. Все позади осталось: смерть, тревога, ненависть... Ноги несли меня навстречу надежде, счастью, любви. С каждым шагом Сенем была все ближе, все желанней. Сердце мое оттаяло, забилось в лад с моими мыслями, и затянул я песню, словно гора отродясь не видывал.

Развернет птица Хума¹

крылья широко,

Полетит птица Хума

в небо высоко,

Унесет птица Хума

нас с тобой далеко,

Туман пошли, о великий аллах, туман пошли!

Не знал я тогда: не счастье мне судьба готовит, а новые горести.

Прибыл я в город на три дня раньше, чем было условлено. Снял в гостинице лучшую комнату. На базар сходил, купил для Сенем шелковых кафтанов, сам приоделся. Покуда Сенем не прибыла, пошел командира своего проводить. Я ему в подарок пушистый ковер сиирдский припас. Как увидел меня командир, так ко мне и бросился.

— Эко вырядился, Мемо, прямо загляденье! Ай да молодец!

Усадил меня, денщику чай заказал, велел ему мои бумаги принести. Разговорились. Поведал я ему все: и про жандармов, и про шейха-старика. Он только головой качал.

— Пока они людей с потрохами будут закупать, их ни с какого боку не ущипнешь. Все эти шейхи, аги, сейиды двух слов связать не могут, а образованных людей в два счета вокруг пальца обведут. Прямо диву даешься, как они свои дела провертывают. Ты и знать ничего не знаешь, а они все пронюхают, все разведуют, у них сеть по всей округе раскинута. Мимо них птица не пролетит, зверь не пробежит.

Потом будто вспомнил что-то, встрепнулся.

— Да, кстати, ты помнишь того шейха, у которого мы на празднике были?

У меня сердце так и подскочило.

¹ Хума — волшебная птица счастья.

— Помню, командир,— говорю упавшим голосом.

— Так вот, у того шейха одна жена сбежала в Диярбекир. Видно, бедняжке неведомо стало.

От печального голоса командира у меня кровь застыла в жилах. Не помню, как дослушал его рассказ.

— ...Вот ты и поди догадайся, как он дознался, куда она сбежала. Направил своих людей прямехонько туда, где она пряталась, взяли ее и преспокойно обратно повезли. Несчастливая женщина по дороге в Тигр бросилась. Тела так и не нашли. А знаешь ли, кто это был? Та самая красавица, что танцевала перед нами на празднике...

Как во сне, поцеловал я руку у командира, ноги сами меня на берег Тигра понесли. Не знаю, сколько часов я у реки сидел, Сенем оплакивал, проклятья реке посылал:

Чтоб твои воды течь перестали, река-завистница!

Чтоб твои воды от горя устали, река-ненавистница!

Как помешанный я стал. Жизни себя лишиться собрался, вслед за Сенем в Тигр броситься. И вдруг меня словно молнией пронизало: тела ее не видал никто! Зашевелилась во мне надежда, уцепился я за нее, стал догадки строить. Шейх, мол, нарочно все брешет, чтобы того, с кем она бежать хотела, от поисков отвадить. И засела гвоздем у меня в голове эта мысль, поверил я в нее. А как поверил, враз плакать-причитать перестал, умылся в реке, в гостиницу вернулся.

По дороге уж мозги мои на полном ходу заработали. Планы всякие начал строить, как мне Сенем из неволи выручить. Даже о том подумывал, чтобы броситься командиру в ноги, открыть душу, совета спросить.

Воротился под вечер, темно было. «Запрусь-ка я один в комнате,— думаю.— Все до тонкостей обмозгую. В таких делах суетиться — только шайтана тешить». А остался один в комнате, в свадебной нашей комнате,— сердце опять словно обруч сжал. Один, совсем один я теперь! Не забьется сердце от радости, не замрет от жаркой мечты, не пронзит все тело сладкая боль!..

За всю ночь я глаз не сомкнул, планы один за другим перебирал. Прежде надо наверняка узнать, жива ли Сенем, поехать к старому шейху да своими глазами все увидеть. Да нет, что это я горожу? Коли она жива, ее под пытками, уж ясно, заставили сказать, к кому она бежала. Выходит, мне туда путь заказан. Кручу и так и эдак — толку никакого. Остается одно: открыться командиру, авось и поможет, добрая душа. С этой мыслью я под утро глаза сомкнул. Только задремал — в дверь стучат. Слышу голос хозяина гостиницы:

— К вам пришли, Мемо-эфенди!

Выхожу. Передо мной стоят двое: чернявый мужчина средних лет и женская фигурка, в покрывало завернутая. Сердце у меня екнуло.

— Ты Мемо-бек? — спрашивает мужчина.

— Ну, я.

Женщина тоненьким голоском что-то ему залопотала не по-нашему.

Смотрю — гость мой на хозяина гостиницы косится.

— Заходите в комнату, — говорю.

Вошли они. Хозяин гостиницы за дверями стоит. Чтобы от него отделаться, велел я ему чай заказать. Усаживаю гостей — не садятся.

Мужчина мнетя, губы кусает, видно, хочет сказать что-то, да не знает, как начать. Потом с духом собрался, заворочал языком, как жерновом.

— Мемо-бек, из деревни мы к тебе... Это жена моя... У Сенем-ханым служила...

Подбежала женщина ко мне, руки мои целует, сама слезами заливается и лопочет что-то быстро-быстро. Мужчина взял ее за локоть, оттащил от меня, сказал ей что-то, по голосу слышать, не шибко ласковое. Потом ко мне поворачивается, опять жерновом заворочал. Не все я у него разобрал, но главное до меня дошло.

Жена его, Фато, была служанкой у Сенем. Сенем ей все тайны поверяла. Предана была Фато своей госпоже, как собака, умереть за нее могла. Одной Сенем только и дышала, одной ею жила. В последнее время Сенем чахнуть начала, дальше — больше, и так про-

должалось до того самого дня, когда у шейха праздник обрезания сыновей справляли. В тот день слышала она из окна звуки саза, к окну подбежала, меня во дворе увидала, бросилась Фато обнимать. И плачет и смеется, сама одно твердит: «Услышал всевышний мои молитвы!» Той ночью Фато меня к ней и привела... После праздника Сенем совсем переменялась. Целыми днями смеялась, щебетала. Принялась себе приданое готовить, как невеста. Вышивает себе рубашку и поет, как птица. Как-то раз зовет к себе Фато и говорит: «Фато, ты и вправду любишь меня?» — «Умру за тебя». — «Я собираюсь бежать отсюда. Поможешь мне?» Испугалась Фато: «Как можно отсюда убежать? Отсюда и птица не улетит!» — «Я все обдумала. Слушай меня. У тебя есть дядя...» — «Есть, ханым». — «Ты пошлешь ему со своим мужем весть, что соскучилась, хочешь навестить его. Дядя за тобой придет, а вместо тебя меня заберет...» — «Смилуйся, ханым! Как узнает шейх про это, убьет и меня, и мужа моего!» Сенем достает тут кошелек, набитый золотом, и дает ей: «Вы тоже бегите следом за мной. На эти деньги проживете». Как задумали, так все и сделали: прибыл дядя Фато, забрал Сенем, и Фато с мужем успели убежать, пока дело наружу не вышло. В Диярбекире разыскали они Сенем по адресу в этой самой гостинице. Обрадовалась им бедняжка, как дитя. Сразу послала мужа Фато в казарму, чтобы мне знать дать. Там ему сказали, что я уже отслужил и отбыл на родину.

Подкосила Сенем эта весть. Целыми днями с постели не подымалась, все подушки слезами промочила. Фато с мужем утешали ее как могли: «Не терзай себя, ханым, вернется твой Мемо, обязательно вернется. Ты ведь раньше срока сюда прибыла. А Мемо-эфенди до вашей встречи небось домишко свой продать рассчитал. Ясное дело, продаст и вернется». Поначалу она вроде малость повеселела, но скоро опять вся в тоске зашлась: «Чует мое сердце, — говорит, — не свидимся мы с ним больше». Уставит глаза на дорогу и сидит так часами.

Сердце ее не обмануло. Наутро прискакали шейховы люди, схватили Сенем и увезли. Кто им про нее

весть подал — неведомо. Муж Фато, не будь дурак, в жандармский участък побежал. «Дочь,— говорит,— украли». Жандармы вместе с ним в погоню пустились. Доезжают до реки, смотрят — у моста народ толпится. Что такое? Говорят: женщина в Тигр бросилась, ищут ее. До вечера проискали, все дно вокруг моста облазили — не нашли.

Замолчал мужчина, стоит, рукавом слезы с лицатирает. И я стою, не шелохнусь, как громом меня поразило. Ни рукой, ни ногой двинуть не в силах. Гости мои ушли давно, а я все стою, очнуться не могу, закаменел весь...

* * *

Сколько месяцев пролетело с того дня — не помню. Жил я в дядином доме, отливал, как и раньше, колокольчики для коров, для овец, но сковал меня какой-то страшный сон, никого и ничего вокруг себя не примечал.

Как-то утром подхожу к окну, и вдруг словно пелена с глаз упала. Небо голубое увидел, деревья в цвету, пчел на цветах. Смотрю на все это, словно родился заново. На лугу корова замычала, теленка к себе кличет. На крыше соседского дома девушка стоит, перелопачивает пшеницу и песней заливается:

На крыше расстелен камыш молодой,
Покой мой потерял, камыш молодой.
Мой милый уехал отсюда далеко,
Мне милый неверен, камыш молодой.

Голос ее звонкий, как у горной козы, в колокольцах моих дрожью отзывается.

Расстелили на крыше камыш молодой,
Сладко пахнет на крыше камыш молодой,
У соседок мужья все домой воротились,
Я все жду не дождусь, воротится ли мой.

Вот те на! Да это я сам ей в ответ запел и не приметил, как песня сама собой из груди вырвалась.

Тут дверь с шумом отворилась, тетка вбежала. Остановилась, лицо растерянное, рукой со лба пот вытирает.

— Как твой голос на дядин похож, Мемо! — говорит, а у самой дыханье прерывается. — Со всех ног бежала... Почудилось мне, будто вернулся он...

Замолчал я. Что ей сказать?

Села она напротив меня, смотрит, как я работаю.

— Всем ты на покойного похож, Мемо, — говорит, — одним не похож. Знаешь ли, чем? На девок не смотришь. Вон Кезбан уж который год по тебе сохнет, а ты хоть бы глянул на нее разок. Ну, что молчишь? Чем тебе Кезбан плоха? Краше во всей деревне не сыщешь. И нравом приветливая, и здоровая, а главное — из богатого роду. Мне уж шепнули: с тебя и калыма не возьмут.

Кончила она свое слово, ответа ждет, а я и бровью не веду; словно не про меня речь. Сижу, колокольчики встряхиваю, хорошо ли звенят.

Вскочила она в сердцах.

— Что ты уткнулся в работу, головы не поднимаешь? Или тебя на службе в девку переделали! Другие из армии женихами приезжают, а ты все дома киснешь, глаз никуда не кажешь, и от песен твоих тоска одна.

Вдруг схватила меня за плечи, в глаза заглядывает:

— Или у тебя есть кто на примете? Ты мне только намекни, я живо все обделаю.

— Нет у меня никого, тетушка. А что голос жалостлив — так ты ему не верь. И зурна жалобно поет, а внутри пустая. Да что тебе наши родовитые соседи покой не дают? Какое нам до них дело? Мы живем, их не трогаем.

Оторопела тетка.

— Что, Кезбан тебе не пара? Ну, тогда возьми Хазал. Уж и свежая, уж и гладкая, что твоя индюшка. Скота у них полно. Возьмешь себе такую — до самой смерти спину гнуть не придется. А то бери Зино. Силыща у нее — мула с ног свалит. Кожа — чистое молоко. Бедновата, правда, так ведь и калым за нее невелик, всего-то сто меджидие...

Тетка знай стрекочет, а я все со своими колокольчиками вожусь, головы от работы не подымаю. Поняла она, что зря старается, притихла.

— Уж не околдовал ли тебя кто, а, Мемо? Я и тут пособлю. Таких знахарей найду — все заговоры знают.

Вбила она себе в голову женить меня. Целыми днями ногам покоя не давала. То к святым мощам плетется, то к знахарям, то к старцам. Денег им перетаскала — не счесть. Потихоньку мне в кофе приворотный сахар подкладывала, мулу моему на шею амулеты вешала. Под конец отчаялась, рукой на меня махнула.

А меж тем огонь, что она месяцами разжигала во мне — не разожгла, сам собой вспыхнул на клинке одного жаркого дня. Дело было так. Продал я в горных оба свои колокольчики, к себе возвращаюсь. К обеду в пути притомился, у ручья отдохнуть присел. Выбрал место потенистей, с мула тюки снял, выпустил его травку пощипать, потом сам заправился, растянулся под деревом и уснул. За излучиной водопад шумел, видать, его шум меня и укачал.

Просыпаюсь — где-то рядом коза блеет, женщина смеется. Я потихоньку подкрался к водопаду и вниз смотрю. Девушка молодая по пояс в воде стоит, волосы по плечам распустила. С ней горная коза. Девушка ее руками за рога тянет, в воду пихает. Та изо всех сил отбивается, вырваться норовит, да не может. А девушка, на нее глядя, смеется, колокольчиком заливается.

Гляжу на них — дыхание перехватило. Переливы ее голоса прямо в сердце моем отозвались. И захотелось мне вдруг так же беззаботно засмеяться, как она. Только нельзя, спугнешь еще такое диво. Стиснул я зубы, жду, что дальше будет.

Вырвалась наконец коза у девушки из рук, выбралась на берег. Отряхнулась от воды, на девушку смотрит. Та ей и говорит:

— Теперь моя очередь купаться, Джейлан.

И давай прямо в бурлящую воду нырять. А коза — подумать только! — за нее переживает. Как не видно девушки над водой, так она мечется по берегу, блеет жалобно.

Искупалась девушка, из воды выходит, водяные брызги на теле жемчугом блестят, мокрые волосы к груди прилипли. На вид ей не больше четырнадцати.

Нагнулась за кафтаном — все тело молодое напряглось, как натянутый лук, груди упругие вздрогнули, а вместе с ними и сердце мое. Сладкая волна к горлу подкатила.

Оделась девушка, шлепнула козу ладонью по заду, та — бегом в гору, и девушка за ней по камням скачет, не отстаёт.

Оседлал я живехонько своего мула, за ними следом пустился. Шагов пятьсот проехал — стоит передо мной водяная мельница. У дверей на камне сидит крепко сбитый человек с окладистой бородой, наргиле попыхивает. На спину медвежья шкура накинута. От солнца прищурился, думает о чем-то. Рядом, под деревом, огромная собака на цепь посажена. Шаги мои почуяла, забрехала. Человек голову поднял.

Подъезжаю я к нему. Слез с мула, поздоровался. Спрашивает он, откуда и куда я еду. Узнал, что я колокольчики продаю, усмехнулся.

— Ну, сработай и моей псине ошейник с колокольчиком. Мельник Джано, поди, тоже не хуже других.

Слово за слово, разговорились. Джано и пошутить любит, и посмеяться. Показал я ему ножные браслеты, подвески на голову из своего сундука достал. Подивился мельник.

— Это что же за штуковины? — спрашивает.

— А это в горных оба невестам на ноги и на голову надевают.

Смеется мельник:

— Молодец, сынок, ловко ты их колокольчиками да монетками изукрасил. Вот девкам и радость.

— Это уж как придется, Джано-ага. Кому на радость они, кому на горе...

Тут глянул он на меня своим цепким глазом.

— Мастер ты знатный, это по всему видать. Не знаю, женат ли ты, но скажу тебе прямо: ни одну горную козочку ты еще не опутал.

— Не женат я, Джано-ага. Коли есть у тебя кто на примете, присоветуй, а за ножным браслетом дело не станет.

В это время нижней тропой, погнав козу, прошла мимо мельницы моя купальщица. Собака ее радост-

ным лаем встретила. Мельник глазами ее проводил и говорит мне:

— Это дочка моя пошла, Джемо. Один я ее растил, без матери. И от слепоты ее уберег, и от хромоты ее уберег. Да вот поди ж ты, ни один джигит ее еще не опутал.

У меня сердце в груди подскочило.

— А сколько просишь за нее? — говорю, а у самого перхота в горле.

Глянул он на меня с прищуром.

— Сколько за других девок берут? Двести меджидие, красная цена.

Вынул я живо из пояса деньги, отсчитал двести меджидие.

— Ну как, по рукам?

Джано на деньги и не глядит.

— Если б в деньгах было дело, не болела бы моя голова, — говорит. — У нас на Зозане деньги не в почете. Девушка — это тебе не сучок на дереве — сломил да пошел. Сколько таких приезжало, мы им здесь спесь-то пообломали. Джемо моя на козьем молоке вспоена, козам она родная сестра. Вот ты поди поймай да приручи мою дикую козу, тогда и прижму тебя к сердцу, как сына родного.

— Что же, потешная выйдет охота!

Повернул я своего мула к лесу.

— Стой! — кричит Джано. — Забери свои деньги! Покуда Джемо не приручил, о деньгах речи нет.

Вернулся я, забрал деньги, сунул себе за пазуху, тронул мула. Слышу за спиной голос Джано:

— Помни одно! Раз спугнешь, потом вовек не приручишь. Дикие козы, они ласку любят!

Доехал до водопада. Слышу — внизу женщина песню поет:

У базара рядами дома, дома.

Ах, с базара идет любовь сама...

Привязал я мула к дереву, взобрался на скалу, вниз смотрю. Сидит на траве Джемо, на коленях у нее коза. Джемо руками шерсть ей перебирает, блох ищет и песней заливается.

Амулет повяжу, не сойти б с ума...

Сел я под дерево, вынул из сумы свою зурну, и по-тилась по горам протяжная пастушья песня. Замолчала Джемо. Повернула голову, на меня глядит. И коза шею вытянула, уши наострила. Обняла ее Джемо за шею, и замерли обе — слушают. А я меж тем из последних сил стараюсь, весь огонь своего сердца в песню вкладываю. Отродясь так горестно, так сладко не игрывал. Послушать, так грудь от тоски разорвется.

Встала коза с хозяйкиных коленей и пошла потихоньку прямо на звуки зурны. На скалу вскарабкалась, остановилась. То на меня посмотрит, то на Джемо, вроде зовет ее. Потом подошла ко мне, к ногам моим легла.

Как увидел я, что и Джемо в гору карабкается, так у меня сердце птицей и встрепенулось. Еще жалостливей заиграл. Джемо тихонько приблизилась, рядом с козой села.

Смотрит на меня в упор, глаза влажные, блестят звездами. И нежность в них, и покорность.

Отложил я зурну. А кругом нас и земля, и воздух, и горы, и реки, и леса, и поля — все звенит еще той жаркой песней, и чую я, сердце мое с сердцем девушки в лад бьется.

Протянул я к ней руку, погладил ее по шелковым волосам. Закрыла она глаза, потерлась щекой о мою ладонь, губами к ней потянулась. Достаяю я из сумы подвески на голову с золотыми монетками да колокольчиками. Только собрался примерить ей к волосам, в сорок косичек заплетенным, вдруг — шлеп на землю! Что-то меня в бок кольнуло. Что такое? Оказывается, это коза меня от ревности рогами пырять задумала.

Пока я очухался да на ноги поднялся, Джемо уже вспорхнула и убежала. Только смех ее серебристый вдали по горам рассыпается. Я за ней вдогонку. Бегу, подвески в руках на каждом шагу позвякивают. Послушать — скажешь, породистый скакун скачет. А посмотреть со стороны — гончая за дичью припустила. Девушка впереди мелькает, прыгает по камням легче газели. На вершине остановилась, оглянулась. Увидела, как я гонюсь за ней, залилась смехом пуще прежнего. Потом прокричала своей козе: «Хо, Джейлан!» — и скрылась за скалой.

Тут обуял меня страх, что потеряю ее навеки. Не помня себя, полез я на скалу, как на приступ. Одним махом вверх вскарабкался. Оглядываюсь — впереди зеленая полянка, горами зажата. В глубине полянки, в тени горного кедра, маячит черным глазом вход в пещеру, а перед ним Джемо лежит, на руку оперлась, от бега дышит тяжело. Умерил я свою прыть, подхожу к ней тихонько. Она свои звезды черные зажгла, от меня не отрывает. Гляжу я в них, а их словно туманом заволокло в ненастный день.

Остановился я возле нее. Дрогнула она всем телом, словно бежать по привычке собралась, однако с места так и не тронулась. Ждет меня, ноздри раздуваются. Застыл я над ней, как эрел застывает над добычей, прежде чем камнем на нее упасть. Зрачки у нее расширились. Вытянулась она по земле, прижалась к ней всем телом, словно врасти в нее захотела.

Поднял я ее на руки, отнес в пещеру, пол там весь желтыми цветами усыпан. Положил ее на этот живой ковер — заскрипели цветы под моими коленями...

* * *

Въезжаю я на мельничный двор, позади меня Джемо сидит. Увидел нас Джано-ага, засмеялся, головой закачал.

— Так оно и бывает, неожиданный камень голову разбивает. И как это ты ее с козой разлучил? Слава творцу, не перевелись еще джигиты.

Снял я Джемо с мула. Подошла она, опутив глаза, к отцу, руку ему поцеловала. У старика слезы на глазах заблестели. Погладил он дочку по голове, рука на колокольчик наткнулась.

— И ты, козочка, до ошейника с колокольчиком дожила, — говорит.

Прижал ее к груди, смотрит на меня ласково эдак, как на сына родного.

— Среди горных коз она выросла, Мемо, — говорит. — По хозяйству управляться никто ее не учил. Ни тесто замесить, ни йогурт заквасить не умеет. Да ей отродясь и отведать не привелось никаких разносолов. Как от молока оторвали, только и ела, что тутовую па-

стилу, сушеные абрикосы да грецкие орехи. Ну, да уж как-нибудь.

— О том не печалься, Джано-ага! Говорят же: жена в доме мужа всему обучится.

Достаю из-за пазухи кошель с деньгами.

— Возьми калым, благослови нас!

Взял он кошель, подкинул в воздухе.

— Коли дочку бить-обижать не будешь, тогда благословлю.

К Джемо обернулся:

— А ты поди нацеди нам шербету.

Вошли мы в дом. Джано деньги в шкаф убрал, достает оттуда кинжал с точеной рукояткой.

— Этот кинжал отец мне завещал. Будь у меня сын, я бы ему передал. Не послал мне всевышний сына. А мне теперь и горя мало, ты будешь мне сыном. Состарился Джано, ни к чему ему эта игрушка, а тебе она в самый раз будет, в черный день свою службу сослужит.

Поцеловал он клинок, мне передал. И я поцеловал, на голову положил. Потом обнялись мы с ним крепко, выпили розового шербету на маке. Так и скрепили родство.

* * *

Поутру повез я Джемо к себе. Перед въездом в деревню соскочил я с мула, под уздцы его взял. Поглядел на Джемо — сидит в седле как влитая.

Завидели нас деревенские женщины и девушки, все враз всполошились, закудахтали, на крыши высыпали, глаза на нас вытаращили.

Иду я, в душе ругаю себя последними словами. И как это я, осел, не додумался до вечера повременить? Ведь любому ясно: они из ревности языки распускают, Джемо начнут честить.

Подъезжаем к дому — на крыше тетка стоит, лицо от злости перекошено. Так и впилась глазами в Джемо. Что, мол, за краля такая едет, кто это оказался краше Кезбан, и Хазал, и Зино, и всех других здешних красоток?

Однако поначалу все смотрели на нас молча, должно быть, оторопь их взяла.

Первая Хазал взорвалась. Разобрало ее, что сам пешком иду, а Джемo на муле едет. Плюнула нам в след и орет:

— Ах, сито мое нзвое, куда тебя повесить?

На соседней крыше Зино отозвалась:

— Она уж и забыла, как козой по горам прыгала!

Еще кто-то голос подал:

— В невестах один день, а в женах всю жизнь. Поглядим, как с нее спесь соскочит. Завтра же носом в грязь уткнется.

Глянул я краем глаза на Джемo — каково ей, бедняжке? Вижу — звезды черные на ее лице еще ярче зажглись, только усмешка в них тaitся. Словно не поносят ее, а веселое что говорят. Выслушала всех, засмеялась, язык показывает.

У меня с души словно камень свалился. Вздохнул я свободно, и мне весело стало. Того гляди, покатымся оба со смеху. Женщины это заметили, еще пуще озлились, загалдели, как вороны, с чем только Джемo не сравнили. А нам хоть бы хны!

Завожу я мула во двор — никто нас не встречает. Тетка убежала в свою комнату, заперлась там и не выходит: обиделась — без ее благословения невесту себе выбрал. (Потом — вперед забегу — и вовсе до смерти разобиделась, что мы с повинной к ней не явились, да от той обиды на другой же день к матери и убежала. С той поры не видались мы с ней.)

Снял я Джемo с мула, на руках в дом понес. Обвила она руками мою шею, как ребенок малый. Ногой дверь толкнул, в дом вошел, Джемo на пол поставил. Распахнула она свои глаза широко, смотрит любовно то на постель, то на ковер, то на занавески вышитые.

— Это наш дом? — говорит.

— Наш, Джемo.

Нагнулась, погладила ковер, к окну подбежала, занавеску пощупала, щекой об нее потерлась, к постели подошла, шелковое покрывало погладила. Возле люльки над кроватью остановилась. (Ту люльку мне тетка купила, когда женить меня ей в голову стукнуло.)

— Что это, курбан? — спрашивает.

Подошел я к ней, по голове погладил, одной рукой люльку качнул.

— Вот родится у нас Хасо, ты его сюда положишь и будешь качать,— говорю.

Прикрыла Джемо ресницами огоньки в глазах.

— А если Кеви родится?

Взял я в ладони ее лицо, поцеловал, к своему лицу прижал.

— Все здесь будут лежать: и Кеви, и Хасо, и Зино, и Джано! Пока дюжину не народим, лавку свою не закроем.

Обвила она руками мою шею, прижалась ко мне всем телом — у обоих дыхание зашлось, словно горячей волной нас окатило.

Только и слышно было в тишине, как колокольчики на ее волосах тонюсенько песню свою вызванивают...

* * *

На зорьке разбудил я Джемо. По нашему обычаю, все женщины должны утром рано, покуда мужчины спят, искупаться в источнике.

Бужу я ее, а она глаз не открывает, зевает сладко, потягивается на постели, как котенок. Я ее — гладить, я ее — целовать, насилу растолкал. Встала она.

— Поди, газель моя, к источнику, искупайся,— говорю.— Все деревенские уж небось глаза проглядели. На невесту поглазеть им не терпится.

Ухватила она медные ведерца и побежала.

Сижу, жду ее, вдруг слышу — у источника ведра загремели, женщины, как воронье, загалдели. Вбегает в дом Джемо, от бега запыхалась, рубаха на ней разодрана, глаза горят.

— Трех дур искупала,— говорит.— Набросились на меня: «Свинья! Кызылбаш!¹ Не смей осквернять наш источник!» Не дали мне искупаться. А я им: «Ах, так! Тогда вы купайтесь!» — И давай их в воду швырять одну за другой. Двое ко мне сзади прицепились, рубаху на мне рвут — я им ведра на головы надвинула.

¹ К а з ы л б а ш и кызылбашество — ересь шиитско-суфийского толка внутри мусульманства, впитавшая также пережитки до-мусульманских верований.

Так началось наше первое утро. Теперь мира не жди! «Кызылбаш!» Какой она кызылбаш? Вон кузнец Тахир тоже жену себе из горной оба привез, ему никто слова не сказал. А мою Джемо готовы в ложке воды утопить. Розы щек, звезды глаз ее им не по нутру, вот что. Зависть их душит.

Старик Хасо меня как-то подозвал и говорит:

— Зря ты жену с гор взял, Мемо. Не будет тебе в нашей деревне покоя. Женщины у нас набожные, веру свою в обиду не дадут, так и знай!

Джемо над всем этим не больно голову ломала. К одиночеству она сызмальства привыкла, а я места себе не находил. Вот поеду в горы колокольчики продавать, что с ней будет? Куда за помощью сунется?

А ей и горя мало! Снует туда-сюда, по хозяйству крутится: воду носит, похлебки варит, белье стирает. Не все у нее гладко шло. Поначалу и коромысла не умела ухватить — пойдет к источнику, всю воду из ведер расплескает. С восхода до темна во дворе с полными ведрами ходила. Муштровала себя, как солдата, пока до тонкостей этого дела не освоила. Тогда только к источнику вышла.

Взялась тесто месить — оно у нее все к рукам прилипло. Принялась волосы поправлять — вся в тесте перемазалась. Увидала, что я стою на пороге, хохочу над ней, бросилась на меня с кулаками, дубасит по чему попало, тестом и меня разукрасила всего. Под конец уткнулась мне в плечо.

Взял я ее за подбородок, поцеловал в мокрые от слез дорогие глаза.

— Ну, смотри, курбан!

Подхожу к квашне, руки намочил, тесто замесил, пирожков налепил, на противень посадил. Вот как! Опять засияла моя газель, песню затянула.

* * *

Пятнадцать счастливых дней мы так прожили, как вдруг приезжает к нам из Карга Дюзю человек.

— Мельник Джано тебя к себе зовет, — говорит. — И дочку его велит с собой забрать.

— Что такое? Заболел мельник или беда какая? Человек только головой качает.

— Уж такая беда, что и не спрашивай. Сорик-оглу теперь нашей деревне хозяин.

Оседлал я мула, оружие, какое было, себе за пояс заткнул, вскочил в седло, Джемо сзади себя посадил — и в путь.

Все на крыши высыпали, молча нас глазами проводили.

* * *

У мельницы уж народ столпился, нас ждут.

Соскочил я с седла, Джемо ссадил. Вперед себя ее к отцу пропустил. Кинулась она к нему, к груди припала. У старика глаза от слез заблестели, поцеловал он дочку в лоб. Потом меня обнял.

— Слыхал, что этот сукин сын Сорик-оглу творит?

— Что, вашим хозяином объявился?

Все головами закачали.

— Разбойник он, а не хозяин!

— А по какому праву? — говорю. — Кто ему вашу деревню завещал?

— Он, видишь ты, все твердит, что купил нас у сына шейха Махмуда. «Что, — говорит, — хорош ваш абукат? Продам вас всех, вы теперь мои рабы, на меня будете спину гнуть». Да вранье это, не таков сын шейха Махмуда, абукат-бей. Он нас наведывал, границу нам показывал с землей Сорика-оглу. «Проходит та граница, — говорит, — за мельницей, по речке Куручай».

Тут староста деревни Карга Дюзю речь повел:

— Приезжает ко мне вчера человек от Сорика-оглу. Подавай ему ашар¹, подавай ему налог с дыма². Я ему толкую: и ашар, и налог с дыма уплатили мы абукату, сыну шейха Махмуда, — не вобьешь ему ничего в башку. «Нет, — говорит, — над вами теперь ни-

¹ Ашар — поземельный налог, взимающийся с мусульман. По закону составлял $\frac{1}{10}$ часть урожая. Фактически сборщики значительно его превышали. Был отменен в 1925 году.

² Налог с дыма — подворный налог.

какого абуката. У моего аги на вас купчая, он и хозяин ваш. А поперек пойдете, кнута отведаете». Вот мы и рассудили в город податься, разузнать в точности, кто наш ага, а там видно будет.

Достает из-за пазухи кошель.

— Чиновный люд задарма пальцем не шевельнет, про то нам ведомо. Собрали мы им за труды...

Подкинул кошель в воздухе, опять за пазуху убрал. Стал Джано свое слово говорить:

— Порешили мы тебя на подмогу кликнуть, Мемо, потому как ты один знаешь османский язык. Они по-нашему не понимают, а мы по-ихнему. Как нам сговориться? Ты у них в солдатах служил. И сказать — скажешь, и написать — напишешь, как у них там положено. Поезжай ты со старостой в город, пособи нашему горю. Расспроси, продал нас наш ага или Сорику-оглу нам капканы расставляет. Там у них в бумагах все прописано. Коли брешет Сорику-оглу, мы аге своему живо весть подадим, мозги лихоимцу вправим. Ты уж сослужи нам службу.

— С Сорику-оглу бы сперва потолковать, — заикнулся было я, тут все давай орать наперебой, улюлюкать:

— Пусть шайтан с ним толкует!.. У шайтана поболе жалости, чем у него, собаки!.. Только и ищет, над кем бы поизмываться!..

Я язык и прикусил. Порешили на том, что завтра на зорьке я со старостой еду в город.

Джемо принялась обед стряпать. Ясное дело, перед отцом хочет свое умение показать. Замесила тесто, напекла гёзлеме¹ с сыром. Джано на нее глядит, не надивится.

— Ай да Мемо! Ловкий ты парень! За такое время из нашей горной козы человека сделал! Она только и умела, что качамак² в котелке замешивать...

Вздыхнул.

— Коли справишь наше дело, как надобно, всю деревню выручишь. Сам посуди! Я Сорику-аге сам

¹ Гёзлеме — пирожки из мягкого слоеного теста.

² Качамак — блюдо, приготовляемое из вареной кукурузной муки.

веревкой руки связывал, а у отродья его в рабах буду! Разве можно такое стерпеть? Да ни одна душа в нашей деревне этого не стерпит, скажу я тебе. Бросят люди насиженные места, пойдут по свету горе мыкать. А кто их приютит? Беженцев пригреть — своим рабам дурной пример показать. Одно им остается — стать бродягами нищими.

Тут Джемо гёзлеме на блюде подает.

— Отведай бабо, как твоя дочка стряпает.

Погладил ее отец по спине:

— Должно быть, сладкие, как и ты сама.

Откусил, пожевал, глаза зажмурил.

— Ну и сладки! Чистый мед, а не гёзлеме!

Я у Джано спрашиваю потихоньку:

— А с чего это Сорик-оглу на вашу деревню зарится? За отца отомстить?

Джано не сразу ответил. Прожевал свой кусок, повернулся ко мне и говорит:

— И за отца и за Джемо. Он ведь у меня ее торговал, да не выгорело у него. А как агой станет, торговаться уже с нами не будет. Захотел — убил своего раба, захотел — повесил. Захотел — жену у мужа отнял. Одного его звериная душа хочет: силу свою над нами показать.

Заскрипел я зубами.

— Сам Азраил¹ у меня Джемо из рук не вырвет, — говорю, — я ему живо хвоста накручу.

— Да не-е! До тебя его лапища не дотянется, ты не из Карга Дюзю. Он на нашей шкуре отыграется. Втемяшится ему в башку отбить Джемо, нас же и пошлет к тебе, накажет нам вернуть девку в Карга Дюзю. Хитростью ли, уговорами ли, а чтоб привели ее, скажет, ко мне, и весь разговор.

Вытер Джано руки о полотенце, стал набивать свой чубук табаком:

— Вот с чего душа моя изводится, сынок. Страшнее той беды и не помыслишь. Отвести ее от нас путь один: не дать разбойнику над нами верх забрать.

— Аллах милостив, я в городе все улажу.

¹ Азраил — ангел смерти.

Успокоил я, как мог, старика. Спать легли до времени, чтоб на завтра спозаранку в дорогу снарядиться. Обнял я Джемо.

— Газель моя ненаглядная,— говорю,— куропатка нежная! Расставанье с тобой камнем на сердце легло. На три дня тебя оставляю, а душа болит, словно на три года. Хотя и при отцовском очаге остаешься, все мне беспокойно. А ну как Сорик-оглу сюда нагрянет!

Прижалась ко мне Джемо, голову мне на грудь положила.

— Не трави себе душу понапрасну, курбан,— говорит.— Знай, пока жива буду, никто, кроме тебя, ко мне не притронется. Всякому, кто на меня глаз положит, сама глаза выцарапаю, а сил не станет, себя на месте прикончу. У меня за пазухой твой кинжал лежит. Я его, из дома уходя, прихватила...

Джано растолкал меня до петухов.

— Поспешай, староста уже ждет!

Вскочил я, оделся. Джемо сладко спала, не решился я ее будить, только губами к щеке ее притронулся.

Оружие — за пояс, суму с едой — за плечи и пошел. На дворе уж две лошади стоят, староста их привел. С Джано обнялись крепко.

— Оставляю Джемо под твою защиту, бабо!

— О том пусть твоя голова не болит! Сорик-оглу нас голыми руками не возьмет. Мы и отцу его ручищи скручивали, а с ним уж управимся. Ну, пошли вам всевышний благополучия!

Вскочили мы на лошадей, тронули поводья. Джано нам вслед кричит:

— Через ущелье Чакал езжайте! Там, в низинке, вас никто не высмотрит!

Так мы и сделали, повернули лошадей на ущелье Чакал.

* * *

Приезжаем в город. В городе первое дело — своих знакомых разыскать. Толкнулся к начальнику отдела, что меня в армию посылал,— на его месте уж другой офицер сидит. Не стали мы с ним толковать, пошли к писарю в отделе регистрации. Как глянул он

на меня, враз признал, шельмец, по-курдски со мной поздоровался.

— Что пороги обиваешь? — говорит. — Или метрику потерял?

— Нет, ага, не потерял, — отвечаю. — Другая у нас беда.

И рассказал ему все как есть, без утайки.

— Нам, — говорю, — только узнать, как там у вас в купчей прописано. Кто в деревне Карга Дюзю хозяин: сын шейха Махмуда или Сорик-оглу. Нету у нас в городе своих людей, один ты. Вот и всем миром бьем тебе челом: пособи нам, сделай такую милость.

И протягиваю ему золотой. Тут глаза у него враз повеселели.

— Что ж, — говорит. — В отделе кúпчих у меня свой человек есть. Он мне что брат родной. Вместе пьем, вместе едим. От него ни в чем отказу не будет. Вы тут погодите, а я добегу до него. Авось ваше дельце и обделаю.

Сели мы со старостой, ждем. Час-другой проходит, от нашего благодетеля ни слуху ни духу. Наконец вваливается. Весь в поту, вид прибитый.

— Мудреное ваше дело. Сам черт не разберется. Нашими силенками его не распутать, судом пахнет. Один сын шейха Махмуда может его решить.

Тут погремел я золотом в кармане. Глядишь, этот звон его на другой лад настроит.

— Всякое дело можно решить, ага, — говорю. — И из нашего положения выход найдется.

Отер он пот с лица, смотрит на меня с прищуром.

— Да что ты смыслишь в деньгах? — говорит. — Ты рассчитал, чтоб колесо твою мельницу вертело, и точка. А что Сорик-оглу по своим деньгам рассчитал, тебе и в голову не взбредет!

Потом помягчел малость.

— Ты послушай меня. Зря деньгами направо-налево не сори. Не такие это двери, чтоб десятком золотых их отворить. А если кто возьмется, тому не верь, обманет. По документам выходит, что продал сын шейха Махмуда вашу деревню Сорику-оглу, да еще расписку ему в том дал. Продавал не продавал, таких слов в расписке нету. Зато указаны границы

его владений. Вот ты говоришь, ваша граница проходит позади мельницы и по речке Куручай. А в его расписке указано, что граница проходит на восток от мельницы и по речке Каратай. А коли этому верить, то и деревня ваша, и мельница относится к владениям Сорики-оглу. Может, там что и подделано, да поди разберись. Старые-то списки уж в архив сданы, к ним доступа нету. Разве что сам сын шейха Махмуда придет. У него свои бумаги должны быть. А по расписке его выходит, Сорик-оглу вам законный ага. Вы ему и ашар платить должны, и налог с дыма. Сын шейха Махмуда свои права только через суд может доказать. Что я вам присоветую? Немедля ехать к своему хозяину, все ему выложить.

— Куда ехать? Наш абукат-ага на другом конце света живет.

— Где же?

— Да в Стамбуле.

— Адрес его у вас есть?

— Есть.

— Тогда так сделаем. Диктуйте письмо вашему аге, я все как есть запишу. Будем просить, чтоб сам сюда приехал, разобрался.

Переглянулись мы со старостой.

— Попросим.

Писарь уж собрался было писать.

— Нет,— говорит,— лучше моего деверя никому не написать. Он тоже абукатом служит. Абукат абуката всегда поймет. Он и напишет и нас на верный путь наставит. В партии у него вес большой.

На ноги поднялся.

— Вы теперь подите на рынок, там подзаправьтесь, а я покуда к деверю забегу, письмо ваше заготовлю.

Сказали мы ему адрес абуката и ушли.

На базаре зашли в духан, заказали мяса, сидим, ждем.

— Как думаешь,— спрашиваю у старосты,— поедет абукат-бей в такую даль нас выручать?

— Если он нашей деревни не продавал, ясно, поедет. Не допустит его душа, чтобы над нами измывались.

— А вдруг да не поедет? Чем черт не шутит?

— Сам не поедет, человека пошлет. Или весть нам подаст. Наш ага — добрый человек, не отдаст нас выродку на растерзание.

* * *

После обеда вернулись мы к писарю. А он уж нас поджидает.

— Пойдемте, я вас к своему деверю провожу. Он с вами потолкует.

Заходим мы к абукату в комнату. Смотрим — сидит за столом черноглазый человек, борода лопатой. У стенки — зеленый шкаф из железа, на заднюю стенку молитвенный коврик приколочен, над ним в рамке под стеклом — бумага об окончании абукатской школы. На гвозде висит амулет в черепаховой оправе.

— Знаю я Кемаля, сына шейха Махмуда, — говорит абукат. — Мы с ним одну школу кончали. Он мне дороже брата. Я для него все сделаю. Вы не беспокойтесь, я ему письмо уже написал, в письме все подробно изложил.

Берет со стола письмо, показывает нам.

— Если купчая подделана, он сразу все поймет. А тогда или сам сюда приедет, или мне документы вышлет, я ваше дело поведу.

— Да продлит всевышний твою жизнь, бек, — говорю и с этими словами кладу на стол два золотых. Он на меня руками замахал.

— Ну, что вы! Какие могут быть деньги? Я для него стараюсь, как брат.

Неловко мне стало, помялся я и спрашиваю:

— А что же нам теперь делать? Что своим-то сказать. Сорик-оглу с нас налоги требует.

— Пока дело не прояснится, ничего не платите. Пожалуй, лучше поднимитесь к губернатору. Все ему объясните. Скажете, Сорик-оглу объявил себя хозяином вашей деревни, а на самом деле ваш хозяин такой-то. Мы, мол, написали ему письмо, просим у него совета. Если губернатор вам скажет, что ваш ага теперь Сорик-оглу, значит, так и есть. Придется вам платить ему налоги.

Староста шепчет мне на ухо:

— Да кто нас к губернатору пустит? Ты скажи ему, пусть нас проводит.

Я и говорю абукату:

— Мы-то пойдем, да ведь не пустят туда нас, деревенских.

Засмеялся абукат.

— Как не пустят? Вы теперь хозяева нашей страны.

Потом улыбку с лица согнал и говорит:

— Как подойдете к особняку губернатора, увидите у дверей полицейского. Подойдете к нему и скажете: нас, мол, послал к губернатору Хызыр-бек, он передаст тебе свой привет. Полицейский проведет вас куда следует.

Пожелали мы абукату доброго здоровья, распрощались с ним, вышли наружу. Тут писарь спросил у нас два золотых, что абукат не взял. На почтовые, мол, расходы. Забрал, бросил их себе в карман.

— Заходите,— говорит,— как-нибудь на кофеек.

Показал нам губернаторский дом и зашагал к себе в контору.

Подходим мы к дому — у обоих сердце бьется. У дверей никого. Заходим внутрь, поднимаемся по лестнице. Перед нами — большой зал, а в конце его — дверь двустворчатая. У дверей один полицейский и один жандарм. На стене картина: Гази-паша на коне сидит.

Подходим к двери — полицейский брови насупил.

— Что надо?

— Так и так, мы от абуката Хызыр-бека. Он тебе привет посылает. Нам по делу к губернатору надо.

Полицейский враз лицом просветлел, усадил нас, спрашивает, в чем наше дело. Потом говорит:

— Ждите. Я о вас доложу. Может, и примет.

Поправил на себе ремень, пригладил волосы, постучался в двери, зашел внутрь. Возвращается.

— Проходите,— говорит.— Господин губернатор вас ждет.

Сняли мы у дверей свою обувь, полицейский с нас еще и шапки снимал.

Входим. Перед нами стол под стеклом, за столом огромное кресло, в нем сидит сам губернатор. Представительный такой. Брови густые, как у Гази-паши, глаз острый. В лицо ему и глянуть жутко.

Застыли мы у дверей как вкопанные, оторопь нас взяла, и вдруг слышим:

— Проходите поближе, дорогие гости!

Это он нам так ласково говорит и знаком садиться указывает.

Без отца я вырос. Ласки ни от кого не видал. Услышу от кого доброе слово — сердце так птицей и встрепенется навстречу доброте людской. Бросился я ему руки-ноги целовать. Не позволил он. Встал, кликнул полицейского, велел нас конфетами из коробки угостить. Потом принялся нас расспрашивать, откуда мы да с какой заботой пришли. Голос участливый. Тут развязались наци языки, мы ему все выложили про деревню Карга Дюзю.

Выслушал нас губернатор — лицом посуровел. Берет трубку телефона, вызывает чиновника из отдела купчих.

— Принесите мне документы, подтверждающие продажу деревень Сорику-оглу.

Пока тот бумаги готовил, губернатор опять принялся нас спрашивать, сколько семей в деревне, чем народ кормится, какую веру исповедует: шииты¹ или ханифиты².

Входит тут чиновник. Тощий, желтый, как свеча. На лбу пот блестит. Поклонился губернатору — бумаги у него из рук на пол посыпались. Полицейский бросился их подбирать.

Нацепил губернатор на нос очки, склонился над бумагами. Листал их, листал, у чиновника что-то спрашивал. Потом отложил бумаги и говорит:

— Итак, значит, два месяца тому назад адвокат Кемаль-бей, сын шейха Махмуда, продал свои земли,

¹ Шииты, шиизм — направление в исламе, основанное на вере в то, что законными преемниками пророка Мухаммеда — имамами могут быть только его сородичи-потомки.

² Ханифиты — одна из школ, сложившихся в ортодоксальном мусульманском богословии, названная по имени ее основателя Абу Ханифы.

доставшиеся ему в наследство от отца, Сорику-оглу, и дал в том расписку. Деревня Кара Дюзю расположена на проданных землях.

— Все так, бейэфенди!

Снял губернатор очки, к спинке кресла прислонился:

— Что ж, друзья, из документов видно, что ваш бывший ага, адвокат Кемаль-бей, продал вашу деревню Сорику-оглу. И не надо вам писать Кемалю-бею. Все и так ясно. Теперь вашим агой будет Сорик-оглу. У него и семена, и волов будете занимать, станете его издольщиками. Правда, я Сорику-оглу не знаю, что он за человек, сказать не могу. Но если он станет вас притеснять, приходите, жалуйтесь. Мы его уйдем. А теперь всего хорошего, передайте от меня привет своим землякам.

— Пусть пошлет всевышний благополучия твоему государству, — говорим.

Потоптались в дверях, прочь пошли. На улицу вышли, как от сна очнулись. Всю дорогу, пока домой добирались, староста сыну шейха Махмуда проклятья посылал.

— Мы тебя за человека считали. Думали, в отца пошел, а ты — погань последняя! Чтоб лопнули твои глаза, шайтаново отродье! Отдал нас прямо в руки кровопийцы. И глазом не моргнул! Чтоб на тебя порча напала, ублюдок проклятый!

Наповал сразила всю деревню наша весть. Понеслись к небу проклятья на голову абуката. Меж тем никто не хотел Сорику-оглу покоряться. Поговаривали о том, чтобы сняться со своих мест, на чужбину податься.

Лишь один среди них такой нашелся, что против всех пошел. Я после и имя его узнал — Кара Сеид. Не из бедных. Скот у него водится: и овцы и коровы. Одно время он у Сорику-оглу службу нес. Вот этот самый парень выходит и говорит:

— Далась вам эта чужбина! Что людям дома не сидится? Кто вас гонит? Что вы всполошились?

Ему кто-то в ответ:

— А что же нам, у Сорику-оглу в рабах быть?

— Да пусть себе приходит Сорик-оглу, пусть нашим агой станет. От сына шейха Махмуда мы разве что путное видали? Одно название что ага, а проку никакого. На османке женился, да сам османцем заделался. Чего от него было ждать! Удрал от нас на край света! Случись какая беда, кто нас выручит? Лютой зимой кто нашему скоту корму подкинет, голодным детям — хлеба? Нет, я так скажу: раз ты ага, сиди возле своих рабов, как пастух возле стада.

Кое-кто ему в ответ головой закивал. Увидел это Кара Сеид, совсем распалился:

— Не плакать нам надобно, а радоваться, что Сорик-оглу нашим агой станет. Богаче его во всей округе не сыщешь, и знатности ему не занимать. Таких, как он, с ног не сшибешь, власти за него горой. И не разбойник он вовсе. Разве было такое, чтобы Сорик-оглу ограбил кого или по миру пустил?

Молчит народ, все глаза в землю упрятали. В тишине опять голос Кара Сеида загремел:

— Не было такого! Ну, тогда скажите, чем же плохо у такого аги рабом быть?

Из толпы еще один голос взвился:

— Уж такой ага, что всем взял! И перед властями он наш хозяин, и перед всевышним. Недаром он шейхов сын, всему племени глава!

Тут старосту прорвало:

— А пошли вы со своим шейхом да с его ублюдком, — говорит, — туда-то и туда-то! Кто шибко любит Сорика-оглу, пусть остается ему зад лизать. Все одно — долго с этим висельником не протянете. У разбойников две дороги: или им на веревке мыльной болтаться, или стервятникам на жратву пойти. Глядишь, и доведется вам увидеть, какой конец нечестивцу выпадет. Да только помыслить жутко, что с вашими женами, дочерьми, с вашими очагами станется...

Пошумели еще крестьяне и разделились надвое, как сыновья шаха Сулеймана. Кто под Сориком-оглу решил остаться, те по домам разбрелись, остальные собрались у Джано на мельнице. Долго еще судили-рядили, как им быть. Всем было ясно: откочевать надобно

с насиженных мест. Только куда откочевывать — вот в чем загвоздка. Какой ага их под свое крыло примет?

Староста к Али-аге податься присоветовал.

— Они,— говорит,— с отцом Сорики-оглу были кровные враги. Я пойду да скажу ему: шейх Махмуд был тебе братом, а нам — отцом. Вот только сын его абукат, отцовский род опозорил, продал нас с потрохами нашему заклятому врагу, сыну шейха Сорики. Скажу ему, сколько у нас домов, сколько душ. Все как на подбор работающие, здоровые да проворные. На камнях траву вырастят, на лету птицу подстрелят. Смилуйся, мол, приюти ты нас, станем мы твоими рабами.

По нраву пришлись людям слова старосты. Тут мне командир вспомнился. Вдруг да и пособит нам командир с кочевьем? Он этих шейхов не один десяток знает.

— А я,— говорю,— напишу своему командиру. У него все эти шейхи да аги в свояках ходят. Глядишь, и нам присмотрит подходящего. Коли Али-ага вас примет, ладно. Коли нет, командир пристроит.

Повеселели крестьяне.

— Пособи ты нам, сделай такую милость,— мы добра не забудем!

Все давно разошлись, только Джано еще стоял, не двигаясь с места, и бормотал проклятья Сорику-оглу.

— Сколько людей без очага, без крова оставил! Пусть рухнет и твой очаг, шелудивый пес! С корнем наше племя выкорчевываешь, дойдет черед и до твоих корней! Порази тебя в самое сердце дух несчастной Кевы, что теперь без меня здесь скитаться будет!

* * *

Наутро стали мы с Джемо собираться в обратный путь. Тронул я ее тихонько за плечо.

— Курбан,— говорю,— а Джано-бабо захочет с нами жить?

Встрепенулась она, прижалась ко мне.

— Как не захотеть! Захочет, ясно, захочет, если тебе лишний рот не в тягость.

— У нас делить нечего. Что нам, то и ему. Мы сыты — он сыт, мы кушаки затянули — и он тоже. А мне забот поубавится. Уйду в горы колокольчики продавать — все душа спокойна будет, что глаз за тобой есть, не одна тоской маешься.

Сказали мы Джано про наш разговор. Обрадовался старик, обнял нас железными ручищами.

— Ой, дети мои! Пролили вы бальзам на мое сердце. Пусть золотом будут камни в ваших руках! Мне ли не хотеть с вами вместе жить! Только не пришел еще этому черед. Не иссяк еще здесь наш родник. Покуда люди деревню не покинули, и я с ними горе мыкать буду, а как уходить станут — я последний уйду. Что ни говори, родина. Тянет к себе, не пускает. Дух Кеви моей здесь бродит. Тяжко ей, разлуку чует.

Только было собрались мы прощаться, цокот копыт раздался. Гляжу — скачут к нам конники, всего с десяток будет, впереди — ага.

Джамо ко мне прислонилась.

— Сорик-оглу!

Подъехали они к мельнице. Сорик-оглу осадил коня. Глянул я на седока — нос кривой, как у стервятника клюв, вниз загибается, глаза косые. Далеко ему до красавца.

— Кефетхоше, Джано? ¹.

Вроде задобрить старика хочет. Джано ему:

— Худеште разы би ².

— Я гляжу, у тебя радость. Дочка в гости пожаловала. А это твой зять, литейщик?

— Он самый. Привез дочку меня, старика, проведать. Вот провожаю их в обратный путь.

— Куда это?

— Домой к себе едут.

— А что здесь не живетесь? В низовье ханифиты им житья не дадут. Они кызылбашей за неверных почитают. — На меня глянул. — Оставайтесь здесь. На мельнице Джано-ага управляться будет, а вы рядом дом постройте. Дам вам земли вдоль ручья, сейте,

¹ Как поживаешь? (курдск.).

² Помогли тебе бог (курдск.).

хлеб собирайте. Мемо станет по деревням ездить, колокольчики свои продавать. Ну, что скажешь, Джано?

Я за Джано ответил:

— Благодарствуй, ага. Мы на жительство не жалуемся. А здешние места нам непривычные.

Сорик-оглу мне передохнуть не дает.

— Селись у нас, чего там! Скажу тебе, ты мне по нраву пришелся. Известное дело, рабье племя к хозяину жметя. Чуть оторвался — беду наживешь.

Не ответил я. Он к Джано поворачивается.

— Слыхал я, Джано, нашлись в Карга Дюзю такие умники, что из своих краев откочевать помышляют. Я им на то согласия не давал. Или они обычай здешний запомнили?

— Помнят они обычай, и про то помнят, что по закону Гази-паши им со своих мест в другие края переселяться — себе нового агу выбирать — дозволено.

Заскрипел Сорик-оглу зубами, но смолчал. Слюну проглотил и опять запел сладким голосом:

— Куда им податься? Где они сыщут агу лучше меня? В моих амбарах пшеницы и ячменя полным-полнехонько. Овец, коров на моих пастбищах тыщи. Или сын шейха Махмуда их медом кормил? Прошлая зима лютая была. Кого он ячменем выручил? То-то! А мои рабы ели хлеб из чистой пшеницы. Мозгами шевелить надо, а то срываются невесть зачем, невесть куда. Потоп, что ли? Кому они нужны? Кто таких изменников под защиту возьмет? Всякий знает, что со мной шутики плохи.

Джано плечами пожал.

— Что у меня спрашивать? Я знать ничего не знаю. Спроси у них самих.

— Все ты знаешь, Джано! Вчера ночью вы все здесь были!

— А кто говорит, что не были! Я только толкую, что с меня за них спросу нет. Сами не маленькие, знают, что творят.

Сорик-оглу опять котом замурлыкал:

— Джано, они тебя послушают. Поди к ним, растолкуй все как есть. Скажи, я им семян ссужу, сохи новые раздам, упряжки, волов не пожалею. А с них

буду брать не восьмую часть урожая, а десятину, как ашар. Что им еще надо?

— Уговаривать — дело мудреное, не про нас, темных рабов. Ты хозяин, тебе и мозги вправлять, а нам это не пристало.

Джано артачится, а Сорик-оглу свое гнет, не отступает.

— У тебя вес есть, Джано! Потому к тебе и приехал, что твой вес признаю. Тебе одному их утихомирить под силу. Уговори их, чтоб кровь зря не проливать. Сам знаешь, как бывает: рабы бунтуют, ага умирят, а кровь — рекой.

Затеребил Джано свою бороду.

— Потолковать-то оно можно, только дай мне сроку.

— Какого еще сроку?

— Уговаривать народ время надо. Ты всех под нготь — и баста. А со мной иной разговор: к каждому подойди, каждому посули, меж тем времечко-то и бежит.

Вздохнул Сорик-оглу.

— Даю тебе сроку, сколько запросишь. Лишь бы уломал ты их. Уломаешь — два года с тебя за мельницу не буду брать.

— Худеште разы би, уж расстараясь, Сорик-оглу. До пахоты, глядишь, и обделаю дело. А коли не выгорит — тебе весть подам.

Достает Сорик-оглу кошель серебра, Джано подает. Тот головой замотал.

— Ни к чему это. Где деньги, там шайтан.

Поворотил Сорик-оглу коня на дорогу, ударил плеткой, и скоро гости незванные скрылись из виду.

Проводил их глазами Джано, потом вздохнул глубоко.

— Вот и оттянули времечко. Пока он очухается, уж народ далече будет...

Стал я мула навьючивать, Джано меня остановил.

— Постой,— говорит.— Не след вам тотчас в путь пускаться... От этой собаки Сорики-оглу всего можно ждать. До обеда повремените, а там наш человек вам окольную дорогу укажет.

Приезжаем домой, и что же видим? Замок на двери сломан, все вещи искорежены, изрублены, литейный прибор вдребезги разбит. Как увидела Джемо свое разоренное гнездо, от горя обезумела: по дому бегает, за голову хватается, то плачет, то проклятья разбойникам шлет. Замучилась вконец, упала мне на грудь, заплакала.

— Не плачь, моя козочка,— говорю.— Не плачь, курбан. Мемо тебе все купит, еще краше у нас в доме будет. Не лей слез понапрасну, пожалей свои глазки. А разбойника мы найдем, он еще свое получит.

Вытерла она кулаком глаза.

— Когда узнаю, кто это сотворил, своими руками глаза ему выцарапаю, крышу ему на голову обрушу.

На шум соседи сбежались, головами качают.

— Аман! Кто такую подлость учинил!

— А вы не видели,— спрашиваю,— чужих возле дома?

Ни один не признался. Каждый клянется:

— Пусть лопнут мои глаза, не видел. К празднику готовимся.хлопот полон рот.

Пожаловался я жандармам. Пришли они, потоптались в доме, на бумаге что-то накорябали.

— Кого подозреваешь? — спрашивают.

— Откуда мне знать, дорогой? — говорю.— Знал, сам бы мерзавца за ворот тряханул.

— Подумай! Такое может сделать только личный враг. Есть у тебя враги? Воры бы вещи взяли, а тут ничего не взято, только поломано да порезано.

Кто бы это мог быть? На соседок указать — не делают они такой пакости. Уж сколько лет рядом живем, худого от них не видал. На тетку подумать, так она с той поры, как убежала к своим, в нашу деревню и носа не кажет. На кого ни скажешь, все грех на душу при-
мешь.

— Ты уж уволь меня, ищи сам, дорогой.

Говорю я это жандарму, у самого сердце словно сверлом сверлит: враг у меня объявился, да сметли-



вый враг, коварный. До поры до времени затаится, свой час выжидает, а уж нанесет удар, то в самое темечко. Без промаха бьет. Он и дядю порешил, теперь, видать, до меня добирается.

Понял жандарм — не добьешься от меня толку, обозлился.

— Раз ты никого не подозреваешь, нам тут делать нечего.

Повернулся и пошел — отпугнул я его. Соседи тоже по своим домам разбрелись. Подхожу я к Джемо — она у окна стоит, закаменела вся.

— Давай-ка, курбан, — говорю, — приберемся в доме, пока ночь не настала.

— Нет, Мемо, — отвечает, — не лежит мое сердце теперь к этому дому. Уйдем отсюда, уйдем скорей!

— Куда же нам идти?

— А мне все равно.

Бросилась ко мне на шею.

— Уйдем, Мемо! Дядю твоего убили и тебя убьют.

— Куда пойдешь в такой час?

— Давай к отцу на мельницу подадимся. Засветло успеем добраться.

— Успеть-то успеем, да нельзя нам нынче отправляться.

Говорю, сам розы щек ее целую.

— Что так, Мемо? Или мула жалеешь, загнать боишься?

— Нет, мой цветок душистый, нет, моя газель. Ради тебя тыщу мулов загнать не жалко. Сама посуди: коли мы нынче же свое гнездо бросим да убежим, народ над нами потешаться станет. «Чуть припугнули их, — скажут, — они и дали деру». Как потом в лицо людям смотреть? Уж давай переночуем здесь. А завтра с рассветом — в добрый путь!

Смирилась Джемо. Не стали мы у соседей тюфяки просить. Постелили на пол тряпье, какое под руками было, сели на него. Достали из сумы гёзлеме, грецкие орехи, чокелек¹. Закусили.

¹ Чокелек — сыр из кипяченой пахты или кислого молока.

Посадил я Джемо к себе на колени, стал ее песней укачивать.

Беда приходит не одна,
Настали злые времена,
Одно могу: с тобой обняться,
Одной тобой душа полна...

Уставила Джемо глаза на огонь, одна рука — в моей, другая косой играет. Вижу — не до песен ей. Оборвал свою песню, потрепал ее по щеке.

— Что запечалилась, лань моя?

Взяла мою руку, к губам своим прижала.

— Как нам врага своего распознать? Вот что мне покою не дает, Мемо. Один раз припугнул, другой раз нож в спину всадит, а нам и невдомек, с какой стороны беды ждать.

— И не спрашивай, сам диву даюсь. В жизни никого пальцем не тронул, косо ни на кого не глянул, а вот поди ж ты, врага смертного нажил.

— Чую, я тому виной. С меня все твои беды начались, враги появились.

Прижал я ее к себе, поцеловал в губы.

— Как не появиться, душа моя? На розы щек твоих, на мед губ твоих глядя, кого хочешь завидки возмут. Весь мир на меня в обиде: женихи, невесты, матери невест, беки. И в нашей деревне и в твоей. Хочешь, по пальцам всех перечту.

— Брось смеяться. Уж кто из-за меня на тебя зуб точит, то не иначе как Сорик-оглу. Он на такие выходы горазд.

Погладил я ее по щеке.

— Грех нам на него напраслину возводить. Он нас уважил, землю предложил.

— Грех, говоришь? Не знаешь ты его. Эта тварь хуже шайтана. Ведь он нарочно таким прикинулся, чтобы ты на него не подумал.

— Да какой ему с нас прок?

— Поди узнай, что у подлого на уме. Гнездо наше разорил... Вроде грозитя, а чем, не знаю.

— О том, что горшки побиты, тряпье изорвано, душа у меня не болит. Ремесло в руках дороже браслетов на руках. Пока я жив, не пропадем. Все заново ку-

ним, еще краше прежнего. А что до угроз, то послушай мое слово: не родился на свет еще такой джигит, чтобы нас с тобой застрашал. Ну, хочешь, завтра же в город поедем, накупим всего, что пожелаешь? Уберемся в доме — любо-дорого!

Думал — развеселю ее, нет, не улыбнулась.

— Не хочу я ничего, Мемо. Они опять могут налететь, добро наше по ветру развеять. Тогда еще горше будет. К чему нам добро покупать врагу на потеху?

— Да что же нам теперь, в лохмотьях ходить, от врага хорониться?

Видать, по сердцу ей пришлось, что не сробел я, духом не пал. Обняла меня, по волосам гладит.

— Зачем в лохмотьях? У отца для нас место сыщется.

— Нельзя нам у него поселаться.

— А кто говорит «поселаться»? Из Карга Дюзю народ откочевывать собрался. Как станут с места сниматься, и мы с ними. Продадим дом, остатки барахла, накупим скотины: коз, овец, коров. Это тебе живые деньги, сами растут. Год пройдет — у нас уже свое стадо. И душа за него не болит. Куда ты, туда и скотина, всегда у тебя под рукой, что кошель золота в кармане. Одна разница, что золото мертвое, а скотина живая, с ней и поговоришь, и душу отведешь. Замычит, заблеет, ты уж знаешь, что делать: шерсть прочесать, подстилку поменять или соли дать. И скотина тебя без слов по глазам поймет, ни в чем тебе не откажет: на тебе шерсти, на тебе молока, вот тебе приплод!

Смотрю на Джемо — у нее глаза как угли разгорелись. Тут-то дошло до меня, чем душа ее живет: по горному раздолью тоскует, бедняжка, по запаху козьего молока. «Ну что ж, — думаю, — ради Джемо и переселиться не грех. Не все ли мне равно, где колокольчики отливать: в низинке или в горах».

Подумал так, но виду не подал.

— Ну, давай спать, — говорю. — Утром на свежую голову мысли свежее.

Наутро, перед отправкой в Карга Дюзю, отписал я своему командиру, все как есть ему выложил, помощи попросил. «...Вес у тебя большой, командир. С шейхами, беками знаешься. Найди ты нам такого агу, чтоб над нами не измывался, изо рта последний кусок не вырывал, на жен, дочерей наших не зарился. Будем ему верными рабами». На том и кончил свое письмо.

Увидел нас Джано в Карга Дюзю — остолбенел. Поведал я ему про то, что с нашим домом сделали, попурился старик, затеребил свою бороду, про Сорика-оглу мы и не заикнулись, а он словно на лбу у нас все прочел.

— Сколько же пакостей нам ждать от этого Сорика-оглу? — говорит.

— Думаешь, он этот разбой учинил?

— Сам Сорик-оглу рук марать не станет. Его дело — приказать. Я еще давеча смекнул: не зря он перед тобой хвостом вертел.

Сорвал я ружье со стены.

— Раз так, самое время проучить собаку.

Джано меня за руку поймал.

— Куда ты, сынок? Коли это его рук дело, он теперь начеку. Скорей вода в ручье заснет, чем он. Во все стороны лазутчиков с ружьями разослал. Мимо них и птице не пролететь. Ты уж повремени, остынь малость. Подлость не скроешь, рано или поздно — она всегда наружу выплывет!

— Верно говоришь, Джано. А что как Сорик-оглу и вовсе озверееет, почуяв, что нет ему отпора?

— Он-то думает: не раскусили мы его, все шито-крыто. Оно и к лучшему.

Повесил я ружье на стену.

— А какие вести о переселении? — спрашивает Джемо. — Ездил староста к Али-аге?

— Вчера проводили. Вот-вот обратно прибудет.

Приободрилась Джемо.

— И Мемо вчера командиру отписал: найди нам доброго агу.

— Как это «нам»? Вы тоже с нами собрались?

Кинулась Джемо отцу на грудь.

— Собрались, бабо! Потолковали давеча с Мемо и рассудили: пусть и у нас свои овцы будут, свои козы. Стадо вырастет — деньги у нас заведутся, пастбище арендуем. А там, глядишь, и Мемо агой станет.

Не удержался Джано, схватился за живот, загоготал, затрясся весь от хохота.

— Я-то ума не приложу, с чего это он за ружье хвататься стал! А он в богачи метит! Вон оно как!

Потом оборвал свой смех, к нам придвинулся.

— Чтоб агой стать, не скота надо поболее иметь, а оружия. Мало богатым быть, надобно еще богатство свое перед шейхами, перед беками силой отстоять. Коли нет при тебе дюжины молодцов с ружьями за плечами, с ножами за поясами, какой ты ага? И не след тебе, дочка, мужа с толку сбивать. Руки его к тонкой работе привыкли: зурну держать, колокольчики отливать. Не таким рукам в крови купаться. Или ты ждешь, чтобы он тебя одну в юрте бросил, а сам в горы потащился невинные души губить, жене золото копить?

Всплеснула Джемо руками.

— Что ты, бабо! О таком и помыслить страшно!

— А коли так, что ж ты подбиваешь его за богатством гнаться? Какой из него ага без разбоя? Глянь, карманы дырявые у твоего аги!

Тут я вмешался.

— А чем лучше рабом быть?

— Рабом-то быть — оно покойней. Ты погляди на людей: есть ли такие, чтобы сами от рабьей доли отказались? Нету. Ага и прибьет, ага и деньги отымет, и жену, ага и в грязь тебя втопчет, а все ж таки раб к нему тянется. С голодухи не помрешь — все горсть пшеницы даст. Разбойники нагрянут — он их от твоего жилья отвадит. И налоги казне уплатить, и жандармов, когда следует, кликнуть — это его дело. Хорош будешь для господина — он тебя и от армии избавит. Оно и выходит: нет аги — и не к кому тебе прислаться. Одного тебя живо заключут, на клочки раздерут. Так и налетят, как воронье на падаль. Кто налетит-то? Да те же рабы, твои соседи, зачем далеко хо-

доть! По приказу раб на все готов. Разденут да голышом по миру пустят.

— Нас в армии совсем иначе учили,— говорю.— «В Турецкой республике каждый гражданин рождается и живет свободным»,— вот как! Раз так, что нам за рабство цепляться?

Джано не торопясь набил свой чубук табаком и говорит:

— Тот закон для османцев писан. Нам он не подходит. В наших краях свой закон: от раба родился— быть тебе рабом, от аги— быть тебе агой. Есть и такие, что родились в драной юрте, а в аги метят. Тогда собирай себе отряд, в горы подавайся, не видать тебе покою. Завел стадо, развел виноградник— считай, на своего агу зубы оскалил, такое не прощается. Утром проснешься— нету у тебя ни овец, ни коз, увели всех подчистую. Кто увел? Тут и спрашивать нечего. Ясно, ага, только не своими руками, а приказал кому следует. А сам он к тебе пожалует, станет тебя утешать, рабов своих при тебе распекать, хлыстом трясти. «Дармоеды! Чтоб мой хлеб вам поперек глотки встал! Твари безродные! Только глазами хлопаете. Этак и мой дом разграбят!» Под конец даст тебе горсть серебра да кусок сукна на кафтан¹. Ты же ему в ножки поклонись. С тем и уедет.

Раскурил Джано свой чубук и продолжал:

— Вон оно как оборачивается. Терпи, что всевышний посылает, другого пути нету.

— Отчего же тогда твои братья не хотят тут остаться, Сорику-оглу покориться?

Вздыхнул Джано.

— Да видишь ли, мы, старики, в свое время шейху Махмуду служили. Как шейхи-беки знамя против Гази-паши подняли, шейх Сорик под это знамя встал. А мы их всех переловили да перевешали. Вот теперь сын Сорики и ждет, как зверь в засаде, подходящего случая, чтобы нас растерзать, за отца своего обиду выместить. Покуда мы ему не рабы, он перед нами хвос-

¹ Одаривание материей или кафтаном, согласно племенным традициям, символизирует зависимость и покорность по отношению к тому, кто делает подарок.

том вертит. А рабами его станем — залютует. Честь, совесть — такое ему неведомо. На любую пакость решится. Вот и надобен нам другой ага, от душегуба заслониться. Пронюхает Сорик-оглу, что ты командиру отписал да просишь его нам господина подыскать, еще пуще взбеленится. Тогда тебе в пору из дому с товаром не выезжать. На первом же повороте пристрелит.

— Как же джигиту честь свою защитить?

— Защищай честь, пока голова на плечах есть. Мертвым уже все едино, а живой о живом помышляет.

* * *

Воротился староста от Али-аги еле живой, голова обмотана. Увидел его Джано, бросился навстречу.

— Что с тобой? Кто тебя так отделал?

И я подскочил. Ссадили мы его с лошади, ухватили под руки с двух сторон, довели до мельницы, посадили на камень.

Джемо ему айрану вынесла. Отпил он глоток, заохал, застонал.

— На мне живого места нет. Дубьем колотили, все кости переломали...

Поняли мы из его рассказа, что Али-ага его принял ласково, а рабы его пронюхали, зачем он в их деревню наведалься, устроили ему засаду у ручья да и избили дубинами до полусмерти. «Если,— говорят,— к нам под бок откочуете, пощады не ждите, всех до единого порешим. У нас самих травы, ячменя нехватка. А тут еще вы объедать нас вздумали! Нет уж, лучше вас прикончить, чем самим с голода подыхать». Ушли, а он остался у ручья в луже крови лежать. Тут бы ему и конец пришел, когда б сам Али-ага с дороги не приметил. Велел ага своим людям его к себе домой забрать, раны обмыть, перевязать. «Ты уж не взыщи, староста,— говорит,— что так обернулось. Мне и самому тошно. Видишь, времена не те. Сорик-оглу в силу вошел. Лапищи свои и к нашей деревне протягивает. Ты не думай, что я на попятную иду. Слово мое неизменно: боевым товарищам мой дом всегда

открыт. Только Сорик-оглу вам и здесь покоя не даст. Вzbаламутит моих крестьян, они вас всех пере-режут...»

Опять застонал староста, заохал:

— Не видать нам от них добра. Лучше здесь умереть в честном бою, чем там — позорной смертью.

Облетела всю деревню недобрая весть. Притих народ, пригорюнился. Ни смеха не слышно, ни разговору. И к работе ни у кого душа не лежит. Люди, как тени, по дворам без дела слоняются, по домам отсиживаются. Однако, как огонек под золой, теплилась еще в людях надежда, что староста им другого агу подберет. Я же все от командира письма ждал и поедом себя ел: уж не перепутал ли адрес случаем?

Как-то раз надумала Джемо на охоту меня снаря-дить, думы тяжкие мои разогнать, и сама со мной собралась.

Вот идем с ней по лесу, Джемо рта не закрывает, верещит без умолку. Что ни увидит: птицу, зверя, камень, источник, — на все у нее сказка готова, да так складно выходит, заслушаешься. Все больше про разлуку сказки сказывала: две птички не могут соединиться или два цветочка, а разлучают их или серый камень, или цепкий куст.

— Вот видишь, на ветке две птички сидят? Они всегда парой летают, не разлучаются. А были они когда-то шейховой дочкой и пастухом и любили друг друга крепко. Шейх был жадный, на деньги падкий. Попросил пастух за себя его дочку. Шейх и говорит: «Ты нищий раб. С какой стати мне за тебя дочку отдавать?» После подумал и притворился, что согласен. «Встань на вершину горы и птицей вниз слети. Коли слетишь — отдам за тебя дочь». А сам замыслил с пастухом поскорей разделаться. Пастух ему и отвечает: «Я-то слечу, но тебе меня больше не видать. И с дочкой своей простись». Не простой это был пастух, а всевышнего любимый раб. Молитву сотворил, встрепенулся, птицей обернулся и полетел вниз. Увидела девушка, что возлюбленный ее летит, и сама стала небо молить: «О всевышний! Заклинаю тебя

могилой Хусейна¹, не разлучай нас с любимым, сделай и меня птицей». Только промолвила это, как сделалась птицей. И стали они летать вместе, а детки их и поныне парами летают.

Говорит она, а у меня перед глазами Сенемживает. Открылась старая рана, заныло мое сердце. Джеммо встрепенулась.

— Что с тобой, курбан? Отчего глаза затуманились?

— Да так,— говорю.— Вспомнил про тех, кто в пропасть кинулся, а птицей так и не стал.

— Да, таких у нас много. Вот и мама Кеви, тоже птицей хотела стать, да не стала. Больно тосковала она, когда Джано-бабо воевать уехал, а его все нет и нет. Так и погибла, не дождавшись его. Пойдем, я покажу тебе, где она погибла.

Взяла меня за руку, повела за собой. Поднялись мы в гору по течению ручья, миновали водопад. Смотрю: между крутых скал омут блестит.

— Вот сюда, в этот омут бросилась мама Кеви. На берегу ее шаровары нашли.

— А ты откуда знаешь, что бросилась?

— Заберись-ка наверх, погляди оттуда на омут.

Вскарабкались мы на скалу. Джеммо схватила меня за руку.

— Ну, что видишь, курбан?

— А что там должно быть?

— А не примечаешь, вода красная, что коралл?

— Примечаю. Скалы в воде отражаются, вот она бурым и отликает.

Потемнели глаза у Джеммо.

— Не от скал это. В любое время смотри — все на дне кораллы светятся. Знаешь, отчего так?

— Нет, откуда мне знать?

— Повстречала я тут однажды старика. Знал он маму Кеви. Он и сказал, что она в омут бросилась. «Сам я,— говорит,— этого не видал, но знаю точно,

¹ Могила Хусейна — святыня шиитов в городе Кербела, на территории нынешнего Ирака, где, по преданию, похоронен Хусейн, сын первого шиитского имама Али, павший от рук убийц.

будто своими глазами видал. И знаю я это по цвету воды. Раньше вода в омуте чистая была как стекло. А с той поры, как мать твоя запропала, вода красная стала, потому как Кеви на шее коралловые бусы носила».

Вздыхнула Джемо.

— Вот так. В этом омуте и осталась мама Кеви. А дух ее здесь бродит. Я это место назвала «Коралловый омут». Как тяжело мне становится, прихожу с мамой поговорить, помощи у нее спросить. Засну над обрывом, а она ко мне во сне является, советы дает.

Сладко рассказывает Джемо, век бы слушал — не наслушался. Глазищи что у орленка — на пол-лица раскрылись. Усадил я ее на колени, погладил по волосам.

— Что же тебе присоветовала мама Кеви?

Взяла Джемо мою руку, прижала к своей щеке.

— Ты и не догадаешься. Как-то говорит мне: «Хочешь, чтобы кожа твоя розой цвела? Как розы раскроются, набери розовых лепестков, брось в этот омут и искупайся». Я так и сделала. Смотрю, и правда: все тело розовое стало.

Засмеялся я.

— Так вот отчего твое тело розовое! А я-то, дурак, думал, от моих поцелуев!

Хотел ее поцеловать, рассердилась она, отпихнула меня.

— От твоих поцелуев тело только желтеет!

Потом опять задумалась.

— А знаешь ли, какой самый главный ее наказ? «Если захочет тебя кто утащить насильно, приходи ко мне, укрою у себя на груди».

— На груди, говоришь?

— Ну, да!

— Что-то я не пойму. На какой груди?

— А вот смотри!

Спустилась она к омуту.

— Повернись спиной! — кричит.

Повернулся я.

— Считаю до сотни, а потом ищи меня!

Стал я считать. Считаю, а сам прислушиваюсь, что она там делает. Любопытство меня разбирает. Слышу — в воду вошла...

— Девяносто девять, сто!

Оглянулся назад — нет моей пери, скрылась с глаз моих. Спустился я к воде — в омуте никого нет. Скалы оглядываю, ощупываю — никого. Позвал ее тихонько:

— Джемо!

Только эхо в горах мне ответило.

Стал кликать громче:

— Хей, Джемо!

И горы издалека мне звенят: «Хей, Джемо!»

Тут жуть на меня напала. А вдруг и вправду утопилась, как мать? Была бы жива, давно бы вынырнула. Кто столько под водой просидит! Уставился на омут как помешанный. На воде — ни кругов, ни ряби, на дне все камушки видать.

Тут уж я взревел:

— Джемо, хватит шутки шутить, выходи! Куда тебя занесло? Выходи скорей!

Тишина. Эй, творец! Уж не ты ли сыграл с ней злую шутку? Набрал я в рот воздуха, раненым зверем завыл:

— Джемо-о-о! Джемо-о-о!

Рубаха от пота взмокла.

Опять на скалу влез, смотрю вниз, как коршун, — ничего не видать: ни норы, ни дупла, ни кустика. Ну как можно среди голых скал человека не углядеть!

Опять к омуту спустился, в воду полез. Иду вперед, а дно все глубже уходит. Вот уж вода мне по плечи. Куда дальше идти? Повернул назад. Только на берег вышел, на другом берегу камышинки зашевелились, колокольчики тоненько зазвенели, и смех серебристый в воздухе рассыпался.

— Ну что? Понял теперь, что значит на груди матери укрыться?

Сердце мое встрепенулось, как птица. Побежал я Джемо навстречу, сгреб ее в охапку, вытащил из воды. Прижались друг к другу, мокрые, счастливые.

— Как же ты столько времени не дышала в воде, курбан? — спрашиваю.

— Сперва давай разденемся, одежду на скалах расстелим, а после покажу, как дышала.

Скинули мы свои кафтаны, бросили их на скалы — и опять в воду. Джемо — первая, я — за ней. Догнал, макнул ее с головой. Она давай на меня брызгать. Про весь свет забыли, играем, как дети малые. Потом взяла она меня за руку.

— Пойдем, покажу, что обещала.

Повела меня вдоль берега к камышам и показывает: гладкая скала под водой обрывается, пещерой зияет. В глубине пещеры — трещина, через нее снаружи воздух проходит. Нырнула Джемо в пещеру, добралась до трещины, просунула в нее голову и сидит. А трещина косая, глубокая, ничего в ней не видать, хоть сверху смотри, хоть сбоку.

Выходит Джемо из воды — волосы черными змеями по спине вьются.

— Ну, как? Веришь теперь, что на груди у матери меня никто не сыщет? То-то!

Стали одеваться. Опять смех, возня. Вдруг слышу — вроде козел заблеял. Поднял голову — и впрямь, стоит на скале дикий козел и блеет. Увидала его Джемо.

— Козлик мой милый!

И к нему припустила, а козел к ней так и прынул.

Сошлись они, козел ей передние копыта на плечи положил, лицо лижет. Джемо его за шею обняла, в глаза целует. А козел все блеет, вроде жалуется на что-то.

Захотелось мне на них поближе поглядеть. Заслышал козел мои шаги, повернул голову, вздрогнул и по скалам запрыгал. Подхожу я к Джемо, обнял ее за плечи, кличу козла:

— Иди же сюда! Иди, не бойся! Муж я ей, не чужой какой!

И Джемо со мной взялась кликать:

— Иди, мой козлик! Иди сюда, дорогой!

Так и не спустился к нам козел. Долго еще блеял, до того жалостно, что хоть плачь. Потом в горы уска-

кал. Джемo ему вслeд смoтрeлa, пoкa нe скрылcя. Вздoхнулa.

— Рeвнует, бeднeжкa,— гoвoрит.

Зacмeялcя я, oбнял ee.

— C coпepникaми шутки плoхи. Нe инaчe, кaк быть мнe у нeгo нa рoгax!

Пpижaлacь кo мнe Джeмo. Стaли мы пoтиxoнькy вниз cпycкaтьcя, a oнa вce нaзaд пoглeдывaeт: нe видaть ли кoзлa?

* * *

Мeж тeм oт кoмaндиpа вce нe былo вecтeй. Уж coвceм я былo зaтужил, кaк вдpуг являeтcя нa мeльницy жaндaрм. Гoвoрит, нaмaялcя, вce дeрeвню нaшy paзыcкивaл, eлe oтыcкaл. В низинe у кpeстьян cпpocил. «Вoн! — гoвoрят. — Нa гoрe Зoзaнa пpилeпилacь. этa дeрeвyшкa». Жaндaрм — в гoрy cкaкaть. C нeпpивычки и кoня зaгнaл, и cам вecь в пoтy. Джaнo eгo уcaдил.

— Пeрeдoхни мaлocть! Умaялcя в дopoгe. A ты, Мeмo, кoня вывoди, пoт c нeгo oбoтpи, нe cлeг бы кoнь.

Жaндaрм пoт co лбa утep, вoды пoпpocил.

— Oбoжди,— гoвoрит Джaнo,— oстынь cам-тo. Кyдa eщe тopoпитьcя! Бyдeт тeбe и айpaн и вoдa.

Вижу, нe тeрпитcя eмy yзнaть, кaкoe лиxo к нaм жaндaрмa пpивeлo, дa cпpocить бoязнo, дoбpым ли вecтями нe избaлoвaн. Вoт и зaгoвapивaeт зyбы жaндaрмy: yж лyчшe oттянyть yдap, чeм cpaзy тoпopом пo гoлoвe. Пoд кoнeц и cам нe выдepжaл.

— Нy, чтo cкaжeшь, cынoк? Зa кaкиe гpeхи тeбя к нaм пoгнaли?

— Зa гpeхи aллax вoздaeт. A я вoт Мeмo-эфeнди oт нaчaльникa oтдeлa письмo пpивeз.

— Эх, oт влacтeй нe жди дoбpых вecтeй!

Пpoтягивaeт oн мнe письмo, a y мeня pyки тpяcyтcя. Джeмo айpaн гocтю вынecлa. Джaнo — eй:

— Джeмo, пoди вывoди кoня, a мы тyт письмo пoчитaeм.

Paзopвaл я кoнвepт, дocтaю из нeгo бyмaжкy c пeчaтными бyквaми и дpyгyю бyмaжкy, oт pyки пиcан-

ную. Как увидел я почерк командира, подскочил от радости, стал письмо целовать.

— От командира письмо, бабо! Ай, арслан-командир! Ай, курбан-командир!

Цыкнул на меня Джано:

— Да ты читай! Что ты все бумагу лижешь да нюхаешь!

— Как не лизать! От самого командира письмо! Ты слушай, что пишет на конверте: «...мастеру по литью колокольчиков Мемо-эфенди». Видал? Я — эфенди!

Развертываю я бумажку с печатными буквами, читаю: «При получении сего письма сразу отправляйся в город и явись ко мне». И подпись начальника отдела. Явимся! Отчего не явиться?

Развертываю бумажку, писанную от руки, от командира письмо читаю: «Я не получил ответа на свое первое письмо. Думаю, что оно до тебя не дошло. На этот раз посылаю письмо через военный отдел... Относительно выбора нового места для поселения не беспокойтесь. В отделе по распределению государственной земли вам подыщут что-нибудь подходящее. Губернатору отосланы на подпись документы о вашем переселении. Я подробно описал состояние ваших дел Фахри-бею, начальнику военного отдела. Он вам непременно поможет. Если встретите трудности, вновь напишите мне. Я приму меры. Целую всех вас. Да поможет вам аллах!»

Прочел я — чуть в пляс не пустился.

Принялись мы жандарма угощать на радостях. Накормили до отвала и в суму его всякой снеди напихали. Джано ему две меджидие подарил.

Дал мне жандарм конверт подписать, в суму его к себе убрал.

— Мне пора, — говорит. — Путь неблизкий.

Проводили мы его до большой дороги.

Вернулись на мельницу, я и говорю Джано:

— Пойти, что ль, в деревню, рассказать народу про нашу радость?

— А что ж не пойти!

Однако Джемо заартачилась.

— Дело не слажено, а вы уже хотите народ баламутить. Дойдет дело до Сори́ка-оглу, он вам всю игру попортит.

Погладил ее Джано по волосам.

— Верно говоришь, дочка. С радости чумеет человек, готов про нее всему свету раструбить. А Сори́к-оглу проведает — с властями рядиться не будет, на нас же отыграется.

На том и порешили: молчать, покуда дело не слажено.

Наутро отправился я в город, разыскал там Фахри-бея, начальника военного отдела. Встретил он меня, как родного сына: подошел, обнял, усадил с собой рядом, чаю велел принести. Потом стал рассказывать, откуда он моего командира знает.

— Мы с ним, — говорит, — всю гражданскую войну рука об руку прошли. Дважды он меня от смерти спасал. Для него я что хочешь сделаю. Получаю недавно от него письмо, про вас пишет. Я не мешкая за дело взялся. И что же? Нашел для вас прекрасное место: двадцать пустующих землянок! Народ оттуда выселен за участие в восстании против Гази. Землянки, правда, пообрушились, но если руки приложить, будут вполне пригодны для жилья. Зато пастбища великолепные. К тому же эта деревня относится к нашему уезду.

— А где такая?

— От города четыре часа ходьбы. Чакалгедии, слышал про такое место?

— Как не слышать! Чуть выше того озера, где мой дядя утонул. Богатые места! А что, хозяев в тех краях нету?

— Был и ага. За участие в восстании против законного правительства осужден, отбывает наказание. Теперь его бывшие владения — государственная земля. Одно время их собирались в аренду сдать. Теперь сдавать не будут, вам отладут. Станете вы хозяевами этой земли. Ну, доволен?

Вскочил я с места, руку ему поцеловал.

— Не знаю, как тебя благодарить. Да продлит аллах твою жизнь, да пошлет тебе одни радости! Никогда не забудем, что ты нас к жизни вернул!

Фахри-бей достает из ящичка стола бумагу.

— Этот документ отвезешь в деревню. Пусть желающие переселиться поставят здесь отпечатки пальцев, а староста — свою печать. После этого бумагу вернешь мне. За остальное не беспокойтесь. Все для вас сделаем. Из банка ссуду возьмем, семян выпишем.

— Аллах тебя наградит, командир!

Сунул я желтый конверт с бумагой к себе за пазуху, поцеловал еще раз начальнику руку, в обратный путь пустился.

По дороге соображаю: негоже на радостях домой с пустыми руками возвращаться. Пойти на базар, для Джемю платок расписной присмотреть, каленого гороху в сахаре купить, для Джано — рахат-лукума!

Прохожу мимо конторы абуката, он наружу выскочил, мне вслед кричит:

— Мемо-ага!

— Что прикажешь?

Подхожу к нему — он со мной за руку поздоровался, про здоровье справился.

— Заходи, — говорит, — чайку попьем.

— Благодарствуй, бек, — отвечаю. — У меня дорога дальняя. Прохлаждаться некогда. Вот только на базар зайду — и айда!

— Да ты послушай, что скажу: от вашего хозяина письмо пришло. Неужто тебе не интересно?

Так и затащил к себе.

— Какой нам толк в том письме? — говорю. — Я у губернатора узнавал: продал он всю деревню Сорику-оглу. Чего еще от него ждать?

— Он всем в деревне привет передает, велит слушаться Сорику-оглу. Тот ему клятву дал, что старое забыто, он крестьян, как детей родных, будет опекать.

— Воля его, и земля его. Кому захотел — тому и продал. Против купчей не пойдешь.

— Я и сам на днях с Сорику-оглу познакомился. Очень приятный человек.

Чего мне с абукатом спор затевать!

— Приятный, — говорю.

— Однако я слышал, что некоторые собираются из деревни уехать.

Вот шакал! И откуда только вынюхал!

— Знать, не доверяют Сорику-оглу.

— Как же так? Сам хозяин доверяет, а они не доверяют! Он ведь клятву дал!

— Я почему знаю? Это их дело.

Уставился он на меня, словно глазами пробуровать хочет.

— Кому лучше знать: шейху или крестьянам? Дело рабов — своему аге подчиняться, его приказы выполнять, обычаи чтить. А это что за выродки такие! Все им нипочем!

Смотрит — молчу я, — положил руку мне на плечо.

— Ты военную службу прошел. Тебя там учили, что значит повиноваться. Ты знаешь, как непокорных наказывают. Объясни ты им: подниматься против своего аги — все равно что против властей голову поднимать.

Вон как! Он с Сорику-оглу в прямом сговоре, а нам и невдомек!

— Кто я такой, — говорю, — чтоб аксакалов умразуму учить! Им обычаи лучше знать.

— Ты обучение прошел, они к тебе прислушаются. Вот и вразуми их, пока не стали на кривую дорожку. Ты Сорику-оглу уважишь — он тебя уважит.

— Какой из меня наставник! Я в одних колокольчиках толк знаю: как отлить, как сбыть. Где уж мне в чужие дела вступать?

Абукат на спинку кресла откинулся.

— Что ж, дело твое! Сам себе шишку набил — не плачь! Но мой совет: лучше вам от своего аги не отбиваться. А то как бы плакать не пришлось.

* * *

На обратном пути заглянул я в Чакалгедии. Не терпелось мне своими глазами на деревню поглядеть. Смотрю на землянки, наполовину в гору врытые. Крыши местами провалились, двери, оконные глазки выбиты. Одни стены целехоньки, плетнями укреплены. На берегу озера какие-то пастухи овец пасут. Вода с

краю мутная, дно копытами истоптано. Кругом куда ни кинь взор — трава по колено. Распахать такую землю — добрый урожай получится.

— Чей скот пасете? — спрашиваю у чабанов.

Назвал какое-то имя. Его ага, говорит, эту землю под пастбища арендует.

Не стал я попусту время терять, повернул домой. Дорога не гладкая, к вечеру только до Карга Дюзю добрался.

Джано и Джемо уж меня ждут не дождутся. Когда родного человека долго нет, чего в голову не придет! Однако, друг друга жалея, рта не раскрыли, слова не проронили, пока я не ввалился.

— Ну, Джано, — говорю, — дело улажено. Государство-бабо дает нам приют.

— Неужто вправду?

— Клянусь! Землю нам дают, да еще у озера. На лугах там трава по колено. Воды в озере на все поля хватит. Знаешь деревню Чакалгедии?

— Знаю, как не знать. Народ оттуда выселили. Они на стороне шейхов-беков дрались.

— Вот она самая. Нынче эта земля государственная, а государство нам ее отдает вместе с землянками.

Раскрыл Джано рот, огоньки в глазах засверкали.

— Что ты говоришь, курбан! Не шутишь?

— Какие шутки! Сам начальник отдела сказал, его слово верное. И бумагу прислал, отпечатки пальцев поставить велел. Это вроде расписки. Командир ему приказал, он все и сладил.

— Что же, выходит, и земля наша, и землянки наши, и озеро?

— Так оно и выходит, Джано. Каждый сам себе ага, и в разбой пускаться не надобно. И скот, и семена, и земля — все наше.

Прижал Джано меня к своей груди.

— Кто же от такого отворотится? Тут и в звере душа проснется, и овца львом станет. За свое добро любому злыдню шею своротишь. Да на своей земле-то и труд в радость, и усталость нипочем!

— Джано,— говорю,— давай не мешкая братьев твоих соберем, все им выложим.

— И то дело! Чего до утра тянуть!

Кликнул он Джемо.

— Поди приведи на мельницу старосту, Рустема, Джафера, Хайдара, дядю Вело, Хюсо, Джемшидо и Алмыша. Скажи: совет держать надобно! Пусть по одному идут, чтоб шуму не было.

Собрались люди. Я им все как есть объяснил: дают нам деревню Чакалгедии, поля там поливные, пастбища богатые.

— Знаем мы Чакалгедии, добрая там земля,— говорит староста,— да приютиться негде.

— И приютиться есть где,— говорю.— Стены землянок целехоньки, сам видел. Крыши и залатать можно, а какие и заново перекрыть. Оконные глазки, двери вставить — жилье — лучше не надо!

Дядя Вело бороду погладил, спрашивает:

— А кто там ага?

— Нет там никакого аги. Начальник говорит: сами своим добром распоряжаться будете. Все ваше: и поле, и пастбище, и землянки.

Тишина наступила. Потом дядя Вело опять заговорил:

— Как же без хозяина будем пробавляться? И землянки чинить надобно, и семена дай сюда, и муку, и солому, и мулов... Зима на носу, а в амбарах у нас хоть шаром покати. Без подмоги передохнем все с голодухи!

Джано слово взял.

— Кто сказал: передохнем? Что, мы не люди, а стадо ослов безмозглых? Ты глянь на нас, что за джигиты, один к одному. Да коли мы все гуртом навалимся, гору своротим. До зимы еще сколько воды утечет! И скотину запасем, и семян.

Староста молчит, ус кусает, а дядя Вело не унижается.

— Верное твое слово, джигиты мы крепкие, да карманы у нас дырявые. А тут — двери купи, балки купи, то купи, се купи. Задарма ничего не дают, серебро выкладывай. И выходит, чтоб в кармане зве-

нело, один путь: «мартин» через плечо и всем скопом — в горы за скорой наживой.

Развел Джано руками.

— Что ты мелешь, курбан? Какие горы! Нам сама власть из своей казны денежки отсыплет. — Хлопнул меня по плечу. — Верно я говорю?

— Верно говоришь. Сам начальник обещал. Его слово — закон.

Дядя Вело поежился.

— Впервой слышу. Где это видано, чтоб власти рабам деньги отваливали! У нас исстари повелось: власти с тебя тянут, ага с тебя тянет, а ты знай потроши карманы. Но чтоб власти — тебе, такого отродясь не бывало.

Джемшидо слова спросил:

— А мне сказывали, кто тех денег из казны возьмет, добром не кончит. Беду они приносят. В какой юрте заведутся — там очаг гаснет, семья нищает. Уж не знаю, правда это или враки.

Насупился Джано.

— Откуда ты вытащил эти старые бредни? Да если бы деньги несчастье приносили, давно бы рухнули все палаты да дворцы, нажитые разбоем да неправедным путем. А они вон красуются!

— Я и толкую вам: доподлинно не знаю, от людей слышал. Что ты глотку дерешь попусту?

— Да не на тебя я злюсь, на тех, кто эти байки распускает. Вот получим из казны кучу денег, тогда поглядим, что они приносят: долю иль недолю. Сперва землянки поправим, каждой семье жилье сладим. На работу всем скопом навалимся — у нас в руках все гореть будет. Балки таскать, землю копать да крыши засыпать — все вместе. Покончим с землянками — купим пару волов и железный плуг, зеленым цветом крашенный. Одного мало будет — другой. Сообща-то оно и не накладно выйдет.

Смотрю — Джано в самое яблочко попал: глаза у людей загорелись, щеки покраснелись. Хюсо кричит:

— Сообща пахать и одного плуга за глаза хватит!

— Хватит! — отвечает староста. — Нас всего-то десять юрт снимается. Тут и одного плуга много. В Карга Дюзю вся обá двумя плугами обходилась.

Джафери свое слово вставил:

— А как без аги землю делить станем? У земли свой секрет: где уродит, а где и нет. Известное дело, всяк норовит себе ухватить кусок послаще. Кто наш спор рассудит?

Дал он толчок мозгам. Призадумались все. И впрямь, поди раздели землю поровну! По числу семей делить — многодетные семьи будут внакладе. По числу душ разделить — опять вой подымется: одним, мол, хороший надел отрезали, другим плохой. Что тут будешь делать? Гляжу — у Джано лоб разгладился, глаза залучились.

— А какого дьявола нам ее делить? Плуг у нас один на всех, и земля пусть будет одна на всех!

Староста насторожился.

— Что-то не разберу я. Растолкуй нам путем.

— Вот представьте, будто земля хозяйская, а мы на хозяина спину гнем. Вместе пашем, сеем, косим, молотим.

— Ну и что?

— А то выходит, что, как соберем траву, ячмень да пшеницу, хозяйский пай продадим, что останется — меж собой честно поделим. Вот и заведутся у нас кругленькие. И налоги уплатим, и казне долги вернем, и себе останется.

Подобрел народ, лица засветились. И дядя Вело головой закивал.

— Складно сказал, Джано, только не все у нас на работу охочие: один споро дела ворочает, другой не торопится. Как им за труды воздашь? Один на другого зло затаит — тут и до беды рукой подать.

У Джано глаза — что твои фонари!

— Не такое уж оно хитрое, это дело! — говорит. — Разделим всю землю на равные куски. Сколько юрт, столько кусков. Каждая семья на своей делянке копается, никто не в обиде. А урожай поровну поделим. Те, кому плохая земля досталась, тоже не в убытке останутся.

Дядя Вело свое гнет:

— На словах оно все гладко выходит. А я вот чего боюсь шибко: не передрались бы наши люди без аги-то. Кто их разнимет, кто рассудит!

— Заладил: ага да ага! Коль тебе без аги невмочь, оставайся у Сорики-оглу под сапогом. Кому вольное житье ни к чему, сидите тут, мы силком не тянем! А нас с пути нечего сбивать! Мы хоть раз воли хлебнем! Сколько лет на агу пот проливали! Что нажили? Одни мозоли! Как были голю, так и остались! Хватит! Теперь на себя будем работать. Всевышний нам путь укажет.

— Ну, что разошелся! Сам говорил: совет держать надобно, самое время все путем обговорить, а то сгоряча и просчитаться можно. Взбаламутим народ, а после — локти кусай!

— Да что еще толковать! Не по душе тебе самому себе агой становиться, просчитаться боишься — оставайся рабом и семью свою в рабах оставь. Поглядим, как запоешь!

Сконфузился дядя Вело.

— Да разве ж я за Сорики-оглу! Знаю я: он нас всех удавить готов. Только без аги остаться боязно. Объявился бы хороший ага да нас под крыло забрал — чего уж лучше! Укажи хоть одного раба, чтоб от аги отбился да жил в покое! Нету таких! То-то и оно! А нас — раз-два, и обчелся. С кем мы сладим? Напади на нас разбойники, как нам от себя беду отвести, как скот уберечь?

— Нет нужды, что нас мало. Зато все в боях закалились, сквозь огонь и воду прошли. Скажи: кто шейхам-бекам хвост прикрутил? Не мы ли? Кто нас теперь застрашает? Коли ты душой постарел, разбойники тебе везде мерещатся, то сиди себе да помалкивай, а нам дорогу не заступай.

До утра шумели-галдели. Под конец решили спросить во всем совета у Фахри-бея. Он нам землю пожаловал, ему и агой нашим быть. За ним последнее слово.

Так и порешили все, кто был на мельнице в ту ночь, в Чакалгедии переселиться. И дядя Вело от

стада не отбился. Поставили на бумаге отпечатки пальцев, слово друг другу дали до поры до времени не проболтаться, по домам разошлись.

* * *

Пронюхал-таки Сорик-оглу, что мы в Чакалгедии собрались. Пока мы от властей приказа ждали, обрушился на нас как снег на голову. Джемю, запыхавшись, из деревни прибежала, принесла эту черную весть.

Мы с Джано тотчас кинжалы за пояса — и в деревню. А там уж Сорик-оглу народ на сходку согнал.

— Слыхал я,— говорит,— что вы властям челом били. Навострились в Чакалгедии переселяться. Вот вам на это мое слово. Случись такое лет на десяток раньше, я бы из вас дух вышиб. Нынче новые законы вышли, по рукам меня связывают. Кому здесь неймется, пусть проваливают с глаз долой... Только прежде чтоб все долги до последнего гроша уплатить! И ашар, и с дыма, и мой пай! Кто не уплатит, у того и овец, и всю утварь домашнюю заберу себе. А тайком удерете — пеняйте на себя!

Крестьяне рты разинули, опомниться не могут. Женщины в голос завывли.

Тут вышел вперед Джано.

— Сорик-оглу! — говорит. — Хватит тебе самоуправничать. По какому праву ты с нас налоги требуешь? Мы сыну шейха Махмуда все сполна уплатили. У нас на то и бумаги есть. Мы теперь не твои рабы, а рабы самого государства. Оно нас в Чакалгедии поселяет. Ни ты, ни другой какой шейх нам теперь не указ. На нас руку подымешь — считай, на самого Гази-пашу руку поднял. И на наше барахлишко, и на наших овец не зарься, не твои они. Станешь насильничать, тебе же хуже будет: покажешь всему свету, что на отцовскую разбойную дорожку свернул. Власти такого не прощают. Кровь, что из нас высосешь, у тебя носом пойдет! Навек заречешься соваться в наши дела. Сойди с нашего пути подобру-поздорову, пока не поздно!

Сорик-оглу так и закипел, на Джано коня двинул. Я думал: плеткой огреет — не огрел.

— Это ты народ взбаламутил, Джано! Слово мне давал — не сдержал. И зять твой туда же! В город зачастил, делишки ваши обделывает! Я ему это припомню!

— Что ты к нам прицепился! Кого я могу взбаламутить! Шейх я, что ли, ага какой? Или у меня амбары от запасов ломаются? Кто меня послушает? Люди сами захотели откочевать, и я захотел, как другие.

Поворачивается Сорик-оглу к хозяевам юрт.

— И вы со старым бандитом заодно! Не пришлось бы обратно проситься. Лучше образумьтесь, пока есть время. Все одно: без аги вам не прожить. На османцев понадеетесь — без порток останетесь. Приползете ко мне ножки целовать, да поздно будет! Ну, что молчите, в рот воды набрали?

Молчат люди, головы опустили.

— Ну отвечайте же!

Староста первым заговорил:

— Я не останусь, Сорик-оглу. На тебя надежда плохая, а Кемаль-паша нам всем отец. Новая власть нас призрела, приют нам дала. Вот тебе мое слово.

После старосты и другие языки развязали, все на своем стоят: не останутся, и все тут.

Разъярился Сорик-оглу — удержу нет. Давай всех плеткой хлестать.

— Ну и катитесь отсюда, чего еще ждете? Государство-бабо за вас и пшеницей выплатит, и ячменем!

Женщины из толпы вперед выскочили, мужей своих от плетки руками заслоняют. На них конники Сорики-оглу налетели, дубинками их колотят, назад теснят.

— Джано! — кричу. — Братьев наших убивают, а мы стоим!

Выватываю из-за пояса свой кинжал, Джано меня за руку — хватить!

— Ополоумел ты, Мемо! Пустишь в ход кинжал — своими руками ему масла на хлеб намажешь.

Подходит он к Сорику-оглу, выхватывает у него поводья. Я дыханье затаил. Если что — кинусь, думаю, на подмогу.

— С чего это ты руки распускаешь, Сорик-оглу? Это тебе не скот, чтоб плеткой хлестать. Или законы Кемаля-паши не для тебя писаны?

Сорик-оглу от ярости весь трясется.

— Да я вас всех отхлещу! Ни один голодранец шагу не ступит, пока не уплатит мне все до гроша!

— Мы тебе ничего не должны. У нас и в бумагах так прописано.

— А где там указано, что вы мне платили?

— Не указано, потому как мы тебе не должны.

— Раз не указано, значит, не платили. Я вам долги прощать не собираюсь.

С этими словами выдернул Сорик-оглу из рук Джано поводья, указал своим людям на юрты и велел выкинуть из них все барахлишко подчистую. Крестьяне зашумели, бросились к своим юртам, чтоб хоть часть добра у разбойников отбить. А те, что в Карга Дюзю остаться собрались, по своим юртам попрятались, двери пологами занавесили. Спешились конники, кинулись приказ аги выполнять. Понеслись из юрт крики, стоны, проклятия, визг. Женщины у дверей встали. «Сперва нас убейте, после наши гнезда разоряйте!» Мужчины, кто с дубьем, кто с камнями в руках, грабителей повстречали. У каждой юрты бой закипел. Лица в крови, кафтаны разорваны. Не сдаются наши братья. Поспешили и мы с Джано к ним на подмогу. Вдруг слышим — выстрел грянул. Все сразу стихло. И слышим мы в тишине: голос Джемосталью зазвенел:

— Забирай своих людей, убирайся отсюда, Сорик-оглу, а то ненароком башку твою прострелю!

Оглянулся я — Джемодуло маузера на Сорику оглу наставила и глазищами его жжет. Тот видит: шутки плохи, посерел весь. Не отрывая от дула глаз, плеткой своим людям махнул, собирайтесь, мол. Вскочили они на лошадей, вокруг аги своего сгруппировались. Стиснул он зубы, зашипел в нашу сторону:

— Сегодня же забирайте свое поганое тряпье, и чтоб духу вашего здесь не было! Приеду — все вверх дном переверну, так и знайте!

Поглядел еще в горящие глаза Джемосталью, сплюнул на землю.

— Потаскуха!

Огрел коня плеткой и поскакал.

Ай да Джемо! Кинулся я ее целовать-обнимать, а за мной и Джано. Следом все крестьяне подошли к ней, в плечо поцеловали. После за раненых взялись: свежие раны табаком присыпали, тряпицами перевязали.

Собрались на совет. Порешили с места сниматься, не дожидаясь, когда Сорик-оглу в другой раз налетит. «Летом и на вольном воздухе поспим, невелика беда».

Сказано — сделано, стали снаряжаться в путь-дорогу, закипела работа. Бабы тюки крутят, а сами голосят на все лады, дети режут, овцы блеют. К обеду все тюки были перевязаны, на мулов навьючены. И ложки-плошки, и сумы с детишками — все на мулов взгромоздили. А детишкам любо: отродясь такой суматохи не видали, и не возьмут они в толк, чего это матери их голосят, привязывая себе к спинам их грудных братьев.

Стали бабы прощаться с теми, кто остался, — их из юрт клещами не выдерешь. К порогам словно прилипли, обнимают их, целуют. У духов предков благословенья просят.

И мы свои пожитки на мулов погрузили. Джемо мне и говорит:

— Надобно мне с матерью попрощаться.

Побежали мы с ней к Коралловому омуту. Джемо руки в воду опустила, пальцами пошевелила.

— Мамочка, слышишь меня? — шепчет. — Откочевываем мы отсюда из-за одного поганца в Чакалгедии. Дочка твоя тебя помнит. Будет тебя навещать, свечки ставить, от беды на твоей груди укрываться. Сама могила нас с тобой не разлучит.

Говорит Джемо, сама слезы одну за другой в воду роняет.

* * *

До Чакалгедии за полдень добрались. Глядь — под деревьями палатки белеют. Солдаты веревки натягивают, в землю колышки вбивают. Подошел я к ним, спрашиваю, в чем дело. Ефрейтор говорит:

— Нас командир сюда послал. Велел для кочевников палатки разбить.

— Кто у вас в начальниках, подполковник Фахри?

— Он самый. К завтрашнему дню управимся. Из Карга Дюзю сюда крестьяне переедут.

— Ай, курбан-подполковник!! Ай, арслан!

Сгреб я ефрейтора в охапку, чуть не задушил на радостях.

— А мы уж тут как тут! — говорю. — Невтерпеж нам было до утра тянуть, с вечера заявились.

Показываю ему рукой на весь наш обоз с мулами, овцами, собаками. Обрадовался ефрейтор.

— Добро пожаловать, брат! Нам и на руку, что вы загодя прибыли. С такой подмогой мы к ночи все палатки поставим. Наутро подполковник прибудет — у нас уж все готово.

— Как не пособить? Сам в солдатах служил, палатку разбивать — для меня пустяк.

Помчался я обратно к обозу. Обступил меня народ, смотрят с испугом.

— Что там за юрты?

Ударил я кулачищами себя в грудь и говорю с гордостью:

— Это военные палатки. Подполковник Фахри для нас порадел. Вот какой он человек! Не допустит его душа, чтоб малые ребята под открытым небом спали. Поутру он и сам сюда прибудет, бумаги на эту землю нам привезет.

— Да продлятся его дни! Тыщу лет жизни его матери, коли жива; а коли нету в живых, пусть земля ей будет пухом!

Дядя Вело рот разинул. Смотрит на широкие поля, на пастбища, глазами моргает, обалдел совсем.

— Скажи-ка, — говорит, — весь этот выгон наш будет?

— А чей же, дядя Вело! Ясное дело, наш! Фахрибей и палатки нам строит.

Закачал он головой:

— Убей меня, не поверю. Земле — конца-края не видать, и никакого тебе аги!

Расхохотался я:

— Вот завтра подполковник Фахри даст тебе в руки бумагу, тогда поверишь.

— Клянусь, не поверю! Пусть хоть сам падишах фирман пришлет! Где это видано, чтоб такое пастбище насовсем ничейным рабам отдавали!

Джано в наш разговор вмешался:

— Послушай, Вело! Еще услышу от тебя: «Ничейные рабы», — тут же челюсть набок сворочу. Понял?

— Молчу, Джано!

Джано ноздри раздул.

— И не скули, не порть нам игру, а то раскаемся, что забрали тебя с собой. Дитя малое и то из рук куска хлеба не выпустит. А нам кряхтеть да молча смотреть, как за нашим добром рука тянется? Как бы не так! Раб ты, до смерти забитый, запуганный, оттого и воли боишься! Человечья жизнь тебе и во сне не снилась, вот ты и трясешься со страху. Ну, да ладно! Свою землю руками пощупаешь — подтверже станешь. Земля и сухой росток оживит, труса в джигита оборотит.

Молчит дядя Вело. Джано спохватился.

— Э-э! Да что ж мы стоим! Айда в лощину, солдатам пособить надобно!

Вывели мы весь обоз в лощину. Одни взялись вместе мулов разгружать, тюки таскать, другие палатками занялись. Ребята малые со скотиной на лугу резвятся: скачут, кувыркаются, чехарду затеяли — раздолье им здесь, и только!

Все палатки затемно разбили, на семью по палатке. Женщины тут же взялись стряпать базлама¹. Староста велел козленка заколоть, солдат угостить. Джеммо взялась его на вертеле жарить.

Джано кликнул мужчин — землянки поглядеть, покуда ужин собирается. Пощупали стены — стены добротные, изнутри плетнями подперты. Сами землянки просторные, любой семье места хватит. У Джемшидо уж на что большая семья: мать, сестра увечная, две жены, шестеро детей — и то говорит:

¹ Б а з л а м а — слоенные жареные лепешки (из квашеного теста).

— Не землянки, а крепости! Мое войско и то в любой разместится.

Ужинать уселись в один круг. Смех, шутки так и сыплются. Берет староста голову козленка, Джано подает:

— Что, джигит, зубы твои еще не притупились?

Ходил по деревне слух, будто челюсти у Джано крепче волчьих. Смотрим, и вправду, в один присест схрустал всю голову вместе с костями. Смеху тут поднялось! Развеселился народ. А Джано и говорит:

— Когда молодой был, зубы у меня еще острее были. Коровьи головы, как муку, уминал.

После ужина Джемо вынесла мне зурну, один парень давул в руки взял — пустились все в пляс, так что горы застонали. И солдаты, на нас глядя, разошлись. Двое, что из-под Эрзрума, кричат мне:

— Сыграй-ка нам «Красивый браслет», мы тоже отпляшем.

Сыграл я им. Оттопотали — только гром от каблук-ков.

Так за шутками, за плясками мы свой первый вечер на новом месте и скоротали. Даже дядя Вело ожил. Я сам слышал, как он бормотал про себя: «Пошли нам, творец, поболе таких дней!»

Поздно ночью усталый народ спать повалил. Джано говорит:

— Надобно двух молодцов с ружьями на дозор выставить. А то захрапим, а Сорик-оглу тут как тут: налетит, скот угонит. Недаром говорят: вода спит, враг не спит.

Ефрейтор хлопнул его по плечу.

— Что ты, брат! Кто рискнет на военный лагерь напасть! Иди спи спокойно!

Не стал Джано спорить с ефрейтором.

— Твоя правда, ефрейтор. После пирушки у меня мозги набекрень.

Ушли солдаты спать, а Джано потихоньку кивнул Джафери и Рустему, чтоб с ним в дозор собирались. Взяли они ружья, залегли у землянок, до утра караулили. Однако ночь прошла тихо.

Перед сном мне Джемю шепчет:

— Что в первую ночь на новом кочевье загадаешь, то и сбудется.

Поцеловал я ее.

— Приказывай, чего для тебя загадать.

Прижалась она ко мне.

— Кров у нас теперь есть, а детишек все нету.— И накрыла мой рот своими горячими губами.

* * *

Как сказал ефрейтор, так и получилось: подполковник Фахри приехал к обеду. С давулом и зурной, с барашком жертвенным отправились мы всей ватагой ему навстречу. Смотрим — скачут к нам, вздымая пыль клубами, пять конников. Ефрейтор руку ко лбу козырьком приложил.

— Командир едет! — говорит.

Джано дал сигнал — давул загрохал, я щеки надул что было силы, на зурне запиликал.

Подъезжает Фахри-бей, с ним два солдата и двое в штатском: секретарь из уездной конторы и чиновник по лесным делам. Подполковник коня осадил, оркестр наш замолк.

— Здравствуйте, свободные крестьяне! — кричит.

Я набрал в рот воздуха и рывкнул, как в армии учили:

— Здравия желаю!

И крестьяне, на меня глядя, дружно гаркнули:

— З-д-рр-авия желаю!

— Зачем вы такую торжественную встречу устроили?

— Ради тебя и помереть не жалко,— говорит Джано.

И с этими словами кинулся ему сапоги целовать. После него и мы все к его пыльному сапогу приложились. Староста подтащил прямо к конским копытам жертвенного барашка. Бисмиллах! Сверкнул в воздухе нож, брызнула кровь в честь именитого гостя. Тут и ефрейтор вышел вперед, докладывает командиру:

— Задание выполнено, происшествий нет.

Прибыли мы все вместе в наш лагерь. Женщины из землянок вышли, в ноги командиру повалились. Он их приветил, детишкам сласти раздал. После собрал нас всех вокруг себя. Стоим мы, руки на животах сложили.

— Свободные крестьяне! — говорит. — Решением правительства Турецкой республики земельные угодья деревни Чакалгедии передаются вам в безвозмездное пользование! Отныне вы имеете право распоряжаться этой землей по своему усмотрению. Среди нас находится секретарь, заместитель каймакама¹ по оформлению документации. Он обещает нам в кратчайшие сроки оформить кадастр и выдать вам купчие. С нами находится и еще один наш уважаемый товарищ. Он заведует отделом использования лесного хозяйства. К нему обращайтесь по поводу древесины для починки ваших домов. Губернское отделение сельскохозяйственного банка выделит вам необходимую ссуду для приобретения инвентаря, семян, муки.

Кончил свою речь командир — принялись все ему здравицы выкликать — ошалели от радости. Вышел вперед Джано, землю перед Фахри-беем поцеловал.

— Уж и не знаю, как тебя благодарить за твою великую милость. Да продлит всевышний твою жизнь, да укрепит твои силы, чтоб ты еще много сирот приветить успел! Ты нас от кровожадного злодея избавил, землю нам пожаловал, людьми нас сделал. До могилы тебя не забудем! Уж не посетуй, командир, есть у нас к тебе, отцу родному, еще одна просьба. Выслушай, уважь в последний раз!

Улыбнулся подполковник.

— Говори свою просьбу, ага.

Народ уши наострил, в рот Джано смотрит.

— Вчера, как приехали сюда, один наш брат увидел неоглядные пастбища и закручинился. «Выврут, — говорит, — шейхи у нас изо рта этот кусок. А наш кровный враг Сорик-оглу — в первый черед». Не обмолвился, знал, что говорит. Вот и я к тому клоню: Сорик-оглу на Карга Дюзю налет сделал и на эту деревню

¹ К а й м а к а м — начальник уезда.

нападет, распорет наши мешки, развеет наше добро по ветру.

Подполковник брови сдвинул.

— Кто это осмелится пойти против решения нашего правительства? Кто такой этот Сорик-оглу?

Джано взялся толковать, кто таков Сорик-оглу да какие беды он на наши головы обрушил.

— Уж ты будь нашим отцом,— говорит,— не откажи. Заставь этого зверя новые законы признавать. Никто ему не указ, только властям его приструнить под силу. А коли ему ручищи не укоротить, он нас живьем пожрет.

Слушает подполковник, ус подкручивает. Только Джано свое слово сказал, взорвался Фахри-бей, как бочка с порохом.

— Это что еще за тип объявился? Беднякам жить не дает! Бесчинства творит! В наше время это недопустимо! Какой-то несчастный шейх вздумал республиканские законы нарушать! Куда смотрит жандармерия, инспекция?

Секретарь каймакама враз посерел весь, пальцами одежду на себе затеребил.

— В нашем уезде ничего подобного не замечалось, мой подполковник. Я поражаюсь, как Сорик-оглу решился на такой шаг. Не извольте беспокоиться, я тотчас приму меры. Долг обязывает нас поставить на место того, кто нарушает законы нашей республики.

Фахри-бей помягчел малость.

— Тут узду ослаблять нельзя,— говорит,— а не то совсем на голову сядут. Завтра же вызвать его в уезд! Да предупредите его как следует, чтоб больше бедняков не притеснял!

Секретарь ему:

— Не беспокойтесь, я с вечера пошлю за ним жандармов.

И к нам оборачивается:

— Не бойтесь больше Сорика-оглу, крестьяне. Теперь никто вас пальцем не тронет! Вы под защитой наших законов. Я представляю в уезде новую власть, обращайтесь ко мне со всеми трудностями. Мой долг

вам помочь. В ближайшее время вы получите купчие на владение землей.

Слушает Джано и через каждые два слова бормочет: «Крепни государство-бабо, нам на радость». Подошел ко мне и говорит:

— Такое омовение и Сорику-оглу мозги промывает.

Народ лицами посветлел. Один только дядя Вело сумрачный стоит. И секретарь его своим словом не пронял. Губами шевелит, вроде сказать что-то силится, да на Джано косится, не пришиб бы тот его на месте. Командир это заметил и говорит:

— Ты что-то сказать хочешь, ага?

Вышел дядя Вело, у командира руку поцеловал, у секретаря тоже. Потом начал:

— Вот вы землю нам жалуете, крышу над головой, от Сорики-оглу оборонять взялись. Братья наши такой благодати отродясь не видывали. Пошли вам всевышний благополучия!

Замолк дядя Вело, бороду теребит.

— Я слова лепить не горазд,— говорит.— Сказал бы еще, боюсь, Джано глотку заткнет. Да уж была не была, скажу. Не взыщите, коли что не так.

Командир подбадривает:

— Говори, ага, не стесняйся!

— Что я хочу сказать? Нас тут раз, два и обчелся. Хозяйского глазу за нами нету. Вы нам на землю купчую жалуете. Все бы ладно, да шейхи нас заключают. Земля тучная, пастбища неоглядные, а сидит на той земле пяток нищих. Кому не завидно? И охнуть не успеешь, как у тебя кусок из рук выхватят да еще руки пообрывают. Уж вы держите эти самые купчие при себе. Как была государственная земля, так пусть и остается. А мы государству-бабо верные рабы будем. Что земля уродит, то мы с ним честно поделим. Тогда мое сердце покойно будет. Государство-бабо нас от любого лиходея оборонит. Семь королей¹ на него напали — всех отбило. Шейхи напали — на веревке закачались. Кто еще дерзнет на них руку поднимать?

¹ Семь королей — так в народных песнях называется европейская коалиция времен первой мировой войны.

Погладил его Фахри-бей по спине.

— Не горюй, ага. Республика вам и купчие выдаст, и от притеснения шейхов оградит. Считай, республика — это и есть ваш ага. Никто не захочет с ним тяжбу иметь. Так что не волнуйся зря.

И Джано уж на дядю Вело не рычит.

— Командир, не гневайся на нас — темноту. Дурья башка за старинку цепляется. Своей земли мы сроду не видали, все в чужом навозе копались. Тебе, ученому, дальше видать. Как прикажешь, так оно и будет. Одно скажу: если земля не наша будет, а государственная, как Вело толкует, оно только к лучшему. Ни драк из-за нее, ни раздоров. Всем миром засеяли, всем миром убрали, урожай — поровну.

Надоела, видать, командиру наша болтовня, отрезал он по-военному:

— Словом, получайте купчие, теперь земля ваша, обрабатывайте ее, как хотите. Но помните: шейхов вам теперь бояться нечего!

* * *

Прав оказался Фахри-бей, Сорик-оглу и близко к нашему лагерю не подходил. День ото дня у нас на сердце легчало.

Взялись мы чинить свои землянки, да с таким жаром — любо поглядеть. Чиновник из уезда указал нам, где деревья рубить. Стали мы лес валить. В рубке леса Джано и Джемшидо всех за пояс заткнули. Машут топорами без усталости, как заведенные! Поди за ними угонись! За три недели целую полосу отборного лесу свели, в деревню переправили. Стали землянки поправлять, закопошились муравьями. Поставили на крышах балки, настилы, засыпали их землей, вставили двери, рамки для оконных глазков. По плотницкому делу дядя Вело всех обошел. Каждую дверь на особый лад вырубил. Как до нашей землянки черед дошел, Джемо кликнул.

— Я твою дверь похитрей других изукрашу, — говорит. — А знаешь почему?

— Почем мне знать?

— Знаешь, как не знать! Когда курице гнездо по

нраву, она на яйца садится. Может статься, и ты на мою резьбу глядя, детками обрасти захочешь.

Вижу — насыпал ей соли на большую рану. Хотя и смолчала, а в лице вся переменялась. Тут еще беременная жена Джафери масла в огонь подлила:

— Если бы все на окна да на двери глядя рожали, мужья бесплодным женам хоромы бы строили, Вело!

Бедняжка Джемо потом всю ночь напролет слезы горячие лила у меня на груди.

— Что мне делать, скажи! — шепчет. — Иль святым мощам пойти поклониться?

* * *

Купить плуги да семена не так просто оказалось, как землянки латать. В банке без купчей кредитов не дают. Поди дожидайся, когда те купчие придут, а после не ждет.

Стал Фахри-бей на секретаря нажимать, тот нас и надоумил: арендовать у властей уголья Чакалгедии. Так и сделали: заняли в банке двести золотых, поставил я подпись в бумаге. Все бы хорошо, да поручителя нет, а без него денег не получить. Спасибо секретарю, он и тут выручил. Упросил какого-то агу, чтоб за нас поручился.

Приносим мы из банка кучу денег — народ глазам своим не верит, никому и не снилось такое богатство. Джафери с женой говорят: давайте поделим. И Джемишо со своими женами его сторону взял. Заладили: поделим, а то меж пальцами уплывут, с кого тогда спрос? И у других на золото глаза разгорелись. Один Джано уперся на своем:

— Братья мои, сестрицы! Не на то нам эти деньги ладены, чтоб мы их в пояса к себе попрятали, а на то, чтоб нас на ноги поднять: плуг, семена купить, землю распахать. Поделим деньги, а кто плуг купит, кто землю распахает? Вон какое у нас поле, без плуга не управиться. Запустим уголья, благодатные земли в пустыню обратим, какими глазами будем тогда смотреть на командира-благодетеля? Чем за добро отплатим? Обманом да неблагодарностью? Не след нам деньги делить, вот вам мое слово!

Что ты на это скажешь? Прикусили язык Джафери и Джемшидо, хоть и страсть как охота им деньгами в кармане побрякать. Дядя Вело взял сторону Джано.

— Верно толкуешь,— говорит.— Мы к деньгам непривычные. А что до жен наших — зароят, как кроты, монеты в землю. После, хоть убей, не сыщешь. Нет уж, пусть до поры хранятся у тебя да у старосты, как раньше у аги хранились. Будете у нас вроде как казначеи. Мемо грамоте разумеет, он деньгам счет поведет.

По нраву пришлись людям слова дяди Вело.

— Дельно рассудил! Быть по-твоему! — кричат.

У Джано лицо расплылось от радости.

— Эдак мы и семена запасем, и плуги купим, и муки в амбар насыплем, а там и казначеев — в шею, нужды в них не будет. Что от денег останется — разделим по-братски.

Стали толковать, на что вперед деньги тратить. Джафери говорит: ни к чему плуг покупать, обойдемся сохой дядюшки Вело, так денежки целей будут. Староста говорит: два плуга надо, не меньше. Один плуг в работе, один — запасной. В посевной без запасного не обойтись, земля ждать не будет. Народ со старостой согласился.

После обмозговали, как с семенами быть, сколько муки на зиму заготовить. Всего нас семьдесят душ. Стали высчитывать, сколько зерна на муку пойдет, сколько на семена. Вышло: на семена десять мешков пшеницы, тридцать мешков ячменя, ржи, овса. На зиму запасти: восемьдесят мешков пшеничной муки и двадцать мешков ячменной. И для скотины до заморозков поболее сена накосить на выгоне да овса с ячменем припасти. Решено было нам со старостой, Джано и дядей Вело ехать в город, купить, что положено. Остальным до нашего возвращения приспособить две незанятые землянки под амбары.

* * *

Словом, не прошло и двух недель, как у нас уже и семена были в руках, и мука в закромах. Два железных плуга поползли по черной груди земли, засвер-

кали на солнце свежей краской зеленой. Ни один из наших братьев не отлынивал от работы. Работали дружно, как одна семья. Один занедужит — другие за него дело справят. К вечеру с поля гуртом вернемся — гуртом есть-пить садимся. Костры перед землянками запалим и давай петь-плясать, молодецким гиком горы оглашать. И день ото дня народ все пуще расходился, веселья не унять.

А как поделили остаток денег между семьями, в землянки новая радость пришла: заблеяла, замычала тут и там скотина, с каждым днем все больше ее с базара пригоняли.

Задумал и я своей Джемой двух коз да корову купить. Ничего ей не сказал, отправился в город на ярмарку. На мое счастье, цена на скотину упала, скотоводы Дерсима навезли ее видимо-невидимо. Вот и купил я двух коз, да еще верблюдицу и трех овец в придачу. Прошелся вдоль рядов — продавцы скота все угрюмые, глаз от земли не поднимают. Сидят, чубуками пыхтят. Разговорился я с одним крестьянином, он тут пять овец купил.

— С малолетства я на этих ярмарках бываю, — говорит, — ни разу не видывал, чтоб столько скотины пригоняли на продажу. Ты глянь на этих дерсимцев! И не торгуются вовсе, с рук сбыл — и ладно. Неспроста это. Не иначе как сейиды на песке гадали, на козий хвост смотрели и предсказали падеж скота зимой. Вот хозяева и гонят его за бесценок: две-три монетки в кармане все лучше дохлой овцы в хлеву.

Стал я на ярмарке колокольчики для скотины подыскивать — все не то. Эх, захирело мое ремесло с той поры, как я его бросил! Хожу по рядам, то у одного мастера приценюсь, то у другого. Запах меди мне в нос шибанул, память зашекотал, руки по делу зачесались. Вот думаю, укрепнем малость, встанем на ноги — куплю я себе новый литейный прибор, примусь опять за колокольчики. Глядишь, и деньжата заведутся, веселей на душе будет, вся деревня от моего ремесла радостью зазвенит.

Не приглянулись мне тамошние колокольцы — набрал я вместо них для скотины цветных бус. Глянет

на них Джемо и душой просветлеет. Стал я для нее самой бусы подбирать. Вспомнил Коралловый омут, взял ей нитку красных кораллов.

Пригнал скотину домой, Джемо как увидела — руками всплеснула.

— Это все наше?

— Твое, газель моя, все твое! Счастье нам с тобой подвалило (убереги, всевышний, наше добро от сглаза!). Пошел я на ярмарку тебе коз приглядеть, а там скотина, считай, задарма идет. Вот я и выгадал тебе двух коз, трех овец да еще верблюдицу. Ну что, рада?

А ее и спрашивать не надо, по лицу видать: рада без памяти. Одну овечку обнимет, другую приласкает, в морды их целует. И соседи собрались на покупку поглазеть, доброе слово сказать. Овец по шерсти треплют, головами кивают, у верблюдицы вымя шупают: «Добрая скотина! Молоком тебя зальет (как бы не сглазить)!»

Стала Джемо скотине клички давать, все больше цветами нарекает. Одна коза с атласной шерстью ей особо полюбилась. Никак ей Джемо кличку красоте под стать не подберет. Под конец в глаза козе поглядела и говорит:

— Глаза у нее что кораллы сверкают! Назову ее Коралл.— Сымает со своих волос один колокольчик, вешает козе на шею.

— Э-э! Нет, курбан! — говорю.— Те колокольчики про тебя одну!

И достаю из сумы бусы.

— Ты на скотину пока вот это повесь, а там, глядишь, я и колокольчики всем отолью.

Увидела Джемо в моих руках пакетики с бусами — глаза у нее разгорелись. Где да как я собираюсь колокольчики отливать — уж и не спрашивает, в пакетики вцепилась. Как пошла вынимать бусы, одну нитку за другой — то зеленые, то голубые, то красные — только ахает от радости. Сперва бусы на себя нацепит, после на скотину. Красные бусы своей новой любимице — козе на шею повесила. Поцеловала ее между рогов.

— Ну как, идут ей бусы? — спрашивает.

— Султанша твоя коза! А ты поди глянь, что мы тебе самой на шею повесим! — И из-за пазухи коралловые бусы достаю. Что матери к лицу, то и дочери пойдет.

Бросилась она мне на шею.

— Ах, курбан! Точь-в-точь как у матери!

Надел я ей на шею ожерелье своей рукой. Пошла, подругам показала — те головами закивали, красивое, мол.

Джано к нам подошел. Смотрит на Джемо и молчит. Слово у него в горле кость застряла. Сказать что-то силится, да не может, губы дрожат, не слушаются старика. Прижал дочку к своей груди, по бороде слеза катится. Вздохнул тяжело.

— Почудилось мне: мать твоя ожила, передо мной стоит. Вся ты в мать уродилась, да пошлет тебе небо иную судьбу!

* * *

Скотинка, что я купил, вся тяжелая оказалась. Только верблюдица — Фиалкой ее Джемо нарекла — яловкой была. Дерсимец, у которого я ее сторговал, говорил: молода еще. Дядя Вело ей крестец прошупал.

— Дерсимцы своих девок в десять лет продают, — говорит, — а животину в поре к самцу подпустить им жалко! Верблюдице твоей лет пятнадцать. Ты глянь, как она глазные белки выкатывает, воздух ноздрями втягивает — самца ищет. Коли времени не упустишь, к весне жди приплода.

Сговорились мы с Джемо свозить свою Фиалку на случку в стадо деревни Карга Дюзю. Джемо мне и говорит:

— Давай сперва святым мощам поклонимся. Тут неподалеку есть гробница святого старца Вейсела Карани¹. Надобно к ней пойти помолиться.

¹ Вейсел Карани — средневековый мусульманский святой. Его гробница в вилайете Сирид — место поклонения шиитов Восточной Анатолии.

— Зачем?

— Как зачем? Он нам приплод пошлет. Надо только жертву ему принести, из святого источника воды напиться и с собой воды на три дня набрать.

— Да полно тебе, курбан! Путь неблизкий, два дня эта затея займет, маета одна.

— Не беда, ради прибавления в нашем стаде и помяться не грех.

Тут дошло до меня, что она про стадо наше для отвода глаз толкует. Не за верблюдицу, за себя хочет она у старца милости просить. Давно она туда сходить собиралась, только из гордости молчала, а может, и бабьих злых языков страшилась.

— Что ж,— говорю,— как знаешь! Отчего бы и не сходить?

Вот отсеялись, снарядились мы с ней в путь. В дороге Джемо не охнула ни разу, не пожаловалась ни на что. Со мной не разговаривала, все молитвы себе под нос бормотала.

До гробницы добрались только к вечеру. У входа паломников видимо-невидимо. Двор крепким забором обнесен, стены гробницы узорами, арабской вязью украшены. Под ними недужные, бесплодные, слабоумные притулились. Кто сидит, кто лежит. Перед расписной дверью, что в гробницу ведет,— источник. Подставили мы ладони под струю, напились всласть.

Открыл слугитель большим ключом двери в гробницу, подхватили мы в руки свои бабуши, босиком за ним следом идем. Внутри пол коврами устлан. И тут на стенах узоры, стихи из Корана. Входим во вторую дверь. Впереди — решетки из железных прутьев, за ней могильная плита, покрытая шелковым зеленым кафтаном. Кругом нее весь пол деньгами усыпан.

Встала Джемо перед железной решеткой на колени, уцепилась пальцами за прутья, зашептала жарко, а что — не разобрать. После вынула из-за пазухи горсть денег, швырнула их за решетку.

Переночевали во дворе. Джемо у меня на коленях прикорнула. Заглянул я ей в лицо, когда заснула,— светится вся, что месяц ясный. Надежда силу в нее влила, словно и не она целый день ноги в кровь

об камни била. Спит себеягненным беззаботным. Снял с нее святой все тревоги. Давно уж так не спала...

* * *

Воротились мы домой — совсем взбесилась наша Фиалка: белки выкатывает, брыкается, зная, пора ее подошла. Недолго думая, собрались мы в Карга Дюзю верблюдицу случать. Она еще по дороге учуяла запах самца. Воздух понюхает и давай реветь, головой мотать, с веревки рваться.

Приходим к Зульфיקяру — владельцу верблюда. Передали ему привет от всей нашей оба — деньги, подарки выложили. Он не хотел брать — мы насильно всучили.

Все, кто в поле не ушел, собрались вокруг нас, рты разинули.

— Чья это верблюдица? Аги вашего? — спрашивают.

Джемо отвечает:

— Наша. Мемо с ярмарки привел.

— Врешь, поди?

— Клянусь! Еще у нас есть три овцы в тягости и две козы.

Тут я масла в огонь подлил:

— В нашей деревне теперь у каждого скотина. Мы из банка ссуду получили. Муки себе купили, плуги, семян.

Слушает народ, диву дается. Бабы себя по коленям руками хлопают, жалеют, что не откочевали вместе с нами в свое время. Зульфикяр нам про свое жительство поведал. В опустевшие юрты Сорик-оглу вселил чужих людей, разбойников, каких свет не видал, покою от них нет. И жена Зульфикяра с ним в один голос:

— У нас каждый день драки да брань, житья нам не дают. Уж вы упросите офицера-эфенди, пусть и нас в вашей деревне приютит.

И Зульфикяр подхватил:

— Мемо, стань нашим заступником, вырви нас из лап Сорика-оглу.

Тут и все другие разом зашумели, принялись меня упрашивать.

— Что,— говорю,— и вы к нам наострились?

— И не спрашивай! Было бы куда голову приклонить, и часу бы здесь не остались.

Обрадовалась Джемю: в нашем полку прибудет!

— Не бойтесь, Мемо вас в беде не оставит!

Обещал я им в горе пособить.

— Фахри-бей всем нищим отец,— говорю.— И для вас порадеет. Как надумаете к нему идти челом бить, меня с собой кликните. Я за вас перед ним слово замолвлю.

Обрадовались, благодарят наперебой, а Фиалка тем временем с веревки рвется — удержу нет.

Кивнул я головой Зульфיקяру.

— Давай, брат! Веди нас к своему удальцу, а то держать веревку больше мочи нет.

Верблюды его в низине на лужайке пасся. Подходим поближе — знатный самец! К колышку двойной цепью привязан. Молодой еще, а загривок уже наел с наплывом. Увидел Фиалку — заревел, ценю загромыхал — гром по всей ложине прокатился. У нашей бедной яловки поджилки затряслись. А он все на цепи кружит, землю роет.

Зачерпнул Зульфикяр в ведро холодной воды из ручья, к верблюду подходит:

— Ишь, тварь! — кричит. — Невтерпеж ему. Ополумел совсем! А вот мы тебя сейчас окатим!

Крестьяне за цепь схватились, держат крепко. Зульфикяр на верблюда водой поплескал. Привязал я Фиалку к дереву, так что ей не повернуться. Стоит она, дрожит всем телом, ревет без передышки, ноздри раздувает, глаза на самца уставила. Тут бабы хором завопили:

— Оплодотворись! Оплодотворись!

Отпустил Зульфикяр цепь — вырвался самец из его рук, захрипел, кинулся к верблюдице, пыль из-под ног за клубилась, камни посыпались. И меня бы сшиб, если б вовремя не увернулся. Откуда ему знать, что самку сперва понюхать, полизать надобно! Черным вихрем на Фиалку налетел...

На обратном пути захотелось Джемо на Коралловый омут взглянуть. Время раннее, отчего не завернуть к омуту. Путь наш мимо мельницы лежал. Зашли во двор — все тихо. Колесо застыло, мохом заросло. И мельница сама осела, углы покосились. Заныло мое сердце при виде такого запустения.

— Вот соберем летом урожай, осенью еще колокольчиков наделаю, хорошие деньги выручу, да и справлю для Джано новую мельницу в Чакалгедии. Больно сумрачный он стал с той поры, как мельницу свою бросил.

— Верно, Мемо. Он спит и видит свою мельницу, как ты — свои колокольчики.

— Много ты знаешь про мои сны! Однако что верно, то верно: жизнь не в жизнь без ремесла, пальцы тоскуют. Мужчине с ремеслом расстаться — что с любимой женой.

Тут Фиалка остановилась, через мельничный арык прыгать не хочет. Джемо тоже остановилась и говорит мне:

— Плохи твои дела, курбан. Колокольцы продавать — жену забывать.

— Зачем забывать, Джемо? За неделю-другую, пока колокольчики расторгнешь, жена не забудется. Ты и глазом не моргнешь, как я уже дома буду.

Ослабила Джемо недоуздок, отпустила верблюдицу воды из арыка напиться.

— Разлука — она и есть разлука. На день ли, на месяц ли — все едино. Ты на днях в город отправилась — я места себе не находила, извелась вся. Ни работа, ни сон на ум не идет. Все глаза проглядела, тебя ожидая.

Взял я ее пальцами за подбородок.

— Ну, как прикажешь, курбан! Значит, прощаться мне со звонкими колокольчиками?

Улыбнулась горестно.

— Нет уж, коль отступишься от своего ремесла, черная тоска твою душу иссушит. С той тоски и жена опостылеет. Видно, мне на роду так написано: ждать да в тоске маяться.

И зашептала мне в ухо:

— Дитя от тебя родить хочу. В разлуке с тобой прижму его к своей груди — все от сердца отступит.

Нагнулась к арыку, воды зачерпнула, в лицо мне плеснула — слезы свои от меня скрыть. Закусил я губу, смолчал.

У Кораллового омута отпустили мы верблюдицу на лужок попасться.

Подбежала Джеммо к омуту, руками по воде заплескала.

— Мамочка, слышишь ли меня? Дочка твоя Джеммо к тебе пришла. Мы теперь в Чакалгедии поселились. Есть у нас и плуги, и земля, и жилье. Мемо с ярмарки привел трех овец, двух коз и верблюдицу. Овцы и козы тяжелые, летом приплод дадут. Верблюдица тоже покрыта. Одна я с пустым брюхом маюсь, мамочка. Что ни пила, что ни делала, все прахом! Вот надумала мощам Вейсела Карани поклониться. Три дня в пути провела. Одна у меня надежда осталась на тебя, мамочка. Соседки мои Зельхо и Зейно давно брюхатые ходят. Надо мной насмеваются: бесплодная, как сухой сучок. Скажи мне: неужто я и вправду бесплодная уродилась?

Скинула она с себя кафтан, разделась догола.

— Глянь, мамочка, бедра мои шире, чем у Зельхо и Зейно. Живот у меня крепкий — хоть двоих выносит. Грудь у меня большие — хоть двоих выкормят. За что же небо меня карает! Если про мужа моего спросишь, то мой Мемо всем мужам муж. Здоровый, как верблюд, днем и ночью меня как тесто мнет...

Говорит быстро, сама трясется как в лихорадке. Все тело ее то покраснеет, то побелеет. Провел я рукой по ее бедрам — застонала, на землю покатила. Жарким дыханием мне лицо обожгла.

— Муж мой, лев мой! Оплодотвори меня!

* * *

Вернулись мы ввечеру в свою деревню — крестьяне наши, все довольные, отсеялись, сидят, чубуками покуривают. Передал я им привет от товарищей.

— Все они жалеют,— говорю,— что не уехали с нами от Сорика-оглу. Он в ваши юрты сущих разбойников поселил. Они наших братьев со свету сживают. Наши собираются просить у командира заступничества, а меня просили им в этом деле пособить.

Защелкали все языками, головами закивали. Сорика-оглу недобрым словом помянули. Один Джано насутился.

— А ты им слово дал пособить, курбан?

— Как не дать? Дал. Проведу вас,— говорю,— к самому подполковнику. Он за всю бедноту радетель и вам не откажет.

Вынул Джано чубук изо рта, на землю сплюнул.

— Зря ты это затеял, Мемо. Они в свое время нам не пособили, зады в юртах спасали. Нынче им за грехи расплата вышла. А мы за чужие грехи не ответчики, своих хватает.

Опешил я: отродясь с Джано такого не бывало, чтоб людей из беды не выручил.

— Что ты ворчишь, Джано? Неужто я худое сделал? Сам говорил: пособить в беде товарищу — первое дело!

Покачал Джано головой.

— Послушай, сынок. Спящей змее на хвост не наступают. Ты для братьев хочешь добро сделать. А Сорик-оглу твое добро во зло оборотит: мол, дали рабам потачку, они и других рабов переманивают. Чего же нам бешеную собаку костью дразнить?

И дядя Вело его сторону взял.

— Джано верно толкует. В старые времена были они нам братья, а нынче наши пути-дороги разошлись. Они сами счастье свое из рук упустили. Приди мы к ним на подмогу — Сорик-оглу опять зубы оскалит. Посевы наши растопчет, скотинку нашу уведет да всех шейхов-беков на нас натравит. Всех собак науськает, чтоб другим рабам неповадно было против хозяина подыматься. В порошок они нас сотрут!

Слушаю я их речи, ушам своим не верю. Это ли герои Гази-паши? От одного слова «Сорик-оглу» трясутся. До земли дорвались и удалую молодость свою забыли!

— Добро, джигиты,— говорю,— вы своих ратных друзей сами в пасть Сорику-оглу швыряете. Мне только помалкивать остается.

Тут Джемю не выдержала.

— Мемо! Как у тебя язык повернулся такое сказать? Не отступайся от своих слов, курбан! Пускай они свою шкуру спасают, а тебе не пристало трусить!

Джано на нее руками замахал.

— Кто это свою шкуру спасает? Говори!

— Вы! Кто еще? В Карга Дюзю народ стоном стонет от Сорики-оглу, а вам хоть бы что!

Дядя Вело глубокую затяжку сделал, после и говорит:

— Не о своей шкуре речь. Знай: и добро с оглядкой делать надобно, нечего старую вражду разжигать.

Так и взвилась Джемю.

— Врагу шею подставлять — уж какая там оглядка! Кто своего врага от пакостей отвадить замышляет, тот ему свою силу показывает. А коли вы Сорику-оглу испугаетесь, мести его убоитесь, братьев своих в беде оставите, он сразу слабину вашу нащупает. Тогда от него пощады не жди! Давно ли он такой тихоня стал? Небось сидит, новые ходы замышляет, думает, как нас извести. А мы тем временем дрожать будем да от братьев своих отрекаться? Да если мы им землю получить пособим, они с нами плечом к плечу встанут! Два ручья в реку сольются. Одному ручью скалу не пробить, а река скалу пробьет да и обломки унесет.

Тут встал Джано, в лоб дочку поцеловал.

— Тыща лет жизни тебе, умная моя, храбрая моя! Верное твое слово! Это у нас, стариков, мозги на жаре растопились. На кривую дорожку нас повело. Что верно, то верно: ручьи в реку сливаются. И нам воедино собираться надобно. Пока мы вместе, нас никакая сила не одолеет!

Остался дядя Вело один против всех нас. Помялся-помялся, рукой махнул да и согласился на наше решение, только велел до поры свой замысел в тайности держать, чтобы Сорик-оглу не пронюхал.

Вот и отправился я с Зульфикиром и еще двоими из Карга Дюзю к Фахри-бею челом бить. Выложили ему все как есть: стань, мол, и для братьев наших отцом родным, вырви их из когтей Сорики-оглу.

Зульфикир вперед выступил, руку у командира поцеловал, на голову себе положил.

— На тебя вся надежда, командир. Ты наших братьев землей да скотиной одарил. Не оставь уж и нас своей милостью.

Достает он из-за пазухи кошель и давай сыпать из него монеты прямо Фахри-бею на стол — беленьких не густо, все больше желтенькие сверкают! Фахри-бей брови поднял, то на деньги, то на Зульфикира смотрит. После рукой деньги отодвинул:

— Собери это обратно в кошель, да поживее. И запомни: если власть имущим глаза золотой блеск застилает, толку от них не жди. Добрые дела за золото не делаются. А вам на новом месте денежки очень пригодятся.

Я перед командиром со стыда чуть сквозь землю не провалился.

— Прости ты его, командир. Это он не со зла, а по темноте своей. У нас тут что ни шаг — везде деньги требуют, а добра мы ни от кого отродясь не видавали. Ты уж не держи на него зла.

И товарищи Зульфикировы Фахри-бею в ноги повалились: пощади, не гневайся!

Поднял он их с пола, по спинам похлопал:

— Отправляйтесь вы домой и передайте своим соседям от меня привет. Все, что будет в моих силах, я сделаю. Постараюсь и для вас хорошее местечко подыскать.

Ай, джигит-командир! Ай, лев-командир! Знать, на чистом молоке того льва вспоили!

С легкой душой мы домой возвращались. Шли порознь, чтобы никто про наши дела не пронюхал. Нас и в городе вместе не видали.

Подошел конец осени. Вот уж и сено на лугах в стога собрано, и поля нежной зеленью опушились.

Справил я себе новый литейный прибор, за старое ремесло взяться хотел, да все оттягивал со дня на день, рыбной ловлей пробавлялся. Подходит как-то ко мне Джемо. Руку мою взяла, к щеке своей прижала.

— Осень уж на исходе, а ты все за колокольчики не берешься, на озере прохлаждаешься. Или ты забывал, что отцу мельницу обещал исправить?

Глянул я ей в лицо — месяц ясный сияет!

— Что-то я тебя не разберу, — говорю. — То ты меня к литью не подпускала, разлуки страшилась, теперь ругаешь меня: зачем литье забросил!

Засмеялась звонко.

— В ту пору нас всего трое было. Теперь будет четверо, а то и все пятеро. Эдакую ораву прокормить надобно!

У меня по всему телу сладкая волна прокатилась.

— Правда, курбан? Прибавления ждешь?

Кивнула головой.

— Правда. Дошли до неба мои молитвы. И я, как другие, понесла.

Говорит, сама от радости плачет. Усадила меня возле себя. Сперва поведала про то, как месяцами дни и ночи напролет маялась, зачатие вымаливала. Живот свой рукой оглаживает. «Коли сын будет, — говорит, — весь в отца пойдет, коли дочь — в мать».

Вдруг встрепелась.

— А ты, курбан, никому не рассказывай до поры, что я в тягости. Как заметно станет, соседки мои лопнут от злости.

— И Джано не рассказывать?

— Не надо. Как узнает про внучку, — хей, бабо! — его не удержать, пойдет разносить эту весть по всей округе. Он ведь больше меня горевал о моем бесплодии. А ты: «По мельнице тоскует». Ну, теперь отливай свои колокольчики, тешь свою душу. У меня от тоски утеха есть: твой плод под сердцем шевелится.

После этого разговора стал я с легкой душой своим ремеслом заниматься. Я в своем углу с литьем вожусь, Джемо за скотиной ходит, йогурт заквашивает, масло сбивает, да и мне пособить минутку-другую выгадывает: то колокольчики на ошейники на низывает, то их сукном протирает. Самые голосистые колокольцы мы для своей скотинки приберегли. И соседей не обделили, рассчитаться после обмолота с ними столковались.

Зазвенело все наше пастбище тихим, ясным звоном. Полилась нежная песня по всей долине, над землянками закружилась, души людские отогрела. Бывало, прислушаются к той песне сестрицы и скажут:

— Ай да Мемо, золотые руки. Всю деревню весельем залил!

* * *

Тем временем день моего отъезда в горы приближался. Товару наготовил я изрядно. Стал в дорогу собираться — Джемо чернее тучи.

— Не ко времени ты едешь, — говорит, — смотри, не случилось бы чего! Каждый день мне страшные сны снятся, вся в поту просыпаюсь. То тебя ограбили, то тебя убили...

Посмеялся я над ее страхами.

— Когда живот пухнет, все бабы страшные сны видят, курбан. Радость от этих детей на один день, а после только муки сплошные. Женщина ради дитяти умереть готова. Оно еще в утробе сидит, а уже ее блевать кровью заставляет. Такая бабья доля!

Перед моим отъездом Джемо всю ночь не спала. Одеяло на голову натянула и скулила потихоньку до самого утра. Светать стало — я поднялся с постели. Она меня руками обвила, не пускает.

— Не езд, Мемо! Послушай меня!

Еле вырвался я из ее рук.

— Я же ворочусь скоро!

Она опять меня как клешнями сжала.

— Тогда и меня с собой заberi! Я тебя обороню, я за тобой присмотрю!

— Да полно тебе, курбан! Дорога дальняя, трудная, не выдюжишь! Тебе нынче одна забота: дитя желанное уберечь, до срока доносить, а в горах и выкинуть недолго, упаси бог!

— Лучше его лишиться, чем тебя!

Как ни просила, как ни молила, видит — проку нету. Утерлась рукавом, затихла. Стала мне в дорогу снедь собирать. Я побежал мула навьючивать. Джано за все время слова не проронил.

Окончились сборы. Подошел я к Джано на прощанье руку поцеловать.

— Смотри в оба! — говорит. — За каждым камнем, за каждым поворотом — враг!

Обнял я Джемо, а она как во сне.

— В добрый путь, курбан...

Голос еле слышно, на шепот сбивается. От того шепота опять у меня в груди заныло.

— Счастливо оставаться, Джемо! Я мигом ворочусь...

Не дожидаясь ответа, уселся я верхом на мула и поехал, не оглядываясь. Если б оглянулся — сердце бы разорвалось от жалости.

Слышу — песня Джемо мне вслед несется:

Большая любовь — к разлуке большой...

* * *

Не принесла мне эта поездка барышей. Скотоводы свою скотину на ярмарках спустили, тихо в оба, Дерсима не узнать. Народ сумрачный стал, глаза голодные. Сам видел сколько раз: раздробят люди камнем горсть ячменя, поделят, едят.

Рядом османцы трудятся, горы, как Ферхад¹, сокрушают, дорогу прокладывают. Дерсимцы глядят на них исподлобья, рты на замке.

Разговорился я с одним старым ашугом.

— Не ко времени ты торговать выбрался, — гово-

¹ Ферхад — популярный персонаж в ближневосточной литературе и фольклоре, зодчий-каменотес, влюбленный в красавицу Ширин.

рит.— Нам нынче не до колокольчиков. Последние гроши на оружие тратим. Одни маузеры ходко идут.

— А с чего это?

— Да не с хорошего житья. Османцы новый закон объявили, землю у нас отнять собрались. Неспроста они в наших краях дороги прокладывают. Солдат тьму нагнали, знать, разделаться с нами замышляют, под корень извести. Сейиды кругом ходят, народ на османцев подымают. Добром это не кончится, помяни мое слово.

Смотрю — и впрямь не с руки мне в такую пору свою торговлю открывать, поворотил обратно.

Еду с оглядкой, слова Джано с ума нейдут. Свернул в ущелье Тужик, чтобы путь срезать,— засада. Первая пуля в мула угодила. Рухнул он наземь, я вскочил, за скалу схоронился. Гляжу из-за камня — двое против меня. Ружья через дуло заряжают. А у меня при себе, слава богу, маузер. Палю в них без передышки. Одного свалил, другой сам сдался.

— Помилуй, жертвой твоей буду! — кричит.

Ружье бросил, руки вверх поднял.

Подхожу я поближе — оба незнакомые. Один уж дух испустил, в левую бровь ему пуля вошла. У другого спрашиваю:

— Ты откуда взялся, сукин сын? По своей воле разбойничаешь или нанятой? Зачем вы меня убийцей сделали?

— Смилуйся, пощади! С голодухи пухнем, дети плачут. А тут от аги человек прибыл, два мешка муки привез — согласились.

— Это какая же тварь вас на это подбила?

— Я не спрашивал.

Размахнулся я прикладом.

— А ну, говори, падаль! У тебя Азраил за плечами, а ты все брешешь. Пристрелю как собаку!

Тут смекнул он: со мной штуки плохи, развязал язык.

— Сорик-оглу, — говорит.

Ну, так и есть. Он, собака! Кто еще до такой хитрости дойдет! Убьют меня в горах Дерсима, на него и думать никто не посмеет. Тамошние разбойники на деньги польстились, и весь сказ!

Глянул я на мертвеца — парень во цвете лет. Из-за этого нечестивца Сорику-оглу я такого молодца загубил!

Велел я другому разбойнику яму вырыть да похоронить своего товарища как подобает.

— Брось, ага! — говорит. — Стервятникам на корм пойти — вот что ему подобает.

— Что, много грехов за ним?

— Много. Пятнадцать душ на тот свет отправил. Меня угрозами в разбой втянул. Собираемся мы нынче в засаду, он зубы скалит: «Дядю его я в озеро спустил, а племянника в ущелье уложу».

У меня мороз по коже пробежал. О всевышний! Моей же рукой ты убийцу дядиного и покарал!

— А что он с дядей не поделил? Дядя — бедный ашуг, в жизни мухи не обидел.

— Почем я знаю! Залегли мы, ждем. Вдруг песню твою слышали. Он меня в бок толкает: «Тот тоже с песней смерть принял! Сел у озера и давай песни голосить, пока я его поленом не огрел. По себе сук руби! Не гонись за шейховой дочкой!» Я его тогда спросил, про какую дочку он толкует. А он мне: «Про дочку того самого шейха, что меня с ашугом разделаться нанял».

Вай, подлец! Вай, нечестивец, белая борода! На деньги польстился, божьего человека смерти предал! Правду, знать, тетушка про шейха говорила, а я еще ей не верил! Совсем обалдел я. Стою бормочу проклятия, а то мне невдомек, что не брат родной со мной толкует, разбойник отпетый. Поднял он здоровенный камень с земли да сзади мне на голову и обрушил. Потемнело у меня в глазах, потом сверкнуло что-то, словно молния с треском ночную темь прорезала, и земля поплыла под ногами. Больше не помню ничего. Тяжкий сон на меня навалился. Чую сквозь сон, как убийца меня за собой через горы к Сорику-оглу волочет...

Увидел меня Сорик-оглу — загоготал дико, горы зашатались. Приказывает своим людям огромный костер разложить, меня заживо в нем спалить... Вот уж сухие ветки в костре трещат. Сорик-оглу огненную бороду оглаживает.

— Кидайте его в огонь! Огонь все очищает. Пусть сгорит дотла, чтоб и пепла от него не осталось!

Вот уж пламя красными языками мое тело облизало... Жир с меня плавится, на огне трещит. Подставили под меня медное блюдо — жир в него закапал. Как наполнилось блюдо до краев — Сорику-оглу передали. Глаза его, как у Зебани¹, искры мечут. Взял блюдо с шипящим маслом, стал мне масло на раны лить...

Перед ним Сенем стоит, на руках дитя держит. Плачет, убивается:

— Уж лучше сожги его сразу. Зачем тебе его так мучить!

Как мне на рану жир кипящий упадет, так от боли туман глаза заволакивает, ничего не вижу... Опомнюсь, открою глаза — костер все бушует, языки пламени мое тело все лижут. Люди Сорика-оглу не переставая в огонь сосновые ветки, верблюжью колючку подбрасывают. Колючки мне прямо в раны впиваются, а пламя все выше и выше... Вот уж до костей моих добирается, сердце жжет. Пить! Пить! Сорик-оглу подносит мне к самым губам ведро с водой, а только я соберусь глоток сделать, отводит его, воду на землю выплескивает и хохочет громовым голосом...

Сенем глядит на меня, слезами заливается:

— Очнись, Мемо! Соберись с силой! Разорви огненное кольцо! Ты меня убил, теперь оживи.

Язык у меня во рту разбух, не ворочается. Силуюсь я выговорить: «Меня Сорик-оглу душегубом сделал... Молодой был парень, я его убил... Но не смотри, что молодой. Он, гиена, кровь моего дяди выпил...» Хочу языком поворотить, а он уж весь пламенем объят, не слушается...

Дитя на руках у Сенем все плачет. И Сенем вместе с ним надрыдается:

— Не оставляй его сиротой, Мемо! Смотри, как он плачет! Встань, утешь его!

Хочу я сказать: «Джемо бесплодная... нет у нее детей...» — из глотки один храп вырывается...

¹ Зебани — ангел, мучающий в аду грешников.

Пламя уже к небу взмывает. Всего меня охватило. На вершине пламени гроб Вейсела Карани вырос, крышка снялась, святой из гроба восстал.

— Это дитя твое,— говорит.— Я ваш брак благословляю. Ну, вставай из огня, прижми дитя к своей груди.

И руку мне протягивает.

— Ухватись за руку!

Собрал я последние силы, ухватился за его руку, рванул он меня и вытащил из пламени... Открыл глаза— я в большой пещере. Голова обвязана, все тело горит, язык сухой, как подметка. Вокруг меня люди толпятся, охают, причитают.

Застонал я,

— Пить!

Смотрю — Сенем надо мной склонилась. Плачет навзрыд, плечи ходуном ходят. С радости иль с печали — не разобрать. У входа белобородый сейид стоит. Заслышал мой стон, подбегает ко мне с ведерком — пей! В ведерке айран. Отпил я глоток — прохлада по телу пробежала.

Погладил сейид Сенем по голове.

— Не плачь, курбан. Клянусь имамом Али, джигит порвал свой саван. Теперь его жизнь в твоих руках. Корми его медом, сливками — за месяц на ноги подыметсЯ.

Однако поднялся я на ноги только к концу второго месяца. Крепко отделал меня разбойник. Когда я ничком падал, он мне еще спину кинжалом в трех местах пропорол. Снял с меня кровавый кафтан, забрал маузер, кинжал и был таков.

Люди Сенем на меня в горах наткнулись. Увидали рядом поклажу с колокольчиками. Знать, я и есть тот самый мастер по колокольчикам, кого Сенем им искать велела. Побежали к ней.

— Нашли мы какого-то литейщика. В ущелье лежит. Весь в крови, помирает.

Как глянула на меня Сенем, стала причитать, волосы на себе рвать.

— Ах, Мемо, лев мой! Джигит мой! Такого ли я тебя чаяла увидеть? Кто же на тебя руку поднял?

Велела отвезти меня в пещеру — родовую молель-

ню. Погнала конника-гонца за самым искусным сей-идом-врачевателем из рода курейшитов¹. Сейид прибыл, раны мои пощупал. «Да почиет над нами дух Али! Да пребудет с нами милость двенадцати имамов». Проговорил он это, засучил рукава, окропил раны горячим жиром, перевязал тряпицей. А сам без передышки то молитвы творит, то Сенем утешает: «Не изводись так, курбан. Огонь для раны — бальзам целебный. Побушует в теле — раны высушит».

Две недели я в память не приходил. Мне губы разжимали, молоко в рот силком вливали. Две недели надо мной Сенем плакала-надрывалась, помереть не давала: «Встань, пробудись, Мемо. Не оставляй меня одну плакать над твоей могилой. Дай на тебя живого насмотреться. Глянь на сына своего! Не оставляй его сиротой. Очнись, Мемо!»

Недели бежали, а силы ко мне все не возвращались, знать, крови у меня вытекло порядком. Головы с постели не подымал. Кормили меня с шутками-прибаутками, как младенца несмышленого. Голову мою словно туман окутал. Что со мной раньше было — хоть убей, не помню. Видать, тем камнем мне всю память отшибло. Словно я весь свой век в этой пещере живу. И у Сенем ни о чем не спрашивал, словно она всегда мне женой была.

Как встал я на ноги, принесла она жертвы святым. Велела заколоть барашков, раздать сейидам да бедноте. После сама вымылась, тело душистым маслом умастила, волосы убрала и песню запела:

Носишь перстень на руке, эй, Джемо, хей, Джемо! —
Алый камень в перстеньке, эй, Джемо-красавица!
Горько плачешь, слезы льешь, эй, Джемо, хей, Джемо!
Твой желанный вдалеке, эй, Джемо-красавица!

Джемо... Джемо... Сверлом мне это слово в сердце вонзилось. В голове зашумело, в глазах потемнело. Ухватился я за стенку, стал на постель сползать. Сенем подбегает, уложила меня.

¹ Курейшиты — одно из арабских племен Аравии, жившее в период зарождения ислама в районе Мекки и сыгравшее важную роль в становлении и распространении мусульманской религии.



— Что, курбан? Голова кружится?

— Эге.

Словно мельничное колесо у меня в мозгах закрутилось. Закрыв я глаза, а оно еще пуще гудит, вертится. Мельтешат у меня перед глазами картинки, ничего не разобрать. Силую остановить кружение, в картинки взглядеться. Вот одну остановил, гляжу, в пестрой рамке гора Зозана прояснилась, Коралловый омут видно. Вот из красной воды на меня Джемо глядит, улыбается: «Мать меня убережет, курбан!..» Вот Карга Дюзю, люди Сори́ка-оглу из юрт утварь выбрасывают... Джемо на Сори́ка-оглу дуло маузера наставила... Вот дядя Вело дверь для землянки строгают... Бабы кричат на Джемо: «Бесплодная!..» Вот Джемо ухвати́лась за прутья перед мощами Вейсела Карани... Вот мы с ней в Карга Дюзю верблюдицу ведем... Джемо на земле лежит, шепчет: «Оплодотвори меня...» Вот она смеется залиvisto: «К лету нас четверо будет, а то и все пятеро!..»

Остановилось в голове мельничное колесо, картинки потухли. Опять темнота на глаза навалилась...

Открываю глаза — Сенем надо мной склонилась, лицо скорбное. Молчит, из глаз слезы льются. Потом вздохнула тяжко:

— Жестокий,— говорит.— У тебя уже другая есть... Как же ты мог?

Сердце мое кровью облилось. Ах ты, проклятая судьба! Сел я на постели, обхватил голову Сенем руками, к груди своей прижал.

— Не я жестокий, Сенем, судьба наша — злая шутница, чего только не выдумала, чтоб нас с тобой разлучить! Под конец преградой меж нами Джемо поставила, преграду ту не перешагнуть. Джемо ни в чем не виновата, она о тебе ведать не ведает. Сердце у нее, как у джигита, храброе, преданное. Она за меня на смерть пойдет. Видно, позарилась судьба-злодейка на мое счастье, пополам мою любовь переломила, между тобой и Джемо поделила...

И тут все прошлое как на ладони предо мной встало, все про себя Сенем поведал. Как принесли мне весть о ее смерти, как я убивался, места себе не находил, хотел вслед за ней в Тигр броситься, да

какая-то невидимая рука меня остановила. Как потом месяцами не ел, не пил, по горам серой тенью бродил...

Слушает меня Сенем и про горе свое забыла, моим горем полна. Руки мне гладит, лицо целует, сама приговаривает:

— Обидчики наши свое получают.

— Кто же все это подстроил? Неужто Фато с мужем?

Сенем смахнула со щеки слезу рукой, головой кивнула.

— Они же выли-причитали по тебе! Откуда только у собак слезы брались?

— Как не причитать? Им шейх твердо сказал: «Коли командиров конюх вам не поверит, обоих в порошок сотру».

А кто же шейху донес про наш уговор?

— Муж Фато. Мало ему было моих денег. Он еще с шейха куш сорвать надумал. На постоялом дворе слугу подкупил да послал его к шейху сказать, где я нахожусь. Тот снарядил сына со свитой за мной в погоню. Нагрянули они на постоялый двор и увезли меня обратно к шейху. Старик меня в цепи заковал, плеткой сам отхлестал. Сын его хотел тебя пристрелить, шейх не позволил. «Он конюх самого командира, с ним лучше не связываться», — говорит. Порешили они подослать к тебе Фато с мужем, чтоб тебя со следа сбить. С той поры эта пара мне на глаза не попадалась...

Говорит Сенем, словно сказку рассказывает. Слова как бисер на нитку нижет, голос ручейком журчит. А я слушаю — дыхание затаил. Сколько же горестей на бедную свалилось из-за меня!

Долго думала-гадала, как от шейха вырваться, и надумала: подбить какого-нибудь дюжего парня из шейховых людей, чтоб украл ее. Так и сделала. Выбрала парня похрабрее и говорит ему: «Ты мне по сердцу, Софи. Выкради меня у старика, потешим свою молодость. А как до Дерсима доберемся, сделаю тебя беком над своей оба». Парень возьми да и забей себе это в голову. Вот отправился как-то шейх с сыновья-

ми к соседу на свадьбу. Софи и умыкнул Сенем. Долго они брели по раскаленной пустыне. Дошли до какой-то речки, по руслу ее до гор Хаккяри добрались. Стали через хребет переваливать. Сколько белых снежных шапок позади осталось — не счесть. Софи разбоем промышлял. Голодать им не приходилось.

Как ни тяжело было в пути, а все ж до Дерсима добрались. Отец Сенем хотел дать Софи золота да прогнать с глаз долой, а тот заартачился: «Мне без Сенем свет не мил, подавай мне Сенем». Старик вспылil, изругал Софи на чем свет стоит, слово за слово — Софи вытаскивает из-за пояса свой кинжал и ну шейха пырять. Когда брат Сенем на крики к отцу прибежал, шейх уже весь искромсанный валялся. Софи, недолго думая, и брата порешил. Схватился бежать — тут шейховы люди подоспели, пустили кинжалы в ход и Софи прикончили.

Шейху с сыном знатные похороны устроили, плакальщиц созвали. После вся оба траур держала сколько положено.

Кончился срок траура — являются к Сенем старейшины¹. Один из них выходит вперед: «Мы тебя знаем, Сенем,— говорит.— Душой ты — джигит из джигитов. Однако обычаи здешние не велят, чтобы нами женщина правила. Надобно тебе мужа подыскать. Устроим пир, пригласим всех джигитов нашей округи. Кому яблоко кинешь, тот и будет нам бек». Сенем его оборвала. «Ни к чему мне на пиру мужа искать,— говорит.— Есть у меня муж. Я его дитя под сердцем ношу». Замялись старейшины: «Не гневайся на нас. Не знали мы. Коли есть у тебя муж, скажи нам, кто он, где он, а мы его над собой беком поставим, будем ему верно служить». Сенем отвечает: «Я и сама не ведаю, что с ним и где он. Отслужил военную службу в Диярбекире и пропал, как в воду канул. Сколько я ни искала, на след его не могла напасть. Только имя его могу вам сказать: зовут его Мемо, мастер по литью колокольчиков». Старики закивали: «Знаем, слышали про такого. Он и в нашу оба заглядывал, колокольчиками

¹ Старейшины — члены совета старейшин, который избирается для решения дел, касающихся всей общины.

торговал. Песнями своими, игрой своей прославился. Мы рады его своим беком признать».

Снарядила Сенем своих людей во все концы, искать меня наказала. Подняли в военном отделе мои бумаги, те бумаги и направили их по ложному следу. Сколько ни искали — все напрасно. Опять старейшины собрались, долго совет держали. Самый старый бородач слово взял: «Не сыскали мы твоего мужа ни живым ни мертвым. Обычай велит нам ждать, когда у тебя дитя родится. Если сын будет — другого бека нам и желать нечего. Пока он в возраст войдет, во главе один из старейшин станет. Так велит наш обычай». И другие старейшины с ним согласились, родин ждать порешили.

С того дня Сенем днем и ночью всевышнего молила ей сына послать, да и вымолила. Как настал срок, родился у нее сын, крепкий бычок. Нарекла она его моим именем. Народ в честь такой радости — несколько дней веселился. Младенцу уж год минул, когда меня, искалеченного, в ущелье подобрали. Не из счастливых оказалась та находка. Пока я со смертью в жаркой схватке боролся, народ у святого источника Монзур жертвы приносил. У Хызыра¹ моего исцеления просил.

Тут погладила меня Сенем рукой по лицу.

— Принял Хызыр наши жертвы, — говорит. — Послал тебе исцеление. Теперь наша оба к большому шолену² готовится, на нем тебя старейшины беком провозгласят, присягнут тебе в верности.

— Нет, курбан, — говорю. — Какой из меня бек? Не по мне беков кафтан. Ни к чему судьбу испытывать, она мне и так милость свою явила — тебя нашел. Чего еще надобно? Пускай сын мой беком оста-

¹ Хызыр — пророк, с именем которого на Востоке связано множество легенд и поверий. По преданию, Хызыр испил живой воды и обрел бессмертие.

² Шолен — племенной пир, традиция которого восходит к старинному национальному торжеству, справлявшемуся при вступлении султана на престол и перед походом. За обрядовым столом вожди разных племен получали кусок жертвенного мяса. Вкушая мясо, они как бы присягали султану.

ется, а покуда подрастет — старейшины его дела справят.

Обвила Сенем мою шею руками.

— Ах, Мемо! Как им беком своим младенца признать при живом отце, здоровом да красивом, как лев!

Покачал я головой.

— Правду не скрыть как ни старайся. Вся моя львиная сила под камнем разбойника осталась, под кинжалом его дух испустила. Сама посуди, гожусь ли я в беки.

Тут снаружи цокот копыт раздался. Лошади заржали. Входят в пещеру старейшины, руки на животах сложили. Один из них выступает вперед и говорит:

— Слава великому Хызыру, дожили мы до такого дня. Весь народ вас на шолен зовет, новому беку присягать будем.

Не успел я и рта раскрыть, как Сенем им отвечает:

— Мы вас давно ждем.

Накидывают мне старейшины на спину баранью шубу, на голову надевают лохматую папаху. Берут меня под руки и выводят из пещеры. Вокруг все белым-бело от снега. У входа в пещеру стоят в два ряда джигиты — один к одному, красавцы, лошадей под уздцы держат. Лошади ржут, копытами землю роют, из ноздрей пар валит.

Только мы вышли из пещеры, джигиты в один голос грянули:

— Да пошлет вам всевышний долгую жизнь!

Подводят к нам двух белых лошадей. На одну меня сажают, на другую — Сенем. Взлетели удалцы на коней — тронулся наш поезд к источнику Монзур. Весь народ от мала до велика уж там собрался, нас ждет. Костры всюю горят, на кострах котлы кипят.

Сняли меня с лошади, усадили на войлочный тюфяк. К поясу палаш прицепили. После все мужчины, и стар и млад, ухватились за края тюфяка и девять

раз меня над головами вскинули. Слова клятвы сказали:

— Твоя слава — наша слава! Твоя жизнь — наша жизнь! Головы за тебя сложим, бек наш!

Встал я, ответ сказал:

— Ваша оба — моя оба. Ваш обычай — мой обычай. Клянусь двенадцатью имамами и в светлый день, и в черный день с вами быть!

Тут Сорик-оглу мне вспомнился. «Погоди же, шакал! — думаю. — Сунься только в Чакалгедии со своими головорезами! Ты у меня запоешь!»

Прочитали сейиды молитву, бросили в святой источник двенадцать камешков в честь двенадцати имамов. После них я двенадцать камешков бросил. За мной вслед все мужчины бросили в источник по камешку. Подошли ко мне по одному. Руку и плечо мне поцеловали. Потом я подошел к сейидам, каждому руку и плечо поцеловал.

Тут мужчины стали жертвы закалывать, свежевать, в котлы бросать. Саз зазвенел. Подали мне зурну — запела моя зурна, другие зурначи мне ответили. Поначалу не мог я зурну на игровой лад настроить — лицо Джемю, все в слезах, передо мной встало, не отогнать. Тут Сенем танцевать вышла. Сперва медленно по кругу пошла, потом все круче, все ниже стан прогибать стала, каблуками все дробнее об землю бить. Закружились ее юбки, подола вверх вскинулись и унесли из моей памяти бледный призрак. Огонь по жилам моим пробежал. Прежний Мемо во мне просыпался, тот, что играл на зурне у старого шейха в праздник обрезания.

Сенем все быстрее кружится, черных глаз от моих не отводит, а в глазах ее пламя бушует. С ног до головы меня тем пламенем обдало. Народ вокруг Сенем сгрудился. Все в ладоши бьют, каблуками прищелкивают, подзадоривают:

— Ха! Ха! Ха, курбан! Ха!

Стон плывет по ущелью Монзур, далеко в горах гулом перекачивается.

Тут все зурны, все сазы разом напев подхватили. Молодые парни, девушки на круг вышли, меня с со-

бой увлекли. Мы с Сенем в кругу плящем, они вокруг нас кружат, пританцовывают. Сердца наши как одно, бьются, как одно, любовью горят. И чем жарче танец, тем больше я ему отдаюсь, все тело мое силой наливается, а хворь отступает. Ха! Ха! Ха, курбан! Ха!

Нет в ногах устали, тело парит. Не смолкай, музыка! В сердце радость клокочет, через край переливается. В самый разгар танца схватила меня Сенем за руку — молния мое тело прожгла. Тащит меня за собой из круга, сама вся дрожит, как в лихорадке. Не спрашиваю я у нее: куда? Ноги сами меня за ней несут.

Полетели мы с ней на крыльях любви, как птицы по весне. Вот уж ущелье Монзур нам объятия раскрыло. Сзади нас парни с девушками бегут, парами за руки схватились. Покатились в снег горячие тела, пар на морозе закружился.

Обнялись и мы с Сенем — небо с землей сомкнулось...

* * *

На другое утро соседские беи, шейхи, аги с подарками прибыли. При каждом свита — конников под пятьдесят. Кто молодую кобылу подводит, кто — коров, кто — дюжину овец. Женщинам — сирийской ткани на кафтан. Чтоб всех гостей с почетом встретить, костров до вечера не тушили, в кипящие котлы все новые туши бросали.

Собрались все у святого источника. Сперва сейиды молитвы вознесли, бросили в воду камешки. После встали все мы против беков, шейхов, поклялись им в верности и братстве, они нам свою клятву дали. Подарили обе стороны друг другу по двенадцать серебряных монет, поцеловали друг друга в плечо, бросил каждый для скрепления клятвы в пенные струи святого источника по камешку, и все в один голос гаркнули:

— Да лишусь я потомства, коли клятву нарушу!

После обменялись обе стороны чашами с едой, каждый поел мяса из чужой чаши.

Была та клятва великая неспроста дана. Не потому только, что я беком стал. Все беки, шейхи, аги Дерсима собрались воедино, чтоб союз свой заново скрепить. Ни у кого сомненья не было, что летом османцы на курдов нападут.

* * *

Прошел угар шоленов, опять лицо Джемо передо мной ожило. Стал я проситься в Чакалгедии земляков своих навестить. Старейшины заартачились.

— Не ко времени твой отъезд. Османцы только и ждут подходящего часа, чтобы из засады выскочить. На кого же ты нас здесь бросишь?

— Как мне вас бросить, когда вы меня над собой беком посадили, когда я двенадцатью имамами вам в верности поклялся? Да ведь и там моя родня осталась. Ждут меня не дождутся. У них теперь душа не на месте. Надобно мне их проведать. Я мигом ворочусь!

А про османцев так сказал:

— Не больно верю, что османцы на нас нападать собрались. Мы им худого не сделали. С чего им на Дерсим нападать?

Самый почтенный старейшина мне ответ дал.

— С чего нападать, говоришь? Мы хорасанские алавиты¹, а они — ханифиты из страны Рум. Враги они наши лютые. Со времен султана Селима² нас под корень изводят. Только руки у них короткие. Никакими ружьями не пробить им дорогу в дерсимские пещеры. Нынче они на хитрость пошли: горы с долами ровняют, мол, дороги проложить надобно, лазутчиков да наушников своих по всему Дерсиму рассылают:

¹ Хорасанские алавиты — шиитская секта, проникшая в Турцию в средние века из иранской провинции Хорасан.

² Султан Селим — имеется в виду Селим I Явуз (Грозный), правил в 1512—1520 годах, воинствующий борец за суннитское правоверие. Вел войну с сефевидским шахом Исмаилом I, в которой курдские и турецкие шиитские племена приняли сторону Исмаила I.

вот вам-де наши учителя! А те учителя велят нашим детям язык свой, обычай свой забывать. Задумали нас на османский лад перекроить. Они и девок наших испортить хотят, увезти их в свои города, там в османок переделать, да и заслать к нам обратно, чтоб весь наш род прахом пошел... Много мы от них вытерпели. Сколько они нам в дружбе-братстве клялись — ни одну клятву не сдержали. Так и в последний раз было. «Коли за нашими врагами не пойдете, волос с вашей головы не упадет», — говорят. А вышло что? Сами же османцы старые фирманы нарушили, на место их новый закон объявили. По этому самому закону нашей исконной землей нынче османская казна ведает. Османцы небось спят и видят, как бы нашей кровной землей завладеть. Только одной бумажкой ее не оттягаешь! Чует враг, что каждую пядь своей земли мы кровью польем, но не уступим...

Погладил старик свою бороду и продолжал:

— Нынче обе стороны сборы проводят. Схлестнутся наши пути, это как пить дать. Сейиды песок бросали, на звезды смотрели, помет черного барана жгли. Говорят: скоро схватка. И дерсимцы в той схватке верх возьмут. Не время от стада отбиваться, скажу я тебе. А там делай, как знаешь.

Ушел старейшина, стал я Сенем упрашивать отпустить меня. Не легко ее было уломать.

— Знать, ты любишь ее больше меня. Только судьба нас свела после тяжелой разлуки, а ты уж от меня к ней бежишь.

— Зачем напраслину возводить, курбан? Пойми: слово я дал живо воротиться. Сколько времени ушло с той поры, а меня нет как нет. Они теперь не чают меня живого увидеть. В тех краях есть один ага. Сориком-оглу прозывается. Изверг, а не человек. Пронюхает, что меня нет, и нагрянет в деревню, разоручинит. Нельзя мне медлить, курбан, надобно в путь пускаться.

Знал я, что ее страшило: уеду да не ворочусь к ней. Уж я и так ей клялся, и эдак, припомнил и свою клятву великую у святого источника. «Коли преступ-

лю клятву, — говорю, — двенадцать имамов меня на месте поразят». Сдалась Сенем на мои уговоры. Только велела еще раз к святому источнику сходить, клятву свою перед сейидом повторить. Но и тут не улеглись ее страхи. Снарядила со мной свиту в пять конников, чтобы в пути меня от Сорика-оглу обороняли. Подвязала к моему поясу кошель денег. Как прощаться стали, на шею мне бросилась:

— Ах, Мемо! Забери и Джемо с собой на обратном пути. Буду ей старшей кумой¹. Мне не привыкать. Чем тебе сохнуть по ней, здесь с ней живите.

Покачал я головой:

— Сама пойдет — заберу, а не пойдет — не посетуй. Нрав у нее что у дикой козы. Она все бесплодием убивалась, боялась: куму ей в дом приведу. Хоть и молчала, а я-то уж знаю, что у нее было на уме.

— Нет, нет, ты скажи ей: я не младшей, старшей женой буду! Я у тебя первая была. Что ж теперь делать, коли судьба нас всех свела! От судьбы не уйдешь. Кто любит, тот на все готов...

* * *

В Чакалгедии я напрямик через гору Зозана рванул. Задумал сперва в Карга Дюзю заглянуть. Авось, думаю, и посмелее будут на кочевку собираться, как узнают, что я теперь бек. Глянут: я при свите, тут и Сорик-оглу им нипочем.

За поворотом у скалы наперерез мне разбойник выскочил. Волосы всклокочены, борода спутана, лица не видать. Я — за ружье.

— Не шевелись, пристрелю! Отвечай, ты кто: грабитель или божий странник?

Опустил он ружье.

— Был бы я разбойником, Мемо, на дорогу бы к тебе не вышел.

¹ К у м а — турецкое слово, употребляемое для обозначения жены по отношению к другой или другим женам.

Тут я по голосу его признал: Джемшидо.

— Джемшидо, брат! Ты ли это?

Слез я с коня, обнялись мы с ним. Никак не может он поверить, что я жив.

— Ты из мертвых восстал, что ли? Мы тебя давно оплакали.

— В точку попал, Джемшидо. От смерти на волоске был, да воскрес. А кто вас о моей смерти известил?

— Да никто не извещал. Как-то утром Джемо выходит из землянки — у дверей твой кровавый кафтан да кинжал лежат. Стала она голосить-причитать на всю деревню — вся оба сбежалась, бабы в вой ударились. Траур по тебе, как положено, справили. Чьих это рук дело, нам всем ясно было — Сорика-оглу. Да за руку его не поймаешь. Поди докажи, что он убил. Так и смолчали, никуда не заявили.

— А что тебе здесь, в горах, делать? Кого караулишь?

— И не спрашивай, брат. Этот изверг Сорик-оглу наши очаги разрушил. Всю оба разграбил, наших жен и детей к себе угнал. Из мужчин — кого убил, кого в тюрьму заткнул. На воле один я остался. Теперь в горах промышляю.

У меня сердце упало. Хотел про Джемо, Джано спросить, слова в горле застряли. Джемшидо и не заметил ничего, продолжает свой горестный дестан и даже словно бы рад, что есть кому горе излить.

— Джафери, Хайдаро и дядя Вело убиты. Ай, Вело, Вело! Сколько раз он нам говорил: «Не прожить рабу без аги». Не слушали мы его, трусом обзывали. Вышло — прав был дядя Вело, ой, как прав! Он у Джано на руках помирал, Джано плакал, у него прощенья просил. Две пули в Вело вошли: одна в плечо, другая в пах. Джано его десять часов на себе ташил. Кровь свою за него по капле был готов отдать, да что толку!

— А что же вы к Фахри-бею не пошли?

— Как не пойти! Мы к нему сразу толкнулись. Только Сорик-оглу наши стога спалил, амбары разорил — мы к Фахри-бею. Трое нас было: Джано, дядя

Вело и я. Приходим — он в печали великой, в дальний путь собирается. В ссылку его отправляют. Пришла на него жалоба, будто он бедуинам арабским казенную землю продает.

— Кто написал?

— Крестьяне из Карга Дюзю. Ты их к Фахри-бею отвел, чтоб он им добро сделал, а они на него бумагу состряпали. Ясно, Сорик-оглу их заставил. Пишут: подполковник Фахри взял у нас деньги, сулил землю дать. Сорик-оглу то письмо властям направил. Вот Фахри-бея и сослали. А мы-то знать ничего не знаем, вваливаемся к нему, так и так: Сорик-оглу нашу деревню разграбил, новые козни замышляет, оборони, сделай милость. А он: «У меня приказ сегодня же отбыть». — «На кого ж ты нас теперь покидаешь? Кто нам руку протянет?» А он нам: «У меня отняты полномочия. Могу только написать о ваших бедах полковнику. Сам я ничего сделать не в силах». С пустыми руками, с разбитым сердцем мы в деревню воротились. А там уж нас новое горе ждет. Сорик-оглу прислал к нам Кара Сеида, велел ему с нас двести золотых стребовать.

— Какие двести золотых? Мы ему ничего не должны!

— А помнишь двести золотых, что мы у банка занимали? Секретарь так бумаги состряпал, что мы те деньги не банку, Сорику-оглу должны были воротить. Мы говорим: «Двести золотых нам банк дал, а не Сорик-оглу». Кара Сеид нам в ответ: «Это точно, выдал деньги банк, но сняты они со счета Сорика-оглу. Выходит, вы должны не банку, а Сорику-оглу, он вам дает сроку одну неделю. Не уплатите — приедет к вам с жандармами, заберет все ваше имущество. Так и знайте».

С тем и уехал.

Растерялся народ. Как нам быть? Где денег взять? Джано говорит: «Надобно к секретарю пойти. Он мне сам велел к нему приходить, когда тяжело придется. Мы теперь дети государства-бабо, а он у государства на службе, у него нам и защиты просить. Входим к нему — не узнать секретаря! Словно его подменили. Давай на нас топать, давай орать: «Как вам, жалким рабам,

в голову взбрело против аги своего пойти! На что вы надеялись? Ага простил вас за вашу темноту, двести золотых дал, чтоб вы землю засеяли, землянки починили. Ваше дело было ему в ноги броситься, во всем покаяться, а вы — властям жаловаться! Да какое дело государству до ваших долгов своему аге!» Слушаем мы — рты разинули! Словно и не он Фахри-бею слово дал нам заступником быть. «Закон Турецкой республики для всех один!..», «Будет трудно — заходите. Наш долг помочь вам в трудные дни...» Вот тебе и помоги! Джано не побоялся, вперед выступил. «Бек мой! — говорит. — Мы те деньги не у Сорики-оглу брали, у банка, Сорик-оглу нам не ага. С какой стати он у нас будет последнюю утварь отымать? Был у нас ага-абукат, сын шейха Махмуда. Землю он свою продал Сорику-оглу, а мы Сорики-оглу своим хозяином не признали...» Секретарь весь затрясся: «Да кто вы такие, чтобы такого влиятельного человека хозяином не признавать?» — «И не будем признавать. Он сын разбойника, что против нас бился. Подлый это человек». Секретарь глаза выкатил: «Вы поглядите на этого бунтаря! Да ты, видно, забыл, что ты раб? Где это ты слышал, чтобы раб, скотина бессловесная, про своего агу рассуждать вздумал? Или тебе неведомо, что ага вместе с землей и рабов волен продавать, ни у кого не спросясь?» У Джано желваки на скулах заходили. «Раньше так было, — говорит, — а нынче новый закон вышел, всем рабам волю принес. Рабы вольны стали себе сами хозяина выбирать». Ухватил его секретарь за плечи, затряс. «Ты еще, мразь, будешь меня новым законам учить! Только османскому паше и забот, что о рабах Зозаны думать. Пора знать: новые законы для одних османцев! Шейхам да рабам до них дела нет!» Джано свое гнет: «А мы не шейховы рабы. Нам новая власть землю дала, теперь мы ее дети. Вот и пришли мы к новой власти правду искать». Секретарь тут весь кровью налился: «Ах вы, сволочи! И на меня жаловаться будете!» Пошел на нас с кулачищами. Одному — пощечину, другому — затрешину. Мы обалдели, что делать — не знаем. Кликнул секретарь жандарма, велел нас в тюрьму отвести. Так два дня там и просидели неведомо за что. На третий день отомкнули перед нами

дверь, вышвырнули нас на улицу. Приходим в Чакалгедии. Поведал Джано все как есть нашим братьям: «Османские власти тоже за Сори́ка-оглу́ стоят. Отворотились от нас. Нет нам у власти защиты. Сами свое добро оборонять будем, денно и нощно дозор держать». Дядя Вело стал на себе бороду рвать: «Говорил я вам: Сори́к-оглу́ нам разор учинит,— не слушались меня. Теперь ждите беды. Вот-вот нагрянет изверг, с землей нашу деревню сровняет. Вай, горе нам! Будь у нас ага, он бы нас в обиду не дал. Это ты, Джано, нас всех взбаламутил! Эх, да что теперь толковать!» Два дня пальцы на курках держали — никто не появился. На третий день смотрим — жандармы по горам карабкаются, у всех ружья за плечами. С ними еще какие-то люди, по-городскому одеты, видать, чиновники. Приходят в деревню. Один чиновник бумагу достает, читает: все наши посе́вы, па́стбища, все наше добро конфискуется. Тут из-за горы Сори́к-оглу́ со своими людьми показался. За каждым в упряжке два мула тащатся — наше добро грузить. Женщины к дверям кинулись — утварь свою заслонить, их жандармы прикладами отогнали. Рассыпались люди Сори́ка-оглу́ по землянкам, стали из них скотину выводить, одеяла выбрасывать, из амбаров мешки выволакивать. Джемo обхватила свою козу с красными глазами. «Не отдам злодеям!» — говорит. Люди Сори́ка-оглу́ у нее козу вырвали, пинками в стадо погнали. Ухватила Джемo мотыгу, пошла на них в атаку. Тут Кара Сеид ей сзади руки заломил. Накинулись они все на нее, колошматят по чему попало. У нее все лицо кровью залило и изо рта кровь хлещет. Джано к жандарму кинулся. «Спасите мою дочку! Грех ее бить, она беременная! Мы глядим, и правда: живот у Джемo! Тут Сори́к-оглу́ выходит: «От кого твой ублюдо́к? От гаденыша Мемо? Я его давно на тот свет отправил». Джемo ему: «Гаденыши — это те, кто тебе под стать, по дорогам разбойничают, добрым людям кинжалы в спину всаживают, оба разоряют. А Мемо джигитом был, и сын его джигитом будет. Он злодеям за отца отомстит! С молоком моим, с колыбельными песнями ту месть в себя впитает!» Сори́к-оглу́ весь зашелся от ярости. Хвать ее сапогом в жи-

вот! Хватъ еще! «Не колыбельные тебе петь, а агыты¹ по нему голосить!» Глаза у нее заволокло, лицо позеленело, и повисла она на руках Кара Сеида, пополам перегнулась. Джано подбежал, поднял ее на руки, городские засуетились. Отпихнул их Джано от себя локтем, уставился прямо в глаза Сорику-оглу: «Сколько горя ты принес, не счастье! Но учти: за все с тебя спросится, еще на этом свете сквитаемся». Сорик-оглу ему: «Я расчетом доволен, только до конца еще не довел». Погрузили наше тряпье, ложки-плошки на мулов, стадо впереди погнало. Пока не скрылись все за горой, мы им вслед глядели, руками за сердце держались. Городские видят: Джеммо в себя не приходит, по ногам кровь бежит ручьями, решили ее в больницу свезти, с собой забрали, Джано за ней следом пошел...

Остановился Джемшидо, кулаком слезы по щеке размазывает. Я думал, закричу, из горла один хрип вырвался:

— Умерла?!

Джемшидо на меня руками замахал.

— Жива, клянусь, жива! В больнице лежит. Там ей живот распороли и зашили. Джано говорил, на неделе вернется. Уж он плакал-рыдал, что дитя малое. Нету у нее теперь утехи, говорит...

Ой, джигит-Джеммо, ой страданица! Слезы из моих глаз так и хлынули. Джемшидо растерялся. Стоит, по спине меня оглаживает.

Взял я себя в руки.

— А где Джано? — спрашиваю.

— В тюрьме. Секретарь велел всех посадить, кто в живых остался. Один я вырвался, в горы подался.

— В чем их обвинили?

Покачал он головой.

— Джано, как вернулся, стал месть замышлять, и мы все вокруг него держались. Положили налет сделать на дом Сорика-оглу. Ночью через гору Зозана по ручью пробрались. На подходе к дому в засаду по-

¹ Агыт — плач по усопшему.

пали. Люди Сорики-оглу зажали нас в ущелье. Джафери и Хайдари первыми шли. Первые пули им достались. Рухнули они как подкошенные, криком закричали. А нам их не подобрать, пули свищут. Слышим — Джафери нас кличет: «Пристрелите нас, не бросайте врагу на поруганье». Дядя Вело высунулся из-за скалы, просьбу его последнюю исполнил. Но и сам сразу две пули заработал. Джано его себе на спину взвалил. Стали мы отступать. Как стихла за нами пальба, Джано уложил Вело на земле, разодрал свой кафтан, раны перевязал. От плечевой раны у Вело рука онемела, из паха кровь — ручьем. У Джано губы затряслись, а Вело его успокаивает: «Раз кровь побежала, ее уж не остановить. Зачем хлопчешь?» Джано ему: «Сердце мое разрывается, что ты из-за меня смерть принимаешь. Я этого себе не прощу». — «Не твоя в том вина. Ты позабудь, что я говорил. Это все с горя безысходного. Чему быть, того не миновать». — «Мы тебя в больницу отвезем, где моя дочь лежит. Доктора тебя на ноги подымут». — «Не трогай меня. Мне туда живым не добраться». Джано его слушать не стал, взвалил себе на спину и потащил. Всю ночь напролет тащил, не охнул. Свет забрезжил, и видим мы: у Вело в лице ни кровинки, глаза застекленели, а у Джано весь кафтан кровью залит. Остановили мы Джано. Припал он к мертвому телу, до утренних птиц его оплакивал. С первыми птицами увидели мы: жандармы нас в кольцо забирают. Сговорились не сдаваться, пока тело Вело земле не предадим. Закопали его, потом сдались. Жандармы нам руки веревками связали, в город погнали, к секретарю привели. Он нас давай бить, давай обзывать! После двоим жандармам велел нас в тюрьму засадить. Ведут нас по лестнице, я вижу: в двери щель. Шмыг в нее, да и был таков. Жандармы догонять не стали, чтоб остальных не упустить. Только в воздух пальнули раз, да и все. Теперь я по горам брожу, Сорики-оглу выслеживаю.

— А что же с сестрицами случилось? Одни они?

— Не знаю. Прибежал я из тюрьмы — во всей деревне ни души. Землянки пустые. Видать, Сорики-оглу женщин с детьми к себе угнал...

Я и Джемшидо поведал, что со мной было. Как узнал он, что я беком стал, давай меня заклинять:

— Отомсти за нас! Коли не отомстишь этому зверю, дух наших братьев убитых тебе покою не даст, они тебе ночью глаза повыцарапают.

Только ни к чему мне были его уговоры. Огонь мести уже бушевал в моем сердце, из груди наружу рвался.

— Сперва поеду к Джемо, возьму ее из больницы, — говорю. — Переправлю в укромное место. А после с этой собакой разочтемся. Он наших братьев в темницу заткнул, теперь разгуливает без опаски. Тут мы его и прихлопнем.

— Прихлопнем, брат! Только смотри, в городе открыто не показывайся. У него везде лазутчики, мигом донесут. И в тюрьму не заглядывай, а то и тебя туда упрячут.

Сговорились мы с ним на заброшенной мельнице свидеться.

Пришпорил я коня, в город поскакал. Приезжаю — одного человека из своих в больницу послал, другого в тюрьму. Воротился человек из больницы, рассказывает: Джемо поправилась, два дня назад жандармы ее к секретарю каймакама отвели. Другой приходит: не пустили его в тюрьму. Говорят, подавай бумагу от каймакама, тогда пустим.

Так ни с чем и повернули мы назад. На сердце мне камень лег. С чего это Джемо к каймакаму направили? Теперь в тюрьму бросят, как бунтовщицу, или Сорику-оглу отдадут, как других? Погнал в касаба¹. Скачу во весь опор — ветер в ушах свищет. Люди мои еле поспевают за мной. Под вечер мы были уже в уезде. Спешились, не доезжая касаба. Людей своих я при лошадях оставил. Одного половчее с собой забрал. Подбираемся с ним к уездному правлению, жандарм дверь на замок запирает. Укрылся я в темном углу, чтоб он меня не приметил, а человека своего послал про секретаря спросить. Заслышал жандарм шаги, вздрогнул.

¹ К а с а б а — городок.

— Чего тебе?

— Секретаря каймакама повидать надобно.

— Нету его, на Зозану уехал.

— Когда воротится?

Осклабился жандарм, усы подкрутил.

— А кто его знает! Когда ему раки да женщины наскучат, тогда и воротится. К одному знатному аге кутить отправился, с ними девка, в самых летах. Теперь, считай, дня три, а то и все пять прогуляют. Оно и на руку нашему брату, передохнем от пустобреха. Целыми днями лается, глотку дерет, клянусь аллахом! Кому не опостылеет такая жизнь!..

Я чуть не задохнулся от ярости. Моя Джемо, джигит-Джемо на пьяной пирушке этих шакалов услаждает! Ну, погоди же, Сорик-оглу! Погоди и ты, бу-мажная крыса! Попадетесь вы мне в руки!

Вскочили на коней, одним махом до Зозаны догнали. Молния и та бы нас не обогнала. Джемшидо уж нас на мельнице поджидает.

— Везет нам нынче, Мемо,— говорит, сам смеется во весь рот.— Я чабана Сорики-оглу прихватил.

Вошли внутрь. К опорному столбу человек привязан. Чиркнул я спичкой, лицо его осветил — не из наших.

— Слушай, брат,— говорю.— Коли службу нам сослужишь, отпустим тебя живого, в придачу денег и скотины дадим. А заупрямишься — пеняй на себя, отправим прямиком на тот свет, по одной дорожке с твоим агой. Ну, будешь мне отвечать?

— Буду.

— Где Сорик-оглу, знаешь?

— Знаю, он велел мне принести ему молока, сыру, сливок и молодого барашка. Я к нему ходил.

— Где он?

— На летовке.

Схватил я его за плечи, давай трясти.

— Задумаешь нас морочить — смотри у меня!

— Не-е, зачем морочить! Как пирушка у аги с именитыми гостями, так он на яйлу подымается, от своих жен подале.

— Ладно. Сколько там человек в дозоре? Сколько собак?

— Когда ага пирует, людей своих в оба отсылает, жен да детей сторожить. Наверху с ним от силы человека четыре будет. Однако собак лютых не счесть.

— Собаки тебя признают? Пойдут за тобой, если покличешь?

— Пойдут.

Погремель я золотом в поясе.

— Теперь слушай, коли собак к ручью заманишь и всех перетопишь, а после нас в дом проведешь, это золотишко все твое будет.

Чирк спичкой и к глазам его золото подношу. Запылало оно перед ним желтым пламенем, и в глазах его огонек разгорелся.

— Ты чей, ага? — спрашивает.

— А тебе зачем?

— Да затем, что за душегубство ответ держать будем. Достанет у тебя силы раба оборонить?

— Я из Дерсима.

— Тогда страшиться нечего. До Дерсима ни одна рука не дотянется. Твой я с потрохами.

Заставил я его поклясться мне в верности двенадцатью имамами, отвязал от столба, отправились мы с ним на летовку.

Гляжу — чабан свое дело знает. Козьими тропами нас повел, глухими ущельями, с подветренной стороны, чтоб собаки наш запах не расчуяли.

Засветились наверху огни дома. Чабан говорит:

— Я пойду собак заманю, а вы тут обождите.

Джемшидо ему руку на плечо положил.

— Смотри же, брат. От клятвы не отступись!

— Как отступиться, бабо! Кто великую клятву преступит, того Хызыр в камень оборотит!

— Вперед Хызыра мы из тебя кишки выпустим, заруби на носу!

Сунул чабан под мышку два круглых хлеба для собак и в темноту канул.

Делать нечего, стали мы ждать. Сказать легко, а ждать какво! Джемю рядом муки принимает, я — стой, жди. А чабан словно как провалился. Все нет

его и нет. Ночь морозная стоит. Звезды свечами в небе запылали. От них светло кругом, как днем.

Стоим, прислушиваемся, как ночные звери на охоте: не покатится ли камешек, не затрещит ли сучок? И мышь бы от нас не ускользнула. Слышим — чабан идет. Дух перевел и говорит:

— Собак я всех порешил. Заодно и дом обошел. У караульных в комнате свет не горит. Должно, спать залегли. Из большой комнаты крики, шум, игру на са-зе слышать.

Не поверил я ни одному его слову. Все они, продажные, на одно лицо! Оставил я одного человека у ручья с лошадьми. Говорю чабану:

— Иди впереди!

С ружьями наперевес бесшумно по мягкому снегу двинулись. Вот уж слышно: саз бренчит, зурна надрывается. Собак не слышать, не соврал чабан. А то бы давно уже забрехали.

Подходим к дому. Стоит он на самом краю пропасти, с трех сторон крепкой стеной огорожен. Большая дверь во двор колючей проволокой опутана. Изнутри на засов замкнута. Указал нам чабан, где сподручней на стену залезть. Вскрабкались мы вместе с ним на стену — весь двор как на ладони, белый снег под звездами ровным светом сияет. И дом хорошо видать, и комнату для караульных. Во дворе ни души, никто нас не примечает. Спустили мы чабана во двор, велел я ему тихонько засов на двери отодвинуть. Приотворилась дверь — Джемшидо и люди мои во двор прошмыгнули. Сам я по стене к ним спустился. Двоих вместе с чабаном отрядил у дверей дозорных сторожить.

Других двоих у дверей в дом поставил.

— Кто из дома выбежит — тотчас хватайте! — говорю. — Глядите в оба, чтоб мимо вас и птица не пролетела!

— Слушаем, бек!

А мы с Джемшидо стали подступы к дому нащупывать. Глядим — сбоку деревянная лестница на галерею ведет. Сверху звуки саза, зурны несутся. Прокрались мы вверх по лестнице на галерею. Окошко, что на галерею выходит, раскрыто. Приник я к окну — кровь

застыла в жилах. Две лампы на стенах комнату освещают. В очаге сосновые дрова потрескивают. У очага Сорик-оглу и секретарь каймакама сидят. Перед ними на подносах раки и всякая снедь. Рожи у обоих красные, глаза налитые — видно, крепко набрались. Музыканты на сазах бренчат. Посреди комнаты Джемо, полуголая, пляшет. Глаза застекленели, руки как плети висят. Чуть остановится — Сорик-оглу хватает с подноса кинжал, в воздухе им трясет.

— Я тебе устану! Невесте на свадьбе уставать не положено! Не для того я твой живот разгрузил, чтоб ты его жалела!

Секретарь сидит, гогочет — пузо ходуном. Слышу — Джемо застонала.

— Сил моих больше нет! Дайте попить, в горле пересохло!

— А я говорю: пляши! Ты меня хотела под свою дудку плясать заставить. Не вышло, теперь сама у меня попляшешь. Шевелись живей! — И опять кинжал свой показывает. — То-то! Коли хочешь, чтобы я забыл свой гнев да отца твоего помиловал, всю ночь мои желанья исполняй! Некому теперь жаловаться! Подполковник твой в ссылке, литейщик твой стервятникам на кормежку пошел...

Тут я на него дуло маузера из окна наставил.

— Врешь, Сорик-оглу! Жив литейщик! Ты ему кинжал в спину всадил, а он ожил, чтоб за все с тобой сквитаться!

Музыканты враз смолкли. В тишине голос Джемо зазвенел:

— Мемо!

Сорик-оглу и секретарь шеи в плечи втянули. Глаза вытаращили, на потолок уставились. Джемшидо им кричит:

— Кто с места тронется — убьем на месте!

Я Джемо окликнул:

— Хватай кинжал с подноса и отходи в угол!

Джемо живо сделала, как я сказал.

— Эй ты, сукин сын! — кричу я музыканту, что ко мне всех ближе сидит. — Брось саз, отвори двери.

Тот на агу своего косится. Я маузер на него направил:

— Отворяй, а не то башку продырявлю и тебе и твоему хозяину.

Пошел он к дверям — я кликнул моих людей, что снаружи у дверей стояли:

— Распахнется дверь — вбегайте в дом.

Вбежали они в дом, а я у окна Джемшидо оставил, сам вниз спустился. Только я в комнату вошел, и Джемшидо вслед за мной. Вывели мы всех из дома во двор. Я Сорик-оглу дулом подталкиваю, Джемшидо — секретаря.

Сорик-оглу язык проглотил от страха. Дрожит на морозе, как собака. А секретарь еще хорохорится:

— Мало вас шейхи да аги учат, бандитов! Вы еще и на меня, законную власть, руку подымать! Вам это даром не пройдет!

Джемшидо его дулом в спину ткнул.

— Уймись, подлая тварь! Какого еще уважения тебе надо? Ты запятнал честь Гази-паши! Наши братья за Гази-пашу кровь проливали, а ты этих героев разорил подчистую, детей их без куска хлеба оставил! Наши братья по горам, по ущельям с врагом насмерть бились, а ты их — по щекам лупить, свои жадные ручки к нашим сестрам протягивать! Такого и Езид¹ над рабами Али не творил! Какой ты защитник власти после этого! Подавай сюда свою печать!

Тот потоптался — делать нечего, отдал.

Вывел я Сорик-оглу во двор.

— Ну, Сорик-оглу, пришел черед расквитаться с тобой за все твои подлости, за все горе, что ты бедному люду принес. Твой наемный палач мне сам рассказал, как ты его за два мешка муки купил. И про твои пакости в Чакалгедии знаю. Поведали мне, как ты над народом измывался. Джафери, Хайдаро и Вело в земле лежат. Дитя мое еще в материнской утробе под твоим сапогом испустило дух. Пришло время за все ответ держать.

Молчит Сорик-оглу, только слышно, как челюсти лязгают.

¹ Езид — халиф, во время правления которого был убит Хусейн, сын халифа Али.

Тут Джеммо ко мне подходит — глаза молнии мечут.

— За невинное дитя, что погибло в моей утробе, дайте мне самой с ним рассчитаться. Он меня кровью залить хотел. Так пусть захлебнется той кровью!

Раздобыла где-то мотыги, отбила у них черенки.

— Я никого тебя за руки держать не заставляю. Бери-ка палку, продли свою жизнь.

Подает ему один черенок, другой себе взяла.

— Вставайте все в круг! — кричит. — Смотрите, как этот шакал подыхать будет!

Джемшидо запыхтел от удовольствия:

— Молодец, Джеммо. Ловко придумала!

Видно, уж знает, что зрелище будет отменное.

Велел я своему человеку принести головешку из очага, чтоб получше двор осветить.

Стали биться. Вижу — Джеммо на дубинках биться мастер. Куда Сорик-оглу ни повернет, она ему ходу не дает, удары его играючи отбивает. Загнэяла его до поту, в атаку перешла. С первого удара у него дубинку из рук вышибла. После по правому плечу погладила — рука его тряпкой повисла. Ударился он бежать. Она одним прыжком догнала и по другому плечу тюкнула. Застонал Сорик-оглу, в ноги ей повалился. Саданула она ему под дых — на снег осел, кровавая пена изо рта запузырилась. Тут Джемшидо не выдержал, стал его прикладом добивать, мои люди ему пособили.

Обнял я Джеммо. Упала она мне на грудь, зарыдала горько.

Тем временем секретарь почуял, что за ним глаза нету. Юркнул потихоньку в заднюю калитку и тут же мы его истошный вопль услышали. Та калитка прямо в пропасть открывалась. Через нее, видать, из дома мусор выбрасывали. Разогнался секретарь и на полном ходу в пропасть загремел, черная пасть его проглотила.

Джемшидо мне и говорит:

— Такую, видать, смерть ему всевышний положил.

Остальные дела мы живо обделали. Вывели из хлева скотину, караульных отперли, руки им связали, за



ворота их оттащили. Тело Сорика-оглу в дом приволокли. Поплескали из лампы маслом в разные углы, чиркнули спичкой. Двери закрыли.

Глянул я в последний раз, как пламя бушует, из окон и дверей языки высовывает.

— Вот и сквитались,— говорю.— Теперь нам у османцев на виду оставаться не след. По коням!

На одного коня я Джемо усадил, на других — караульных со связанными руками.

В путь пустились. Позади нас — черные клубы дыма до неба, впереди — полоса рассветного луча, опоясавшая золотом гору Зозана. Вдали, у самой кромки неба, ждали нас горы Дерсима, закутав белые снежные вершины в черные платки грозовых туч.

Ашар Кемалы

ЛЕГЕНДА ГОРЫ







риткнулось на склоне Агрыдага, чуть пониже вершины, озерко — Кюп-гёль называется. Невелико оно собой, не больше тока молотильного, зато глубиной — что колодец бездонный. Со всех сторон обступили его багряные скалы с острыми, поблескивающими, словно лезвие ножа, гранями. От этих каменных глыб тянется к озерку сначала широкая, а потом поуже полоса мягкой медноцветной земли, иссеченной многочисленными тропками, с разбросанными кое-где зелеными луговинками. Вода в этом озере — синяя-синяя. Такой густой, такой бархатистоласковой синевы, хоть весь свет обыщи, нигде больше не увидишь.

Так выглядит Кюп-гёль ранней весной, когда от снега остается лишь тонкая кайма. Минует день-другой — и склоны горы сплошь захлестнут волны зелени, а берега озера усыпят мелкие цветы: синие, желтые, алые, лиловые. Даже издали они бросаются в глаза своей колкой яркостью, а их резкий аромат, сливаясь с ароматом воды и медноцветной земли, дурманит голову.

Каждый год в эту пору собираются здесь чобаны — молодцы все как на подбор статные и ладные, с печальными карими глазами и длинными тонкими пальцами. Они расстилают свои бурки под багряными скалами на медноцветной земле, земле древней весны, и усаживаются кругом. В предутренней тьме, когда небо густо засеяно зернами звезд, они достают из-за кушаков свои рожки — кавалы — и начинают играть мелодию «Гнев Горы».

Весь день льется протяжная музыка. А вечером, уже на закате, прилетает крохотная стрелчатокрылая, похожая на ласточку, белая, точно снег, птица. В стремительном полете выплетает она белые узоры на синей глади. Но вот село солнце, чобаны перестали играть. В тот самый миг, когда они убирают свои кавалы за кушаки, белая, точно снег, птица молнией устремляется вниз, окунает одно крыло в озерную синь — и тотчас же взмывает ввысь. И так три раза сряду. Когда птица скрывается вдали, чобаны встают и по одному, по двое молча расходятся. Их тени бесследно растворяются в сумерках.

С самого вечера стоял белый конь у дверей Ахмедова дома. Переступал ногами, раздувая ноздри, тянул морду к старым растрескавшимся доскам — будто принюхивался. Раньше всех заметил его седобородый Софи. Поразился старик. Седло на коне черкесское, изукрашенное черненым серебром, с серебряными стремянами. Да и все убранство — чудо. Поводья шиты серебром, лука отделана золотом, с перламутровой инкрустацией. Чепрак длинный, до самого крупа, на нем — древний знак: померанцево-желтое солнце на фоне зеленого древа жизни. Вышивка не только сверху, но и с левой стороны. Софи напряг память, задумался, где он видел этот знак. Ясно только, что это знак древнего рода, но вот какого именно — никак не мог припомнить.

Молча, с изумлением и страхом смотрел Софи на коня. Что за высокий гость пожаловал к Ахмеду? Снова и снова вглядывался в изображение солнца, пытаясь определить, какому роду, какому бею или паше принадлежит этот знак. Недоброе предчувствие холодило его душу. «Не миновать беды», — думал он.

В их краях не было ни одного человека достаточно богатого, чтобы владеть подобным скакуном, да еще столь роскошно убранным. И Софи были хорошо известны знаки всех местных родов.

Была весна. Багровели освободившиеся от снега верхушки скал, зажелтели первые цветы морозника. Высоко в небе ширяла крыльями станица журавлей — они летели к озеру Ван.

Ахмед, ни о чем не ведая, играл в своем доме на кавале. И как играл! Это искусство унаследовал он от деда, Султана-ага, и отца Ресула. По всей Горе не было других таких кавалджи¹, как эти трое. И не только по всей Горе, но, может статься, и по всему белу свету. А уж если так говорит Софи, то ему можно верить — он ведь и сам знаменитый кавалджи. Слава о нем идет по всему Востоку, и по Кавказу, и по Ирану-Турану.

Еще ближе подошел Софи к коню, еще пристальнее всмотрелся. Конь стоит наострив уши. Внимательно слушает. И Софи слушает. Мелодия, которую выводит Ахмед, знакомая, старинная. Рассказывается в ней о неукротимом гнев Горы. Так и называется она — «Гнев Горы». Этой мелодии сам Софи обучил немало пастухов. Но как-то уж так вышло, что он давно не играл и не слышал ее. Подумать только, с какой силой маленький рожок передает неистовый гнев каменной громадины! Никогда не перестанет Софи дивиться этому чуду чудному. Человеческий сын дует в рожок, а перед слушателями во всю свою исполинскую высоту встает обьятая яростью Гора. Все доступно человеческому разумению: полет орла и копошение муравьев, попеременный закат и восход солнца и луны, свет и мрак, жизнь и смерть. Одного только не может постичь сын человеческий — самого себя.

Восстала Гора — и пошла. С грохотом рушатся снежные лавины. Как набухшие почки, лопаются звезды. Бурным ливнем низвергается лунный свет. А Гора идет, обуянная жаждой отмщенья. Тяжко дышит она; точно грудь сказочного великана, вздымается ее грудь. Софи даже слышит ее дыхание — раскаты глубинного гула.

Ахмед продолжает играть — все яростнее гнев Горы, все громче подземный гул. В другой раз, слышав такой гул, Софи приложил бы ухо к земле, но сейчас он слушал песнь. Раскачивается, содрогается Гора — того и гляди обрушится на мир всей своей безмерной тяжестью. И вдруг — полное безмолвие. Пустота. Покинула Гора этот мир. Унесла с собой своих

¹ Кавалджи — музыкант, играющий на кавале (рожке).

птиц и волков, звезды, луну и солнце, ветер, дождь и снег, травы и цветы. Унесла с собой долины, где бродят стада джейранов с сурьмяно-черными глазами. Только безмолвие, только пустоту оставила.

Но вот мир как бы заново открылся глазам Софи. Со всеми своими звездами, цветами, ароматами, с прозрачными, в серебристых вспышках проплывающих форелей реками. Преобразился и конь. Ожило, засверкало померанцево-желтое солнце на войлоке. Зазеленело, расцвело древо жизни.

Только после того, как оборвался голос кавала, а солнце высунуло краснопламенный язык из-за вершины Горы, опаматовался наконец старик.

Посмотрел он на дверь, на коня. И тот, задрав голову, скосил на него большие, полные тоски глаза. Еще сильнее кольнул страх в самое сердце Софи.

— Ахмед, Ахмед! — закричал старик.

Узнал его голос Ахмед, сразу распахнул дверь.

— Добро пожаловать, дядюшка.

Заметил коня, опешил. Вопросительно глянул на Софи.

— У тебя в доме высокий гость? — молвил старик. — Да принесет он тебе радость и благополучие.

— Нет у меня никаких гостей, — ответил Ахмед.

Оба они поглядели на коня. Тот обежал вокруг дома и вернулся на прежнее место. Был он на диво хорош и мастью, и статью, длинноногий, поджарый, с чутко поднятыми ушами. Снова вскинул голову конь — будто заржать хочет, но так и не заржал.

Ахмедов дом стоял у подножия скалы. Стены сложены из красного камня. Дверь широкая. Окно — всего одно.

Призадумался Софи. И Ахмед призадумался.

— Этот конь послан тебе самой судьбой, — говорит старик.

— Подошел к моей двери, не уходит, стало быть, так оно и есть, — отвечает Ахмед. — Хотелось бы только знать, чей он.

— На чепраке у него знак, — продолжает Софи, — где-то я его видел, а вот где — не могу припомнить. Сдается мне, это знак какого-то могущественного ро-

да. Тогда — беда. Но что бы там ни было, отныне конь — твой. Это тебе дар небес.

— Дар небес, — тихо повторяет Ахмед, а сам думает, что принесет ему этот дар — радость ли, горе.

Тень, павшая на его лицо, не ускользнула от Софи.

— Что бы там ни было, отныне конь — твой. Жаль только, что я никак не могу вспомнить, чей это знак. Знаю, что древний, а вот чей? — раздумчиво произнес он.

Обоим было ясно, что владелец коня человек родовой и богатый.

— Что тут долго размышлять? — снова заговорил Софи. — Отведи коня вниз на дорогу. Вернется — отведи опять. И так трижды. А уж потом, кто бы ни был его хозяин — бей ли, паша ли, османский ли падишах, иранский ли шах, Кёроглу, — никому его не отдавай. Жизнь отдай, а коня не отдавай. Нужно будет — мы все за тебя стеной встанем.

Вот уж и новый день родился. Засверкали, заиграли в золотом шитье облака. Заклубился мерцающий туман над снегами. Ахмед схватил коня за повод, вспрыгнул в седло и съехал на дорогу. Только вернулся пешком — глядь, а конь уже стоит рядом с Софи. И так трижды.

— Что будет, то будет, дядюшка. От судьбы не уйдешь, — развел руками Ахмед.

Рано ли, поздно, хватится хозяин сбежавшего коня, начнет поиски. Но Ахмед не отдаст ему дар небес. Жизнь отдаст — коня не отдаст. Таков непререкаемый горский закон.

Ахмед хорошо знал, что ему угрожает, но отвел коня на конюшню. Такого красавца он сроду не видел. Радовался, конечно, но и тревоги не мог избыть.

— Если владелец — какой-нибудь наглый вельможа, не уважающий наших обычаев, быть беде, — сказал Софи, радостно предвкушая возможную схватку. — Гора ни перед кем не склонит головы. Уж если она пргневается, против всего мира пойдет, но от своего не отступится.

— Не отступится, — повторил за ним Ахмед.

Слух о случившемся облетел все селение. Скопом повалил народ. Сперва только свои, деревенские, а по-

том и со всей Горы. До самого Ирана-Турана докатилась молва о коне. Только и разговоров было что о птице удачи, которая села на голову Ахмеда. И никто не знал, чем кончится это дело — добром ли, худом ли.

Услышали о том, как повезло Ахмеду, и курдские бей с равнины. Из Каракилисе, Гихандина, Игдыра потянулись они полюбоваться сокровищем Ахмедовым — и все завистью исходят.

Долгое время о прежнем владельце не было ни слуху ни духу.

Вскочит Ахмед на коня и вместе с друзьями-товарищами мчится в набег на землю иранскую. Захватит богатую добычу, овец, лошадей — и обратно в свое селение.

И все время в тревоге. Вот-вот объявится хозяин коня, какой-нибудь спесивый бей с кроваво-красными глазами. Такой умрет — от своего не отступится. А может, он и трус, кто знает...

Миновало полгода. Совсем уж было успокоился Ахмед, развеялась его тревога. Да и радость поостыла — сколько можно радоваться одному и тому же?

Как-то утречком, когда багровое солнце выглянуло из-за Горы, является к Ахмеду Софи. Тяжело опирается на посох, длинная белая борода подрагивает.

— Слышал уже? — спрашивает.

— Слышал, — отвечает Ахмед.

— Разыскивает коня сам беззидский паша, Махмуд-хан.

— Слышал.

— Тому, кто приведет коня, сулит он пять лошадей и пятьдесят золотых.

— Знаю.

— А тот, к кому попал конь, должен его вернуть, иначе паша велит отсечь ему голову.

— Что поделаешь? На все воля судьбы.

— Выставит он против нас целое войско.

— Что поделаешь? На все воля судьбы.

— Махмуд-хан известен своей жестокостью.

— На все воля судьбы.

— Человек он могущественный, противостоять ему нелегко.

— Но ведь конь — дар небес, дар бога.

— Махмуд-хан нашего бога не признаёт. И его дар не признаёт. Он заделался рьяным османцем.

— Не могу же я отдать дар небес.

Не прошло и месяца — прискакали посланцы от паши. Входят в Ахмедов дом и говорят:

— Махмуд-хан хочет, чтобы ты вернул его коня. Бери что твоей душе угодно: деньги, товары дорогие, лошадей самых лучших, только коня верни. Слышал он, что конь остановился перед твоей дверью, потому и просит по-хорошему. Что хочешь возьми себе взамен.

— Неужто ваш хан не знает, что дар небес не возвращают? Жизнь отдают — коня не отдают, — отвечает Ахмед.

— Знать-то он знает, но все равно стоит на своем. Ведь этот конь и ему дар. От зиланского бея, которого наш паша любит пуще брата родного.

Ахмед одно ладит:

— Ничего не пожалею, если надо, жизнь отдам, а дар небес возвратить не могу.

Видят посланцы, его не уломать, грозить стали:

— Хозяин велел тебе передать, что ни перед чем не остановится. «Хоть и выскаж, говорит, его логово, хоть и созовет он всяких бродяг на подмогу, все равно доберусь до него, в порошок сотру!» А слово свое паша держит.

Молчит Ахмед, будто в рот воды набрал.

Так ни с чем люди паши и убрались восвояси. Здорово, конечно, озлились, да что толку-то?

Съехались со всей округи курдские бей с кроваво-красными глазами. И все возмущаются:

— Статочное ли это дело — требовать дар небес! Хоть ты знатный бей, хоть паша — должен иметь понимание.

— Все верно, — только и уронил Ахмед. А больше — ни полслова.

Не ожидал паша, что его просьбе отказ будет, взбеленился. Конечно, и он хорошо знал этот обычай. Остановись у ворот беязидской крепости конь самого па-

дишаха османского или шаха иранского, ни за что не вернул бы! Но чтобы простой горец смел противиться его воле — такое в голове не укладывалось.

Созвал паша всех советников и начальников своего маленького войска. Долго судили-рядили они, но так и не пришли к общему решению. Добром коня, ясное дело, не отдадут, а идти походом — со всей Горой биться. Неизвестно еще, чем дело кончится.

Послал тогда паша за своими друзьями — беями курдскими, послушными каждому его велению. Отовсюду понаехали они: из Вана, Патноса, Муша, Битлиса, с Сюпхандага. Закатил для них Махмуд-хан пиршество пышное. С небывалым гостеприимством чествовал. А потом пригласил на совет, рассказал о своей заботе.

— Какой-то горский разбойник, юнец безусый, похитил моего коня, — жаловался он. — Моей чести нанесен урон.

Никто и упомянуть не посмел о древнем обычае, не сказал, что пустая это затея: даже если всем горцам отрубить головы, коня паше все равно уже не видать.

Всеобщее молчание окончательно распалило пашу.

— Помогите мне вернуть коня, — потребовал он.

Пришлось курдским беям снарядить гонца. Ахмед только зло посмеялся над ним. И велел передать беям:

— Этот конь — дар небес. Три раза отводил я его на дорогу, а он — все обратно. Так что теперь он принадлежит мне. И не только мне одному, но всей Горе. И хотел бы, да не могу отдать. Позабыли, видно, беи о своем достоинстве, совсем рабами паши стали. Пристало ли им с такой просьбой ко мне обращаться?

Курдские беи даже не обиделись, выслушав эти слова. Сказали только:

— Правы горцы. Но только правота им не поможет. Паша ни перед чем не остановится, а своего добьется.

Видя, что все хлопоты беев впустую, паша собрал своих аскеров и вместе с самыми верными беями выступил в поход.

А время уже осеннее. Алым, лиловым огнем пыла-



ют скалы на склонах Горы. Все выше и выше взбирается отряд пашы. Только камешки летят из-под копыт лошадей.

Наконец они в селении Сорик, где живет Ахмед. А там — ни одной живой души.

Паша и его люди сделали привал, малость отдохнули, а потом Махмуд-хан приказал спалить селение.

Из одного горящего дома вышел весь седой, с кло-чьями сажи на бороде и на ресницах древний старик, одетый в новехонький, с голубой вышивкой шаль-шапик — излюбленный наряд курдов. Это был Софи.

Смотрит он на пашу в упор немигающим орлиным взглядом и говорит:

— Что ты бесчинствуешь, паша? С тех пор как стоит мир, еще ни один человек не вернул коня, подошедшего к его дверям. Неужто не знаешь ты этого обычая? Видно, уж совсем предался ты османцам. Какая жестокость — из-за одного коня сжечь целую деревню! Берегись, паша! Проклятье Горы падет на твою голову! Не простит она тебе этого злодеяния!.. А ведь я знавал твоего отца. Настоящий йигит был — не чета тебе, хоть ты и пашой стал. Уж он-то не пошел бы против обычая. Даже если бы его конь прибил к дому вдовы, сироты или вора — все равно не потребовал бы обратно. Так-то вот, паша. Проклятье Горы падет на твою голову!

Ничего ему не ответил Махмуд-хан, только процедил:

— Свяжите ему руки, наденьте на него железный ошейник и отведите в тюрьму.

Много разбросано селений по склонам Горы. Одно за другим обходили их Махмудовы люди. И куда ни придут — везде пусто. Будто и не жил там никто вовсе. Зlobится, бесится паша. Одно только, с пеной у рта, и кричит:

— Смутьяны, бунтовщики!

Человек он высокий, рослый. Глаза карие, борода черная, курчавая, нос — клювом. И в словах и в делах проявляется спесь необузданная. Говорит он, правда, мало, все больше раздумывает. Осанка у него велича-

вая, поступь широкая, размашистая. Кутается он всегда в соболя, весь потом исходит, а мехов не снимает.

Прошел паша со своим войском по долине Игдыра, миновал Башкёй, вышел в ахурийскую долину и поднялся к горным пастбищам. И нигде — ни чобана, ни путника заблудшего, ни разбойника. Ни птиц, ни зверей никаких — ни медведей, ни лисиц, ни диких кошек. Таким, вероятно, был мир сразу после сотворения. Мошки и жуки — и те куда-то запропастились.

— Все равно отыщу их, — кипятится паша, — если даже под землей спрятались — отыщу. Если даже в Иран, Индию или Китай удрали — все равно отыщу.

Курдские беи и слова вымолвить не смели — помалкивали.

Подкатила зима. Устали, выбились из сил и лошади, и аскеры с тяжелыми заплечными сумами. Весь Большой Агрыдаг обрыскали, добрались до Малого. И по-прежнему — никого. Пожелтел паша, спал с лица. Но все ярится. Неужто так и не встретят они ни одной живой души? Только эту ярость в себе носит — ни с кем ни слова. Что надо — рукой показывает. Но все уже давно потеряли надежду.

Один из курдских беев, Молла Керим, как-то набрался духу да и сказал Махмуду-хану:

— Мой паша! На этой огромной Горе, хоть тыщу лет ищи, все попусту. Уж если горцы запрячутся, их и сам шайтан не разыщет. Убей меня, паша, но я говорю правду.

Поглядел на него паша — глаза грустные-прегрустные, но так ничего и не ответил.

Двинулись дальше. Об одном только молит паша — хоть бы кого-нибудь увидеть, кроме этого дряхлого Софи.

Не выдержали в конце концов беи, собрались, стали обсуждать, как быть дальше. Сколько можно плутать по горам! Лошадей загнали, сами с ног сбились, а толку никакого. Паша же и слушать ничего не желает — весь злобой пышет. Но ведь уже зима близко. Так и жди снежной бури или обвала. Тут и погибнуть

недолго. Посовещались беи и решили все-таки потолковать с пашой.

Подошел к нему Молла Керим и, почтительно прижав к груди руки, говорит:

— Мой паша, разреши смиренно доложить тебе о нашем общем решении. Вынуждены мы прекратить поиски, разъехаться по домам. Но вот тебе наше слово: через три-четыре месяца, не успеет еще и зима кончиться, приведем тебе и коня, и Ахмеда.

— Я уж не думаю ни о коне, ни об Ахмеди, — отвечает паша. — Одно у меня желание — знать, куда подевалось столько народу. По всей Горе — ни одного живого существа, кроме Софи. Даже муравьев не видно. Хочу видеть горцев. Еще до того, как сойдет снег.

Снова собрались на совет курдские беи. Долго говорили, спорили, а затем к паше опять явился Молла Керим.

— Хорошо. Найдем тебе и горцев. Еще до того, как сойдет снег. Положись на наше слово.

Вернулись все они в безыдскую крепость. Пригласил паша беев в мраморный зал, щедро одарил за перенесенные тяготы. Беи, понятно, радовались, но душу их подтачивал червь беспокойства. Как сыскать Ахмеда? Эти горцы знают каждую тропку в горах, их там и до Судного дня не выследишь.

Махмуд-хан был человек образованный, много знающий. Он почитал османского падишаха, гордился славой Османской империи. Его дед и отец жили в горных краях. Паше было неизвестно, когда они переехали на равнину, известно только, что его отец учился в эрзрумском медресе, а затем поехал в Стамбул. Там он достиг высокого поста, и падишах пожаловал ему титул паши. Отца своего Махмуд-хан хорошо помнил. Он отличался орлиной смелостью, был решителен. Он-то и воздвиг безыдскую крепость, куда со всех сторон стекались ученые люди, певцы и сказители. Его воле покорялись все курдские беи — от Эрзрума до Карса, от Карса до Вана. До глубокой старости дожил он — и до последнего дня в седле! На ле-

то, оставив свой роскошный дворец, он поднимался в горы, разбивал там шатер. Рядом были ледники, и от них веяло приятной прохладой.

Горцы относились к нему с большим уважением. Возможно, и чуточку побаивались, но по-настоящему уважали. И он платил им взаимностью. Обычаев, во всяком случае, не нарушал. Махмуд-хан хорошо помнил, как отец собирал у себя в шатре по сорок — пятьдесят кавалджи и с упоением слушал их игру.

Любопытно, как поступил бы отец на его месте? И как поступили бы горцы? Вернули бы коня? Ответа на этот вопрос не было, точно так же, как не было ответа и на другой вопрос: как смогут беи выполнить свое обещание отыскать горцев. Что, если те укроются в Хоросане или на Кавказе?

Сам паша, как и его отец, учился в Эрзруме, затем служил в Стамбуле. Отличился. Покрыл себя славой в сражениях. Живал он в Дамаске, Алеппо и Каире. Бывал в Софии и Трансильвании. Изъездил весь Восток и Запад. Но в конце концов вернулся в безыдскую крепость. По настойчивой просьбе отца. Сам он, по своей охоте, ни за что не покинул бы Стамбула. Через двенадцать лет отец умер, и титул паши перешел к Махмуду-хану как к старшему сыну.

Долгое время Махмуд-хан не мог привыкнуть к горам, к здешним людям и нравам. Роскошью безыдский дворец превосходил даже стамбульские дворцы, но освоился он там с трудом. Долго тосковал, скучал. Рассеяться ему помогли горянки: и на лицо хороши, и станом стройны, таких тоненьких девушек нигде больше нет. В первый раз он женился на армянке. Во второй раз — на дочери курдского бея. Третью жену привез себе с Кавказа. Четвертая была с берегов озера Урмийе. От этих четырех жен родились у него три дочери и восемь сыновей. Было у паши еще пятеро братьев — все они жили на Игдырской равнине. Он их слегка презирал, чурался. Лишь младший брат жил сначала во дворце, но потом и он перебрался к братьям. Женился на девушке из тамошнего знатного рода,

да так и осел в тех краях. Паша до сих пор не мог простить ему этого.

Лишь одна страсть была у Махмуда-хана — охота. Каждой весной отправлялся он вместе со своими ловчими на Эсрюкдаг или Сюпхандаг либо в Сорскую или Зиланскую долину. Там он охотился на оленей и возвращался с сотнями шкур.

Одну из дочерей паши звали Гюлистан, другую — Гюльриз, третью — Гюльбахар¹. Гюлистан, дочь армянки, была высокой рыжеволосой девушкой с большими карими глазами, осененными длинными ресницами. Наряды себе она выписывала из Стамбула, следуя придворной моде. Так же поступала и Гюльриз, белокурая красавица с небесно-синими глазами и длинной лебединой шеей. Из всех троих эта была самая образованная, еще девочкой знала наизусть стихи Ахмеда Хани²; придет, бывало, в мраморный зал и читает всем собравшимся. Паша любил ее больше остальных. Гюльбахар сильно отличалась от своих сестер — ростом пониже, плотно сбитая, лицо светлое, открытое, орехово-смуглое. По принятому у горянок обыкновению она носила несколько нижних юбок, волосы заплетала в сорок косичек. На шее — золотое ожерелье, на ногах — браслеты с изумрудом и жемчугом. От природы она была большая умница. Говорила мало, почти всегда улыбалась. Все прочие дети паши редко выходили из дворца, с простым народом не знались. Иное дело — Гюльбахар. Ни одна большая гулянка, ни одна свадьба без нее не обходилась.

Жители Беязида и горцы просто обожали Гюльбахар, чтили ее как святую. Захворает ли кто, беда ли где приключится, Гюльбахар уже тут как тут. На коне она ездила как заправский йигит. Паша никогда не вмешивался в ее дела, лишь поглядывал издали, думая: «Родись она мужчиной, всей бы этой Горой, как падишах, заправляла!»

¹ Гюлистан — букв.: «страна роз», Гюльриз — «осыпанная розами», Гюльбахар — «весна роз».

² Ахмед Хани — средневековый турецко-курдский поэт, автор классической поэмы «Мам и Зин».

Гюльбахар изнывала во дворце от тоски и скуки. Общего языка с сестрами не находила — все одна да одна. Шел ей тогда двадцать второй год. Взглянет — глаза обжигают болью, но улыбка добрая-предобрая, ямочки на щеках так и играют. Недаром горцы прозвали ее Улыбающейся девушкой.

История с конем заинтересовала ее больше всех во дворце. Она частенько заходила в тюрьму, расспрашивала обо всем Софи, который ей так полюбился, что она сама, своими руками носила ему лакомства из дворцовой кухни.

— Верно говорят люди, — подтвердил Софи. — Три раза съезжал Ахмед на дорогу — и три раза конь возвращался к его дверям. Этот конь — дар небес. Ахмед никому его не отдаст. И даже если бы захотел отдать, ему бы не позволили. Горцы умрут, а коня не отдадут.

А однажды он попросил:

— Принеси мне кавал.

Только сказал — смотрит, Гюльбахар несет ему рожок. А рожок-то старый-престарый, лет сто, верно, будет. Хоть и ничего не сказала девушка, а очень удивилась: как это Софи, в его-то годы, будет играть на кавале. Для этого и зубы крепкие нужны, и грудь могучая. Присмотрелась Гюльбахар — хоть спина у старика и согбенная, а зубы все до одного целы-целехоньки, так и сверкают белизной.

Заиграл Софи на кавале. А Гюльбахар присела у двери тюрьмы, привалилась к стене — и слушает. Заслушалась, даже не шелохнется. А Софи знай себе играет, ни на миг не остановится.

Наконец опустил он кавал. Только тогда, будто после долгого сна, очнулась Гюльбахар, тихим голосом спросила:

— Что это за мелодия?

— Старинная. «Гнев Горы» называется. Ее играли еще отцы отцов наших.

Каждый день в предрассветную пору приходила Гюльбахар к темнице. И Софи играл для нее «Гнев Горы». Вот только никак не хотел объяснить, почему Гора разгневалась. Гюльбахар его расспрашивает, а он молчит, лишь изредка уронит:

— Впала Гора в гнев — о том и сложили дестан отцы наших отцов. Я знаю только мелодию, а слова спрашивай у сказителей, не у кавалджи.

Так и не сумела дочь паши выпытать у него эту тайну.

— Слушай мой кавал внимательно, — говорил ей Софи. — Он ведь и рассказывает о гневе Горы, моя повелительница. Видно, совсем одряхлел я, кавал перестал меня слушаться. Вай, вай!

Гюльбахар слышала этот знаменитый дестан и раньше. Исполняли его не только бродячие певцы и сказители, но даже дети и женщины. Но Софи играл как-то по-особому. И гневу Горы у него тоже, видимо, было свое объяснение.

Паша, разумеется, знал, что его дочь принимает большое участие в старом Софи, даже еду ему носит из дворцовой кухни. Знал он и то, что она слушает его игру на кавале.

Велел он привести узника в мраморный зал.

— И хотел бы, да не могу тебя отпустить, пока Ахмед не приведет коня, — сказал он Софи. — Обещай, что постараться его уговорить, и ступай себе с богом.

— В этом деле я тебе не помощник, — гордо ответил старик. — Конь — это дар небес. Сам Ахмед еще может прийти, а вот коня не приведет. И уговаривать его я не стану.

Обозленный паша отправил Софи обратно в темницу и приказал позвать Гюльбахар.

— Чтобы больше ты не смела ходить к этому Софи! — сказал он дочери. А слово его — во дворце закон, послушников ждет строгое наказание.

Через несколько дней прискакал гонец от жайданского бея.

— Да успокоится сердце паши, — передал он слова курдских беев. — Мы нашли место, где скрываются горцы. Там и Ахмед с конем. Скоро они будут в твоих руках.

Оказалось, что Ахмед увел всех горцев к шемдинанским курдам, в Хакярийские горы.

Послали туда сына милянского бея. Муса-бей — так его звали — нашел Ахмеда в узорчатом лиловом шатре, что стоял в долине среди сотен других.

Ахмед приветствовал его как дорогого гостя.

— Паша хочет видеть тебя, — сказал Муса-бей. — Больше ему ничего не надобно — только тебя видеть. Даже коня своего не требует. Пусть горцы спокойно возвращаются домой. Бей уговорили пашу простить тебя и всех остальных. Но его, видишь ли, заело любопытство, хочется ему знать, что за человек этот Ахмед. «И пятнадцати коней не пожалею, лишь бы поглядеть на такого йигита», — сказал он беям. Вот они и послали меня к тебе.

Шемдинанские бей и вожди горских племен долго спорили: не ловушка ли это. Но трудно было себе представить, чтобы высокородные бей унизились до подобного обмана. Неужто османский паша вовсе не дорожит своей честью? В конце концов собравшиеся склонились к мысли, что паша и впрямь желает видеть Ахмеда. Просто любопытствует, что он, мол, за человек.

От Мусы-бея Ахмед узнал, что Софи заточен в темницу. Жаль ему было старика, очень жаль. Никакие уговоры не могли заставить Софи покинуть свой дом. Легче было бы скалу сдвинуть с места. Мог ли он подумать, что паша упрячет его на старости лет в тюрьму?!

— Не волнуйтесь за него, — успокаивал Муса-бей. — Софи не так уж плохо живет. — И рассказывал о его дружбе с Гюльбахар-ханым. Все были рады это слышать.

— Муса-бей, — сказал ему Ахмед, — ты прибыл сюда как друг, и я не могу отказать тебе в твоей просьбе. Мы все вернемся в родные края, и я спущусь в беззидскую крепость. Но только один, без коня.

— А зачем конь? — подхватил Муса-бей. — Я уже говорил, что паша хочет видеть тебя одного.

И вот в начале весны горцы возвратились в свои селенья. Ахмед же в сопровождении курдских беев отправился в беззидскую крепость. Паша встретил его достаточно миролюбиво, хотя и с обычной своей насмешливостью и высокомерием.

— Здравствуй, султан Горы. А где же конь?

— Дома,— ответил Ахмед.

— Ты похитил моего коня,— сказал паша,— знаешь, какое наказание за это полагается?

— Я не вор,— гордо отрезал Ахмед.— Конь— это дар небес. Поэтому вернуть его я не могу. Ты ведь и сам родом из наших краев, знаешь обычаи.

— Плевать мне на ваши обычаи! — яростно завопил паша.— Или приведи коня, или я велю отрубить тебе голову.— И приказал своим стражникам: — Посадите его в тюрьму!

Бей, что сопровождали Ахмеда, не решились и рта раскрыть.

— Можешь отрубить мне голову, воля твоя! — крикнул схваченный стражниками Ахмед.— Но коня тебе все равно не видать!

Такого оборота дела Муса-бей не ожидал.

— Ты поступаешь бесчеловечно, паша,— возмутился он.— Бесчеловечно и низко. Я поверил твоему слову, привел Ахмеда, а это, оказывается, коварная западня.

Тут уж паша совсем вышел из себя.

— И этого тоже в тюрьму! — гаркнул он. И набросился на курдских беев: — Так-то вы держите свое обещание? Где мой конь, я вас спрашиваю, где мой конь? Не хватало еще, чтобы какой-то худородный горец одержал верх надо мной, пашой османским! Не потерплю такого бесчестья!

— Ладно. Хотя и трудное это дело, а приведем тебе коня,— пообещали бей.

Слух о том, что произошло во дворце паши, быстро распространился от Вана до Малатьи, от Малатьи до Кавказа, всю Анатолию облетел. Певцы слагали вдохновенные песни об Ахмеди и коне.

Все горцы были возмущены вероломством паши. Негодовал и род милянского бей.

Едва очутившись в темнице, Муса-бей попросил прощения у Ахмеда:

— Не таи на меня обиды! Я ни о чем не догадывался. Не то наотрез отказался бы от такого поручения. Лучше смерть, чем позор.



Софи очень обрадовался Ахмеду. Обнял его, долго целовал. Затем достал свой кавал и начал играть «Гнев Горы». Со слезами на глазах слушали его Ахмед и Муса-бей. Излив свою душу в долгой игре, старик передал кавал Ахмеду. Тот весь кипел от сдерживаемой ярости. Призвав проклятье Горы на головы паши и беев, Ахмед заиграл на кавале. Совсем по-другому запел рожок, не узнать просто. Мелодия вроде бы та же самая — «Гнев Горы», а вот слушаешь — и кажется, будто скалы шатаются, еще миг — и рассыплутся на мелкие куски.

Услышала Гюльбахар его игру и, недолго раздумывая, со всех ног кинулась к темнице. Даже и не вспомнила об отцовском запрете. Будь что будет, а она непременно увидит человека, который с таким вдохновением играет на кавале. И увидела. В груди ее жарко запылало какое-то новое, еще не изведенное чувство. И гнев против отца, который учинил такую несправедливость.

Присела Гюльбахар у стены да так заслушалась, уж и не помнит, где она. Не скоро очнулась. Но как только очнулась, захотелось ей сделать хоть что-нибудь для узников. И для Софи, и для Ахмеда, и для Мусы-бея, чьим мужеством она восхищалась. Зашла она на дворцовую кухню и вместе с очень любившими ее поварами приготовила вкусные блюда для узников. Слуги унесли все это в тюрьму.

Узнала об этом ее мать, призвала к себе и говорит: — Если отец проведает о том, что ты вытворяешь, никого не помилует.

А Гюльбахар и бровью не ведет.

— Ну и пусть! После того как он так опозорил свое имя, мне уже безразлично, что он там еще сделает.

Один за другим тянулись дни. Курдские беи так и не привели коня. И вестей от них никаких не поступало.

Ахмед и Муса-бей по-прежнему томились в темнице. Тайком от паши Гюльбахар посылала им разные

лакомства, а то и сама шла хотъ издали поглядеть на узников.

Как-то раз, не выдержав, сказала она Софи:

— Я хочу поговорить с Ахмедом. Предупреди его об этом.

Крепко запал ей в душу молодой горец. Да и то сказать — парень хотъ куда. Волосы золотые, волнистые. И борода такая же. Глаза голубые, большие и ясные, лицо длинное, узкое: чудится, будто вобрало оно в себя всю боль, всю тоску мира, что-то в нем есть от раненой газели. Смотришь — и кажется, что он в каком-то волшебном сне. Во всей его осанке, в каждом его взгляде было что-то воспламеняющее кровь, что-то уводящее в далекий, неведомый мир. Гюльбахар мнилось, будто они знают друг дружку чуть не с самого детства. Во всяком случае, давно: познакомились на свадьбе или гулянке. А может быть, это именно он снился ей по ночам — такой родной и близкий!

— Но ведь старший тюремщик не разрешит вам свидеться, — сказал Софи. — Чего доброго еще паше донесет. Тогда мы все пропали.

Его слова, однако, не остановили Гюльбахар. С того дня потеряла она покой. Ночами ворочалась без сна. И все видела перед собой молодого горца. Стоит он перед ней в золотом сиянии, весь улыбкой светится, но в глазах голубых — горе горькое. Тяжкая, видно, выпала ему доля. Может быть, нет у него ни отца, ни матери, ни братьев — никого-никогошеньки! Изболелось, изнылось сердце Гюльбахар. «Надо с ним поговорить, — думает она, — надо поговорить. Может быть, и сыщется лекарство против его хвори. Нелегко ему, бедняге. Да еще в тюрьму угодил!»

Гюльбахар и сама не понимала, что с ней творится. И днем и ночью — все перед ней Ахмед. Наваждение, да и только! Куда ни пойдет, а сердце ее все к тюрьме ташит. Войти туда — дело непростое. Дверь прочная, железная. Тяжелый замок с цепью. Дверной проем выложен из больших нетесаных камней на прочном растворе.

Старшим тюремщиком был Мемо. Паша ему безгранично доверял, любил как родного сына. Отец Ме-

мо был одним из самых верных и отважных воинов Махмуда-хана. Он пал в сражении, когда его сыну было всего лишь два годика. Воспитывался Мемо во дворце, а когда подрос, паша назначил его старшим тюремщиком.

Был он еще молод. Как и отец, отличался мужеством и преданностью: не раздумывая отдал бы жизнь за своего покровителя. Из таких-то людей и подбирают тюремщиков. Ко всему еще он немногоречив. Когда с ним заговаривают, как девица, заливается румянцем. Гюльбахар не могла припомнить, чтобы Мемо хоть раз поглядел ей прямо в глаза. Только увидит ее — весь запылает, губы бледно-лиловые, руки трясутся. Смотрит в землю, ни слова не говорит. Гюльбахар полагала, что это от природной стеснительности.

Все это время она тайно посылала узникам вкусную еду. Не обделяла и Мемо. И каждый раз не забывала ему сказать:

— Своими руками приготовила, брат Мемо! Для тебя старалась.

Гюльбахар лишь дважды или трижды удалось видеть Ахмеда. Да и то благодаря Мемо. Иногда он оставлял дверь тюрьмы открытой, а сам куда-то исчезал. Стоя на каменной лестнице, что вела в глубь темницы, Гюльбахар разговаривала с Софи, а сама так и ловила глазами его молодого друга, который ходил взад и вперед по дну глубокого, словно колодец, подземелья. Он напоминал могучий утес, но поступь у него была легкая, пружинистая. Статный, величавый — настоящий мужчина!

В стенах тюрьмы оставлено было несколько узких, в локоть длиной отверстий: днем сквозь них просачивался неяркий свет.

Тюрьма стояла на самом краю пропасти. Внизу расстилалась безыздская равнина. Оттуда, с караванной дороги, доносился иногда звон колокольцев. Его отголоски долго еще бились об отвесные склоны. Одно такое отверстие было на высоте человеческого роста. Знал об этом весь окрестный народ. И боготворил сирийца, главного строителя дворца и крепости. По слухам, он сам долго томился в заточении, потому и

совершил это милосердное дело. Дескать, будь что будет, а я оставлю в стене окошко и сделаю так, чтобы ни один тиран не осмелился его замуровать.

Достроив крепость, сириец уехал. Но, уезжая, оставил первому владельцу такое письмо: «Если кто-нибудь осмелится замуровать эти окна, темница рухнет на его голову! И он сам, и его потомки, и весь его род будут прокляты!»

Ни один паша так и не решился замуровать эти отверстия. Вот почему беязидская темница была воспе-та во многих дестанах. Кто туда ни попадет, прежде всего возносит молитву главному строителю — Сюлейману-уста.

Зимой ли, летом мир в этом окошке неузнаваемо преображается. Как-то странно течет, оплывает. Днем по небу летят журавли, гуси, утки и дрофы, ночью — сверкающие звезды. По дорогам проходят караваны. В светлом мерцании покоится река. И кажется, будто вся необъятная, окутанная прозрачной дымкой равнина стремится куда-то вдаль.

Выйдя на свободу, узник тщетно искал эту заколдованную равнину — то в солнечном золоте, то в смоляном мраке, то зеленую, в ярких крапинках цветов, то лиловую или медноцветную, то под сплошным снежным покровом, вечно изменчивую, зыбкую, плывучую, волшебство в тот же миг рассеивалось.

Софи, Ахмед и Муса-бей поочередно глядели в это окошко. На смену весне шло лето. По утрам над равниной, заслоняя дальние холмы, висело голубое кружево тумана. С приближением дня туман окрашивался в розовый цвет, а затем улетучивался.

Сердце Гюльбахар пламенело любовью. Все, к чему ни прикоснется ее рука, будь то человек или вещь какая-нибудь, тотчас озарялось этим пламенем. И сама она была будто ветер, разносящий пожар, — все время в движении, ни одного мгновенья спокойного. Радость в ее душе чередовалась с отчаянием. Страшно ей: вот выйдет Ахмед на свободу — никогда больше она не увидит его. И никто — ни отец, ни падишах, ни даже Караванный Шейх — не пособит ее горю. Все в мире случается, только одного не может произойти — чтобы она увидела Ахмеда после его освобождения.

О чем только не передумала Гюльбахар в эти дни! О любви, о горе своем горьком, о разлуке, о смерти, о несправедливости, жестокости отцовой. Чувства ее походили на коней, закусивших удила.

И вдруг она впала в какое-то странное оцепенение. Тело сковала страшная усталость. Оно ныло и болело так, будто его били палками. Как полумертвая бродила она по дворцу, вызывая всеобщее удивление и жалость. Но буря, бушевавшая в ней, затихла.

Три дня не говорила она ни с кем. Три дня блуждала холодная, сонная, отчужденная, лицо бледное, волосы тусклые, даже зубы, казалось, потеряли всегдашнюю свою белизну. Лишь по временам вспыхивал в ее глазах прежний огонь да глубоко в уголках губ таилась горделивая улыбка, которую не могло омрачить предчувствие неминуемого горя.

А затем вновь разразилась буря. Вновь переменялась Гюльбахар — просто не узнать. Вся она — с головы до пят — любовь. Любовь и радость! Носится по дворцу, никак не может дожидаться наступления вечера.

Как только стемнело, выбежала она из крепости, остановилась тут же, за воротами, и смотрит на кузню. А оттуда золотым дождем сыплются искры. Где-то в глубине орудует кузнец Хюсо, только трудно его разглядеть.

Постояла немного Гюльбахар — и помчалась к гробнице Ахмеда Хани. Пала на колени, стала молить о заступничестве. Точно бурный паводок, разметавший плотину, полились ее молитвы. А когда отошла наконец от гробницы, склоны Горы уже окутала — такая долгожданная! — ночь. Заморосило.

Отныне Гюльбахар знала, как ей поступить, до тонкости знала. Будущее не сулит ей ничего отрадного, но она должна выполнить свой долг. Во что бы то ни стало.

В комнате у нее стоял прочный, орехового дерева, расписной сундук. Гюльбахар достала из него кавказское рубиновое ожерелье — подарок бабушки, золотой перстень, жемчужные браслеты, привезенные ей дядей из Индии, и афганское кольцо в нос, тоже от дяди, ссы-

пала все это в бархатный мешочек и кинулась к темнице. Мемо жил в боковой пристройке. На ее стук он тут же открыл дверь. На боку у него висел длинный, до щиколоток, меч. На плечи наброшена была шитая се-ребром аба¹ из шкуры гнедого жеребца. На голове вы-силась шапка из козьего меха. При виде Гюльбахар он весь засветился радостью. Но в тот же миг эта радость уступила место темному отчаянию. Глядя на него, за-грустила и сама Гюльбахар — погасла вспыхнувшая было надежда.

Мемо стоял, с обычной своей застенчивостью поту-пив глаза. Руки и ноги его дрожали.

— Возьми, это мой тебе подарок, — молвила де-вушка, протягивая ему мешочек с драгоценностями.

Мемо, ничего не отвечая, заглянул в мешочек.

— Только дозвожь мне увидеться с Ахмедом, — до-бавила она.

Не удержал Мемо мешочек, уронил на каменный пол — зазвенели драгоценности. Дочь паши нагнулась, подняла мешочек, снова подала Мемо.

— Возьми. Только дозвожь увидеться с Ахмедом. А потом, если хочешь, донеси отцу. Пусть он прика-жет отрубить мне голову.

Мемо был смертельно бледен, ни кровинки не оста-лось в его лице. Медленно-медленно возвел он глаза на Гюльбахар. Это был взгляд умирающего. Поту-питься на этот раз пришлось дочери паши.

Мемо не спеша извлек из-за пояса большой ключ, протянул его Гюльбахар и ушел. Миг-другой дочь па-ши стояла в нерешительности, не зная, радоваться ей или печалиться. И вдруг у нее хлынули слезы. Долго-долго сидела она, рыдая, на пороге. Подумывала да-же, не оставить ли ей ключ в комнате Мемо, но все-та-ки не сделала этого. Кое-как поднялась на ноги, с бе-шено колотящимся сердцем подошла к двери тюрьмы и отперла огромный замок. Внутри — тьма крошечная. Только где-то внизу трепещет — вот-вот порвется — тоненькая нить света.

Гюльбахар спустилась по ступеням, вырублен-

¹ Аба — накидка из грубой шерстяной материи или меха

ным в стене еще за сотни лет до постройки крепости. На дне каменного колодца не заметно никакого движения. Стены и пол — гладкие, словно покрыты толстым налетом морской соли. Сырости вовсе не чувствуется. Веет кисловатым запахом дубленой кожи.

Внизу, у подножия лестницы, дочь паши остановилась, тихо позвала:

— Софи, Софи!

К ней тотчас же подошел старик.

— Добро пожаловать, моя повелительница. Как ты сумела сюда пробраться? Не дай бог, паша узнает, все на плаху угодим. В этой тюрьме никогда не бывала ни одна женщина. Тебя ведь никто не видел? Скорее уходи!

— Где Ахмед? Я хочу с ним поговорить.

— Сейчас, сейчас.

В темноте послышался невнятный шепот. Сердце девушки застучало так сильно, что ей показалось, будто стены тюрьмы откликаются громким эхом. Она с огромным нетерпением ждала. Волнение ее все нарастало.

С пола поднялась высокая тень — вероятно, Ахмед. У Гюльбахар подломились ноги, закружилась голова. Чуть было не упала, в последний миг успела опереться о стену. Но когда лицо ей опалило жаркое дыхание Ахмеда, сразу же пришла в себя. Оба они стояли молча, затем Ахмед заговорил:

— Это ты, Гюльбахар?

— Да, — чуть слышно выдохнула дочь паши.

Обоим им чудилось, будто они уже давным-давно, чуть ли не с малых лет, знают друг друга. Их обволакивало облако любви — жаркой, дружески нежной и прекрасной. Всю тюрьму заполняло собой это облако.

За несколько дней до того Софи исхитрился залучить в подземелье стайку куропаток. В любой час дня и ночи птицы весело щебетали. Но Гюльбахар еще не знала об этом и, услышав их щебет, испуганно подалась вперед, схватила Ахмеда за руку. Они вместе поднялись в караульную башенку, что высилась в двух шагах от края глубокой пропасти. Над равниной во все небо сияли россыпи звезд. На дальних холмах лежала огромная тень Горы. А над самой Горой стыла

старая подслеповатая луна на ущербе. И вдруг ее поглотила зловещая иссиня-черная туча. Гюльбахар невольно стиснула руку Ахмеда.

До первых петухов сидели они рядышком. И, только заслышав их переключку, поднялись на ноги. Точно два языка пламени, разъялись их руки. Девушка не находила в себе сил разлучиться с любимым. Так бы и сидела там молча, пока не наступит день. И пусть каменные плиты оросятся ее алой кровью. Опять взяла она руку Ахмеда. Опять слились воедино языки пламени. Но уже начинало светать. Простясь с ней, Ахмед спустился в каменный колодец — Гюльбахар услышала, как брякнула, закрываясь за ним, тяжелая тюремная дверь. Какой-то миг она стояла в замешательстве, не зная, что делать, куда идти, и лишь тогда вспомнила о зажатом в руке ключе. Мемо в его пристройке не оказалось. Встревоженная Гюльбахар металась по всей крепости, пока наконец не отыскала его за внутренней стеною — он сидел справа от больших ворот, прислонясь спиной к каменной кладке. Не шевельнется, не шелохнется — словно умер. Даже звуки шагов девушки не могли привести его в себя.

Дочь паши потрясла ключом над самым его ухом. А лицо у него все такое же застывшее. Будто ничего не слышит и не видит Мемо. Ждала-ждала Гюльбахар, пока он очнется, — так и не дождалась. Кинула ему ключ на колени.

— Спасибо тебе, брат. Век не забуду твоей доброты.

Мемо сидел все с тем же отрешенным видом, и Гюльбахар пришлось его покинуть.

Разлучась с Гюльбахар, Ахмед ощутил гнетущее одиночество. Неужто наяву, не во сне держал он жаркую руку девушки, вдыхал дурманивший аромат ее тела? Неужто это и впрямь не сон? — вновь и вновь спрашивал он себя. От глубочайшей радости и счастья переходил к мучительным сомнениям и отчаянию — и не было этому конца.

Вот, стало быть, почему конь остановился у дверей его дома! Так предначертал господь. Этот конь и эта

девушка — дар небес, дар Горы. И он, Ахмед, должен быть достоин столь великой милости.

Так размышлял молодой горец, и перед его глазами неотступно стояла дочь паши — истый цветок гор, яркий и благоуханный.

— Дай мне кавал,— попросил он Софи.

И заиграл новую, доселе не слыханную мелодию. Наслаждались ею только Софи, Муса-бей и куропатки.

В тот день Гюльбахар скиталась по дворцу как неприкаянная. Ни к чему не притрагивалась, ничего не ела — и все думала, думала. Отец ни за что не отпустит Ахмеда. Но даже если бы отпустил, их пути навсегда разойдутся. Невозможно и помыслить, чтобы паша выдал свою дочь за простого горца. Тем более за смутьяна.

И вдруг до нее долетели звуки кавала. Она так вся и затрепетала. Словно лист под ветром. И предалась безумным мечтам. Ах, если бы Ахмед все-таки вышел на свободу. Однажды ночью он похитит ее, умчит в степь, где бродят джейраны, где раскинули свои гостеприимные шатры курды. Люди с Горы для них — выходцы из другого мира, чуть ли не святые. Но ведь у отца, как и у всех османцев, руки длинные. Куда бы они с Ахмедом ни забрались, хоть на край света, все равно изловят их и убьет. Эта мысль будто огнем опаляла ее сердце.

«Сегодня же ночью пойду к Ахмеду!» — решила она. Страшно только, как бы отец не проведал. Крут он на расправу, никого не пощадит — ни ее, ни Ахмеда, ни Мемо. Но почему Мемо ведет себя так странно? Не взял такие дорогие вещи? Без слова отдал ей ключ.

Гюльбахар старалась не вспоминать о Мемо, о его полных боли глазах, гнала его образ прочь, но все тщетно. Давно уже заметила она что-то странное в отношении к ней Мемо. Почему он так предан ей — разобьется, но выполнит любую ее просьбу?

Итак, решено, сегодня ночью она пойдет к Ахмеду. И не только сегодня, а если удастся, то и завтра, и послезавтра. Но как попросить ключ у Мемо? Как посмотреть в его полные боли глаза? Выполняя ее

просьбу, он терпит муки смертные. Этого нельзя, невозможно не замечать!

Тоска становилась все нестерпимее. И вместе с ней росло негодование: девушка готова была бросить вызов своему отцу, его прислужникам, обычаям, Горе, всему свету.

Из мраморного зала слышался зычный, густой бас Махмуда-хана. Гюльбахар как будто видела отца перед собой. Мужчина он заметный, видный. Когда говорит по-курдски, оживляется, смотрит орлом. До сих пор Гюльбахар любила только своего отца. Восхищалась только им. И отец знал о ее к нему чувствах.

Весь вечер бродила девушка по дворцу, стараясь держаться поближе к мраморному залу. Остановится, прислушается, не стихло ли там, и опять начинает ходить. Наконец наступила полная тишина, все разошлись. В это время отец обычно совершал вечерний намаз.

«Что, если сейчас зайти к нему? — мелькнула у нее мысль. — Пасть ему в ноги и сказать: «Не как твоя дочь — как простая девушка, просительница пришла я к тебе, Махмуд-хан. Выслушай же мою смиренную мольбу. Пощади Ахмеда. Ради меня пощади. Вспомни о своем происхождении, Махмуд-хан. С великой Горы идет слава нашего рода. Так говорил мой дед, твой отец. И уж кто-кто, а ты хорошо это знаешь, Махмуд-хан. Рядом с нашим старым домом было орлиное гнездо...»

Однажды, когда аскер открыл дверь мраморного зала, она чуть было не вошла туда. В последний миг опаматовалась. За себя она не боится. Но ведь как только отец услышит о ее просьбе, он тут же прикажет обезглавить ее любимого.

Наступила полночь. Весь Баязид погрузился в глубокий сон. Только Гюльбахар не спит. Крутится, ворочается, все слышится ей звон цепей из темницы.

Опасная, безрассудная это затея. Рано или поздно, их тайна раскроется. В этом дворце ничто не ускользает от глаз хозяина. Сестры уже, верно, почувствовали неладное. Стоит кому-нибудь проследить за ней — и...

Страшно даже подумать, какая буря поднимется. Да и можно ли положиться целиком на Мемо? Что, если, спасая свою голову, он пойдет и расскажет обо всем отцу? Может ли он донести?..

Обуреваемая подобными страхами, Гюльбахар поднялась с постели, оделась и вскоре — сама не заметила как — очутилась у тюрьмы. Походила вокруг, подошла к пристройке. Угрызения совести, стыд, робость не позволяли ей постучать. Но тюремщик — он как будто дожидался ее — вдруг распахнул дверь. Гюльбахар повернулась и пошла прочь. Но он догнал ее и протянул ключ.

— Поговорите у меня в комнате, — пробормотал он срывающимся голосом.

Гюльбахар с трудом открыла железную дверь тюрьмы. Спустилась по ступеням, позвала:

— Софи, Софи!

Затаив дыхание, Ахмед ждал ее с самого вечера. Нет, с того мгновения, как она ушла. Чуть заслышит какой шум или шорох, сразу вскакивает на ноги. Подбежал он к Гюльбахар — сплелись два языка пламени.

Дочь паши все никак не могла забыть о Мемо. Почему он предложил ей поговорить с Ахмедом у него в комнате? Уж не святой ли он? Возможно ли, чтобы на свете существовало подобное благородство и великодушие? Гюльбахар была подавлена.

Вновь повела она Ахмеда в караульную башенку. Только на этот раз уселись они со стороны пропасти, обращенной к востоку. Откинулись спиной к стене — и сидят молча, не разнимая рук. Ночь тихая-тихая, и каждому чудится, будто он слышит биение сердца другого.

— Правда ли это? — прорыдала Гюльбахар.

— Что правда? — не понял Ахмед.

— Что через сорок дней, если не приведут коня, и тебе, и Софи, и Мусе-бею отсекут головы?

— Правда.

Застонала Гюльбахар, пробормотала что-то невнятное.

— А ты узнала меня? — спросил Ахмед. — Помнишь нашу первую встречу около Кюп-гёля?

— Конечно, помню,— отозвалась дочь паши.— Ты ведь вел танец. А сам-то ты меня помнишь?

— Еще бы. Как сейчас вижу перед собой. На ногах у тебя были коралловые браслеты.

Точно в сладостном сне вся истаивала Гюльбахар.

— Тогда, на берегах озера,— проговорила она,— какой-то длинноволосый певец три дня и три ночи пел песнь о Сийе Ахмеде Силиви. И это было только самое начало.

— Эта песнь исполняется сорок дней,— объяснил Ахмед.— Просто конца ей нет — такая длинная.

Гюльбахар глубоко вздохнула:

— Значит, вас всех казнят?

— О себе я не думаю,— тихо молвил Ахмед.— Чему быть, того не миновать. Но рубить голову столетнему старику — это неслыханная жестокость! Такого еще мир не видел. Жаль мне Софи — просто сердце разрывается! Совсем он одряхлел. Но держится молодцом, не унывает. Весь скрючится, а играет себе на кавале. Жаль мне его, ах, как жаль, слов нет! Спас бы его, если б мог. Паша грозит казнить его первым.

— Молюсь, чтобы вы все остались в живых,— сказала дочь паши и прильнула к Ахмеду.

— Смотри, чтобы паша не услышал таких речей,— предостерег он возлюбленную.— Он и тебя убьет.

— Ну и пусть,— с вызовом бросила она.— И пусть!

— А еще мне жаль Мусу-бея. Безвинно человек страдает. Я бы и рад привести коня, но ведь наши не отдадут. А если и отдадут, как я посмотрю им в глаза после этого? Хорош йигит, скажут, испугался паши, отдал ему дар небес. Такого позора мне не вынести.

Гюльбахар склонила голову на плечо Ахмеда. К горлу подкатил комок, заплакала. Рыдает, а сама говорит сквозь слезы:

— Да пропади ты пропадом, конь! Сгинь, исчезни!

Загорланили утренние петухи. Из-за Горы выкатилось румяное, похожее на стеклянное яблоко, солнышко.

Разъялись огненные языки — руки. Ахмед спустился на дно колодца. Гюльбахар проводила его взглядом, не в силах даже приподняться. Уже настал день, когда она наконец смогла выбраться из башенки.



Ее одолевали тяжкие мысли.

Отец верен своему слову, сказал: «Казню» — значит, казнит. Даже если от падишаха придет фирман с помилованием, все равно на своемстоит. И нет у Ахмеда никакого выхода. Вернет этого проклятого коня — горцы его не простят. Умрет он для них заживо. А допустить, чтобы из-за него погибли двое невинных, совесть ему не позволяет. Но что он может поделать? Со скованными-то руками?

Даже ценой собственной жизни не могла спасти Гюльбахар своего любимого. И Ахмед понимал это.

Всякую надежду потеряла Гюльбахар. Ни один луч не может проскользнуть во мрак ее души. Паводком затопляет ее отчаяние — вот-вот захлестнет с головой. Сорок дней радости отпущено ей на всю жизнь. И ни днем больше. Да и радость эта горькая: радость держать руку обреченного на казнь, живого мертвеца обнимать. Но что бы ни произошло, даже если возвратят коня, никогда больше не увидит она своего возлюбленного. Уйдет Ахмед к себе в горы, а она останется здесь одна, словно камень на дне колодца. Только ничего этого не будет. Не отдаст Ахмед коня. Прямо на глазах у нее отсекут ему голову, наденут на шест остроконечный и с насмешками потащат по городу. И все зеваки будут таращиться на его золотые волосы, обрызганные алой кровью...

В ушах у Гюльбахар не смолкая звучали слова старинного плача: «Я целовать его не смела. Убитый, кровью он истек».

Горько рыдала дочь паши, представляя себе, как с крепостной стены сбрасывают бездыханное тело Ахмеда. Летит он вниз, ударяясь о выступы скал, а в самом низу разбивается о камни. И в ушах ее все звучало: «Я целовать его не смела...»

Гюльбахар обдумывала все возможные способы спасения своего любимого. Он должен жить, непременно должен! Даже если она никогда больше его не увидит. Даже если он женится на другой, наплодит ребятишек, что волчат. Но он должен жить. Даже ценой ее смерти.

Однако отчаиваться еще рано, приободрила она себя. Неужто отец Мусы-бея допустит, чтобы сыну отрубили голову? А как поступят курдские беи? Ведь это их коварство погубило Мусу-бея. Не попросят ли они горцев отдать им коня? «Сами посудите,— скажут,— не погибать же из-за него троим людям!»

Горцы — народ кремневый, просьбами да мольбами их не проймешь. Но ведь обычай не позволяет им отпускать просителей с пустыми руками. Обычай же они блюдут свято. В душе Гюльбахар блеснул слабый огонек надежды.

«А что, если мне самой попросить их? — подумала вдруг она. — Неужто они откажут женщине?.. Ну что ж, если беи из страха перед моим отцом не посмеют обратиться к горцам, отправлюсь к ним сама, спасу Ахмеда. И пусть я никогда больше не увижу его. Пусть он женится на другой, наплодит ребятишек, что волчат...»

Девушке позарез надо было с кем-то посоветоваться. Как быть: отправиться ли ей в горы самой либо попросить отца Мусы-бея? Послать ему весточку?

Весь день провела она в тягостных раздумьях. Больше всех — после матери и отца — любил ее брат Юсуф. Но и ему не решалась она открыться. Не убьет ли он ее на месте? Заслуживает ли он полного доверия? А если да, то согласится ли сопровождать ее к горцам? Дело это рискованное — его могут схватить как заложника. Да и ее тоже. «Нет-нет,— отмела это опасение дочь паши,— горцы — люди справедливые, не то что мой отец. Им и в голову не придет задержать гостя, просителя. А уж женщину-просительницу — что бы она ни натворила — они и пальцем не тронут. Ни за что на свете!»

Так и не придумала она, что делать. Пошла к брату. Юсуф, сидя на постели, отчищал старый меч, пытаясь разглядеть начертанные на нем письмена и узоры.

— Ты что это так поздно? — сказал он с улыбкой. — Ночь уже.

Ничего не ответила Гюльбахар, села рядом с братом. Лицо у него удлинненное, тонкое и такое бледное, будто его никогда не касался луч солнца. Прочитав в его глазах немой вопрос, удивление, девушка броси-

лась ему на шею, разрыдалась. Лишь после того, как она наконец выплакалась, Юсуф спросил холодным тоном:

— Что с тобой, сестра?

— Только ты один и можешь помочь моему горю,— уклончиво молвила Гюльбахар.

Юсуф широко открыл глаза:

— Какое же у тебя горе?

С трудом подавляя волнение, Гюльбахар ответила:

— Ты должен спасти меня от смерти.

Еще сильнее удивился Юсуф. И закричал нетерпеливо:

— Да расскажи ты, в чем дело! Толком расскажи!

— Если мы их не спасем... отец отрубит им все головы,— скороговоркой зачастила Гюльбахар.— Поедем в горы... попросим, чтобы возвратили коня... Я знаю, горцы не откажут... Помоги мне, брат!

— Отец, говоришь, отрубит им головы? Так им и надо, этим негодьям! Тебе-то что? В чем твое горе? — И вдруг Юсуф впился глазами в сестру.— Неужто, Гюльбахар?.. Неужто?..

— Да,— тихо произнесла дочь паши.

Юсуфа будто ветром смахнуло с постели, на ноги вспрыгнул.

— Так за кого же ты хлопочешь? Неужто за Ахмеда?.. Отец тебя убьет!.. Убьет!.. Убьет!..

Как одержимый заметался Юсуф по комнате. Ну точь-в-точь огнепоклонник, танцующий над костром. И все повторяет:

— Отец тебя убьет!.. Убьет!.. Убьет!..

Глаза — большие, круглые от страха.

«Уж не рехнулся ли он?» — испугалась Гюльбахар.

— Ты сошел с ума, Юсуф! — закричала она.

— Нет, это ты сошла с ума,— дико захохотал ее брат.— Ты сошла с ума, ты... Отец тебя убьет!

Последнюю попытку сделала Гюльбахар:

— Так не поедешь со мной к горцам?

А Юсуф знай одно бормочет:

— Ты сошла с ума, сошла с ума.

— Но ведь если горцы не вернут коня, их всех троих казнят. Я этого не переживу, наложу на себя руки.

— Что ты, что ты, Гюльбахар! — залепетал Юсуф. — Выдумала тоже: «Наложу на себя руки»! Такого и в мыслях не держи!.. Но за конем, ты уж меня прости, я с тобой не поеду. И тебе не советую. Отец тебя убьет.

Увидела Гюльбахар, в каком он смятении, схватила его за руки.

— Зря, видно, я тебе доверилась, — стонет. — Смотри, только не проболтайся. Даже матери ничего не говори. А уж сестрам — и подавно. Они меня просто со свету сживут.

— Не скажу, не беспокойся. Да и как сказать? Отец, если узнает, велит разрезать тебя на куски и скормить собакам. Сама не проговорись, а уж я буду держать язык за зубами.

Странно вел себя Юсуф — точно это и не он вовсе, а кто другой. Испугался, будто маленькая птичка, которая прячет голову под крыло: я, мол, знать ничего не знаю, ведать не ведаю. А ведь на вид настоящий йигит. «Ах, как я в нем обманулась! — думала дочь паши. — Ведь он, того и жди, выложит все отцу».

Так и ушла ни с чем от брата.

Приткнулось на юго-западном склоне Агрыдага, чуть не у самой вершины, озеро — Кюн-гэль называется. Невелико оно, не больше тока молотильного, зато глубиной — что колодец бездонный. Синее-синее, стелется оно близ багряных острогранных поблескивающих скал. Каждый год, по весне, собираются здесь чобаны со всей Горы. Расстилают свои бурки, украшенные знаком солнца, на медноцветной земле, рассаживаются кругом, достают из-за кушаков кавалы и до самого вечера играют мелодию «Гнев Горы». Молодцы они все как на подбор пригожие, с печальными карими глазами, с длинными тонкими пальцами. Кой у кого — пышные волнистые золотые бороды. И пока чобаны играют, вьется над ними крохотная белая как снег птица. Но вот солнце заходит, чобаны встанут и растворяются в наступивших сумерках. И как раз в этот миг птица молнией падает вниз, окунает одно крыло в озерную синь — и тоже исчезает в

полутьме. От прикосновения ее крыла по воде расходится рябь. А потом над озером проносится тень исполинского коня.

Беязидская крепость стоит на большом утесе, на южном склоне Горы. Утес обрывается крутой бездной, от самого низа ее берет начало равнина, пересеченная караванными дорогами. К востоку от крепости вздымает свои глинобитные стены город Беязид.

Кузня Хюсо примостилась у подножия утеса. По ночам из нее извергается поток искр. Зрелище это очень красивое. Даже сам Махмуд-хан, когда бывает в духе, любит смотреть на кузню.

Никто не знает, сколько Хюсо лет, но волосы у него сплошь седые. Работает он вместе с пятерыми своими сыновьями, выковывает необыкновенно прочные, великолепные, с золотой насечкой, мечи. Ни разу в своей жизни не заходил он ни во дворец паши, ни в дома беев. В рамазан Хюсо не постится, намаза не совершает, молитв не творит. Поговаривают, что он поклоняется огню. По ночам он с такой силой раздувает мехи, что искры заполняют всю кузню, мощным снопом вырываются из двери. И тогда якобы Хюсо опускается на колени и тянет руки к пылающему горну.

Зимой и летом он ходит в одной набедренной повязке из грубого суровья, подпоясываясь алым кушаком.

Весь город спит. Только Гюльбахар, объятая бескрайним отчаянием, смотрит в окно своей спальни. И невольно любуется снопом искр, выплескивающихся из кузни. Где-то вдали Софи играет «Гнев Горы». А с беязидской равнины доносится безумный храп чем-то напуганного коня.

— Софи! — крикнула Гюльбахар.

Музыка оборвалась.

— Слушаю, моя госпожа.

— Остается так мало дней... Неужто же нет никакого спасения?

— Нет.

— Я выпущу тебя, а ты приведи коня — вот вас всех и помилуют.

— Никуда я не пойду. Все равно коня не отдадут. Спасибо тебе на добром слове, моя госпожа.

Долго молчала Гюльбахар, а когда заговорила, то каким-то глухим, безжизненным голосом:

— Казнить вас — грех, жестокость великая! Вы не должны умереть. Пусть лучше рухнет этот дворец!

— Пусть рухнет этот дворец, — отозвался мягкий голос старика.

— Неужто конь может стоять жизни четырех людей?

— Конечно, нет, моя госпожа. Но ведь дело не в коне. Это только предлог. Одно могу сказать: этот дворец рухнет. Как и тысячи других.

— Неужто же нет никакого спасения? Что, если я сама поднимусь в горы? Отыщу Ахмедово племя, скажу: Ахмед и Софи просят возвратить коня.

— Не делай этого.

— Тогда я паду в ноги отцу, попрошу вас всех помиловать.

— Не делай этого, моя красавица. Не делай этого, моя повелительница. Не стоят того наши жизни. И все же благодарю тебя. Софи — твой раб, о медоречивая! Раб черненого серебра твоих волос! Раб твоих газельих глаз! Раб твоего стана стройного! Сердца твоего, любви твоей, великой, как любовь Лейли! Из любой беды есть выход — непоправима только смерть. У любого горя есть конец, лишь у любви нет конца. Софи — раб твоей печали, твоего отчаяния. Но пусть свершится воля судьбы. Не вмешивайся, моя госпожа. Так будет лучше для тебя.

— Знаю, — простонала дочь паши, — так будет лучше для меня. Отец, если узнает, не пощадит ни его, ни меня. Но остается так мало дней. Если вас казнят, я покончу с собой на вашей могиле. Помогите мне, Софи. Умоляю, помогите...

Она все говорит и говорит, сама не понимает что, а Софи не отвечает ни слова. Сидит будто каменный.

Но едва Гюльбахар ушла, он схватился за кавал. Всю ночь, пока утренний свет не просочился в окошко, играл не переставая.

Вернулась во дворец Гюльбахар, села у окна. Смотрит на кузню Хюсо, а потом вверх — на Гору. Тяжко дышит Гора, вздрагивает. Могучий гул доносится из ее недр. И в этот гул вторгаются мерные удары кузнечного молота.

Ум Гюльбахар лихорадочно ищет какого-нибудь выхода. Неужто же никто не поможет ей? Ни птица летучая, ни змея ползучая? Неужто перед ней стена глухая — стучись не стучись, все попусту?

И вдруг ее осенило: «Хюсо поклоняется огню. Он, говорят, кудесник. И душа у него добрая. Может, он мое горе размыкает?»

Вышла Гюльбахар из дворца и припустилась бежать к кузне. Нырнула в тучу искр, вынырнула — и видит перед собой кузнеца в набедренной повязке. Он продолжает раздувать мехи, а сам на нее поглядывает. И на лице — никакого изумления, будто давно уже ее поджидает.

Швырнул Хюсо кусок раскаленного железа на наковальню, принялся молотом орудовать, только искры летят. И так ласково улыбается, что у девушки сразу отлегло от сердца.

— Добро пожаловать, Гюльбахар-ханым.

Дочь паши сначала рассказала ему о коне.

— Знаю, — только и молвил кузнец.

Рассказала об Ахмеде, Софи и Мусе-бее. Выложила все как было, без утайки.

— Знаю, — снова обронил Хюсо.

Только когда Гюльбахар поведала ему о своей любви к Ахмеду, он не сказал ни «знаю», ни «не знаю». Задумался глубоко — и молчит.

— Отец назначил казнь на следующую субботу, — продолжала дочь паши. — Их должны обезглавить в крепости. Неужто никак нельзя их спасти?

И на это ничего не ответил Хюсо. Долго длилось его раздумье. Угли в горне погасли, железо остыло. А Хюсо все стоит — думает, думает.

Только когда заголосили петухи, поднял он опущенную голову.

— Приходи ко мне завтра вечером,— говорит,— может, и придумаем что-нибудь.

Его слова заронили надежду в сердце Гюльбахар.

Вот уж и солнце — багровое, стылое — показалось из-за Горы. Зашумел, зашуршал ветер, студию повеял.

Сидит Гюльбахар у окна, все ждет, не случится ли чудо какое. Стаями белых птиц вылетают искры из кузни. Белым-бело небо над дворцом. А Гюльбахар все ждет и ждет, сгорая от нетерпения. И чудится ей, будто отворяются все двери крепостные. Распахивается и тяжелая тюремная дверь. Ее Ахмед — на свободе. Обнявшись, сидят они на берегу Кюп-гёля, среди скал, где выют себе гнезда орлы. С улыбкой смотрят друг другу в глаза, радостные, счастливые. Каких только чудес не рисуется воображению девушки! Мнит она себя героиней сказа о гневе Горы — и не описать, что в душе у нее творится.

Еле-еле дождалась Гюльбахар вечера. Извелась, измытарилась, подняться не может. Лишь с полночными петухами кое-как встала и, держась за стены, побрела по коридору. Сердце билось — как у пойманной птицы.

«Эйвах,— вздохнул Хюсо, когда ее увидел.— Я и думать не думал, что ее любовь так сильна. И всего то один день прошел, а уж, бедная, еле жива!»

Сколько ни ломал он голову, кругом была одна безысходность. Однако Гюльбахар глядела на него с такой надеждой, что у него просто язык не повернулся сказать ей правду.

— Ладно, доченька, не горюй,— утешил он дочь паши.— Уж как-нибудь спасем их от казни. Ты только сходи потолкуй с Караванным Шейхом. Он живет в той деревне, что внизу.

— Я знаю, где он живет,— сказала Гюльбахар.— Но ведь он ни с кем не разговаривает.

Караванный Шейх был уже дряхлым стариком. Маленький, кругленький, словно ком теста. А вид —

величавый. Длинная борода сверкает, словно снег под лучами солнца.

Перед домом, где обитает Шейх, высится огромный священный дуб, который почитают чуть ли не больше самого Шейха. По всей стране ходит молва о чудесах, совершенных ими обоими.

В этом месте сходятся караванные пути из Аравии, Трабзона, со всей Анатолии. Отсюда отправляются в Иран-Туран, Индию, Китай. Все караванщики, откуда бы ни были родом, оставляют немного денег под дубом. Никто к этим доброхотным даяниям не притрагивается — так и лежат там высокой кучей. Лишь по праздникам Шейх раздает их всем нуждающимся. О тех, кто не хотел или просто забыл оставить здесь пожертвование, рассказывают внушающие ужас истории.

В предутреннюю пору над этим дубом покачивается Звезда Караванщиков. Всем заплутавшим, всем, кто в беде, указывает она верную дорогу.

Туда-то и явилась Гюльбахар. Постояла у дуба, потом заглянула в дом Шейха, попросила передать ему, что ее послал Хюсо. Шейх тут же пригласил ее в свои покои.

Восседал он на большой пушистой медвежьей шкуре. Его голубые глаза лучились звездами. Весь он походил на хрустально-светлый и прозрачный ручей. Гюльбахар опустилась перед ним на колени, трижды поцеловала его в плечо.

— И я тоже караванщица, — молвила, — бедная караванщица, сбилась с пути в горах, пришла к тебе за помощью. Помоги же, не то мы все погибнем. Буря бушует, мгла все кругом застилает. Я птица беззащитная, сижу на дубе перед домом твоим, а вокруг выются орлы да коршуны. Клювы у них острые, сердце мне выключают.

Тронуло горе ее старого Шейха. Поразила его красота ее дивная.

— Расскажи мне, в чем беда твоя, доченька.

Все рассказала ему Гюльбахар, ничего не утаила. Запустил Шейх руки в бороду свою пышную, задумался. А сам смотрит в окно на звезду, полыхающую голубым огнем. Ждала-ждала Гюльбахар, пока он

что-нибудь скажет, тело ее онемело, а он все молчит, размышляет. Наконец вымолвил:

— Иди с миром, дочь моя! Небо не попустит гибели безвинных. С одной стороны звезды — тьма, с другой — свет... Иди, дочь моя. А я помолюсь за твое счастье и благополучие... Передай кузнецу: надо позаботиться, чтобы конь был возвращен паше. И еще скажи ему: пусть заглянет ко мне.

Гюльбахар ушла от него радостная, даже голова кружилась. Стало быть, есть еще надежда...

Вернулась она во дворец, ждет, что дальше будет. А в душе — смятение сильное. Хоть и верит кузнецу, Шейху, дубу, Звезде Караванщиков, да уж больно зол отец. И чем ближе день казни, тем злее. И не подступись. Ни с кем не разговаривает. Все время один и все время так и пышет яростью. Побледнел, осунулся, спина ссутулилась. Что-то его гнетет, что-то честь его задевает — но что именно, он и сам сказать не может.

Гюльбахар не решалась теперь ходить в тюрьму. Мемо каждый день встречает ее, будто тяжело больную, падшую, отчаявшуюся женщину. Этого унижения она не может стерпеть. И такой он участливый, такой великодушный, бескорыстный — ну просто святой! А в глазах боль нечеловеческая. Взглянет — кажется, железо растопится, не то что слабое человеческое сердце.

В эти дни дочь паши частенько думала о Мемо. Каждую ее просьбу он безотказно выполняет. Головой рискует, а выполняет. И даже не просто с охотой, а с какой-то беспредельной радостью. Скажи она: «Пожертвуй за меня жизнью, Мемо!» — ни на миг не задумается, счастлив будет. Видно, любит ее крепко. Жарко пылает, видно, его сердце. Он и радуется, и муку мученическую терпит, устраивая ей свидания с Ахмедом. И не поймешь, что сильнее — радость или горе.

«Ах, Мемо, Мемо, — вздыхала Гюльбахар, — пока душа теплится в теле, не забуду твоей доброты. До последнего своего дня не забуду!»

Она все время прохаживалась возле тюрьмы, но старалась не попадаться на глаза Мемо.

Холодное ночное небо усыпано мириадами крупных и мелких звезд. Все затихло, замерло.

Не в силах уснуть, Гюльбахар сидела на обычном своем месте — у окна. И когда забрезжил рассвет, вдруг увидела коня возле кузни. Чуть погода появился кузнец. Вскочил в седло и поскакал в сторону Горы. У Гюльбахар зашло сердце. Она сразу смекнула, куда и зачем он путь держит.

По всей округе разнеслось, что Хюсо отправился к горцам. И будто бы с собой у него печать самого Шейха. Народ ликовал. Не может быть, чтобы кузнец вернулся с пустыми руками. Повеление Шейха — тем более скрепленное его печатью — священо для всех. В этих краях ни один человек не осмелится ему противоречить.

Услышав эту весть, съехались курдские беи. Приискал и отец Мусы-бея, а с ним и его люди в широких из козьего меха бурках и высоченных войлочных шапках. И все они тоже радовались. Никто, правда, не мог понять, почему всемогущий Шейх вмешивается в это сугубо мирское дело. Откуда услышал он о предстоящей казни? Ведь он живет в полном уединении, отрешенный от этого мира.

До казни оставалось всего три дня. Однако только опасение, что Хюсо не успеет обернуться за такой короткий срок, и умеряло общее ликование.

Дошло все это, конечное дело, и до Махмуда-хана. Ну и взбесился же он! Почем зря честил Шейха — зачем-де суется куда его не просят! Успокаивала его лишь надежда, что Хюсо не успеет управиться. Эти горцы такие строптивцы, они и на печать самого Шейха не посмотрят. Его слово для них не указ. Но что, если они все же возвратят коня?

Размашисто шагая по мраморному залу, паша громко ворчал:

— Даже если приведут коня, не отменю казни. Ни за что не отменю. В субботу им всем троим отсекут головы и кинут останки собакам. Такова моя воля! Эти ослушники посмели бросить вызов мне, османцу! Их кровь прольется на алой заре. Я не пощажу даже этого тысячелетнего смутьяна Софи.

Кузнец вернулся в четверг вечером. И привязал беглого коня паши у ворот крепости.

В городе воцарилось праздничное оживление. Все надели самые красивые свои наряды. Женщины повязали яркие цветные шарфы — альвала.

Как безумная ринулась к тюрьме Гюльбахар. Она даже не заметила, как переменялся Мемо. Его прекрасные черные глаза утонули в глазницах. И таилась в них тоска неизъяснимая, боль полного одиночества — будто нет у него никого на всем свете. С большим трудом вытащил он ключ из-за пояса и не отдал его — уронил в подставленные ладони девушки.

Спотыкаясь, еле волоча ноги, побрел Мемо к воротам крепости. Опомнился он лишь при виде коня, который стоял, подняв голову и принюхиваясь. В сумраке тускло поблескивало серебро его убранства. Никто из обступивших его людей не решался притронуться к нему — такой грозный был у него вид. С ненавистью смотрел на коня Мемо. Эх, взмахнуть бы мечом — да отрубить ему голову! Стиснув рукоять меча, Мемо бродил вокруг коня, пытаясь побороть это желание. Тяжело давалась ему эта борьба с собой — весь вспотел.

Меж тем в караульной башенке на краю пропасти Гюльбахар и Ахмед сливаются в жарких объятиях. Золотым облаком любви укутывает их ночь. И они — в забытии. Будто над ними уже нависла смерть и они тщатся вместить любовь, которой могло бы хватить на всю жизнь, в несколько коротких часов. Только на пороге смерти возможно подобное единение, подобное сплавление в огне любви.

Там-то, в караульной башенке, и нашел их Мемо на рассвете. Они лежали, укрывшись большой аба из оленьей шкуры. Так неразрывно было слияние их тел и душ, будто они превратились в одно живое существо.

Замер Мемо. Стоит с обнаженным мечом в руке и кусает губы. Вся кровь прихлынула к лицу.

Глядит он на безмятежное, младенчески счастливое лицо Гюльбахар и мало-помалу успокаивается. Наконец убрал меч, зашагал прочь. Только увидел коня у ворот крепости, опять разъярился. Снова

выхватил меч, кинулся обратно. Вzbегает на башню и видит, что Гюльбахар с Ахмедом спят крепким сном. Еще светлее лицо девушки. Еще ярче жемчужины зубов. Еще прелестнее, чем всегда, ямочки на щеках. Рассыпались, разметались длинные волосы, заслонили лицо Ахмеда. Никак не может насмотреться на Гюльбахар Мемо. Так бы и стоял тыщу лет, красотой ее любовался. Да уж совсем рассвело. «Сейчас они проснутся», — подумал Мемо. Стыдно ему стало своего безумства. Но что делать — не может он отвести взгляда от Гюльбахар. Будто на веки вечные хочет облик ее запечатлеть. В самом сердце.

Проснувшись Гюльбахар, увидела Мемо с мечом наголо, догадалась, что у него на уме, и покрепче прижалась к возлюбленному. Только пронеслось в голове: «Вот и хорошо, что он нас убьет». Приоткрыл глаза и Ахмед. Понял, что им грозит, тоже подумал: «Вот и хорошо» — и стиснул в своих объятиях девушку.

Затаили дыхание оба, ждут, когда на них обрушится сверкающий, будто роса в солнечных лучах, меч. Три раза поднимал руку Мемо — и три раза бессильно опускал, видя, как тесно прижимаются влюбленные друг к дружке, не отводя от него взглядов, полных ожидания смерти. Так и не убил их тюремщик — снова бросился к воротам крепости, где в эту пору сменялись часовые. И снова с мечом наголо принялся как одержимый метаться между воротами и тюрьмой. А потом взмахнул мечом — да как саданет по синему граниту тюрьмы! На весь дворец, на весь город пошел звон. А клинок, будто ледяной, разбился на мелкие кусочки-ледышки.

Опять — уже в какой раз — взбежал Мемо на сторожевую башенку. Смягчилось наконец его сердце, вернулось благородство.

— Утро уже. Вставайте, — говорит.

А влюбленные прильнули друг к дружке, всё смерти ожидают.

— Да вставайте же вы! А то еще, не ровен час, кого нелегкая принесет.

Рассеялось золотое облако любви. Встали влюбленные. И дочь паши побежала к крепостным воро-

там: очень ей хотелось взглянуть на коня. А тот стоит себе спокойно, не рвется, не прядает. Вспыхивает, так и слепит глаза в первых лучах солнца серебряная и золотая отделка его сбруи.

Простерла Гюльбахар руки навстречу встающему дню. Радостно стало у нее на душе.

Чему быть, того не миновать, думает. Ахмед уйдет. Отныне она никогда больше его не увидит. В этот короткий промежуток времени вместились все счастье ее жизни. Все, что ей остается,— это воспоминания об одной прекрасной ночи. Но ведь и это совсем не так уж мало.

— Спасибо тебе, солнце нарождающееся! Спасибо тебе, гора сверкающая! Спасибо тебе, творец! — громко восклицала она.

Солнце стояло уже на высоте минарета. К воротам крепости поодиночке, по двое потянулись курдские бей с длинными тяжелыми мечами. Не спеша обходили коня, внимательно осматривали и только потом степенно направлялись во дворец.

Мраморный зал оглашали гневные крики Махмуда-хана.

— Не мой конь! — вопил он. — Со всем достоподобным почтением к Шейху заявляю, однако, что конь не мой. Посему назначенная на субботу казнь не отменяется.

Попробовал было Мустафа-бей, из зиланцев, возразить: «Да нет же, конь твой», — паша так и взвился:

— Ты что, держишь сторону бунтовщиков? Говори прямо.

— Он хотел сказать другое, — поспешили вмешаться другие бей. — Ты его неверно понял.

— Неверно понял? Это я-то неверно понял?

Бей сразу на попятную:

— Извини, паша. Обмолвились мы. А ты все правильно понимаешь.

Замолчали бей. Ни слова больше. Радость как рукой сняло.

— Вот вам моя воля! — громко объявил Махмудхан. — В субботу утром воры, укравшие моего коня, бу-

дут обезглавлены перед всеми османскими подданными. Сегодня же глашатаи возвестят об этой моей воле на рынке.

Откланялись курдские беи, ушли. Возмущены были так, что едва сдерживались. Битый час толклись вокруг коня, снова его осматривали, а затем все в один голос заявили:

— Его конь. Валлахи-билляхи, его конь. И знак на чепраке — его.

— Почему паша так взъелся на этих троих? — молвил кто-то. — Только и думает, как бы им головы отрубить.

— Пусть попробует, — дружно сказали остальные. — Возмездие не будет ждать Судного дня.

— Не будет, не будет! — раздались крики.

В тот же день глашатаи объявили о предстоящей казни — кого казнят и за какое преступление.

Народ негодовал. И пуще всех — кузнец Хюсо. С молотом в руке подбежал он к крепостным воротам и ну кричать-обличать:

— Это произвол, паша! Неслыханный произвол! И ему будет положен конец! Конь твой, паша. Хоть и недостойн ты владеть им, но он твой. Это святая правда. Я сам привел его.

Отвязал он повод от железного кольца, отпустил коня. А сам все кричал-обличал:

— Недостойн ты быть его владельцем. Недостойн называться человеком. Недостойн!

Все дома, все лавки в Беязиде обежал конь. Остановился на главной площади, задрал морду, шумно втянул воздух и заржал. Застонали небо и земля, услышав это ржание. Гора содрогнулась. Взвился конь на дыбы — вот-вот взлетит — и понесся стрелою к Горе. Будто падучая звезда чиркнула по своду небесному — миг один — и пропала, растворилась бесследно.

Все, кто слышал ржание коня, говорили:

— Несдобровать паше. Несдобровать.

Тем временем палачи уже точили свои широкие тяжелые тесаки — готовились к казни.

Гюльбахар была в полном отчаянии. Весь день не находила себе места. А когда смерклось, торопливо направилась к кузне.

Хюсо встретил ее такими словами:

— Что поделать, дочь моя. Из всех наших стараний ничего не получилось. И ничего не получится. Даже сам Шейх не может предотвратить их казнь. А уж я и подавно. Что поделать. Такова, видно, воля судьбы.

Молча, беззвучно заплакала Гюльбахар и пошла обратно во дворец.

«Отравлю отца,— думает.— Дам ему яду змеиного. Такого яду, что человек и нескольких шагов не успевает сделать — падает замертво».

Попробовала она обратиться к Юсуфу. Но брат и разговаривать с нею не захотел. Окинул суровым, даже враждебным взглядом и отвернулся.

Тогда она пошла к управителю и главному советнику паши, Исмаилу-ага. Знала, что отец очень любит его, считается с ним. Но Исмаил-ага был в таком удрученном состоянии духа, что она просто не решилась к нему подойти. И с матерью говорить не стала — поняла, что зряшное это дело. Казалось, всё во дворце: стены, мраморные колонны, курдские ковры — смотрит на нее с неприязнью. Даже ее любимицы, пушистые разноглазые — один глаз голубой, другой золотой — белые ванские кошки, казалось, избегают хозяйки.

Села Гюльбахар, взяла на колени самую свою любимую кошку и заговорила с ней сквозь слезы:

— Милая моя кошечка! Синеглазка-золотоглазка моя! Только тебе и могу я излить свое горе. Убьют они ненаглядного моего, орла моего горного. Недолго длилось мое счастье — вот уж и конец ему.

Кошка свернулась в клубочек, мурлычет. Чувствует Гюльбахар: мгла вокруг нее сгущается, тяжким камнем давит отчаяние. И все жалуется, плачется:

— Заутра, моя кошечка, казнят Ахмеда. Убьют его злодеи жестокие. Не переживу я такого горя.

Взяла кошку на руки и направилась к тюрьме. А та пригрелась, размурлыкалась сладко.

Коснулась Гюльбахар холодной двери тюрьмы, только тогда приходит в себя стала. Не сразу заме-

тила, что около нее стоит, опираясь на свой огромный меч, Мемо. На нем длинная, до колен, аба из оленьего меха. Печаль легла на его прекрасное продолговатое лицо, в глазах затаилась. Эбеново-черная борода подрагивает.

— Завтра ему отрубят голову, а туловище бросят в пропасть. И я туда кинусь,— продолжала говорить девушка, не сознавая, что Мемо слышит каждое ее слово. И вдруг стала молить его: — Ты уже сделал мне столько добра. Позволь же еще раз свидеться с ним.— Голос ее прерывался, она сама плохо понимала, что говорит.— А еще лучше — отпусти его. Отпусти его на свободу. Ради меня.— Отшвырнула кошку Гюльбахар, схватила Мемо за руки. Он остолбенел от неожиданности, стоял как зачарованный.— Мемо, Мемо! Смертоносен твой меч. Черным пламенем горят твои глаза. Сильны, искусны руки твои. Для чего же тебе дано все это, брат Мемо? Неужто лишь для того, чтобы стеречь тюрьму? Угодить господину твоему — паше? Рубить головы узникам? Мемо, Мемо! Отпусти Ахмеда. А я выполню любое твоё желание.

— Любое мое желание?

— Любое, Мемо. Любое, мой брат, йигит, Мемо.

— Любое?

— Да. И жизни не пожалею — все тебе отдам.— В голосе Гюльбахар сквозило невольное женское любопытство: хотелось ей знать, чего же все-таки потребует Мемо.

А Мемо молчит. Стоит размышляет. И чем больше размышляет, тем светлее его лицо. Вдруг улыбнулся он — счастливая такая улыбка — и легонько погладил волосы Гюльбахар. Та вся напряглась, сжалась, ждет, что дальше будет.

Мемо по-прежнему ничего не говорит, но весь сияет с видом человека, который добился всего, чего только хотел.

— Значит, любое мое желание исполнишь? — наконец спокойно проговорил он.

— Любое,— уверенно подтвердила Гюльбахар.— Проси, чего желаешь.

— Тогда подари мне прядь своих волос.

Гюльбахар не раздумывая протянула ему косичку.

— На. Отрежь своим мечом. Я твоя вечная должница.

Отсек Мемо самый кончик косички и спрятал волосы за пазуху.

— Есть у меня и еще одно желание.

— Какое же? Скажи. Я твоя вечная должница.

— Хочу, чтобы Гюльбахар всегда помнила эту ночь и меня, брата своего названного.

Гюльбахар взяла его за руки, но он высвободился и открыл дверь тюрьмы.

— Ахмед! Муса-бей! Софи! Вставайте.

Узники не спали, тотчас вскочили на ноги. Мемо снял замки с их цепей.

— Выходите, все выходите. До рассвета еще несколько часов. Надеюсь, вам хватит.

Увидел Ахмед свою возлюбленную, крепко сжал ее в объятиях.

— Беги, беги,— поторопила его Гюльбахар.— Скоро вас хватятся.

После того как освобожденные узники скрылись во тьме, Гюльбахар стала искать тюремщика, но так и не смогла его найти.

Вот уж и первые утренние лучи упали на город и на крепость. Заря, поначалу бледная, сумеречная, разгорается все ярче и ярче.

Стучатся в тюрьму палачи:

— Открывай, Мемо. Пора выводить осужденных. А Мемо спокойно, со смешком отвечает из-за двери:

— Сегодня ночью я их всех отпустил.

Не поверили палачи, подумали: шутит тюремщик. Но когда вошли в темницу и убедились, что там и впрямь никого нет, со всех ног кинулись к паше, доложили ему о случившемся.

Паша — руку на меч и бегом к тюрьме. А следом за ним Исмаил-ага, тысячники, простые воины и стражники. Путь им преградил Мемо.

— Я их отпустил сегодня ночью,— говорит он паше.— Не правда ли, я хорошо поступил? Думал порадовать тебя.



— Ах ты, пес паршивый! — завопил паша. — Чтоб тебе подавиться моим хлебом!

И рванулся к Мемо. А за ним и все остальные. Лютый бой завязался. Но никто не может близко подступиться к тюремщику. Отбивается он от нападающих, а сам пятится назад, шаг за шагом поднимается по лестничке, ведущей на верх башенки. А когда наконец добрался до верхней площадки, громко сказал:

— Паша! Тут бы я мог биться с вами хоть три дня и три ночи. Только для чего? Смысла никакого нет. Взял я от жизни свое, пора и честь знать. Убил я, паша, несколько твоих рабов. Мог бы убить и еще несколько. Только для чего? Оставляйте все целыми и невредимыми. Прощайте же — и те, кто меня любит, и те, кто не любит. Прощайте.

Сказал — и бросился вниз, в пропасть. Упал, разбился. Так и лежал там, похожий сверху на птицу с откинутым крылом. Чуть погода прибежал туда Хюсо со своими сыновьями. Пришли женщины, дети. И все плачут-убиваются. Не только они — весь Беязид оплакивал смерть Мемо.

Склонился Хюсо над умершим, поцеловал его в лоб. И видит: в левой руке Мемо — эта рука приложена к сердцу — зажата прядь волос, так и горит черным огнем в лучах солнца. С трудом разогнул пальцы — и волосы развеялись по зеленеющей земле.

В сердце Юсуфа разрастался страх. Видел он лужу крови на нежной весенней зелени. Видел коня, бродившего по улицам города. Конь-то и впрямь отцов. Почему же отец не признает его? Он уже, должно стать, обо всем проведал. И о безумствах Гюльбахар тоже. От него ничто не укроется. Его взгляд и сквозь стены каменные проникает, любой разговор издали он слышит. А уж о дочери родной ему все известно — все доподлинно. Почему Мемо кинулся в пропасть? От страха, верно. Да и что ему оставалось? Убеги он в горы, укройся в хошабской крепости, люди паши все равно его отыщут, кожу с живого спустят.

Как-то раз, еще малолетком, видел Юсуф, как наказывают преступника. Сидит он задом наперед на

ишаке, весь голый, только что срам прикрыт. Ведет ишака человек с заплывшими глазами, с содранными бровями — одно мясо живое кровенеет. А по бокам два палача огромного роста — настоящие великаны. Один с окровавленным палахом, другой — с кинжалом. Тот, что с кинжалом, схватил вдруг преступника за ухо — и отсек под самый корень. Потом взглянул на собравшуюся толпу, ухмыльнулся. Закричал, задержался преступник — веревки врезались ему в руки. Из того места, где было ухо, кровь хлещет. А палач как швырнет отрезанное ухо! Пронеслось оно над толпой, в окно лавки влетело. Лавочник был широкоплечий, могучего склада мужчина с густой осанистой бородой. А увидел ухо — оробел. Пошевелинуться не может, стоит будто заколдованный.

Тем временем второй палач стал своим палахом спарывать кожу со спины преступника. Да так ловко и спокойно, точно овцу свежует. Человек на ишаке даже кричать не мог, только хрипел. Народу тогда собралось — гибель. Но лица у всех вовсе не напуганные, как следовало бы ожидать, а скорее дерзкие, с вызовом.

К вечеру казненного привезли к воротам дворца и бросили на мощеной площадке. Столько крови вытекло — весь город в крови. Улицы, лавки, дома — все в крови. Казалось, даже из-под земли хлещет кровь. Всех детей тогда выворотило. Но сильнее всех — Юсуфа. Мать плакала, сидя у него в головах. А отец снисходительно утешал:

— Ничего, попривыкнет. Таков этот мир, надо к нему принаравливаться.

Но мать все заливалась слезами. Больше Юсуф ничего не помнил, память как отшибло.

С тех пор Юсуф перевидал много таких преступников на ослах. И хоть бы что! Людям головы отрубают прямо в крепости, цепями побивают их на рыночной площади, а он глядит — не сморгнет даже. Только поражает его отец. Стоит гордый, надменный, и ростом он как будто выше обычного, и в плечах шире, глаза клинками сверкают. Ни дать ни взять грозное божество, нисшедшее с Горы. Творец и разрушитель, вооруженный громами и молниями.

Очень боялся Юсуф своего отца. Любить не любил, а вот боялся очень сильно.

В ту ночь он не спал. Лежит, крутится, а страх все сильнее сердце сдавливают. Отец знает, думает Юсуф, что Гюльбахар с ним советовалась. Знает, но до поры до времени молчит. Такой уж у него нрав скрытный — ни любви, ни ненависти, ни страха не выдает. Впрочем, кого ему и страшиться?

Размышляет Юсуф, ума не приложит, что ему делать. Бежать в хошабскую крепость, пасть в ноги бею тамошнему: не выдавай меня отцу, отошли в степи южные, где скачут газели черноглазые, где живут арабы? Но ведь и хошабский бей боится его отца. Да что там бей? Иранский шах и османский падишах — и те его побаиваются. Все боятся. Кроме этой бедовой Гюльбахар. Да еще кузнеца Хюсо. Да еще Караванного Шейха. Но, возможно, и сам Шейх его опасается?

Наконец наступило утро. Так и не уснул Юсуф. Одна другой ужаснее лезли ему в голову мысли. Что, если отец проведает, какие дела творятся у него за спиной? Он и сына-то родного не помилует — прикажет глаза ему выколоть на рыночной площади, кожу заживо содрать...

Совсем обезумел Юсуф. Так и чудятся ему шаги палачей. Вот они врываются в его комнату, заковывают ему руки и ноги и волокут на плаху!..

Рядом с дворцовой кладовой была крохотная клетушка, втроем еще можно втиснуться, но не больше. Там-то и решил спрятаться Юсуф. Вошел, прислушивается, ушки на макушке. «Верно, меня уже ищут по всему дворцу, — думает. — Не найдут — разошлют конников по всем путям и дорогам. А впереди них помчится слух обо мне: бежал, мол, из дворца. Так и собью их с толку».

Сидит Юсуф в своей клетушке, носа не высовывает. А за дверью — в щелочку видно — постепенно темнеет. Наконец и совсем темно стало, вечер наступил. Отлегло у него от сердца, вышел он, идет по коридору. Все встречные почтительно его приветствуют. Но почему-то с опущенными глазами. «Не иначе как это ловушка, — насторожился Юсуф. — Сейчас меня схватят». Заурчало у него в животе от голода, направился он на

кухню. Сперва пахло весенними цветами, потом потянуло запахом жареного мяса. При виде его все в кухне вскочили на ноги. Постоял-постоял Юсуф, да так и не решился попросить, чтобы его накормили. Он слышал, как в мраморном зале о чем-то с гневом говорил отец. И вдруг его речь оборвалась. Будто ножом обреза-ли. Бросился Юсуф во двор. Там во всех углах неподвижно стоят часовые, грозно усы топорщатся. Юсуф, словно гонимый зверь, юркнул в дворцовую мечеть. Оттуда забежал в гарем, к матери. Надо ей все рассказать. Да и поесть чего-нибудь, а то ведь так и ноги протянуть недолго.

Увидела его мать, затревожилась:

— Что с тобой, мой мальчик? Уж не захворал ли?

— Плохо мне,— простонал Юсуф, улегшись на постель. Он весь горел как в огневице. Три дня и три ночи лежал в беспамятстве. Позвали лекарей. Влили они ему в рот свои снадобья, на четвертый день он и опаматовался: открыл глаза, разжал стиснутые пальцы. Встал, ходить начал. И одна мысль острым гвоздем сидит в голове: надо рассказать обо всем отцу. Все равно от него ничего не укроется. Тут он вспомнил о Гюльбахар. Ну и отчаянная же она! Знает, что отцу все ведомо, и хоть бы что. Надеется, видно, вывернуться. С помощью какой-нибудь уловки.

Только подумал—и бегом к Гюльбахар. А она сидит за прялкой, нить сучит. Поскрипывает прялка, будто жалобно стонет.

Этот скрип совсем доконал Юсуфа.

— Гюльбахар! — прохрипел он как умирающий.

— Что, Юсуф?

— Отец прикажет глаза нам вырвать, живьем кожу содрать. Он уже все знает.

— Это ты ему сказал?

— Нет, я не говорил, но он знает. Пропали мы, сестра. Пропали.

— Так кто же ему сказал?

— Какая разница! Знает он, да и все тут. Надо бежать, пока не поздно.— Челюсть у него отвисла. Он стоял, широко расставив ноги, чтобы не упасть, и цеплялся за сестру.— Надо бежать, Гюльбахар.

— Куда же?

— Куда-нибудь.

Гюльбахар усадила его на тахту.

— Надо так надо. Но не сейчас. Погоди немного.

— Отец готовит тебе западню,— бормотал Юсуф.—

Потому-то и виду не подает, что все знает. Все-все. И как ты в кузню ходила. И как кузнеца о помощи просила. И как с Ахмедом встречалась. Вот мы сейчас говорим с тобой, а он уже знает о чем. Если не убежим, он велит глаза у нас вырвать. Я сам слышал его разговор с Исмаилом-ага.

— И что же отец говорил?

— Убью, мол, я эту дочь и этого сына. Только до завтра подожду. Может быть, сами признаются, попросят помиловать их. До завтра подожду, а там уж велю их схватить.

Гюльбахар хорошо понимала, что творится с ее братом. Долгие годы и она сама испытывала нечто подобное. Кажется, будто отец видит насквозь любого человека, решительно все о нем знает. И тут ничего не поделаешь. Все доводы рассудка бессильны. Уж если тобой завладел этот страх, от него никакими усилиями не избавиться. Не сегодня-завтра побежит Юсуф к отцу, выложит все, до мельчайших подробностей. Если только не помрет от страха. Сразу видно, что он не в себе. Если б не страх, он уже давно пошел бы к отцу.

Все обдумала, все взвесила Гюльбахар. Достаточно, чтобы Юсуф рассказал о коне и кузнеце, об остальном отец догадается сам. Он-то сразу поймет, что это она устроила побег узников, что это ради нее пожертвовал жизнью Мемо.

Вдруг лицо Юсуфа страшно побледнело, перекошилось. Он крикнул: «Я ухожу», хлопнул дверью и бросился в мраморный зал, где отец сидел с Исмаилом-ага.

Кинулся Юсуф к отцу на грудь, криком исходит:

— Прости меня! Не выдирай мне глаз, не убивай меня. Ты ведь все видишь, все знаешь. Прости же меня. Видит бог, я не предавал тебя. Прости.

Задышется, хрипит, а сам все рассказывает. И о том, как Гюльбахар приходила к нему, и о чем проси-

ла, и как бегала к Хюсо и Караванному Шейху. Ничего не утаил. Кончил он такими словами:

— Спеши, отец, а то она убежит. Может быть, уже убежала.

Яркая молния сверкнула в уме паши — высветила все своим светом. Наконец-то он понял причину предательства Мемо, которого любил как родного сына. До сих пор гнев, горе и боль застили ему глаза. Но теперь он прозрел.

Поднялся паша, взмахнул крыльями орлиными — руками — и вдруг побледнел смертно. Губы пересохли. Шагнул он, закачался. Не обопрись о стену, так и рухнул бы на пол.

Присел он на тахту, руки к груди прижал.

— Позор на мою голову, Исмаил, — заговорил паша. — И навлекла этот позор на меня собственная дочь. А я-то все не мог понять, почему Мемо предал меня. Выходит, его околдовала эта чародейка. Кто бы мог подумать, что это она запятнает честь нашего рода, достоинство мое в грязь втопчет. Много бед испытал я в своей жизни, но такая обрушилась на меня впервые. Врасплох меня захватила... Смотри, Исмаил, не проговорись ненароком. Не то позор мне будет великий. По всей османской земле... Так вот оно что, Исмаил. Хотел бы я только знать, кого полюбила моя дочь: Ахмеда или Мемо. Неужели Мемо?

Махмуд-хан и представить себе не мог, чтобы его дочь полюбила тюремщика. Стало быть, Ахмеда?

— Смотри, Исмаил, не проболтайся, — повторил он. — А дочь пока наказывать нельзя.

— Нельзя, — поддакнул Исмаил. — Не то люди подумают, что между ней и Мемо что-то было.

— Как же нам поступить с ней, Исмаил? Подскажи.

— Сейчас подумаю.

Замолчал Исмаил. Молчит и паша. Долго молчали. Наконец Махмуд-хан проговорил:

— Может, сделать вид, будто я ничего не знаю?

— Нет, мой паша, — возразил Исмаил-ага. — Во дворце ее не удержать, убежит. У нас есть только два выхода: либо тайно ее умертвить, либо посадить в тюрьму.

— Ну что ж, в тюрьму так в тюрьму. Только поставь тюремщиком надежного человека. Не то...

— Не беспокойся, мой паша. Все будет в порядке.

Мало-помалу к паше возвращалось спокойствие. Вот когда он наконец понял, почему привели его коня, понял смысл мелодии, которую наигрывал Софи,— все, все понял. Видно, уже давно слюбилась его дочь с Ахмедом.

Исмаил-ага торопливо вышел. И, призвав двоих стражников, направился в комнату Гюльбахар. А она уже ждала палачей, ничуть даже не удивилась.

По знаку Исмаила стражники схватили Гюльбахар и отвели ее в пустую тюрьму.

— Помогите ханым спуститься,— говорит Исмаил-ага. Вежливо так, с подчеркнутым почтением.

Гюльбахар, однако, отказалась от их помощи, одна сошла по ступеням.

Исмаил-ага сам, своими руками, запер дверь на замок, ключ взял с собой.

— Следите за ней хорошенько,— предупредил Исмаил стражников.— Головой за нее отвечаете.

Меж тем паша пригласил к себе супругу, рассказал обо всем случившемся.

— Совсем занедужил наш сын,— промолвил он, показывая на обеспамятевшего Юсуфа.— Присмотри за ним. И чтобы никто не знал, где Гюльбахар. Когда Юсуф очнется, предупреди и его, чтобы держал язык за зубами.

Махмуд-хан посадил сына рядом с собой, ласково погладил его по волосам. Вскоре Юсуф пришел в себя.

— Ты у меня настоящий йигит, сынок! — похвалил его отец.— Бережешь честь нашего рода, не допускаешь, чтобы ее пятнали. Так поступают только настоящие йигиты.

Юсуф испуганно таращился, спрашивал:

— Так ты не убьешь меня? Глаза мои не вырвешь?

Паша поцеловал его в лоб:

— Что ты говоришь! За отвагу, за правдивость не наказывают, а награждают. Я подарю тебе красивое оружие и коня. За что мне тебя убивать?

Юсуф заплакал от радости.

— Забери его, — сказал паша жене. — Не в себе он. Видно, сильно испугался.

Вернулся Исмаил-ага, доложил:

— Мой паша, твое повеление исполнено.

— Еще раз предупреждаю: чтобы никто ничего не знал, Исмаил!

— Твое слово — закон, мой паша.

— Наконец-то я успокоился, Исмаил-ага. Все был в каком-то смятении, ничего не понимал. А теперь все стало на свои места. А уж как наказать дочь, мы решим позднее.

— Хорошо, мой паша. Пусть пройдет немного времени, все это позабудется, тогда и накажем ее.

Однако, несмотря на все предосторожности, слух о заточении Гюльбахар в темницу разнесся по всем тамошним краям. Сперва люди не верили, потом крепко призадумались. Только кузнец Хюсо и Караванный Шейх не удивились, ждали, что так будет. Дальше — больше. Докатилась молва до берегов Ванского озера, до Эрзрума, Карса, Эрзинджана. О любви Ахмеда и Гюльбахар слагали дестаны и песни. Всю Гору объяла скорбь великая.

Юноши, зрелые мужчины, женщины, познавшие радость любви, — все говорили:

— Пока эта девушка томится в тюрьме, нам стыдно смотреть в глаза друг дружке.

Ахмед, Караванный Шейх, Хюсо, горцы и люди с равнины не спали ночами. Как рана в их груди была жалость к несчастной узнице. И яростно пылал гнев против жестокого паши.

Величественно высится Агрыдаг, будто совсем особенный, чуждый мир в этом мире. Обычно его вершина одета в облака. Но иногда, по ночам, облака расходятся, и глазам открываются бессчетные звезды, кружащиеся словно палые листья под ветром. А по утрам из-за Горы выглядывает раскаленное докрасна солнце, начинается обмолот огненный.

Особенно огромной кажется Гора в темноте — словно весь мир собой заполняет. Тишина стоит мертвая — и вдруг слышатся раскаты подземного гула. Их

тут же подхватывает, разносит чуткое эхо, а затем снова воцаряется безмолвие. Пустынно все вокруг, ни души. Даже в самую темную ночь не сливается Гора с окружающей тьмой и сама, словно ночь, шествует по земле. А когда всходит луна, она струит навстречу Горе свое призрачное сияние. По ночам Гора внушает трепет. Стеною встает ее мрак. Ни звезд, ни малейших проблесков. А из глубины, как и тысячелетия назад, вырывается глухой, но могучий гул.

Тяжелой каменной осыпью лежит темнота. Кругом все тихо, безлюдно. Как перед светопреставлением. И вдруг двинулась Гора, пошла. А вместе с нею и ночь. Дрожит скалистое тело Горы. Гневная дрожь пробегает и по склонам ночи. В небесах ни звезды.

Впереди на коне скачет Ахмед. За ним следуют горцы — нет им числа. Из-под копыт и ног скатываются камни. И, как эти камни, неудержимой лавиной спускаются горцы в Беязид.

В тот же самый час пробудились берега Вана, пробудилась равнина. И все там живущие потекли в Беязид. Падучими звездами низвергались люди с небес, могучими деревьями прорастали из-под земли. И не было им числа.

Когда солнце выглянуло из-за отрога Горы, Махмуд-хан увидел в окно надвигающиеся людские полчища. Гарцевали всадники, решительно вышагивали пехотинцы в козьих, оленьих, овечьих и конских шкурах. Все рослые, черноволосые или золотоволосые, с ясными голубыми глазами, с сильными руками.

Заколыхался утренний туман, расступился. Паша подумал, что ему привиделся кошмар, закрыл и опять открыл глаза. А перед ним — те же полчища несметные. Впереди на коне — Ахмед. Вся кровь бросилась в голову паше. Хотел было он позвать прислужников, да язык словно прилип к гортани; слова вымолвить не может. Даже если каждый камень в Беязиде обратился бы в воина, и тогда невозможно было бы противостоять такому огромному скопищу. Вся равнина заполнена, а с Горы все идут и идут люди. Бесчисленные, как муравьи. И что самое удивительное — полная

тишина. Ни крика, ни возгласа. Под мощным напором с грохотом рухнули ворота крепости. Толпа хлынула к темнице. А Исмаил-ага уже успел вывести узницу наружу. Стоит у открытой двери, весь дрожит. И Гюльбахар — тут же, моргает глазами: непривычен ей свет дневной. Никак не может она понять, что случилось. Безмолвно поглотила ее толпа — и отхлынула от крепости.

Около гробницы Ахмеда Хани разложили большущий костер. Ходят по пылающим углям дервиши и суфии, под аккомпанемент кавалов поют свои песни мюриды. И все склоны Горы, сколь хватает взгляд, запружены людьми, смотрящими на огнеходцев. Все в алых отблесках тела дервишей и суфиев, словно искорки — капли пота.

— Трус я, жалкий трус,— причитает во дворце Махмуд-хан, порывается с мечом в руке броситься на толпу. С трудом удерживают его Исмаил-ага и другие придворные.— Как мне теперь жить? — стонет паша.— Опозорил я свое славное имя османское. На весь свет осрамился. Сохрани Аллах, дойдет до падишахского двора. Для чего мне тогда и жить?

Но какое войско может устоять против такой тьмы народа? Немыслимо даже и думать о сопротивлении.

«Вот беда на мою голову,— сокрушается паша.— И все из-за этого распроклятого коня. Прогневил я, видно, Аллаха!»

До самого вечера веселился народ у гробницы Ахмеда Хани. Рокочут барабаны. Полунагие, с разлетающимися волосами пляшут дервиши на углях, быстрее молнии летают их руки и ноги. А юноши и девушки, став парами, пляшут гёвенд — подобного танца мир еще не видывал. До самого дворца протянулась двойная цепь танцующих. Семь барабанщиков-давулджи и семь зурначей играли для них. До чего же приятно было смотреть на девушек в расшитых шелковых передничках, с яркими платками. Со стороны казалось, будто это море колышется. Волны то выше встают, бурлят, пенятся, то спадают.

Отвели Гюльбахар в дом кузнеца. Вымыли, нарядили в прекрасное — будто и не люди шили, а джинны — старинное платье из лахорской ткани. Затем посадили на отцовского коня и повезли к Караванному Шейху. Туда же приехал и Ахмед.

Спешились Ахмед и Гюльбахар, помолились и поцеловали Шейха в плечо. И тот их поцеловал и благословил. За всем этим наблюдал Махмуд-хан из своего дворца. А о том, чего не видел он сам, донесли соглашения.

— Махмуд-хан — османец, кяфир¹, — сказал Караванный Шейх. — В таких, как он, не осталось ничего человеческого. Не простит он нам всего этого. На самой Горе постарается выместить свой гнев. Никому, даже детям, не будет от него пощады. Но мы должны держаться наших древних обычаев. Отправляйся-ка ты, Ахмед, вместе с Гюльбахар к хошабскому бею. Он мой мюрид верный, в обиду вас не даст. А для надежности пошлю я с вами управителя моего — Ибрагима. Хошабский бей хорошо его знает.

Есть такой старый обычай. Если молодой человек умыкнет девушку и попросит у кого-нибудь убежища, то эту девушку уже не выдадут ее отцу — кто бы он ни был. Любой ценой выхлопочут согласие отца, выплатят калым, свадьбу сыграют. Из-за таких похищений частенько разгорались кровавые распри, но обычай продолжал существовать.

Делать нечего, отправились Ахмед с Гюльбахар в хошабскую крепость. Тамошний бей, хоть и считался вассалом османского падишаха, независимости своей не потерял. Будь даже Гюльбахар дочерью самого султана, все равно принял бы ее. Таков закон родовой чести. Титула своего лишится, голову сложит бей, а уж того, кто убежища попросил, не выдаст. Иначе стыд и срам, в глаза никому посмотреть не сможет.

К югу от Вана, у большой караванной дороги, стоял крутой, обрывистый утес. Там-то, обнесенная тремя рядами стен, и высилась хошабская крепость. Внизу серебрилась река Хошаб. Никто не знал, когда возвели эту крепость, знали только, что очень давно. Из века в

¹ К я ф и р — неверный, нечестивец.

век в ней производили какие-то перестройки, но так искусно, что цельность ее не нарушилась. Изумительной красоты была эта крепость, другой такой, пожалуй, и не сыскать.

Ахмед и Гюльбахар остановились у подножия утеса. Коней своих оставили внизу, в конюшне аскеров, а сами пошли к воротам. Часовой знал Ибрагима и беспрепятственно пропустил их в крепость.

— Этот Махмуд-хан не признает ни обычаев, ни традиций,— сказал хошабский бей, выслушав Ибрагима.— Он ведь паша, османец. Как только узнает, что я приютил беглецов, сразу против меня выступит. Со всем своим войском. Но что делать? Придется по всем правилам посватать его дочь. Ничего не пожалею, лишь бы согласился он отдать ее за Ахмеда. Слово Шейха для меня закон. Голову сложу, а его воли не нарушу.

Хошабский бей похлопал в ладоши и велел подбежавшим слугам:

— Накормите гостей и отведите их отдохнуть. Издалека приехали, притомились, верно, с дороги.

Как только Ахмед и Гюльбахар вышли, помрачнел, потемнел лицом хошабский бей. Глаза затуманились, даже волосы светлые как будто потускнели.

— Ибрагим,— говорит,— конечно, Шейхово слово для меня закон. Но лучше бы уладить это дело мирному. Будь это не Махмуд-хан, а кто другой, поехал бы к нему сам, попросил: «Уважь меня, отдай свою дочь Гюльбахар за сына нашего Ахмеда». Но паша меня и слушать не станет, еще в тюрьму упечет. Этот гордец любит, чтобы все перед ним голову склоняли. Я ведь помню его еще по Стамбулу. Наши отцы были знакомы. Расскажи мне все по порядку, прикинем, как нам лучше поступить.

Выслушал бей рассказ Ибрагима, вздохнул глубоко:

— Дело-то, я вижу, мудреное. Очень даже мудреное. Взбесился, видно, паша. Попытается он выместить свою злобу на горцах и ванцах, а там и за нас примется. Полагаю, он уже обратился за помощью к ванскому паше.

Весь вечер, всю ночь размышлял хошабский бей. А наутро послал за Ибрагимом.

— Вот что я решил. Обождем две-три недели, а потом я отправлю в Беязид Моллу Мухаммеда. Человек он угодительный, на язык бойкий, может, и сумеет уговорить Махмуда-хана. Хочется уладить мне это дело по-мирному. Ничего для этого не пожалею. Так и передай моему Шейху. Если надо, крепость свою отдам как выкуп за невесту. Но силе я не уступлю — пусть даже все османское войско против меня пойдет. Голову сложу, а забрать девушку не позволю. Так и передай моему Шейху. И еще передай ему мой нижайший поклон, поблагодари его за оказанное мне доверие. Целую его руки.

Ахмеду и Гюльбахар отвели комнату, предназначенную для самых именитых гостей, — светлую, высокую, просторную, мраморный пол алым паласом застлан, на стенах курдские ковры красоты необыкновенной, широкая кровать стеганым атласным одеялом прикрыта. Освещена эта комната была серебряным светильником. Курильницы распространяли густой дурманящий запах.

Как подобает супруге, Гюльбахар почтительно ждала, пока Ахмед уляжется.

А он положил свой обнаженный меч посреди кровати. Глубоко зарылась золотая рукоять в мягкую пуховую подушку. Только после этого Ахмед лег.

Глядит Гюльбахар, ничего понять не может. И в Эрчише, и в Ване, где они останавливались на ночлег, он поступал точно так же, как бы желая сказать: мы с тобой брат и сестра, хоть и спим в одной постели. Но какие же они брат и сестра? Еще тогда, в башне, отдалась она Ахмеду, женой его стала: боялась, что их встреча — последняя. Почему же он кладет меч между ними?

Даже не поцеловал ее Ахмед, слова ласкового не молвил. А в сердце Гюльбахар пламя жаркое полыхает. В полном она недоумении. Уж не обидела ли незначай своего возлюбленного? Или же у горцев есть какой-то незнакомый ей обычай?

До самого утра пролежала без сна — все думала:

почему Ахмед так переменялся. Догадок-то много, а вот какая из них верная?

Волнуется Гюльбахар, с ума сходит. Вся словно лук натянутый. Почему же Ахмед так переменялся? Все время мрачный, задумчивый, холодный. Будто это и не он вовсе.

Наконец не выдержала, разбудила Ахмеда.

— Проснись! Я хочу задать тебе вопрос — единственный. Обещай, что ответишь прямо и честно, как сердце велит.

Ничего не ответил Ахмед.

Вот уж посветлели верхушки восточных гор, первые лучи скользнули по атласному одеялу.

— Почему ты положил меч между нами? — настойчиво допытывается Гюльбахар. — Ведь я давно уже твоя жена. Слыханное ли это дело — от жены мечом отгораживаться? Или у вас, горцев, есть такой обычай? Отвечай, если любишь.

Молчит Ахмед.

— Отвечай.

Молчит Ахмед. Стыдно ему высказать ужасное подозрение, которое гложет его ум. Не только Гюльбахар — самого себя стыдно. Где уж тут вслух признаться!

— У нас-то такого обычая нет, — выдавил он в конце концов, — а вот в этих краях, у ванцев, так принято. Пока твой отец не даст согласия, я к тебе прикоснуться не могу. Поэтому и кладу меч.

Не поверила Гюльбахар, но расспрашивать больше не стала.

Проходили дни. Дочь паши хорошо видела, что Ахмед не в себе, в душе у него какой-то червь угнезвился. И выглядит он совсем плохо: глаза ввалились, прежний блеск потеряли, оловянными сделались.

Совсем измаялась Гюльбахар, придавило ее бремя непосильное. Померк для нее мир, в четырех стенах замкнулся. Как во сне скитается она по гарему, ничего не ест, не пьет, все думает, какое жестокое оскорбление ей нанесено.

Несколько раз в неделю Ахмед и хошабский бей выезжают на охоту. Домой возвращаются груженные дичью: козами, птицами, оленями. Лишь в эти дни

Гюльбахар немного успокаивается — такую тоску нагоняет на нее присутствие Ахмеда.

А тот даже не решается взглянуть ей в лицо. Не только она — все замечают его уныние. Но приписывают его совсем другой причине.

— Не горюй, друг, — частенько говорит хошабский бей. — Даже если вся османская рать против меня выступит, все равно никто не помешает вашему счастью. Тебе оказывает покровительство сам Шейх. Ты мой гость. Чего же тебе опасаться? Держи голову выше.

Смушенно улыбается Ахмед, ничего не отвечает. Никому невдомек, какая тоска сжигает его сердце. Даже Гюльбахар. Что-то она смутно чувствует, но понять не может.

Однажды утром, когда Ахмед с беем собирались на охоту, вернулся Молла Мухаммед.

Отвел его бей в свои покои, спрашивает:

— Какие вести, Мухаммед, добрые ли, худые?

— Худые, — хмурится посланец, поглаживая белую ручьистую бороду. — Очень худые. Будто лютого врага встретил меня паша, чуть не зарубил. От кого угодно, говорит, ждал подобной подлости, только не от твоего бея. Передай ему, говорит, пусть свяжет одной веревкой Ахмеда и мою дочь и ко мне отправит. Даю ему, говорит, пятнадцать дней сроку. Не выполнит моего желания, пошлю против него своих аскеров. Так поносил тебя и Шейха — даже повторить срамно.

— Неужто и Шейха бранил? Самого Шейха?!

— И его.

— Да он просто спятил, рехнулся!

Пораздумал хорошенько бей и вышел во двор. А там его, у самых дверей, Ахмед ждет. Ничего не сказал ему бей, сел на коня, и они отправились на охоту. Едут, а Ахмед все на него поглядывает: не скажет ли чего. На подъемном мосту бей придержал своего коня, молвил Ахмеду:

— Этот человек просто спятил. Он осмеливается — и как только у него язык не отсохнет — проклинать са-

мого Шейха! Небеса покарают его за такое святотатство!.. Грозится Махмуд-хан выслать против нас свое войско. Через пятнадцать дней.

— Не хочу, чтобы из-за нас лилась кровь,— отозвался Ахмед.— Отпусти нас, бей. Мы уедем.

— Никуда вы не поедете,— отрубил хошабский бей.— С тех пор как стоит эта крепость, еще ни перед одним врагом не открывались ее ворота. Пожалееет Махмуд-хан, что такое дело затеял. Ты нам все равно что сын. Живи себе спокойно, в свое удовольствие. Тут уж затронута моя честь, мне ее и отстаивать.

Сказал — и пустил своего коня во весь скок. Ахмед следом помчался.

С того дня крепость стала готовиться к осаде. Со всех сторон: из южных степей, с Горы, с Мушской равнины, с берегов Урмийе, из Вана, Битлиса, Диярбакыра — посыпались предложения о помощи, дружеские руки протянулись. Это очень радовало хошабского бея, льстило его самолюбию. Ну что ж, раз так угодно судьбе, еще раз померяется он силами с османцами. Научит их уважать обычаи, не посягать на достоинство бейское. Выполнит свой долг священный.

Как-то поутру часовые завидели вдали всадников на белых конях. Подскакали всадники к подъемному мосту, натянули поводья, остановились. Люди хошабского бея приняли у них коней, пригласили войти в крепость.

Сам бей встретил их у внутренних ворот. Все они были люди хорошо ему знакомые, вожди племен, которые жили в этих краях. Догадывался он и почему они пожаловали. Видимо, Махмуд-хан еще не готов к осаде крепости.

Разговор начал зиланский бей, красивый, горячего, удалого нрава молодой человек с орлиным носом и густым, низким — как из бочки — голосом:

— Зачем доводить дело до войны? Не лучше ли договориться по-доброму? Махмуд-хан собирает уже войско, скоро выступит. Нам удалось пока его удержать. Слово за тобой.

— Вы сами все понимаете не хуже меня,— ответил хошабский бей.— Не могу я выдать паше Ахмеда и Гюльбахар, не могу! Любое желание паши с удовольствием исполню, только не это. Если я нарушу закон гостеприимства, ни один пес — не то что человек — в мою сторону не посмотрит. Вечным позором запятнаю себя и свой род. Вы все люди умные, бывалые, вам и карты в руки, найдите какой-нибудь выход. А паше засвидетельствуйте глубочайшее мое почтение. Скажите, все сделаю, чего он ни пожелает. Все свое богатство пожертвую, жизнь отдам за него. Пусть только слово молвит — справлю его дочери свадьбу, каких свет не видывал, зятю несколько деревень подарю. Все сделаю, чего ни пожелает. Одного не могу — нарушить закон гостеприимства.

— Все верно, даже возразить нечего,— сказал зиланский бей своим спутникам.— Напрасно мы сюда приехали.

— Совершенно напрасно,— поддержали его другие беи.— С таким предложением, как это, и обращаться то не подобает. Стыд и срам!

На другой же день сели они на коней и умчались прочь.

Махмуд-хан даже не сомневался, что его посланцы привезут с собой беглецов, обдумывал уже, какой лютотой казни их предать. Никак не ожидал он отказа. Рассчитывал, что хошабский бей испугается его угрозы и выдаст Гюльбахар и Ахмеда. Кто бы мог подумать, что такие родовитые посланцы вернутся с пустыми руками?!

Когда паше рассказали о разговоре с хошабским беим, он просто взбеленился. Вот до чего дело дошло — никто больше с османцами не считается. Будь у него достаточно сил, в тот же день, в тот же час выступил бы в поход, стер бы с лица земли проклятую хошабскую крепость. Но сил не хватало. Поэтому Махмуд-хан решил сначала списаться с Рюстемом-пашой, что жил в Эрзруме.

Однако ярости своей Махмуд-хан не показал: при беях надлежит вести себя сдержанно.

— Извини, паша, но, по нашему мнению, хошаб-

ский бей прав,— заявил зиланский бей.— Закон гостеприимства нерушим. Надо поискать другой выход.

Махмуд-хан промолчал.

В тот же день он устроил в мраморном зале пышное пиршество в честь высокородных гостей. Народу собралось очень много, с трудом все вместились.

Наутро Махмуд-хан отправил послание эрзрумскому паше. Это был важный вельможа, любимец падишаха, долгие годы он провел при дворе, с великими визирями знался. Поддержит его эрзрумский паша, одолеть хошабского бея — дело нехитрое.

В своем послании Махмуд-хан подробно описывал, как с гор, точно стаи волков, спустились несметные полчища, как они ворвались в крепость и увели с собой его дочь. Что можно сделать с горсткой аскеров против такой орды? — горько жаловался он, желая пробудить сочувствие своего вельможного друга, но вышло наоборот.

Вернувшийся гонец доложил, что Рюстем-паша помирал от хохота, читая его письмо. Держался руками за живот и заставлял снова и снова рассказывать о том, что случилось в тот злополучный день.

— Передай мой поклон Махмуду-хану,— сказал он, вдосталь нахохотавшись.— Советую ему отдать свою дочь за этого молодца! Он ее вполне заслужил. Так же, как и коня. А я напишу ему потом.

С возмущением и гневом читал Махмуд-хан ответное послание: Рюстем-паша собственноручно написал его своим красивым почерком.

— Этот подлец, сын подлеца, смеет еще надо мной насмеяться,— скрежетал Махмуд-хан зубами.— Хотел бы я поглядеть, как бы он вел себя, если бы его дочь похитил какой-нибудь худородный горец! Ишь ведь что пишет, пес паршивый: «Неужели из-за какой-то девицы, пусть даже это твоя дочь родная, ты затеешь войну против всего мира?» А я-то считал его своим другом, принимал будто его падишахское величество. Позавидовал он, видно, роскоши моего дворца. Вот и мстит мне.

Несколько раз перечитывал он послание из Эрзуума — и все сильнее распалялся. Эх, бросить бы сво-

их аскеров против хошабского бея! Да только страшно потерпеть поражение от этого волка горного. С тех пор как стоит крепость, еще никто не мог взять ее приступом.

И так и этак прикидывает Махмуд-хан, голову ломает. Каждый день призывает к себе Исмаила-ага, верных беев, часами с ними советуется, но никак не может прийти к определенному решению.

А меж тем наведывается к нему Молла Мухаммед. Говорит — будто медом по губам мажет.

— Мы твои преданные слуги, паша. Бей просит войти в его положение. Если он выдаст беглецов, ни одна собака не взглянет в его сторону. На весь род падет позор несмываемый. Если хочешь, он сам даст любое приданое твоей дочери. Для тебя, паша, он и жизни не пожалеет. И Ахмед ради тебя умереть готов. Просит передать тебе бей, что целует твои руки.

Хошабский бей следил за каждым шагом Махмуда-хана. Знал, что он обращался за помощью к эрзрумскому паше и ванскому паше, к влиятельным и мелким беям, даже к самому падишаху. Рано ли, поздно, этот безмозглый, упрямый человек вышлет против него своих аскеров. Начнется долгая, на годы, война. Снова будут умирать голодные люди. И все это — из-за похищенной девушки. Какой недоумок бей, среди каких недоумков завел этот дурацкий обычай?!

Паша, однако, медлил. И это промедление обращалось против него.

Народ поговаривал, что не случайно из всех горцев-йигитов конь выбрал именно Ахмеда, толковал о великой их с Гюльбахар любви и о том, что Мемо пожертвовал собой ради их счастья. Все боготворили влюбленных. Что, если однажды ночью с Горы и с равнины снова хлынут орды несметные? — думал паша. На этот раз они не оставят камня на камне от его дворца. Ни одна живая душа не спасется.

Страх не отпускал пашу ни на миг. По ночам он не мог уснуть. При малейшем шорохе вскакивал и с мечом, словно лунатик, бродил по дворцу.

И все же он не находил никакого выхода. Ведь речь идет не только о его чести, но и о чести всех османцев. Стоит ему сплеховать перед ничтожным хошабским беом — опозорится вся огромная Османская империя.

Затосковал паша. Прячется от всех, ни с кем не разговаривает. Железным обручем стиснуло его сердце отчаяние.

Каждый год, в пору весны, все чобаны Горы собираются на берегах Кюп-гёля. Расстилают свои бурки на медноцветной земле, на красных кремневых камнях и усаживаются. Иногда их больше, иногда меньше — год на год не приходится. Когда небо на востоке светлеет, они достают из-за кушаков кавалы и начинают играть «Гнев Горы». Весь день играют. Лишь вечером, на закате, убирают кавалы и все разом встают. Тут-то и подлетает белая птица. Окунет одно крыло в озерную синь — и скрывается. Вдалеке, среди плывущих, как корабли, скал, в море снегов, показывается большой белый конь в сверкающем убранстве. Видение, тяжело дыша, проскальзывает над озером и быстро удаляется.

Чобаны расходятся. В дальнем шатре певец опускается на звонкую, певучую весеннюю землю и с посохом в руках, под аккомпанемент кавалджи, затягивает длинную песнь.

В ахурийской долине преклонил я колени. Над землею древней любви склонился. Над землею древней весны склонился. Трижды издал свой клич. И трижды откликнулась мне Гора. Среди алых, желтых и синих цветов, среди зеленой травы преклонил я колени. Под небом, унизанным звездной росой, преклонил я колени. Склонился над снежной грудью Горы. Восславил гордое сиянье Горы, чье сердце открыто для великой любви. Песнь завел о гневe ее неодолимом. Под темными тучами, среди ароматов дурманных преклонил я колени. Огненный хлынул поток, и среди огня преклонил я колени. Трижды издал свой клич, землю древней любви назвал, землю древней весны назвал, к сердцу ее воззвал. «Где ты, — я крикнул, — чобан?!» И предстал предо мной чобан.

Бейскую дочь полюбил чобан. И она полюбила его. Богат был отец ее, бей. Пятнадцать деревень у него — и все в ахурийской долине. Узнал он об их любви, в ярость великую пришел. «Схватите этого чобана! — велел. — Схватите этого наглеца, что посмел полюбить мою дочь! Схватите его, живого или мертвого!»

Вспыхнула птица любви, запылала, птицей огненной стала. Села на тополь, огненное гнездо себе свила, трех огненных птенцов вывела и полетела со всем своим выводком. Где ни промчится, где ни сядет, сразу пожар занимается. Небо полыхает, звезды полыхают. Горы полыхают, земля полыхает. Пламенем люди объаты.

Через горы, через моря перелетает птица, следом мчится огненная буря. Распускаются огненные цветы под ее дыханием. Желтый огонь, и синий огонь, и зеленый огонь.

Спрятался чобан на Горе. Пятнадцать деревень его ищут. Каждую расселину, каждую расщелину оглядывают, чобана отыскать не могут. Так и не нашли. В огненный столп обратился чобан. Приютила Гора его в чреве своем.

Пылает, горит его любимая. Жжет ее пламя любви. Убежала и она на Гору. Пятнадцать деревень ее ищут. Каждую расселину, каждую расщелину оглядывают. Да так и не нашли. В огненный столп обратилась девушка. Приютила Гора ее в чреве своем.

А чобан все тоскует по ней. Сил нет сносить такую муку. Попросил он однажды Гору: «Выпусти меня. Дозволь хоть раз глянуть снова на любимую, а там и смерть не страшна!» Подошел к деревне, а войти боится. Три дня, три ночи бродил вокруг; наконец решился, зашел. А деревня пуста, только ветер гуляет. Во всех пятнадцати деревнях побывал. И везде только ветер гуляет. Наконец повстречал он свою возлюбленную — возле деревни родной.

Жестоко карает Гора жестокость. В ярости сбросила она громадный утес, погребла под ним все пятнадцать деревень. Грозен ее гнев необоримый.

Все сердца воспламеняет огненная птица любви. Гнездо ее — из огня.

Грозен необоримый гнев Горы. Неотвратима кара ее. Страх вселяют ее проклятья.

Каждой весной, когда расцветают цветы на берегах Кюп-гёля, чобаны расстилают свои бурки на земле древней весны. И огненная птица любви погружает свое крыло в озерную синь.

В чем был, полуголый, подошел Хюсо к воротам крепости, кричит громко:

— Эй, паша! Слышал ли ты мелодию кавалджи весны? Понял ли ты его предостережение? Обрушится на тебя гнев Горы. Обрушится кара ее беспощадная. Перестань преследовать влюбленных.

— Приведите сюда кузнеца, — велел Махмуд-хан своим людям. — Что-то я плохо его слышу, понять не могу.

Кинулись было люди паши выполнять его веление, а кузнец уже тут как тут. Стоит будто исполин сказочный, сверху вниз на пашу смотрит. Обомлел Махмуд-хан.

— Слышал, что тебе пел певец? — спрашивает Хюсо.

— Слышал, — отвечает паша.

— И тебе не страшно?

Молчит паша.

Высказал кузнец все, что хотел, повернулся и зашагал — будто скала огромная с места двинулась — к двери. И все приговаривал:

— Как знаешь, паша, как знаешь.

Только он ушел, говорит паше Исмаил-ага:

— Я хочу задать тебе один вопрос.

— Какой?

— Смог хоть один смертный подняться на вершину Горы?

— Нет.

— А возможно это вообще?

— Подняться-то еще можно. А вот обратного хода нет. Хватка у Горы крепкая: поймает — не отпустит.

Много смельчаков пробовали забраться на вершину. Но еще никому не удалось спуститься вниз.

Есть там, на самом верху, озеро огненное. Глубоким колодцем врезается оно в твердь Горы. Оттуда-то и был добыт первый огонь. Только не сразу. Долгое время было так: пока Гора дремлет, зачерпнет какой-нибудь сын человеческий пригоршню пламени — и бежать. Но Гора спит чутким сном. Проснувшись, она тотчас же хватает бегущего, обращает его в истукана каменного. Так он и стоит там, с каменным пламенем в руке. На склонах Горы полным-полно таких истуканов. Еще ни один человек — пробовал он похитить огонь или не пробовал — не вернулся живым с вершины.

— Есть у меня одна мысль, мой паша, — говорит Исмаил-ага.

— Какая же?

— Сегодня же пошли гонца в хошабскую крепость. Пусть Гюльбахар и Ахмед возвращаются. Хочешь, я сам привезу их? А когда они прибудут, ты задашь Ахмеду такую задачу: пусть он взойдет на самую вершину. Сможет он выполнить твоё условие, отдашь ему дочь. И сам свадьбу справишь. Так мы избавимся от Ахмеда. И никто не посмеет упрекнуть нас в несправедливости.

— Превосходная мысль, — обрадовался паша. — Умница, Исмаил. Возьми с собой нескольких беев и отправляйся в Хошаб. Пусть они оба возвращаются. А если Ахмед не захочет принять наше предложение, скажи хошабскому бею, чтобы прислал сюда мою дочь.

В сопровождении двоих беев и пятерых своих людей Исмаил-ага отправился в Хошаб.

Бей принял их с ещё большим, чем обычно, радушием. Почтил их пышным пиршеством. В тот же вечер Исмаил-ага передал ему слова паши.

— Но ведь это же верная смерть, — помрачнел хошабский бей. — Ещё ни один человек не вернулся с вершины Горы.

— Не знаю, не знаю, — уклончиво пробормотал управитель Махмуда-хана. — Вы, помнится, обещали выполнить любое наше желание. Вот мы его и высказали. А уж там дело ваше.

Если Ахмед не примет это предложение, с хошаб-

ского бея слагается долг оборонять его. Это знал и Ахмед и все остальные. Тогда паша был вправе выступить в поход.

Послали за Ахмедом. В присутствии Исмаила-ага и всех его сопровождающих бей спросил Ахмеда, согласен ли он принять это предложение.

Ахмед не раздумывая ответил:

— Хорошо! Я взберусь на самую вершину и разведу там костер, чтобы паша мог сам видеть, что его условие выполнено.

Ни хошабский бей, ни Гюльбахар, ни другие так и не сумели отговорить его.

На другой день они сели на коней и отправились в Беязид. Остановились у дома Караванного Шейха. Вскоре весь город знал об их возвращении. И вся Гора знала.

И Шейх, и кузнец настойчиво старались отговорить Ахмеда:

— Этот паша — кяфир. Он задумал тебя извести. Но Ахмед и их не послушал.

Поцеловал он руку Шейху, вскочил на коня и поскакал во дворец.

— Я решил взобраться на вершину Горы, — объявил он паше. — Благодарю тебя за то, что ты задал мне такую трудную задачу. Правильно ты поступил.

Пожелал ему паша удачи, а он отвечает:

— Три ночи следите за вершиной. Если не помешают облака, увидите костер.

И направил коня вверх по склону.

Все улицы города, рынок и площадь перед крепостью постепенно заполнялись людьми. Они сходили с Горы, поднимались с равнины, вливаясь в безмолвствующее людское море.

В полдень к паше явился Исмаил-ага.

— Еще идут? — спросил Махмуд-хан.

— Идут, — ответил Исмаил-ага, безнадежно разводя руками. — Все идут и идут. Кто бы мог подумать, что на Горе и на равнине такое несметное множество людей!

Весь перекосялся паша, фыркнул:

— Нашел чему удивляться! Удивительно было бы, если б они собрались ради доброго дела. А на худое

всегда много желающих. Как быстро они узнали, что этот молодец собирается подняться на Гору! Кто это, любопытно, их оповестил?

Он шагал по пушистым коврам, устилавшим пол мраморного зала. Лицо побледнело, вытянулось. Глубоко прорезали его морщины. Глаза бешено вращались.

— Исмаил-ага, — выдавил он, — и наша... тоже там, с ними?

— Да. У гробницы Ахмеди Хани. Среди женщин. Посмотри сам. Вон она, в желтом платье.

Махмуд-хан замахал руками, отвернулся. Хотел было что-то сказать, но в последний миг передумал. Снова, глядя прямо перед собой, зашагал по залу. Исмаил-ага стоял не шевелясь, ожидая, не изволит ли он что сказать. Ждать пришлось долго. Наконец паша остановился и вонзил пылающие, как уголья, глаза в своего главного советника и управителя.

— Исмаил-ага, мы ведь не можем рассеять эту толпу?

— Не можем. Казармы окружены со всех сторон. В самом дворце всего сто пятьдесят — двести аскеров. А тут и целое войско не справится.

— Не справится, — тяжело вздохнул паша. — Поди посмотри, не идут ли еще.

До самого вечера прибывали люди. Уже и весь город забит, и все кругом забито, даже склоны холма за гробницей Ахмеди Хани, а приток все не уменьшается: идут и идут люди. Шатры разбивают, костры разжигают. Запах горячего масла смешивается с запахом сухих трав и цветов.

Но вот что странно: вся эта огромная толпа хранит мертвое молчание, не движется, лишь легкое волнение пробегает по ней из края в край.

А вот уже и ночь. Спрашивает Махмуд-хан своего управителя:

— Все еще идут?

— Идут, — отвечает Исмаил-ага. — Просто уму непостижимо, сколько их! Как только земля не проваливается под их тяжестью!

— Почему же такая тишина?

— Никто не разговаривает.

— Все смотрят на Гору?

— Нет. Сидят с застывшими лицами, будто дремлют. Иногда даже чудится, что они все умерли.

В темном безоблачном небе висят неподвижные, словно прибитые гвоздями, звезды. Бесчисленно это небесное воинство. А город по-прежнему погружен в безмолвие. Толпа как будто и не дышит.

Всю эту бессонную ночь Махмуд-хан бродил по дворцу и раздумывал. О жизни и смерти. Обо всем роде человеческом и о толпе, окружившей крепость. Казалось бы, их привело сюда только желание видеть двух молодых людей счастливыми. Но это не совсем так. В глубине их сердец — непримиримый гнев. Вековой протест против притеснения. Этот протест пока еще не вырвался наружу, но зреет, набирает силу. Судьба двух молодых людей — и сомненья нет — лишь случайный повод. Трудные времена наступят, народ выходит из повиновения. «Сегодня захватят мой дворец, — думает паша, — а завтра окружают Стамбул, ворвутся в падишахский дворец. За поводом дело не станет. Не сумеем обуздать чернь — никому из нас не сносить головы. Завтра они будут вопить про «жестокый гнет», послезавтра — про «слишком большой налог». А там начнут возмущаться роскошью моего дворца, хлеба требовать. Смотришь, уже скопилась бесчисленная толпа. Безмолвно, неподвижно стоит она, но нет силы, способной с нею справиться. Никакому войску ее не разогнать. Главное — не допустить, чтобы толпа собралась».

В чистом, словно вымытом, безоблачном небе блеснуло утреннее солнышко. Вкатилось на склон Горы, подскочило, снова опустилось и лишь после этого стало быстро подниматься. Никогда в жизни Махмуд-хан не видел подобного зрелища. «Дурное предзнаменование, — испугался он, — уж не близится ли конец света!»

Покинув улей, пчелы долго летают по воздуху, затем всем роем облепляют какую-нибудь ветку. В то утро город походил на такую ветку, облепленную пче-

лами. Повсюду, куда ни глянь, стоят высокие усачи в накидках из козьих, оленьих, жеребьячьих шкур, в остроконечных войлочных шапках, стоят женщины с большими газельими глазами, с тонкими руками; одеты они в разноцветные платья, на головах — платки, на груди — золотые, серебряные мониста.

В полдень взволновалась толпа. Все, как по приказу, повернулись к Горе, подняли глаза к ее вершине. Так и застыли. Никто — ни слова.

Увидел это в окно Махмуд-хан, задрожал.

— Почему они молчат, Исмаил-ага?

— Кто их знает? Молчат. Лишь иногда воздевают руки и молятся.

«Вот так они будут стоять три дня,— пронеслось в голове у Махмуда-хана.— А на четвертый, если не увидят костра, нападут на мой дворец, разрушат его до основания. А костра они, конечно, не увидят. Но, может, дело обстоит не столь плохо? Просто у меня слишком разыгралось воображение?»

— Еще идут, Исмаил-ага?

— Все идут и идут. И откуда только берется такое бесчисленное множество людей? Хотел бы я знать, кто за их спиной.

— Как кто? Да этот нечестивец, не признающий Аллаха,— Караванный Шейх!— вскричал паша.— Они, эти шейхи, всегда были нашими врагами. Если не переманить их на нашу сторону, мы пропадем, Исмаил-ага, все пропадем! В народе у них корни глубокие. Тысячелетние корни. И если мы не сумеем договориться с ними,— тут он показал в окно на толпу,— так оно и будет, Исмаил-ага!

— Мы можем договориться с ними в любую минуту, мой паша.

Замолчал паша, думает: «Что, если мне сейчас уехать со всеми моими женами, детьми, придворными и слугами? Но ведь это может быть воспринято как трусость. Упаси бог, падишахский двор узнает. Как бежать, когда дворец окружен со всех четырех сторон? Проложить себе дорогу мечом? Да разве это возможно!»

— Только бы мне вырваться отсюда,— заговорил он вслух,— всем отрублю головы — и Шейху, и хо-

шабскому бею, всем-всем. Это они виноваты. Отрублю им головы, Исмаил-ага. Вот увидишь, отрублю.

Разгорячился паша. Жилы на шее взбухли. Кричит, вопит, все никак не может успокоиться. Остыл наконец малость, но все повторяет:

— Отрублю им головы. Отрублю. Отрублю. Только бы вырваться отсюда.

Исмаил-ага стоит — спиной к розовой колонне привалился, ждет, пока гнев паши поуляжется.

— И певцы, и кавалджи пришли, Исмаил-ага? — спрашивает Махмуд-хан.

— Тут их целые сотни. И сотни барабанщиков. Все готовятся праздновать свадьбу, — отвечает Исмаил-ага.

— Иншаллах, загорится костер на вершине... Не то... — не договорил паша: стыдно ему стало, что не смог утаить страх. Попробовал было сменить разговор, но осекся, поник головой — и молчит.

Понял Исмаил-ага, что паша раскаивается. А главный советник был человек прямой и откровенный.

— Послушай, паша, — говорит, — нам ли скрывать правду друг от друга! Если эта толпа не увидит костра на вершине, дворец сровняют с землей, а нас всех перебьют. Один только есть способ предотвратить это.

— Какой же, Исмаил-ага? — нетерпеливо спрашивает Махмуд-хан.

— Откажись от своего желания! Выйди к воротам дворца и объяви, что отрекаешься от своего желания. Раз, мол, столько людей хотят счастья моей дочери и ее жениху, не могу, скажи, идти против общей воли. Верните, скажи, Ахмеда, и я сам устрою им свадьбу. Народ будет носить тебя на руках. Тебя будут почитать чуть ли не наравне с Аллахом. Другого выхода нет.

— Не могу, Исмаил-ага. Все подумают, что я испугался.

— Ничего подобного. Плохо ты знаешь народ. Он предполагает во всех только добрые намерения. Подозревать дурное ему не свойственно.

— Ошибаешься, Исмаил-ага. Народ умен, его так просто не проведешь.

— И все-таки послушай меня, паша. Эти люди не

хотя бы разрушать дворец, знают, что могут заплатить головами, но они вынуждены будут это сделать, вынуждены будут убить нас, потому что мы не оставим им другого выхода. Может, Ахмед уже погиб? Может, его поглотила Гора? Может...

— Ты прав, Исмаил-ага, но я не могу отречься от своего слова.

— Пойми же, они тоже напуганы. И только обрадуются, если ты переменишь свое решение. Им и в голову не придет, что мы уступили из страха. Напротив, они будут чтить тебя как святого. Будут возносить твою доброту до небес, складывать дестаны в твою честь.

— Не могу, Исмаил-ага. Легче умереть... Но... но что, если он сумеет добраться до вершины и мы увидим сегодня пламя костра?

— На это нет никакой надежды,— говорит Исмаил-ага.— Гора превратит его в каменного истукана.

— Шейх обладает чудодейственной силой.

— Гора неподвластна его чудодейственной силе, никому не позволит она нарушить целомудрие своей вершины.

— Но, может быть, Ахмед сложит костер где-нибудь пониже?

Исмаил-ага погладил бороду. Улыбнулся, потер руки.

— Ахмед — йигит,— сказал он.— Только смерть может остановить его — больше ничто!

— И я не отступлюсь от своего слова, Исмаил-ага. Паду с мечом в руке. Скажи аскерам, чтобы приготовились к последнему сражению. Постарайся привести сюда и тех, что в казарме.

— Никакого сражения не будет, паша,— сказал Исмаил-ага.— Я знаю, как бывает в таких случаях. Нас просто разорвут на клочки, всех до единого.

— Ну и пусть! — проревел паша.— Передай мое повеление аскерам.

Исмаил-ага понял, что возражать бесполезно, поклонился и вышел.

Уже начинало темнеть. Вся равнина внизу была затоплена людьми. Кое-где звездами пылали костры. А народ все прибывал и прибывал.

Как только пала ночь, все поднялись на ноги и вперили взгляды в вершину Горы. Одним большим сердцем бьются их сердца. Словно света утренней зари, ждут они, не вспыхнет ли Ахмедов костер. Все глаза проглядели.

Томится в ожидании и Махмуд-хан. И он тоже — как и те, на равнине, — мечтает о чуде.

В полночь запели петухи. Тьма стоит непроглядная — лишь вокруг вершины Горы слабо светятся гроздьи звезд. Но вот посветлел восток. В голубых небесах мелькнула утренняя звезда. Странная, похожая на маленький месяц.

В зал — весь потный от волнения — ворвался Исмаил-ага.

— Многие из этих людей уже повернули к дворцу, — доложил он. — Они начинают роптать.

Одна рука Махмуд-хана — уже в который раз — потянулась к мечу, другая — к пистолету с золотой насечкой, с рукояткой из слоновой кости. Но его налившиеся кровью глаза по-прежнему сверлили темноту.

— Надо уступить, паша. Другого выхода нет.

Тяжелыми шагами, вразвалку бледный Махмуд-хан направился к воротам крепости. Около мечети хотел было задержаться, но ноги сами понесли его дальше. Как только он вышел из больших арочных ворот, расписанных прекрасными сельджукскими письменами, его сразу же заметили. Ропот умолк. Все замерли, будто перестали дышать. Махмуд-хан долго смотрел на волнующееся людское море. Затем взошел на земляной вал и громогласно объявил:

— Ради вас я прощаю Ахмеда. И сам устрою его свадьбу с моей дочерью. Ведь вы все этого хотите, не так ли? Сейчас же пошлю за ним своих людей. Если среди вас есть юноши быстрые на ногу, искусные наездники — пусть тоже отправляются. Передайте ему, что я его простил. Он может спокойно вернуться.

Глухо загудела толпа. Покачнулась из края в край, напряглась, словно лук, изготовленный к стрельбе. Но паша и виду не подал, что в душе у него гнездится страх. Сошел с земляного вала и направился к воротам. Толпа следовала за ним в трех шагах, остановилась лишь у самых ворот.

Не успел паша зайти за крепостную стену, как скороходы уже отправились в путь, понеслись-полетели конники за Ахмедом.

Успокоились чуть-чуть люди, разговаривать начали. Загудел Беязид, как потревоженный улей. Кто стоит, кто лениво разгуливает под лучами солнца. И никто не знает, чем себя занять.

Встал кузнец Хюсо на площади, говорит громко: — Наконец-то образумился кяфир. Пронял его, видно, страх. Испугался, что разнесут его роскошный дворец на куски. Вот и пошел на попятную.

Все смотрели на него восхищенными глазами.

— Если бы мы всегда держались вот так, вместе, — продолжает кузнец, — никто не смог бы с нами справиться, только зубы обломал бы. Ни горы, ни шахи не устояли бы против нас. В единстве наша сила.

За его спиной шушукались дворцовые прихлебатели. Только и слышалось:

— Ты же огнепоклонник, враг истинной веры. Тебе-то что, едины мы или не едины.

В ожидании вестей с Горы люди то поднимались с равнины в город, то шли обратно. Некоторые уже возвращались в свои селения. И таких было все больше. Гнев быстро остывал.

Миновал день, наступила ночь. Притихший было глухой, словно из-под земли доносившийся ропот усилился. Лишь некоторые любопытные еще посматривали на вершину Горы. Каждые полчаса, час подходил к окну и Махмуд-хан. Только кузнец не отрывал взгляда от Горы.

— Да помогут ему огонь и все святые! — молился он. — Да пощадит его Гора, да возвратит его целым и невредимым!

Еще один день позади. Наступила последняя ночь. И вдруг пушечным громом загрохотал голос кузнеца. Подхватило его эхо, понесло по склонам. Пошатнулась, задрожала Гора. Заходили ходуном, загудели долины.

Подняли все глаза — и увидели на самой вершине огонек: он то гас, то снова разгорался.

Обрадовались все, закричали, лица — счастливые, сияющие. Заиграли барабаны и зурны. Девушки и пар-

ни стали парами, приготовились танцевать гёвенд. Еще до возвращения жениха началось свадебное празднество.

— Стало быть, Ахмед жив,— сказал Махмуд-хан в своем дворце.— Гора почему-то его пощадила.

— Ахмед — горец, свой человек для Горы,— отозвался Исмаил-ага.

— Нет-нет, причина не в этом. Тут кроется что-то непонятное.

Утром — весь в поту — прискакал Ахмед. Хотел было войти в крепость, но толпа его не пустила — отвела в кузню Хюсо. Ахмед поцеловал ему руку.

— Тебя спасли святые. Да помогают они тебе и впредь! — сказал кузнец и благословил его, осыпав с ног до головы искрами.

Тут же, в углу, стояла Гюльбахар. Ахмед даже не взглянул в ее сторону. Дочь паши была очень огорчена и раздосадована. Почему он не подойдет к ней, не скажет что-нибудь приветливое? Разлюбил ее? Зачем же тогда рисковал жизнью, разжег костер на вершине Горы? Гюльбахар начинала догадываться о причине его охлаждения. Нежность в ее сердце уступала место обиде.

Выйдя следом за Ахмедом, она сказала:

— Ну что ж, пошли.

— Пошли,— откликнулся Ахмед.

Во дворец они даже не заглянули. Празднества в их честь не видели. Руку Караванному Шейху не поцеловали. Сели на коней и ускакали.

Есть на склоне Горы озерцо. Невелико оно, не больше тока молотильного. Цветом голубое-голубое. Каждый год, когда начинается победное шествие весны, здесь — в предрассветный час — собираются все чобаны. Расстилают свои бурки на обломках багряных скал, на медноцветной земле, садятся на землю древней любви, играют мелодию «Гнев Горы». Вечером прилетает белая птица, окунает крыло в озерную синь — и скрывается. Затем к озеру приближается тень огромного коня. И тут же тает. И тогда чобаны прячут кавалы за кушаки и расходятся.

Ахмед и Гюльбахар остановили коней около пещеры над Кюп-гёлем. Вверху и внизу раскинулось много шатров. Из-под их пологов струился слабый свет. Воздух был напоен резким дурманящим запахом — запахом осени. Казалось, будто это гниют яблоки. Глухо и невнятно шептались сухие травы и привядшие цветы.

Ахмед и Гюльбахар привязали коней к большому кусту. Ахмед достал кресало и высек огонь. Гюльбахар принесла несколько охапок валежника. Они разожгли костер и сели друг против друга. Ахмед достал из своей тарбы хлеб и головку зеленого, приятно пахнущего сыра. Ели они молча, потупив глаза.

Когда костер начинал гаснуть, Гюльбахар приносила еще хворосту. Дым ел глаза, но они не обращали на это никакого внимания.

Из дальней долины слышался грозный гул. Это было эхо обвалов. Во все времена года с Горы срываются снежные или ледяные глыбы — и долины громким эхом откликаются на грохот их падения.

Гюльбахар сидела, уткнув подбородок в колени, испуганная и печальная. Вся подобралась, съежилась. Налетела буря, потянуло ледяным холодом. Затем немного потеплело.

Было уже за полночь, а они все сидели друг против друга, глаза — на костер, и ни слова.

Все глубже и глубже пускал корни гнев в сердце Гюльбахар. Наконец не выдержала она, взорвалась:

— Говори же, Ахмед! Какую обиду ты затаил на меня? Говори же!

Ахмед широко открыл глаза от удивления. Он как будто неожиданно увидел старую знакомую, с которой много лет не встречался, — такое у него было выражение лица.

Что ему ответить, он так и не знал. Но ответить было надо. Каждое слово Гюльбахар обжигало как пламя.

Ахмед устремил пристальный взгляд на ее лицо и заговорил, с трудом подбирая слова, медленно и невнятно, как умирающий:

— Какой ценой ты спасла меня, Гюльбахар? Чего потребовал от тебя Мемо? Ведь он же знал — не мог

не знать, что мое освобождение будет стоить ему жизни. И все-таки отпустил меня! Почему? Отвечай, Гюльбахар!

— Конечно же, он знал,— помолчав, сказала Гюльбахар.— Нигде в мире не прощают тюремщиков, отпускающих узников на волю. Это преступление карается смертной казнью. И ни один народ не укроет того, кто его совершил. Все это знал Мемо. Вот почему он бился до конца, вот почему бросился в пропасть.

— Ты посулила ему много золота?

— Нет.

— Обещала подарить роскошный дворец?

— Нет.

— Чем же ты подкупила его? Почему он отдал жизнь ради моего спасения?

— Он ничего не требовал от меня. Ничего.

— Освободил тебя просто так— за красивые глаза?

— Я предложила ему все, чего он захочет. Он ничего не захотел.

— Ты предложила ему все, чего он захочет?

— Да. Но он н и ч е г о не захотел.

Воцарилось безмолвие. Огонь медленно гас. Гюльбахар поняла, что все кончено, Ахмед не простит ее. И ничто не сможет рассеять его подозрения.

Ахмед вытащил чепрак из-под седла и расстелил его посреди пещеры. Бросил под голову охапку пахучего вереска, положил рядом обнаженный меч — при свете костра сталь метала алые искры — и лег, укрывшись чепраком.

Гюльбахар принесла еще охапку сушняка. Подбросила в костер. Высоко взметнулось пламя. Снова и снова всматривалась она в лицо Ахмеда — с восхищением, с обожанием,— никак не могла налюбоваться. Все сильнее терзала ее любовь. И все сильнее становилось отчаяние. «Все кончено, все кончено»,— мысленно повторяла она. Боль тупым ножом резала ей сердце. И она не знала, что делать, куда пойти, у кого попросить приюта. И все сильнее терзала ее любовь. Это ли не настоящая любовь?! Неужто было бы лучше, если б он умер на плахе... А Мемо?..



Гюльбахар, спотыкаясь, вышла из пещеры. Звезды, кружась, падали на склоны Горы и тотчас же взмывали ввысь. Гора то поднималась, то опускалась, а то начинала кружиться вместе со звездами — в одном хороводе. И вдруг она с ужасающим грохотом опрокинулась.

Набрав еще немного хворосту, Гюльбахар вернулась в пещеру. Долго смотрела на Ахмеда. Все красивее становилось его лицо, и она явственно читала на нем прежнюю любовь.

Спит ли он? Погружен ли в мечты? Или же просто измучен до последней крайности? Гюльбахар задыхалась.

Все краше и краше становилось лицо Ахмеда. И все краснее языки пламени.

И вдруг мир закружился вокруг нее. С оглушительными стонами закачались скалы. Заметались звезды. Все вокруг, казалось, было охвачено безумием. Уж не начинается ли светопреставление? — испугалась Гюльбахар. И тут же наступила полная тьма, только лицо Ахмеда сияло с прежней яркостью.

Гюльбахар выхватила кинжал и стала яростно разить им куда попало. Разила и разила, пока не устала рука...

Когда она открыла глаза, уже светало. Теплый ветер разносил острые запахи. На камнях перед собой она увидела Ахмеда. И бросилась к нему с криком: — Ахмед! Ахмед! Не покидай меня, Ахмед!

Вся Гора ответила на ее зов. Задрожала, затрепетала до самых глубин своих подземных. Рухнули, покатались снежные лавины.

Бежит что есть мочи Гюльбахар — Ахмед от нее удаляется. Станет — все равно удаляется Ахмед. И вот уже перед ними Кюп-гёль. И тут Ахмед исчез — как провалился. Села Гюльбахар на медноцветную землю, обхватила голову руками и смотрит на озеро — голубое-голубое.

Иногда в воде мелькает Ахмед, и тогда, широко

разведя руки, Гюльбахар кидается к нему, кричит: «Ахмед! Ахмед!» Вся Гора откликается на ее зов. «Ахмед! Ахмед! — рыдает Гюльбахар. — Будь ты на моем месте, и ты поступил бы точно так же! Хватит тебе прятаться — вернись ко мне!»

Вскипает озеро. Исчезает Ахмед. Нет и Гюльбахар. Белая птица окунает крыло в озерную синь. А затем над водой проносится черная тень исполинского коня.

Каждый год, с наступлением весны, когда все кругом начинает цвести и петь, на берегах Кюп-гёля собираются чобаны со всей Горы. Они расстилают свои бурки на медноцветной земле, усаживаются на землю древней любви и, как только забрезжит утренняя заря, начинают играть «Гнев Горы». А на закате белая птица...

Дженгиз Пунджер

КОНФИСКОВАННАЯ
ЗЕМЛЯ





ГЛАВА ПЕРВАЯ

Пусть сгорит с деньгами вместе
Хозат-бей,
Не уйдет от нашей мести Хозат-бей!
(Из народной песни)



Зеленая арба весело катилась по дороге, оставляя за собой облако пыли. Казалось, отвязи сейчас хозяин от нее двух тощих, поджарых лошадок — она сама покатится дальше.

Дорога вела в горы. Три горы поднимались впереди, одна другой выше. Среди гор затерялось сорок деревушек. Они входили в состав разных нахиё¹. Одни относились к Булдану, другие — к Гюнею, третьи — к Алашехиру... Но все они вместе составляли Кесикбель. Общие обычаи и заботы, общие радости и тревоги роднили их. Местные крестьяне часто называли себя просто кесикбельцами, не упоминая даже названия родного села, словно они жили в огромной деревне, разделенной на сорок частей.

Одна из лошадей споткнулась. Возница тряхнул поводьями.

— Проклятая! Подлая скотина! Только ячмень пероводишь...

Лошадь, словно обидевшись, дернулась и снова стала. Под колесами арбы тихо заскрипел песок. Возница натянул поводья и хлестнул упрямыцу кнутом. Это его успокоило, и он замурлыкал единственную песню, которую знал. Слов было не разобрать.

Арба въехала в ущелье. Мастан огляделся по сторонам. Всякий раз, как он въезжал в это ущелье, его охватывал страх. Три молчаливых каменных исполина

¹ Нахиё — волость, мелкая административная единица в Турции.

смотрели на него. Он начал торопливо нахлестывать вожжами лошадей. Песок кончился, и копыта звонко зацокали по камням.

Сейдали, Дурмуш и Рыжий Осман пристроились на склоне холма. Рыжий Осман достал свою табакерку, отделанную серебром, и привычными движениями начал свертывать сигарку. Вдруг вдаль на дороге появилось маленькое облачко пыли. Рыжий Осман насторожился. Забыв о своей самокрутке, он вскочил на ноги и стал пристально всматриваться в это облачко. Лицо его странно передернулось. Он автоматически водил краем самокрутки по влажным губам.

— Едет...

Сейдали и Дурмуш тоже поднялись, повернулись лицом в сторону ущелья.

— Чтоб он сдох! — отозвался Дурмуш. — Кто знает, какую еще беду накличет на наши головы. От его штук скоро материнское молоко носом пойдет.

— Да не кипятись ты! — Сейдали сплюнул и растер плевков носком бабуша.

— Сейчас бы его и... — начал Рыжий Осман.

— Не кипятись, говорю! Все равно он свое получит.

Сейдали уселся на землю. Двое других продолжали стоять.

— А ну садись! — Сейдали потянул Дурмуша за штанину.

Дурмуш лягнул ногой. Сейдали тянул все сильнее.

— Садитесь, садитесь же, не стоит самим лезть в беду.

Прятели нехотя подчинились, но по-прежнему не отрывали глаз от дороги. Рыжий Осман медленно вытянул из кармана огниво. Долго расправлял трут, потом положил на валун белый кремнь и несколько раз ударил по нему железкой. При каждом ударе в воздухе разбегались веселые искры. Все еще не отрывая глаз от дороги, он поднес трут к сигарке; руки его сильно дрожали, и кончик ее никак не совпадал с трутом. Не замечая этого, Рыжий Осман продолжал машинально затягиваться. Сейдали громко смеялся, глядя на его тщетные усилия.

Самокрутка Рыжего Османа, наконец, задымила. Знакомый терпкий запах горелого трута щекотал ноздри. Рыжий Осман любил этот запах, но сейчас он ничего не чувствовал.

Из всех троих только Сейдали сохранял видимое спокойствие.

— И что он опять задумал?

Рыжий Осман пожал плечами. Смял сигарку пожелтевшими от табака пальцами и щелчком отбросил в сторону.

— Может быть...— и не dokonчил, будто слова застряли в горле.

Дурмуш ослабил завязки чарыков¹. Пошевелил пальцами ног. Он больше не смотрел на дорогу. Ему было вроде бы легче оттого, что он не видит приближения Мастана. На лице его играла блаженная улыбка.

— Может, он дальше проедет,— озабоченно предположил Рыжий Осман.— Мимо нашей деревни.

— Куда ж ему еще ехать? — отозвался Сейдали раздраженно.

Но Рыжему Осману не хотелось расставаться со счастливой мыслью.

— Дальше проедет! Кроме Караахметли, других деревень, что ли, нет? Может, ему надо в Кушорен, или в Яйладжик, или в Дурумлу, или в Мейале. Да мало ли куда!

— Не знаю,— вздохнул Сейдали. Потеребил свои жидкие усики, сдул с пальцев два волоска.

Дурмуш не менял позы и не вмешивался в разговор.

— Поживем — увидим...— задумчиво продолжал Сейдали.— Что толку раньше времени голову ломать!

Рыжий Осман злобно покосился на него.

— Тебе все равно: «Гори земля,— у меня нет ковра...» А у меня этот Мастан в печенках сидит, понимаешь?

— Кто погоняет ишака, тот нюхает его вонь.

Сейдали поднял с земли камешек, со злостью отшвырнул его от себя и плюнул ему вслед.

¹ Ч а р ы к и — крестьянская самодельная обувь.

Осман задохнулся от возмущения, побагровел.

— Ничего умного ты не сказал.— На его лице и шее выступили капельки пота.— Тоже мне друг!

— Ну что ты разошелся, душа моя? Правда всегда горькая. Я ведь тебе уже объяснял, что за человек Мастан.

Осман только вздохнул. Что он мог ответить? Сейдали прав. Не раз они судачили о том, как Мастан отнял землю у Дештимана, Дювера Сали, Юсуфа, Бекира Хаджи. Не раз повторял ему Сейдали: «Открой глаза!»

— Пока ничего не известно,— продолжал Сейдали.— Не горячись. Вот доедет до деревни, тогда узнаем, что у него на уме.

— И то дело,— повеселел Осман.

Светло-зеленая арба Мастана была уже совсем близко. Сейдали хлопнул Рыжего Османа по плечу.

— Шагай-ка ты отсюда. Нечего зря ему глаза мозолить. Еще заподозрит чего не надо!

Осман, ничего не ответив, поднялся и зашагал в гору, покачиваясь, как тополь на ветру. Сейдали вскочил.

— И ты пока не ходи в деревню,— сказал он Дурмушу.— Так лучше будет, поверь мне.

— Будь здоров!

Сейдали закурил «зеленую лягушку»¹ и медленно, припадая на одну ногу, побрел в сторону дороги, по которой приближалась, то исчезая за поворотами, то появляясь вновь, арба Мастана. Сейдали все больше мрачнел. Таяла последняя надежда на то, что арба проедет мимо Караахметли. Он хорошо знал, чем грозил крестьянам приезд Мастана. Да и не было никого в касабе, кто бы не знал этого. Сейдали сжал кулак и в бессильной ярости опустил его на первый попавшийся камень. Потом в слепом гневе пнул камень еще раз ногой. Арба уже миновала последний поворот. Расстояние между ней и Сейдали сокращалось. Но он не ускорял шага. До деревни уже рукой подать...

¹ «Зеленая лягушка» — сорт дешевых турецких сигарет. (Прим. авт.).

— К нам! Так и есть! Чем же мы прогневили аллаха? — бормотал Сейдали.

По привычке он намотал на правый указательный палец прядь волос повыше виска и с силой потянул ее. Это чтобы голова лучше соображала. На пальце остались три волосинки. Он поднес руку ко рту и сдул их.

— Да хранит нас аллах!

Он не хотел верить, что Мастан надолго остановится в Караахметли.

— Отдохнет — и дальше. Пить захотел, только и всего, — успокаивал он себя.

Арба въезжала в деревню. Сейдали заторопился: надо поспеть вовремя, чтобы все разузнать и самому удостовериться, что у Мастана на уме.

— Плохо дело, если эта скотина останется здесь, — рассуждал он сам с собой. — Опять люди сна лишатся.

Он закурил, выпустил изо рта густой клубок дыма, стараясь придать себе беззаботный вид, глубоко затянулся еще раз, потом вдруг бросил недокуренную сигарету и стиснул зубы.

— Поганный лихоимец! И какие еще беды принес ты на наши головы?

Арба замедлила ход. Теперь, чуть прибавив шагу, Сейдали мог бы поравняться с ней. Однако он круто свернул к кофейне. Мастан, вылезая из повозки, увидел его, поздоровался.

— Добро пожаловать, — отозвался Сейдали.

— Спасибо.

— Как доехали?

— Да ничего...

Первым в кофейню вошел Мастан, Сейдали — за ним. Посетители посторонились. Мастан сел к огню.

— Сделай-ка чаю, — обратился он к хозяину кофейни Мусе. — Только чтоб был горячий, как заячья кровь!

— Будь спокоен, хозяин, — отвечал Муса. — Слава аллаху, мы свое дело знаем.

— Такого мастера, как ты, поискать.

— Благодарствую, — угодливо осклабился Муса.

Мастан хохотнул. Такая была у него манера: хихикал, когда чувствовал себя не в своей тарелке. Сдвинув замасленную кепку на лоб, он почесал затылок, повертел в руках пепельницу, стоявшую на столе.

— Ну вот, Муса, и у тебя теперь попьем чайку.

— Надолго к нам, хозяин?

— Уезжать не думаю. Завтра домашние подъедут.

В кофейне воцарилось молчание. Лица побледнели.

— Вот и хорошо,— подхватил Муса, пытаясь разрядить обстановку.

— Место здесь хорошее. И воздух чистый...

— Не по тебе он,— многозначительно сказал Сейдали.— Ты же знаешь, что климат наш вредный для твоего здоровья.

— Что он болтает! — Мастан стукнул рукой по столу.— Мы потомственные земледельцы. Нас никакой климат не испугает.

— Это еще неизвестно,— отозвался Сейдали.

— Я — Мастан, слышишь? — Мастан ударил себя в грудь кулаком.— Открой пошире свои уши! Я — Мастан! Мастан!

— Кто же тебя здесь не знает! — примирительно произнес Муса.

Мастан медленно повернулся к нему.

— Есть тут один такой.

— Что ты, что ты, хозяин...

— Да вот... — Мастан ткнул пальцем в сторону Сейдали.

Муса промолчал.

— Я сорок лет живу в этих горах! — Мастан расшвырял. Его вздумали поучать, давать ему дурацкие советы, «заботиться о здоровье». — Тебя еще на свете не было, а мы уже здесь джигитовали.

— Не сердись, ага,— спокойно ответил Сейдали.— Я это просто так сказал.

Мастан опять застучал кулаком в грудь.

— Ты еще узнаешь, кто такой Мастан! Запомни: пока еще, как говорится, хозяин постоянного двора — я.

— А я только путник, приютившийся на постоянном дворе,— в тон ему ответил Сейдали.

Мастан покраснел от гордости и злобы.

Прошло уже три дня, как приехала зеленая арба. За это время в деревню прибыли жена и дочь Мاستана.

Крестьяне ходили подавленные. Все понимали, что означает приезд этой женщины с растерянным взглядом, ее восемнадцатилетней дочери и двух верзил работников. Ничего хорошего не жди.

— Клянусь, найдется среди нас жертва!

— О, аллах!..

Люди только и делали, что шептались и судачили о приезде Мастана и возможных бедах, которые он привез с собой.

Каждый раз, когда появлялся Мастан, из дома в дом несло: «Конфискация!» Для сорока кесикбельских деревень это было равносильно слову «смерть». Конфискация — это наказание, посланное аллахом. Она переворачивала всю жизнь людей, вторгалась даже в их сны. Она разлучала мать с сыном, жену с мужем. Она безгранично властвовала в Кесикбеле. Она была беспощадна, безжалостна. Она сводила с ума. «Конфискация!» — это слово, как яд, отравляло кровь в жилах.

Все помнили, но никогда не говорили о ней. Стоит заикнуться об этом — крестьяне готовы живьем тебя съесть. Грозный, неумолимый враг эта конфискация. Она косила всех подряд, словно Азраил, ангел смерти, которого рисуют обычно с косой в руках, — косила до тех пор, пока не сгибались все спины, пока во всей Кесикбельской долине не оставалось ни одной улыбки, ни одного веселого лица. Конфискация была увлекательной игрой для тех, кто ее затевал; зато у того, кем играли, кровь стыла в жилах.

Крестьяне все время лихорадочно считали. Днем и даже ночью, проснувшись от кошмарного сна, они продолжали на пальцах подсчитывать, сколько зерен в одном колосе, какой урожай они получают с дёнюма¹, сколько выручат за него... Хватит ли, чтобы спасти поле от конфискации?

¹ Дёнюм — мера земли, равна 919,3 м².

А теперь Мастан, по всему видать, явился в Караахметли надолго. Привезли тюки с вещами, жена его приехала, дочка... Вся деревня притихла в тревожном ожидании.

У Мастана была только дочь, а он всю жизнь мечтал о сыне. Он чувствовал себя обделенным, но никогда никому об этом не говорил. Ни жена, ни дочь Мастана до сих пор в деревне не бывали. Караахметлийцы только слышали о них и представляли их себе толстыми, высокомерными, вероломными — как сам Мастан.

Однако выяснилось, что Зюбейде-ханым, жена Мастана, не прочь подружиться с деревенскими женщинами. Но те сторонились ее, держались замкнуто. Только страх и почтение читала она на их лицах.

Люди из рода Мастана считают своим неотъемлемым правом внушать страх и почтение крестьянам Кесикбеля. Таков неписанный закон. И крестьянин делает почтительное лицо, а в сердце таится ненависть, застарелая, глубокая ненависть, которая не только не затухает, а, наоборот, с каждым днем усиливается. И из всех кесикбельцев сильнее других ненавидят Мастана жители деревни Караахметли.

Эта старая и долгая история, однако все знают ее как свои пять пальцев. Дети рождаются с нею, как с руками и ногами. Они впитывают эту ненависть с молоком матери. История этой ненависти — их повивальная бабка. Мать привычно рассказывает ее своей дочери, отец — сыну, и рассказывают в таких подробностях, будто все произошло только вчера.

Название деревни Караахметли пошло от имени — Караахмет. Мастан и власти всеми силами мешали укоренению этого слова. Официально деревня называлась Кайран, но в Кесикбеле никто не называл ее так. Это официальное название крестьяне настолько забыли, что даже удивлялись, когда слышали его от кого-нибудь.

Караахмет был крестьянином. Он жил еще во времена султанов. Сильный, мужественный и справедливый человек, он считался самым умным не только в своей деревне, но и во всем Кесикбеле. Выручал тех, с кем случалась беда. Никого не обижал, со всеми жил

в ладу, кроме людей падишаха¹. За это его особенно любили.

Однажды нагрянули в Кесикбель сборщики податей на лошадях. У крестьян ни денег, ни хлеба. Какое до этого дело нашему пресветлому падишаху! Караахмет выступил вперед:

— Подите скажите ему, что у нас нет ни куруша². Не убивать же людей за это!

Тут Хафыз-ага, самый важный из всадников, сидевший на самой красивой лошади, замахнулся плетью и хлестнул Караахмета по лицу. Тот силен был, как дэв³, и на земле всегда стоял твердо, словно каменный великан, но такого удара не выдержал — свалился как подкошенный. Потом поднялся, окинул всех взглядом и зашагал прочь.

И полетела стрела из лука — не поймаешь. С винтовкой в руках, на вороном коне ускакал Караахмет через яйлу⁴ в горы Сарымахмут, туда, где и орел гнезда не вьет.

С тех пор беспокойная жизнь настала для Хафыз-аги. Только завидит Караахмет кого-нибудь из его свиты, подъезжает и говорит:

— Передай этому негодяю: пусть не смеет обижать крестьян.

Хафыз-ага бесился от ярости, но сделать ничего не мог. Много людей было послано ловить Караахмета. И все как в воду канули. Цена за его голову росла. От пяти золотых дошла до ста.

А к Караахмету стекался народ. Он стал настоящей грозой для Хафыз-аги, для всех знатных вельмож.

Как-то взял Караахмет себе в отряд писаря — Мустафу Мастана из деревни Чакаллар. Во всем Кесикбеле только он да Хафыз-ага умели писать.

Мустафа Мастан быстро втерся храбрецу в доверие. Однажды на рассвете проснулись в отряде — Караахмета нет. Глядь, и Мустафы нет. В душу людей заполз червь сомнения. Кинулись на поиски и нашли

¹ Падишах — один из титулов бывших турецких султанов.

² Куруш — мелкая монета, одна сотая турецкой лиры.

³ Дэв — мифическое чудовище.

⁴ Яйла — горное плато, служащее летним пастбищем.

возле речки Озюрлюк обезглавленный труп Караахмета. Так и правят с того дня в Кесикбеле те самые сто золотых...

Прокляли крестьяне не только Мастана, но и всю деревню Чакаллар. И чакалларцы отrekliсь от него. Чтобы разозлить любого из Чакаллара, достаточно назвать его земляком Мастана.

Мастан знает эту историю. Оттого-то он и не оставляет деревню Караахметли в покое, строит людям козни, изводит даже по мелочам. Один раз — это было уже во время его последнего приезда — зайдя в кофейню, он поймал обрывок фразы: «В нашем Караахметли...» Тут и началось:

— Кайран надо говорить! Что еще за Караахметли? Или вам не нравится государственное название?

— Так наши деды говорили, — возразил Салтык. — Стало быть, от аллаха это название.

— Посмотрите на этого голодранца — не нравится ему название, которое дало правительство!

— Так уж мы привыкли. Последний человек тот, кто обычаев не уважает. Деревня — Караахметли, а мы — караахметлийцы.

Мастан, тяжело дыша, схватил парня за грудки.

— А если приедет каймакам¹ и спросит, что это за деревня, как ты ответишь?

— Караахметли.

Мастан стукнул кулаком по столу:

— Спроси у любого, каждый скажет тебе — Кайран!

— Пусть говорит, а мы не признаем.

— Аллах свидетель, с вами до белого каления дойдешь! Раз ты не признаешь названия, которое дало государство, это все равно, что ты не признаешь самого государства, понял?

Салтык пожал плечами.

— Кто едет к нам по делу, тот называет нашу деревню Кайран, а свои — Караахметли. Так уж повелось.

— Я вам покажу Караахметли!

Вся кофейня примолкла. Мастан расстегнул две

¹ К а й м а к а м — начальник уезда.

пуговицы на минтане¹ и начал выколачивать наргиле. Он чувствовал себя победителем.

И тут в разговор ввязался Сейдали. За ним уже давно закрепилась слава опрометчивого человека.

— Ага...— начал он.

Мастан волком взглянул на него.

— Ага,— продолжал Сейдали,— мы говорим Юсен, а в городе говорят Хусейн. Так и с названиями.

Мастан положил наргиле на стол.

— Ты что, в материнской утробе научился говорить Юсен?

— Да уж научился...

— Так же научишься и Кайран говорить. Трудно, что ли? Деньги за это платить не надо.

Сейдали не сразу нашелся. Все понимали — он вступил в неравное единоборство. Хватит ли у него смелости продолжать? Но он не отступал:

— Ага, а почему бы тебе не научиться говорить Караахметли, если уж аллах дал деревне такое название?

Мастан вскочил, будто его иголкой укололи. Лицо залилось краской.

— Разбойника...— завопил он,— разбойника ставите выше меня... Выше государства, каймакама, вали...² Выше президента! Еще спрашиваете, почему я против... Это же разбойник! Разве можно его именем называть деревню? Это же позор вам всем на долгие годы! Я вот сообщу каймакаму, узнаете, как идти против государства...

По кофейне прошел ропот возмущения. Что-что, а уж называть Караахмета разбойником — этого никто не мог стерпеть.

— Это ты про кого так говоришь, про Караахмета? — выкрикнул Хасан.

— А ты как думал, дорогой? Не про моего же дядю...

— Упокой аллах его душу! — дружно вздохнули во всех углах.

Мастан забегал по кофейне, запыхтел:

¹ Минтан — верхняя крестьянская одежда.

² Вали — начальник вилайета (губернии).

— А еще мусульманами себя считаете! Мóлитесь за упокой души разбойника и злодея! Он разорвал и убивал людей. Это такой нечестивец, каких свет не видывал!

— Аллаху лучше знать, Мастан.

— Да что вы понимаете в делах аллаха! — Мастан заахал, качал головой. — Будете в аду гореть, это я вам точно говорю. Караахмет — бунтарь, разбойник, мерзавец!

— Не говори лишнего, Мастан, — тяжело поднялся с места Хасан.

— Ты еще будешь меня учить!

— Не говори лишнего. — Хасан отмахнулся от него, как от мухи. — Караахмет — мой прадед. Я не позволю называть его мерзавцем.

Мастан оторопело уставился на Хасана.

— Он мне не позволит! Мерзавец твой Караахмет, мерзавец и есть!

— Ага, ты мне в отцы годишься. Я чту твой возраст. Не лишай меня почтения к тебе!

— Ты сам из бандитского рода! Где уж от тебя почтения ждать, разбойничье семя!

Хасан схватил со стола пепельницу и запустил ею в Мастана. Тот пригнулся, и она врезалась в картину «Прекрасная Фатъма»¹, висевшую на стене. Крестьяне окружили Хасана, усадили в углу. Мастан стоял и бормотал что-то скороговоркой себе под нос. Опомнившись, Хасан вскочил, ринулся к двери и, рывком распахнув ее, вышел.

— Я тебе покажу, нищий ублюдок! — донеслось ему вслед.

3

Снова нам выпала доля злая,
Что с нами станется — я не знаю.

*Кул Халиль*²

С того дня прошло около недели. Хасан сидел в кофейне, опершись на обитый железом стол, и не ше-

¹ Фатъма — по преданию, дочь пророка Мухаммеда.

² Кул Халиль — средневековый турецкий поэт.

велился, словно заснул сидя. Послышался привычный скрип двери. Вошел Мастан, важный, как всегда. Пиджак сзади оттопыривался, и виднелась серебряная рукоятка пистолета.

— Хасан!

Тот даже головы не поднял.

— Что?

— Мне нужно с тобой поговорить.

— О чем?

— Об ипотеке.

Хасан медленно повернулся к Мастану, внимательно посмотрел на него.

— Мы же условились: после урожая. И ты был согласен.

— Не отрекаюсь. Но с тех пор прошло много месяцев, а я от тебя еще ни куруша не получил.

— Вот соберу урожай — будут деньги.

— Не подыхай, мой осел, — новый клевер вырастет, тогда и поешь!.. Ты уже привык считать, что я прощаю долги. А на этот раз придется отдать.

— Иначе заберешь поле?

— Уговор был такой.

— Ну что ж, попробуй. Узнаешь, легко ли у человека поле отнять!

— Ишь ты, еще и запугивает. Мы не в диких горах живем. У нас на все есть закон. Когда он на твоей стороне — я покоряюсь судьбе, когда на моей — покоряйся ты.

— Разве закон на твоей стороне?

— Да вроде бы так.

— Посмотрим!

— Конечно, посмотрим. Я уже сообщил в касабу кому следует.

— Что сообщил? — не удержался Хаджи, внимательно следивший за разговором.

— Чтобы приехали исполнители.

— Ко всем?

— Нет. (Хаджи облегченно вздохнул.) Только к тем, кто не платит долги. (Хаджи проглотил слюну.)

— Это не украсит имя такого почтенного человека, как ты, — не выдержав, вмешался Сулейман Тронутый. — До урожая осталось совсем мало — каких-ни-

будь два месяца. Тогда уж отдадим все как положено, зернышко в зернышко.

— Жди — дожидайся. «Пока ждали — желтое свечи стали».

— Клянусь аллахом, ты же знаешь!.. — горячо заговорил Сердер Осман. — Если бы ты у меня спросил...

— Я тебя и спрашивать не стану.

— Я говорю: спросил бы. Нечестно это. Аллах все видит. В нашей деревне бедняк на бедняке. Одно слово, что хозяева. А зерна в амбарах на три дня не наскрести.

— Вот как! Выходит, я же и виноват, что даю в долг таким голодранцам. Небось трясетесь над каждым курушем, отдавать жалко.

— Мы на чужие куруши не заримся, — отозвался Сердер Осман.

— Тогда верните деньги.

Дверь отворилась, вошел Рыжий Осман. Увидев Мастана, он изменился в лице. Пробормотал приветствие и присел к столу.

— К нам собираются конфискаторы, — шепнул ему Сердер Осман.

— Это правда, ага? — повернулся Рыжий Осман к Мастану.

— Что правда?

— Да то, что говорят.

— А что говорят?

— Конфискаторы! — отчеканил Рыжий Осман.

— Ну и что конфискаторы?

— Собираются к нам...

— Да, приедут. А разве я вас не предупреждал, что долги платить придется? Для чего же существует ипотека, дорогой мой?

Рыжий Осман кашлянул.

— Конечно, долг...

Брови Мастана поползли на лоб.

— А долг, как ты знаешь, надо возвращать.

— Заплатим, ага!

— Чем? Ожерельями ваших жен? — хихикнул Мастан.

— Как соберем урожай, сразу же отдадим долги.

— Я долго слушал эту болтовню. Хватит, сыт по горло!

— Я все отдал тебе, ага, все, что получил в прошлый урожай. Ни одной тряпки себе не купил. Спроси у кого хочешь...

— А у кого я спрашивал, когда тебе в долг давал? Смотрю — плохо человеку. Сделаю, думаю, благое дело. Пусть, думаю, не голодает. Накормлю, думаю, человека, чтобы не помер с голоду... А теперь выходит, мне из-за вас без порток оставаться.

— Аллах тебя добром не обделил...

— Не обделит, если сам не будешь сидеть сложа руки. Я не треплю языком попусту, как вы. Бездельника ни аллах, ни шайтан не любит.

— Это кто же бездельник?

— Вы все.

— У нас материнское молоко носом идет — так работаем! Будь наша земля настоящей землей, давно бы богачами стали. В том-то и беда — бесплодна наша земля, нет ей благословения.

— А как с аукциона пойдет, по-другому заговорите.

— На землю аллаха нельзя сердиться, — сказал Сердер Осман. — Земля не уродит, так никто не наградит. Только ею и живем. Не взыщи, ага! Когда крестьянин разгорячится, сам не знает, что говорит.

— Стоит вашу землю забрать у вас за долги, как вы начнете называть ее и плодородной и благословенной. Эх вы, завистники! Все ваши слова ничего не стоят, а скажешь вам об этом — сразу на дыбы.

— Да что уж говорить... — примирительно произнес Сердер Осман. — Только ведь это наша земля. Скупая, каменистая, а все-таки наша. И хлеб на ней наш, и вода наша.

Мастан обвел всех взглядом.

— Дело не только во мне...

— Стоит тебе слово сказать — и конфискаторы подождут, — возразил Рыжий Осман.

— Я ждал до сегодняшнего дня. Не буду, думаю, наносить удара в лицо. Человеку, который тебе должен, и так стыдно. И хоть бы один пришел ко мне и вернул долг. Куда там!..

— У кого сейчас есть деньги? — отозвался Хаджи.

— Аллах свидетель! Не будь у меня долговых документов, вы бы еще отпираться стали: мол, не брали ничего.

— Клянусь, — ответил Сердер Осман, — не хочу ни одного чужого куруша! Сам аллах не заставит взять. Не зря говорится: пусть у завистника глаза лопнут! Мы не такие. Хватит с нас своей похлебки! В чужие кошельки не смотрим. Ты о нас так не думай.

— А что мне прикажешь думать? Болтать-то вы умеете... А я сужу о людях не по болтовне, а по делам. Как Намык Кемаль сказал: «Зеркало человека — его дела, не обращай внимания на то, что он болтает!»¹ Чем галдеть попусту, деньги бы раздобывали.

— Ты откуда родом, ага? — спросил Хаджи.

— Я здешний.

— Крестьянином себя считаешь?

— Ну да, а то кем же!

— А если так, ты знаешь крестьянскую жизнь. В наших руках деньги больше месяца не задерживаются: тут же расходятся на уплату долгов да на всякие мелочи. Спину некогда разогнуть, только и знаем, что сеять, собирать, отдавать...

— Да что там говорить... — Мастан как будто смягчился.

У крестьян на лицах затеплилась надежда. Хасан поднялся и вышел. Он уже предчувствовал, что будет дальше. Они начнут умолять Мастана. Пойдут на все унижения перед человеком, которого проклинали до этого каждый день. «Руки-ноги твои целовать будем...», «Благодетель ты наш», «Отец наш...», «Не обижай нас, не роняй своего достоинства...», «Кто еще, кроме тебя, нас поддержит!..» Лучше не слушать всего этого. От обиды кровь закипает в жилах!

Так и получилось.

— Джаным-ага², — обратился к Мастану один из

¹ Мастан, хвастая своей «начитанностью», приписывает искаженное изречение «Зеркало человека не речи его, а дела» не настоящему его автору — Зия Паше, турецкому классику XIX века, а его современнику, другому турецкому писателю — Намык Кемалю. (Прим. авт.)

² Джаным-ага — усложненная форма почтительного обращения.

крестьян.— Подождать бы тебе до урожая... Мы бы на тебя молились!

— Ох! — вздохнул Мастан.— А что мне до тех пор делать?

— Ну, ага... Ты уж много лет хлебом промышляешь. Добра у тебя хоть отбавляй...

— Не-е-т.— Мастан высоко поднял брови.— Это так кажется. Недаром говорят: «У большого дома и горе большое».

— Сделай еще одно доброе дело,— взмолился Мелик Джемаль.

Мастан напустил на себя задумчивость, словно и в самом деле принимал решение. Все ждали, раскрыв рты, даже не дышали: вдруг в эту самую минуту шайтан дернет за веревочку... Слышны были только вздохи Мастана да пыхтенье самовара.

Мастан рыгнул. Потом сильно закашлялся.

— Со света вы меня скоро сживете,— произнес он наконец, сплюнув на пол.— С вами неповинную голову потеряешь ни за грош.

— Решай, хозяин.

Кашель прекратился, Мастан махнул рукой.

— Ладно.

Крестьяне ответили ему радостным гулом.

— Только Хасан этот...— договорил Мастан.— Он в печенках у меня сидит. Он пусть платит сейчас же. И это слово мое — последнее. Будь хоть конец света, поднимись мой отец из могилы — не откажусь от своего слова!

— О аллах, аллах...— зашептались в толпе.

Мастан обежал взглядом лица крестьян.

— Вы все слышали, что он здесь говорил?

Никто не отвечал.

— Так вот, кто меня слышит, пусть запомнит: я Хасану еще сполна отплатчу. Клянусь!

— Верно говоришь, хозяин,— поддакнул Муса, сидевший у очага.

Сердер Осман и Рыжий Осман покосились на него.

— Нет, я ничего,— вздрогнул Муса.— Он — ты же видишь, хозяин,— немножко погорячился. Да тебе виднее...

Сердер Осман опять повернулся к Мастану.

— Пусть добрым делам не будет конца на земле... Не трогай его. Дай человеку собрать урожай.

— Клянусь, — Мастан напряженно выпрямился. — Клянусь великой клятвой: пусть моя мать будет последней шлюхой, если я отступлю. Я Мастан. Со мной схлестнулся — пиши пропало!..

— Уступи, ага, — мягко сказал Рыжий Осман. — От этого никому проку не будет.

— Даже собака не укусит твою руку, если дашь ей кусок лепешки. Нельзя с черной душой стучаться в дом, где тебе подают хлеб.

Все примолкли, боясь еще больше рассердить Мастана, лишь переглядывались исподтишка.

— Ох! — вздохнул Мустафа. — Что ни выпадает на твою долю — все надо терпеть.

— Передай ему... — сказал Мастан.

— Что передать?

— Что Мастан... требует долг обратно.

— Весь?

— Весь.

— Передам, ага.

— Жду до вечера.

— Мало времени даешь, — сказал кто-то.

— Принесет — его счастье, нет — пусть пеняет на себя.

— До вечера ему столько денег не найти, — сказал Мустафа.

— Это уж его дело.

— Хоть бы дня два.

— Жди, пока он снесет золотые яйца!

— Поедет в город, займет, ему помогут... — сказал Рыжий Осман.

— Как же! — засмеялся Мастан. — Вы думаете, все такие, как Мастан? Да кто даст такой паршивой собаке хоть куруш?

— Ты же знаешь... — начал Сейдали.

— Что?

— Уважают Хасана в касабе.

Мастан отмахнулся от него, как от назойливой мухи.

— Болтовня! Кто это станет уважать голодранца!
— Дай ему два дня, а если уж он тогда не добудет...

— К вечеру,— отрезал Мастан.— Чтобы к вечеру были деньги. Никаких отсрочек!

Он поднялся и вышел.

Остальные не двигались с места, словно надеялись услышать друг от друга что-нибудь утешительное. Что они скажут теперь Хасану? «Мы спаслись, а ты пропал»?

Хасан всем помогал в беде. Хасан такого бы не сделал. Хасан не стал бы спасать свое поле за счет других.

— Вам везет, опять штаны целы остались,— проговорил Муса.

— Да, зады свои спасли,— горько улыбнулся Сердер Осман.

— Иди делай свое дело! — вдруг заорал на Мусу Рыжий Осман.— Только и умеешь, что языком молоть.

Муса отошел.

— Нельзя этого допустить,— продолжал Сердер Осман.— Неладно мы как-то поступили. Злую шутку сыграл Мастан с парнем. Да я в лицо не смогу Хасану смотреть после этого.

— А чем мы можем ему помочь? — спросил Рыжий Осман.

Мустафа побарабанил пальцами по столу:

— Как, «чем можем»? Мы много можем. Только испугались за свои душонки, вот в чем дело.

— Своя душа ближе...— согласился Сердер Осман.

— Хасану такое и в голову бы не пришло!

— А дразнить Мастана было лучше? Чтобы нам всем пропадать?

Сердера Османа прямо с души воротило. Пальцы его выбивали нервную дробь. Губы кривились.

Вошел Хасан, невольно покосился на то место, где сидел Мастан.

— Ушел?

— Ушел.

— Хорошо.— Хасан уселся на стул.

Рыжий Осман тихонько позвал его. Хасан медленно повернулся.

— Чего тебе? — Голос его звучал ровно, спокойно.

— Ты знаешь, что сказал Мастан?

— Нет...

Рыжий Осман огляделся по сторонам.

— Мы его упрашивали по-всякому, но он уперся на своем...

— Уперся так уперся,— ответил Хасан безразличным голосом.

— Говорит: до вечера.

— Деньги?

— Да,— решил Рыжий Осман.— Все требует.

— Хорошо.

В кофейне воцарилась тишина. Короткое слово прозвучало так, будто Хасан хотел сказать: значит, вы этого желали. Если бы он стал ругаться, обвинять их! Тогда они смогли бы защищаться. Рассказали бы ему все как было. Но Хасану словно и дела до этого нет. «Хорошо!» — и все тут.

Сердер Осман повернулся к нему.

— Послушай, друг, он ведь никого слушать не желает.

— И пусть его...— ответил Хасан.— Не расстраивайся.

— Я ему долго доказывал, уговаривал, а он заладил, что ты его враг. Большой клятвой поклялся.

— Да, борозда получилась кривая,— пробормотал Хасан.

— Нужно найти выход,— сказал Рыжий Осман.— Попросим его немного отсрочить.

— Чему быть, того не миновать,— ответил Хасан.— Рано или поздно это должно было случиться.

Сердер Осман не успокаивался.

— Мы... Так люди не делают. Мы забыли тебя, спасая свои зады. За свои поля дрожали, а тебя предали. Нехорошо получилось...

— Все понятно — своя жизнь дороже,— отозвался Хасан.

— А разве ты сам так думаешь? Ты бы так не сделал. Нет, нетвердые у нас сердца. Трусливые.

Мы обязаны найти мазь для твоей раны. Наш долг теперь — выручить тебя.

— Не горячись, не порть свое драгоценное здоровье. Аллах и об муравье печется, а меня и подавно в беде не оставит. Как-нибудь обойдусь с его помощью.

— Поверь, у нас еще есть совесть. Не смотри, что наши рты на замке, зато сердца открыты. Мы найдем тебе деньги.

— Я не возьму у вас ни куруша. Пускай хоть все отнимает — не боюсь. Коль выносят барабан, то и зурну вместе с ним....

— Вай, вай! — продолжал сокрушаться Сердер Осман. — Загубили мы свои души. Не по совести это...

Хасан поднялся и ушел, не желая продолжать этот разговор. Сразу после него в кофейню вошли двое с портфелями в руках. Один в коричневом пальто, другой в темно-синем.

— Конфискаторы, — прошептал Рыжий Осман.

— Ах, ты... — вырвалось у Мустафы. — Скажи как быстро!

Приезжих пригласили присесть, но они торопились — возле кофейни их ожидала упряжка.

— Где нам его найти? — обратились приезжие к крестьянам.

— Кого? Хасана? Сейчас подойдет... — ответил Мустафа.

— Ну и работенка у вас, — сказал Сердер Осман. — Собирать стоны бедняков. Кто мощну набирает, а кто проклятья получает.

— Судьба, — ответил человек в коричневом.

— Мы люди подневольные, — добавил второй. — Наше дело — отнимай да продавай...

— Вот вы сегодня должны конфисковать поле у человека. Но если вам рассказать, в чем дело, у вас сердце кровью обольется. На всю жизнь зарок дадите больше этим не заниматься.

— Что до меня, земляк, — снова отозвался первый чиновник, — то ни у кого бы и волоса не тронул из-за денег. Но хозяева наши, сам знаешь, народ безжалостный!..

— Да-а... — вступил в разговор Рыжий Осман. —

Благослови аллах ваши души! Недаром говорят: «Где много слов — там и ложь, где много денег — там и злоба».

Тут уж всех прорвало. Сердер Осман старался с самого начала направить беседу так, чтобы она коснулась Хасана, но язык не слушался его.

— А что бы вам приехать не сейчас, а дня через два, — осмелился он наконец.

— Такими делами не шутят, это не игрушки, — строго отвечал чиновник.

— Посей доброе зерно — снимешь добрый урожай. Сделайте и вы доброе дело.

— Мы-то понимаем...

— А раз понимаете, за чем дело стало?

— Видишь ли, закон на то есть. Против закона не попрешь.

— Эх, брат! Это всем известно. А вот у меня дядя в Анкаре — тоже начальник. Такой мудрый человек — все до тонкости знает! Ты понимаешь, к нему в кепке и войти нельзя — вот какой начальник. Так он мне не раз говорил: «Закон — законом, а всякому делу можно разный ход дать».

— Ему хорошо рассуждать — он начальник. А если ты чина не имеешь, тебе живо хвостá накрутят.

— Значит, чтобы решать, что закон позволяет, а что нет...

— Нужно быть начальником. А мы люди маленькие.

— Все за нас решают, — сокрушался Сердер Осман. — Чтоб им с их окаянной премудростью пусто было.

Итак, согласно закону, поле Хасана, ограниченное с запада речкой Чикрыкжи, с востока — полем Хаджи Моллы, с севера — горой, с юга — дорогой Ахлатлы — Икиармутлу, теперь в счет долга должно было перейти в пользование Мастана.

Крестьянам удалось собрать половину денег, которые должен был Хасан. Но он заупрямился, не хотел брать их деньги. Его все-таки уломали. В результате он остался должен Мастану сто лир. Их разрешено было уплатить после сбора урожая. Чиновники уехали, и в Караахметли наступило затишье.

На виноградниках, неподалеку от Караахметли, по вечерам вспыхивают огоньки. То в одну, то в другую сторожку пробирается осторожная тень, освещая себе путь слабым лучом фонаря. Владельцы этих виноградников живут в касабе, а переселяются сюда летом, как только наступают сроки сбора винограда. Но пока еще до этого времени далеко. Виноградины еще величиной с чечевичное зерно. Поэтому летние домики стоят пустые. А огоньки, вспыхивающие по ночам, говорят об очередной холостяцкой пирушке — сюда обычно удирает из города молодежь, чтобы повеселиться.

Жители Караахметли любят слушать доносящиеся с виноградников песни. Подкрадываются поближе и слушают...

Как-то поздно вечером в виноградниках снова замерцал огонек, но какой-то робкий, словно бы невеселый. Салтык первый заметил его.

— Опять гулянка.

— А ты почему знаешь?

— Видишь, огонь?

— Ну и что? — возразил Омер. — Это пастух зажег.

— Пойдем посмотрим?

— Как же! Станут люди выпивать при одном фонаре.

— Прошлись бы... встряхнулись... — не унимался Салтык.

И уговорил. На виноградники пошли целой компанией — Эфе Кязым, Хасан, Мустафа, Омер, Сердер Осман, Рыжий Осман...

— Вот увидите, эти, из касабы, наверняка с собой и танцующую бабу привезли, — убеждал Салтык.

— Ну да, — сомневался Хасан. — Сторож там сидит, вот кто.

Перелезли через ограду, проникли в виноградник. Теперь нужно было держать ухо востро: можно напороться на собаку. Эфе Кязым не выдержал, вернулся домой. Остальные двигались молча, стараясь не шуметь.

Свет, на который они шли, оказался огнем небольшого костра. Гулко потрескивая, горели стебли черто-

полоха. В сумерках около костра маячили две тени, потом разом сели к огню и больше не шевелились.

— Женщина там, глянь-ка,— прошептал чуть слышно Мустафа.

Это разожгло любопытство. Всем захотелось подойти поближе, но Хасан остановил товарищей.

— Совсем не похожи на городских,— заметил Сердер Осман.

— Видно, крестьяне.

Женщина сидела поодаль от мужчины. Оба смотрели в огонь. Мужчина оказался безбородым парнишкой. Глаза его так и сверкали в темноте, будто две звезды.

— Тут что-то не так,— прошептал Мустафа.

— Слышь,— обратился Рыжий Осман к Хасану,— непростое дело-то, а?

— Нет тут ничего особенного,— пытался задержать товарищей Хасан, но его уже никто не слушал.

Все сгорали от любопытства.

Увидев людей, парень выпрямился и сжал в руке палку.

— Здравствуйте,— сказал Рыжий Осман.— Мы на огонек прибрели. Просто так, без всякой задней мысли.

Парень не выпускал палки из рук, глядел настороженно.

Рыжий Осман шагнул еще ближе.

— Да вы не бойтесь. Может, вам помочь чем нужно?

Парень стоял в нерешительности, все еще сжимая в руках палку. Девушка съежилась в комочек. На лице ее застыл испуг. Огромные, широко раскрытые глаза, не мигая, смотрели на незнакомых людей.

— Твоя жена? — спросил Сердер Осман, кивая в ее сторону.

Парень не ответил. Было видно, что вопрос ему не по душе.

— Если кто-нибудь вас заметит, быть беде. Это виноградник Сыддыка, а Сыддык — самый пакостный на свете человек. И жмот к тому же.

— Мы ничего здесь не трогаем,— ответил парень.

Девушка отодвинулась еще дальше и потупила глаза.

— Да я вовсе не к тому, друг,— востепенулся Рыжий Осман.— Что с того, если вы поживете здесь несколько дней. А только знать тебе про него надо. Это такой горлодер. Чуть что — скандал затевает. Если увидит вас, такое устроит...

Хасан молча сел к огню. Парень поглядел на него уже спокойней.

— Ну-ка,— наклонился он к девушке,— поди посиди в сторожке.

Она сверкнула в темноте огромными глазами, поднялась и отошла.

Парень опустил на землю возле костра.

— Садитесь, поговорим.

Все сразу сели, будто только этого и ожидали.

— Да-а...— протянул Сердер Осман.— Чтобы узнать друг друга, зверям надо обнюхаться, а людям поговорить. А ты не из наших будешь?

— Из Дымбазлара.

Все разглядывали незнакомца. Худощавый, с нежной кожей, черными волосами и резкими чертами лица, выглядел он лет на двадцать пять.

— Только что из армии,— сказал он, глядя на свои солдатские сапоги.— Вот, ношу еще...

— Мы не проверять тебя пришли,— засмеялся Хасан.— Нам-то что?

Парень тоже улыбнулся. Он сразу посветлел лицом, похорошел.

— Мы давно друг друга знаем. Она невестой моей была.

— Увел, значит? — спросил Мустафа.

— Ее выдавали за другого, она хотела за меня. Вот мы и убежали.

— Когда две души сливаются в одну, то и сарай дворцом становится,— прищелкнул пальцами Омер.

— Молода она еще,— откровенничал парень.— Иначе разве б мы убежали? А теперь вот приходится скрываться.

— Беда! — поддержал Омер.— Такой уж возраст. А коли попадетесь, тюрьмы не миновать...

— Кому какое дело, раз она идет с ним по доброй воле?

— Не положено, брат. Все решают отец и мать. Стоит им только кашлянуть — ты и штанов не унесешь.

— Мы уже два дня здесь прячемся, — вставил парень.

— А мы только сегодня заметили огонь! — удивленно воскликнул Рыжий Осман.

— Вчера не зажигали... — ответил парень. Он помолчал, потом добавил: — А сегодня замерзли, проголодались...

Хасан достал пачку сигарет и протянул ему. Незнакомец машинально взял одну, прикурил от костра, потом вдруг словно очнулся:

— Спасибо!

— Не за что, — ответил Хасан и положил ему на колени всю пачку. — Надо принести вам чего-нибудь поесть.

— Мы сходим, — поднялись Мустафа и Омер.

— Что ж. Принесите, да побольше, чтобы и на завтра хватило, — отозвался Хасан.

— Да вы за нас не беспокойтесь. Завтра мы уйдем. Не вечно же нам здесь оставаться, — сказал парень.

— Уйти всегда успеете, — возразил Хасан. — Надо несколько дней переждать.

— А вдруг заметят?

— Сюда никто не ходит. Днем сидите в сторожке. А по ночам, когда стемнеет по-настоящему, выходите. Мы будем вас навещать. Может, что понадобится.

— Да зачем вам беспокоиться...

Хасан помешал в костре палкой.

— Человек человеку всегда нужен. Свалится как-нибудь и на нашу голову беда. Тогда ты нас выручишь.

— Помилуй аллах. Ладно, теперь мы с вами по гроб братья.

Девушка слушала их, сидя на пороге сторожки. Лица ее в темноте видно не было, только глаза сверкали.

— Ну смотри, — наказывал Сердер Осман. — Повесь серьгу на ухо¹. Каждому встречному не доверяйся. Всякое может случиться...

— Да это понятно.

Первоначальная сдержанность и холодок в отно-

¹ Поговорка, означающая: «Запомни хорошенько».

шениях растаяли. Они разговаривали свободно, словно давно знали друг друга. Парень потряс толстой палкой.

— Для такого случая я вот и это припас. Если придет кто...

— И правильно сделал.

Парень помешал палкой в костре.

— Увидел вас, так сердце и подскочило. Смотрю — пять человек. Одной палкой с пятерыми не сладишь. Раза два ударишь — и сломается. Но, слава аллаху, вы оказались моими спасителями.

— У нас народ хороший, — пояснил Сердер Осман. — И все же нужно держать ухо востро.

Закурили еще по одной «зеленой лягушке». Помолчали немного. Все уже было сказано. Хасан поеживался, поглядывал в сторону девушки. Дул резкий ветер.

— Холодно ей там, — сказал он парню. — Пусть она будет нашей названной сестрой. Позови ее поближе к огню.

— Хатче, — окликнул юноша, — иди сюда.

Девушка не шевельнулась.

— Не бойся, иди, — повторил он. — Это свои люди.

Ничего не ответив, девушка послушно встала, робко приблизилась к огню, села в сторонке.

— Видать, устали, — обратился к ней Сердер Осман.

— Всю ночь шли, — ответил за нее парень, — от вечерней молитвы до утренней. Все по горам да по горам.

— И поесть ничего не захватили?

— Как-то в голову не пришло. — Он смущенно потупился.

Сердер Осман расхохотался:

— Верно говорят, что любовь человеку ума не прибавляет.

Все засмеялись. Девушка подвинулась поближе к огню.

— В молодости так бывает, — философски заметил Рыжий Осман. — С небес прямо на землю...

Девушка, должно быть, сильно продрогла — тянулась к костру.

— Как себя чувствуешь, сестрица? — обратился к ней Хасан.

Она промолчала.

— Стесняется, — пояснил парень.

— А тебя-то как звать, друг? — опомнился Сердер Осман.

— Хусейн.

Вернулись Мустафа и Омер. Они принесли целый мешочек еды и положили его возле огня.

— Что ж, пора идти, — поднялся Хасан. — Мы еще придем. Живите тут спокойно.

— Смотрите, здесь полно скорпионов. — крикнул уже издали Рыжий Осман. — Будьте осторожны.

Как только шаги гостей затихли, девушка торопливо развязала мешок и протянула Хусейну свежую лепешку. Оба набросились на еду.

На другой день перед самым вечерним намазом Хасан и Рыжий Осман снова отправились на виноградник. Захватили с собой сыр, лепешки и табак. Приблизившись к сторожке, остановились: оттуда доносились не те голоса, которых они ожидали. Друзья постояли, прислушались. Голоса были мужские.

— Что-то случилось... Да защитит их аллах! — проговорил Хасан.

Рыжий Осман ничего не ответил. Оба прибавили шагу. До сторожки оставалось совсем немного. Костер горел на прежнем месте. Но возле него стояли мужские фигуры. Ни девушки, ни Хусейна не было видно. Друзья остановились. Однако те, у костра, уже слышали их шаги.

— Кто там?

Хасан узнал голос Хаджи Живодера, работника Мастана.

— Мы.

— Кто это «мы»?

— Осман и Хасан.

— А ну-ка, идите сюда.

Пришлось подойти поближе.

— Да защитит вас аллах! Чего это вас сюда ночью занесло?

— А вам что за дело? — насторожился Хасан.

Рыжий Осман примирительно сказал:

— Несли Сердери Осману поесть, да вот завидели огонек. Подходим — костер горит. Решили узнать, в чем дело.

— Нечего тут узнавать. Ступайте своей дорогой.

В это время из сторожки послышался голос Хусейна.

— Добро пожаловать...

— Ах, так вы вздумали мне на мозги капать!.. — заорал Хаджи на Хасана.

Убедившись, что пришли друзья, Хусейн показался из сторожки.

— Что это за разбойники? — пожаловался он Хасану. — Привязались ко мне...

— Шли бы вы своей дорогой, — повернулся Хасан к Хаджи Живодеру.

— А ты тут при чем?

— Уйди — лучше будет!

— Еще указывать мне будешь, кобель шелудивый!

— Ты погоди, не расходись. Зря язык-то не распускай!

Хаджи носком бабуша подтолкнул ветку в огонь.

— Баб по сараям держать — это вы умеете, а хозяину платить — так вас нет?

— Никого мы не прячем. — Хасан бросил в огонь охапку хвороста.

— А эта девка? — скривился Хаджи. — Я ее, что ли, сюда приволок?

— Она обручена...

Хаджи и ухом не повел.

— С тремя сразу?

— Ты ври, да не завирайся!..

Хусейн сжал кулаки.

Рыжий Осман встал между ними.

— Ну что ты взвился, Хаджи? Этот парень обручен с девушкой, — пояснил он, — сбежали они. Коли ты человек, так помоги. А если не хочешь помочь — хоть не обижай.

— Знаем мы эти сказки...

Спутник Хаджи молчал. Хасана трясло как в лихорадке. Руки и ноги не слушались его.

— Лучше уходите с миром,— наконец выдавил он.— У нашей деревни добрая слава. Пока еще никто в нашем крае не обижал путников.

Напарник Хаджи захохотал.

— А ты кто такой? Староста? Тоже мне начальник!

— Люди идут себе, куда им надо. Чего вы привязались к странникам аллаха?

— Смотри-ка! Странники аллаха... Праведники... Знаем мы таких праведников. Удирает — и бабу с собой тащит.

— Что тебе сделала девушка? Сестра она тебе или жена? И вообще при чем ты здесь?

— Интересно мне, что она за птичка. Когда узнаем, тогда и поймешь, при чем я здесь.

Хусейн бросился на Хаджи. Рыжий Осман и Хасан еле удержали его.

— А ты потише, потише,— приговаривал Хаджи.— Видали мы таких.

— Убирайтесь отсюда! — крикнул Хасан.— Все вашему хозяину расскажу! Он по головке не погладит.

— Передай ему привет,— издевался Хаджи.— Не передашь — обижусь.

Хасан кивнул Рыжему Осману.

— Ты посмотри за ними, а я схожу к Мастан-оглу.

— И жандармов не забудь позвать,— вставил Хаджи.— Вот и проверим, что это за люди.

Хасан приостановился. Как ни был он возбужден, а на миг задумался: что он ответит, когда его действительно спросят, при чем тут он сам? Может, его вмешательство только повредит Хусейну и Хатче?

Но стрела была уже пущена из лука.

«Что они сделают влюбленным? — успокаивал он себя уже на ходу.— Если даже жандармов позовут, молодые всегда успеют удрать». Шаги его мягко шуршали в темноте.

Потом он начал ругать себя: «Эх, лучше бы я Рыжего Османа послал, а сам остался! Ему там с ними не справиться».

Занятый своими мыслями, он не заметил, как оказался прямо перед домом Мастана. Он остановился.

Что он скажет, сумеет ли все правильно объяснить? Со злости ударил сильно кулаком в дверь. Рука за- ныла.

— Кто там? — раздался женский голос.

— Это я — Хасан. Хозяин дома?

— Отца нет.

— А где он?

— Не знаю, еще не приходил.

— Есть у вас такой Хаджи... — начал Хасан нерешительно.

Если бы перед ним был Мастан — другое дело. А тут за толстой дверью стояла и слушала дочь Мастана. Стоит ли ее посвящать в это дело?

— Что случилось с Хаджи?

— Там в виноградниках, в сторожке... В сторожке...

Слышно было, как девушка подошла ближе к двери.

— Что он сделал в сторожке?

Голос звучал совсем рядом. Хасан преодолел смущение.

— Один парень из соседней деревни... убежал с одной девушкой... В винограднике Сыддыка их увидел Хаджи... Ну и пристал к ним... Вот я и хотел сказать...

— Ах, негодяй!..

Девушка медленно приоткрыла дверь. В руке у нее был фонарь.

Хасан уже несколько раз видел дочь Мастана на улице. Но ему никогда не приходилось сталкиваться с ней лицом к лицу. «Красивая», — подумал он.

Девушка тоже внимательно посмотрела на него.

— Да отца-то ведь нет.

За спиной девушки показалась ее мать.

— Вот-вот, что я говорила! — вмешалась она. — Вечно этот Хаджи лезет, куда его не просят. Никого не признает. Ни стыда, ни совести у человека. А наш, должно быть, у старосты. Он еще днем собирался к нему. Может, туда заглянете?

Хасан замялся.

— Он со мной на людях, пожалуй, и говорить не станет. Мы с ним на днях в кофейне немного повздорили.

В стороне слышались шаги и голос Хаджи.

— Что случилось, сестра?

— А-а! Значит, одумались, ушли? — Не выдержал Хасан.

— Ты тоже хорош! — заорал Хаджи, увидев его. — Собрался защищать гулящую девку...

— Еще раз тебе говорю: такими словами не бросайся, — оборвал его Хасан.

— Заташили девку в сарай, а потом о ее чести вспомнили...

Хасан решительно шагнул к Хаджи.

— Ты себя со мной не равняй. Мое тесто замешано на чистой муке. Чем угодно поклянусь, худого я не замышлял. А помочь путникам у нас еще никто не отказывался...

— Это неважно, — решительно сказала жена Мастана. — Сколько раз тебе говорили, Хаджи, не в свое дело не суйся!

Хаджи растерялся. Он никак не ожидал, что хозяева будут против него.

— Да мы так, сестра... Гуляли просто.

Дочь Мастана повернулась к Хасану.

— У них только и забот, что устраивать везде скандалы. А вы, Хасан, заходите к нам, выпейте чашечку кофе — отец сейчас придет. Обо всем ему и расскажете.

— Нет, меня Рыжий Осман ждет... Он там, в сторожке.

— Мы вас так не отпустим, — поддержала дочку Зюбейде-ханым. — Раз уж пришли... Сейчас и муж подойдет.

Хасан подчинился, вошел в дом.

— Исмаил, — обратилась хозяйка к человеку, который молча стоял рядом с Хаджи, — хозяин у старосты сидит, сходи позови его.

Парень отправился к старосте, остальные вошли в дом. Девушка предложила Хасану сесть. Тот чувствовал себя как на иголках. На душе было скверно.

— Алие, поди-ка приготовь кофе, — распорядилась Зюбейде-ханым.

Девушка вышла. Хасан только сейчас узнал, как ее зовут.

— Вы здешний? — спросила хозяйка, внимательно разглядывая Хасана. — Мой дед тоже из этих мест.

— Я сын Халила-аги из рода Караахмета, — ответил Хасан, и в голосе его прозвучала гордость.

— Пусть земля ему будет пухом! С нашими он не очень-то уживался, а все же я слышала о нем много хорошего. Упокой аллах его душу!

— Благодарствуйте.

— Твоя мать жива-здоровая?

— Жива, слава аллаху, только вот часто болеет.

— Что с ней?

— Слаба стала. С ног валится. Весь дом на ней.

— Тебя, значит, еще не женила?

— Да где там! Чтобы жениться, деньги нужны.

— Все будет со временем. И деньги будут. — Женщина вздохнула.

— Хорошо бы!

Вошла Алие с расписным стеклянным подносом в руках.

— Пожалуйста, — подошла она к Хасану.

Едва Хасан взял чашку, отворилась входная дверь.

— Отец пришел, — сказала Зюбейде-ханым.

Хасан невольно поднялся.

— Сидите, сидите, — подбодрила его Алие.

Она совсем не походила на деревенскую. «Даже в касабе девушки не такие, — подумал Хасан, усаживаясь на прежнее место. — Наши, деревенские, дикие, пугливые, разговаривать стесняются».

Мастан растерялся, увидев Хасана в собственном доме. Глаза у него забегали.

— Доброго здоровья!

— Твои опять кашу заварили... — сразу начала Зюбейде-ханым.

Мастан, наконец, посмотрел на Хасана прямо.

— Подрались, что ли?

— Нет, — ответил Хасан, — драки не было.

— А все остальное — ерунда!

— Лезут не в свои дела... — продолжала женщина.

— Что-что?

— Да тут один парень из другой деревни...— начал Хасан.

Зюбейде-ханым одним духом dokonчила:

— ...убежал вместе с девушкой и спрятался в виноградниках. А эти к ним привязались.

— Что ж! С бродягами разговор короткий.

— Да ты послушай...

— А тебе что там надо было? — повернулся Мاستан к непрошеному гостю.

Хасан весь сжался и ничего не ответил, словно его уличили в чем-то постыдном.

— Ничего...— выдавил он наконец.— Прошлой ночью мы увидели там огонь, думали, какая-нибудь пирושка. Смотрим — двое сидят. Продрогли и голодные... Собрали им кое-что поесть. Сегодня тоже решили провести. А вышло вон как... Мы тут ни при чем. Только помогли немного людям.

— Для властей это не ответ! Да-а... Ничего не попишешь. Случилось так случилось!

Хасан искал глазами, куда поставить опорожненную чашку. Алие, заметив это, быстро подскочила к нему.

— Пейте на здоровье. Еще налить?

Хасан, совершенно растерянный, ничего ей не ответил. Наконец он поднялся:

— Ну, я пошел.

— Посиди, посиди еще,— замахал руками Мастан.— Это ничего, что мы иногда ссоримся, я ведь тебя люблю.

Хасан промолчал, посидел еще немного, потом решительно встал.

— Заходи,— бросил Мастан ему вдогонку.— По-толкуем...

СВХ-м. соток

Все вроде бы обошлось благополучно. Слава аллаху, никто, кроме домашних Мастана, не узнал, что в виноградниках скрывается девушка! Беглецы продолжали жить в сторожке. Хасан и его приятели навеща-

ли их. Никто их теперь не беспокоил. Но у Хасана на душе кошки скребли.

Через несколько дней в деревню вдруг приехали жандармы — двое рядовых и унтер-офицер. Они направились прямо к старосте.

— Из Дымбазлара похитили девушку. Необходимо обыскать виноградник Сыддыка.

Староста растерялся. Откуда в касабе с такой точностью знают, где беглецы?

— Не гневи аллаха! Почему только этот виноградник? Или тебе духи нашептали?

— При чем тут духи? — отвечал старший из жандармов. — Ведь мы не зря столько лет этими делами занимаемся.

Обшлагом кителя он потерял свои нашивки на рукаве — там красовалось пять унтер-офицерских красных полосок.

Староста не нашелся что ответить.

— Что ж, пошли, — только и сказал он.

Тронулись в путь. Впереди шел староста, позади жандармы верхом. Староста всю дорогу сокрушался.

— И кто ж это донес, о аллах? Кто вам сказал?

— Птицы, — смеялся унтер, — птицы начирикали.

Староста продолжал чуть слышно приговаривать:

— Какая-то вошь оставила свой помет... Да лишит аллах окающую своего благословения!

Крестьяне, завидев старосту в обществе жандармов, удивленно переглядывались.

— Куда это вы? — спрашивали они его.

— Не знаю, — отвечал он. — Вот у них спросите, — и кивал на унтера.

Однако крестьяне больше вопросов не задавали. С жандармами шутки плохи!

Когда показался виноградник Сыддыка, староста заторопился. Сейчас все выяснится, сейчас он узнает, какая вошь оставила помет. Жандармы вскинули карабины.

— Приготовиться! — скомандовал унтер-офицер.

Щелкнули затворы. Жандармы стали медленно приближаться к сторожке, словно шли в наступление на неприятеля.

— Эй, Хусейн! — крикнул унтер.

Ни звука в ответ.

— Выходи! — заорал он еще громче.

Опять никакого ответа.

— Мы же знаем, ты там. Не вздумай сопротивляться!

В домике не было заметно никакого движения. Жандармы сделали еще несколько шагов.

— Выходи, Хусейн, — сказал унтер уже мягче. — Все равно от нас не уйдешь.

Дверь открылась. Жандармы тотчас взяли ее на прицел. Вышел Хусейн. За ним показалась девушка. Увидев, что они безоружны, унтер-офицер смело направился к ним. Защелкнул наручники на запястьях Хусейна, скомандовал:

— Шагай вперед!

От мягкости в голосе не осталось и следа.

— Ну, с этим покончено, — обернулся он к старосте. — Теперь очередь за Хасаном.

— Хайда! — удивленно мотнул головой староста. — А этот-то при чем?

— А ты что думал! — Унтер-офицер многозначительно покачал головой. — Ведь это он их сюда спрятал!

Староста только прошептал бессильно:

— Не гневи аллаха.

— Хасан ни в чем не виноват, — встрепенулся Хусейн. — Девушку я похитил.

Унтер тряхнул его за шиворот.

— Это уж не тебе судить — виноват, не виноват. А коли ты такой умный, так незачем было похищать несовершеннолетнюю.

— Но ведь они по доброму согласию... — робко вмешался староста.

— Завидев жандармов, Хасан застыл на месте. В его голове завертелся вихрь мыслей.

«Кто донес?» — назойливо стучало в мозг. Ответ был один: Мастан. Кроме него, никто не мог. Разве можно доверять змее?

Он сам протянул руки унтеру. Тот связал их веревкой. Собрались крестьяне. Сердер Осман, Рыжий Осман, Мустафа, Омер, Мелик, Салтык, Гюдюк, Эделло — все были здесь.

Сердер Осман не переставал возмущаться:

— Ни за что ни про что, вай, вай! Позор, неслыханный позор!

Унтер-офицер гордо огляделся по сторонам, словно удачливый полководец в старинном романе.

— Трогаемся! — скомандовал он своей «армии». — Вперед!

Вскоре жандармы и арестованные скрылись из виду.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Эфенди, эфенди, Шакир-эфенди!
Ложные показания ты дал, эфенди...

(Из народной песни)

1



Тюрьма в касабе помещается неподалеку от городской управы. Унылое здание из бетона вытянулось посреди широкого двора, огороженного проволокой. К чинаре, стоящей у ворот, прибита дощечка с надписью: «Отсиди срок — выходи за порог». Под чинарой обычно собираются и ждут посетители.

В приемный день тюрьма бывает и оживленная и печальная. Те, кого навещают, сначала набрасываются с расспросами на пришедших. Потом сами начинают изливать им всю горечь своего одиночества, тоски и безнадежности. Те, к кому никто не приходит, смотрят на счастливых и вздыхают.

Хасан и Хусейн сидели друг против друга и сосредоточенно курили, ни на кого не глядя, изредка перебрасываясь короткими замечаниями. Они плохо слышали друг друга — над двором стоял плотный гул голосов.

— Подвел я тебя, — в который раз повторял Хусейн. — Мне ты помог, а сам в беде очутился.

— Э, брось, — отвечал Хасан, — что было, то было. Лучше думать о будущем.

На середину двора вышел надзиратель, поискал кого-то взглядом: видно, пришел новый посетитель. Некоторые из арестантов замолчали — может быть, к ним... Остальные галдели по-прежнему.

— Гюрро Огуз! — выкрикнул надзиратель.

Молодой курд, которого переслали недавно из диярбакырской тюрьмы, растерянно поднялся, прошептал:

— Хюде разы бике!¹

— Ишь, глаза-то засияли,— улыбнулся Хасан.

— Хюде разы бике,— повторял курд на ходу.

Хасан занялся подсчетами. Оказалось, он сидит уже целую неделю. И конца этому сидению не видать. Он ждал, что его со дня на день вызовут к судье и все выяснится. Но начальники, видно, и в ус не дуют. А у него урожай пропадет. Матери разве управиться в поле? Погниет хлеб на корню...

«Рыжий Осман, Сердер Осман, Салтык уберут. Товарищи ведь...» — утешал он себя. Друзья не допустят, чтобы его труды пропали даром. Но душу щемило. Как-то там мать? Одна совсем. Сюда ей не добраться. Она и до соседки-то дйти не может.

— Эй,— тронул его за рукав Хусейн,— тебя зовут! Хасан вздрогнул.

— Зачем?

— Откуда я знаю. Наверно, пришли к тебе.

«Кто бы это мог быть? — размышлял Хасан, шагая по двору. — Разве что Рыжий Осман? Вряд ли...»

Хусейн глядел ему вслед.

— И нас когда-нибудь навестят,— вздохнул он. Хасан подошел к надзирателю.

— Вы меня звали?

— Ты Хасан? — спросил тот хмуро. — Тебя девушка ждет в кабинете начальника тюрьмы. Ступай.

Хасан смешался.

«Разыгрывают!.. — Он с досадой сплюнул. — Какая еще там девушка будет меня искать?»

Надзиратель поддал носком бабуша какую-то железку.

— Хасан Сезгин?

— Ну!

— Из Кайрана?

— Оттуда. («Разыгрывают!»)

— Ну и иди! Чего расшумелся?

Хасан все еще не верил. Девушка? В Келькеркее у него есть двоюродная сестра. Но она и знать не знает о случившемся.

¹ Хюде разы бике (курдск.) — Слава аллаху!

Поднялись по лестнице. Надзиратель велел Хасану обождать, постучал в дверь и закрыл ее за собой. Хасан остался один. Никого вокруг не было. Вот сейчас повернуться да и прочь отсюда. Голова бритая, верно. Но ведь новобранцам тоже головы бреют. Только куда ему идти, если не в Караахметли? А оттуда сюда же и приволокут. Тогда уж никто не поверит, что он сидит безвинно.

Дверь открылась, вышел надзиратель.

— Иди. Тебя ждут.

Хасан оторопел: в комнате сидела Алие.

— Это вы?..

Девушка поднялась ему навстречу.

— Нельзя ли нам наедине поговорить? — обратилась она к начальнику.

Тот с недовольной миной кивнул в знак согласия и вышел.

— Я пришла... — начала Алие. — Это все мой отец подстроил... Я пришла, чтобы хоть немножко загладить его вину.

— Он, я это знаю... — пробормотал Хасан. — Что поделаешь, раз уж так получилось...

— И подумать только, мой отец!.. — опустила голову девушка.

— Что поделаешь, — повторил Хасан. — Видно, мне так на роду написано.

— Никто не знает, что я пришла сюда. Дочка начальника тюрьмы — моя подружка.

— Я никому не скажу.

— Если отец узнает... — Она запнулась. — Хотите что-нибудь передать со мной?

— Спасибо. Как там моя мать?

— Хорошо. Только плачет все. Конечно, это для нее удар. Я зайду к ней...

— Передайте ей привет. — Он задумался. — Нет, лучше вам туда не ходить. Начнутся сплетни.

Разговор никак не клеился. Алие молча смотрела на Хасана. Наконец он поднялся.

— Вам, наверно, некогда...

— Да нет, время есть.

— Может, этот кабинет нужен начальству...

Девушке тоже пришлось встать.

— Вы не тревожьтесь. Вас скоро выпустят.

— Спасибо,— сказал Хасан направляясь к двери.

На пороге уже ждал надзиратель. Спустившись по лестнице, они вышли во двор, где еще гуляли заключенные.

— Кто приходил? — спросил Хусейн, сидевший на прежнем месте все в той же позе.

— Кому мы нужны! — уклонился от прямого ответа Хасан.— Конечно, другой Хасан нужен был.

— Ах ты, незадача! — вздохнул Хусейн.— А я-то обрадовался.

Время прогулки истекло.

— По камерам! — закричал надзиратель.

Медленно, нехотя арестанты разбрелись по своим камерам, и огромная дверь тюрьмы закрылась наглухо и надолго.

Хасан был в смятении. Зачем приходила Алие? Это же дочь Мастана! Может, она пришла разведать, что у него на уме? А может, просто хотела поиздеваться над ним? Нет, что-то не похоже. Он вспомнил ее смущение, ее печальное лицо. Вот и пойми этих женщин. Недаром в пословице говорится: «Сам залим, и сын — алим»¹. Подошел Гюрро.

— Слышь, из Сиирт один человек сейчас встретил.

— Кого встретил?

— Пашо, товарищ мой. Пять дней ехал на черном поезде.

У Гюрро два любимых присловья. Одно — курдское: «Хюде разы бике», другое — арабское: «Ефрахи ель-би» («Веселись, моя душа»). Он повторяет эти слова без конца, кстати и некстати. Веселый парень Гюрро, прямой, открытый. Для тех, кто ему нравится, он весь выложится, ничего не пожалеет, зато с другими даже не здоровается. Он и в тюрьме не горюет: то пляшет, то поет что-то по-курдски.

Сидит Гюрро за убийство. Кажется, с деревенским агой счеты свел. Мало кому он об этом рассказывает.

¹ З а л и м (турец.) — угнетатель, мироед; а л и м — ученый, образованный. Имеется в виду: оба принадлежат к господствующему классу.

— У человека ружье есть,— любит повторять Гюрро.— Ружье — это хорошо. Сердитый будешь — бах! — и конец. Один паразит меньше...

— А потом в тюрьму,— в тон ему подхватывает Хасан.

— И конец!

Иногда черные глаза Гюрро гаснут, заволакиваются грустью. Должно быть, он думает о своей деревне, обо всем, что там осталось. Но обычно такое долго не продолжается. Он быстро стряхивает с себя уныние и опять начинает петь и танцевать.

Хасан почему-то сразу завоевал его доверие, и Гюрро поведал ему свою историю. Родом он был из деревни Бемеклер. Однажды в деревню приехали какие-то люди. Стали измерять землю, которую крестьяне обрабатывали с незапамятных времен, ставить на ней непонятные знаки.

Один — огромный, усатый детина — объяснил.

— Все эти земли принадлежат теперь Шейхо.

— Какому такому Шейхо?

— Это ага. Скоро его увидите.

Потом они уехали. Оставили крестьян коротать бессонные ночи. Прошло несколько дней. Раз как-то смотрят крестьяне — приближается к их деревне целый отряд таких же, что приезжали до этого.

— Селямюналейкюм.

— Алейкюмселям.

— Среди вас есть Шейхо?

— Да, это я,— ответил один из всадников, крепкий на вид мужчина средних лет.

— И наши поля теперь твои?

— Мои.

— И Зизон тоже?

— Тоже.

— И Хармантепе?

— И Хармантепе.

— Извини, но мы тебя раньше никогда не видели.

— Ну и что ж! А поля мои. У меня на них купчая есть.

Крестьяне стали его упрашивать:

— Уезжай ты отсюда, ради аллаха, подобру-поздорову. Руки-ноги тебе целовать будем!



В это время на холме показался Гюрро. В руках у него винтовка — отцовский подарок.

— Стой! — окликает его Шейхо.

— Чего тебе у нас надо?

— Не твое дело, убирайся!

— Я тебе уберусь!.. — И Гюрро вскидывает ружье. — Шаг сделаешь — убью.

Вай, богатырь Шейхо-ага! Вай, храбрец Шейхо-ага! Вокруг него люди верные. Пришпорил лошадь, прет напролом. Тут его пуля Гюрро и свалила.

Долго тянулось дело. Поля-то принадлежали крестьянам, а не Шейхо. И каймакама привлекли. Говорили, Шейхо его подкупил. Шейхо виноват, каймакам виноват. Один убит, другой отвертелся. А Гюрро получил тридцать лет. Четыре года уже отсидел.

— Так мне сердце сказало: «Убей, — говорит, — его». Сердце человеческое не соврет. Раз сердце сказало — значит, надо убить.

— А потом — в тюрьму, — напоминал Хасан.

— Хюде разы бике! — Гюрро гордо вскидывает голову. — Зато у наших крестьян поля остались. Хюде разы бике!

В четверг Хасана, наконец, вызвали на допрос к судье. Так он ждал, так надеялся — все выяснится. А вышло по-другому. Судья задавал ему такие вопросы, что совсем сбил с толку.

— Хотите что-нибудь сказать? — спросил он в конце.

Хасан молчал. Жандармы увели его. Когда он все это рассказал старому арестанту по прозвищу Лютый Али, тот расхохотался.

— Дурень ты! Ребенку, который не заплачет, молока не дадут. «Не знаю я ничего, господин судья. Отпусти меня!» — и точка. Вот как надо, сынок, а то здесь и подохнешь.

— Скажешь тоже... Я всего неделю сижу.

— С такой башкой ты здесь надолго застрянешь. Да еще лишку просидишь. Клянусь аллахом, курд выйдет, а ты останешься!

И он отправился по камерам рассказывать всем

и глулости Хасана. Его зычный голос отдавался эхом среди бетонных стен.

И все молчит... Ха-ха-ха! Ну, его и пихнули обратно в камеру. Ха-ха-ха!

Другие арестанты тоже покатывались со смеху. Все они, пока сидели в тюрьме, хорошо изучили тонкости судебного крючкотворства. Хасан проклинал себя последними словами, не зная куда деваться от стыда.

2

А ведь правду говорил Лютый Али. Когда в следующий раз на вопрос: «Что вы можете сказать суду?» — Хасан ответил: «Хочу, чтобы меня отпустили, господин судья», — тот сразу распорядился освободить его, наказав явиться на суд восьмого числа следующего месяца. Добавил только: «Не придешь — тебе же хуже будет».

Хасан даже растерялся от неожиданности. Он на свободе, а Гюрро, Хусейн, Лютый Али, Салих Оборвыш, Бешеный Мухаррем?.. Кому из них сидеть двадцать пять, кому десять, кому пять лет. Меньше пяти и срока не было. Дело Хусейна все еще тянулось. Но тюремные законоведы давно уже предрекли: если отец девушки будет молчать, дадут семь лет четыре месяца.

Никогда еще касаба не казалась Хасану такой большой, такой красивой и нарядной. Он не сразу двинулся в путь — постоял у тюремных ворот, с удовольствием озираясь вокруг. Свернуть за угол, пройти мимо парка, потом направо к кладбищу, а оттуда — прямая дорога в деревню. Время было обеденное. Если не мешкать, к вечеру он уже будет в Караахметли. Дорога займет часов шесть. Однако Хасан чувствовал, что не сможет идти шесть часов подряд. словно за те пятнадцать дней, что он сидел в тюрьме, у него подменили ноги.

Выйдя за город, Хасан облегченно вздохнул. От прежней растерянности не осталось и следа. Думы о матери, Сердере Османе, о Салтыке, об урожае гнали его вперед. Как плакала, убивалась, должно

быть мать!.. Хасан прибавил шагу, закурил. Вот и кладбище позади. На дороге маячили два крестьянина верхом на ослах. Они остановились закурить.

— Здравствуйте, уважаемые,— догнал их Хасан.

— Здравствуй.

— Благополучный вам путь. Куда направляетесь?

— В Харымлы,— ответил один,— за дровами.

— Доброе дело. А я в Караахметли.

— Слыхали про такую деревню. Далеко. Что же ты пешком-то.

— Да я из тюрьмы...

— О аллах! Бумаги, что ль потерял?

— Нет.

— Из-за земли, стало быть?

Хасан рассказал им свою историю.

— Зло за добром следом ходит,— вздохнул тот, что постарше.— Что творится! Худые времена настали, прямо конец света.

— Бывает,— отозвался другой.— А много ли отсидел?

— Две недели.

— Дешево отделался,— сказал усатый и вдруг спохватился:— Да ты ведь голодный наверное?— И, не дожидаясь ответа, достал из волосяной сумы лепешку и кусок тахинной халвы.— На, ещё.

— Благодарствую, земляк.

— На здоровье.

Под гору ослы пошли бодрее. Хасан, пеший, еле поспевал за ними. Крестьяне свернули к лесу.

— Да благославит вас аллах!— крикнул Хасан им вслед.

Хасан шагал и шагал по дороге, пока не притомился. Завидев у обочины родник, присел отдохнуть. Распахнул минтан, отер пот с лица, перевел дух. Родниковая вода холодная как лед. Он умылся, смочил голову, напился из пригоршни и, освеженный, заторопился в путь. В деревню нужно было попасть засветло. Не дело это—шляться по дорогам ночью.

За деревней Дёюнлю, в дубовой рощице, женщины собирали желуди. «Рановато вышли в этом году»,— подумал Хасан. За пятнадцать дней, проведен-

ных в тюрьме, он успел забыть, что сейчас самое время собирать желуди.

— Да поможет вам аллах! — приветствовал он женщин, проходя мимо.

Вечерело. Тени сгущались. На вершинах гор дрожали красные солнечные блики. Хасан торопился. Но дорога становилась все круче. Так будет до самого Башчешме. От Башчешме полями до деревни уж рукой подать. Не больше часа ходьбы по ровному спуску. А пока надо карабкаться вверх. Радость оттого, что деревня уже близко, заставляла забывать о трудности подъема в гору.

Преодолев подъем, Хасан облегченно вздохнул. Теперь он, считай, дома. Блаженно улыбаясь, тыльной стороной ладони отер пот с лица — и снова вперед. Теперь у него словно крылья выросли. Он уже не шел, а почти бежал, не разбирая дороги, не чуя под собой ног от радости.

На повороте дороги, почти у самой деревни, он поймал себя на том, что бежит, и сразу сбавил шаг. На лице его блуждала улыбка. Сейчас он увидит мать, Сердера Османа, Рыжего Османа, Салтыка, Омера, Мустафу, увидит свое поле.

Вот и деревня! Ни души вокруг, словно все нарочно попрятались. Хасан огляделся хорошенько. Здесь все по-прежнему. Как это он никогда раньше не замечал, что у них такая чистая, словно вымытая, дорога, а по краям ее в два ряда тянутся такие высокие тенистые деревья!

Кто-то шел Хасану навстречу. Он попытался согнать с лица улыбку, чтобы потом не говорили: дескать, натерпелся в тюрьме, так уж домой вернулся сам не свой от счастья! Нет. Пусть Мастан не радуется, что сумел напакостить человеку. Встречный оказался Хюсменом, сыном Чакыра Мусы.

— Хасан-аби! ¹ — удивился он. — Отпустили?

— Да, вот видишь, — ответил Хасан с напускным равнодушием.

¹ А би — форма вежливого обращения к старшему в сельской местности в Турции.

— А мать твоя так убивалась сегодня! Побегу обрадую!

И, не дожидаясь ответа, помчался в обратную сторону. Хасан поравнялся с кофейней. Открыл дверь.

— Мое почтение!

К нему повернулись удивленные лица. Первым опомнился Сердер Осман. Вскочил с места, бросился обнимать.

— Ох, братец ты мой, вернулся. Вот здорово!

— А ты уж надеялся, что не вернусь,— улыбнулся Хасан.— Хватит. На новых людей посмотрел — и домой.

— Раз пришел — садись. Хозяин, налей-ка ему чаю! Да побольше налей, не жадничай.

— Нет, спасибо я еще дома не был,— возразил Хасан.— Мать там с тоски помирает. Потом зайду.

— Правильно,— поддержал Рыжий Осман.— Поди поцелуй ей руку, она от слез вся высохла.

Сердце Хасана рвалось из груди, когда он подходил к дому. Мать уже стояла возле дверей, прислушивалась к его шагам.

— Хасан! — крикнула она, еще не видя его.— Ты?..

Хасан рывком шагнул в дом, схватил ее в объятия.

— Мама!

— Вот радость-то! Вот радость! — бормотала женщина сквозь слезы.— А я-то извелась вся.

— Мама...

Родное заплаканное лицо, не оторвать от него взгляда...

Луна круглым блюдом выплыла из-за туч и повисла у них над головой. Издали доносился лай собак. Спускалась ночь.

Наутро Хасан встал с зарей и пошел в кофейню. Друзья его были уже там. Они тотчас окружили его.

— Ну, молодчина! — приветствовал его Мустафа.— Вместе с птицами проснулся.

— Хотел и птиц опередить, не удалось... — отшучивался Хасан.

Омер, настроенный серьезно, перебил:

— Что новенького? Выкладывай!

— Подумал бы, а потом спрашивал! Я, душа моя, не с ярмарки приехал — из тюрьмы. Что там может быть новенького?

— Не один же ты там сидел. — Рыжему Осману тоже стало любопытно. — Такие места пустыми не бывают.

— Народищу небось... — подзадоривал и Сердер Осман.

— Полно! У кого тридцать лет сроку, у кого восемнадцать.

— Скажи на милость! — протянул Рыжий. — Тридцать лет! Спаси аллах!

Перед глазами Хасана печальными тенями пронесли Гюрро, Лютый Али, Салих Оборвыш.

— Такого и врагу не пожелаешь. Да поможет аллах несчастным! По-курдски я там выучился: хюде разы бике!

— А что это значит?

— Слава аллаху! Вот что. Был у нас там один курд, все эти слова повторял.

— Ну а еще что?

— А в остальном все как в тюрьме. У вас-то что слышать?

— Да ничего, — ответил Сердер Осман. — Деревня, она деревня и есть! Что тут может случиться за десять дней?

— Пятнадцать, — поправил Хасан.

— А мы тут дней не считаем!

— На моем месте небось считали бы!

Посмеялись...

Просидели в кофейне до полудня. Обо всем переговорили: и о том, что река обмелела — будет ли мельница работать? — и о том, что колосья начинают желтеть. Хасан рассказывал друзьям о Гюрро, Лютом Али, Салихе Оборвыше. Хотелось сказать и об Алие...

— Однажды... — начал было он, но остановился.

— Что «однажды»?

— Да так... Гюрро с Лютым подрались...

Решили сходить в горы. По дороге Хасан заскочил

в лавку за сигаретами, а там Мастан собственной персоной. Увидел Хасана — глаза забежали.

— С благополучным возвращением! Эх, говорил я тебе: не лезь не в свое дело!.. Ведь говорил?

— Что ж,— отвечал Хасан.— В этом мире никогда не знаешь, что с тобой завтра будет.

— И откуда только разнюхали о тебе?

— Без собаки на след не нападешь,— отвечал Хасан давно заготовленной фразой.— Ну да мне теперь все равно...

— Все же кто-то донес,— не унимался Мастан, стараясь отвести Хасану глаза.— Кто бы это? Ты пораскинь мозгами-то.

— Это ясно, что кто-то донес,— многозначительно протянул Хасан.— Но аллах воздаст ему по заслугам.

— Странно, что тебя отпустили.

— А на мне вины никакой нет. Я ведь только свидетель.

— Ну и ну!.. Скажи на милость — свидетель! А столько дней просидел в таком месте, что не приведи аллах.

— Узнал тамошнее житье, мне же лучше. Иногда полезно бывает узнать кое-что.

— Наверно, и там дружков завел?

По тону, каким был задан этот вопрос, чувствовалось, что Мастан обозлен невозмутимостью Хасана и изо всех сил старается оскорбить его и унизить. Хасан промолчал.

— Хороший человек везде друга найдет,— вступился за него Рыжий Осман.

— Хоть бы и в тюрьме,— добавил Сердер Осман.

— А что? Он верно говорит,— расхрабрился Рыжий Осман.— Раз тюрьма — так там уж и хороших людей не встретишь? Сколько хочешь!

Перед глазами Хасана опять всплыло лицо Гюрро. «Бах — и конец!», — пронеслось в мозгу. На глаза навернулись слезы. «Вот бы в кого бахнуть!» — неожиданно подумал он, глядя на Мастана. Отвернулся, пошел к дверям.

— Счастливо оставаться.

В ответ Мастан ленивым движением поднес руку к кепке.

На улице ждали товарищи. Дружной гурьбой двинулись в горы.

День угасал. Хасан сидел на вершине холма, задумчиво перетирая в пальцах щепоть земли и смотрел на деревню, всю в багряных лучах солнца... Эти лучи вдруг мощным потоком хлынули вниз и залили дома, деревья, посевы, преобразив ландшафт до неузнаваемости. Хасан отыскивал глазами свое поле. Тридцать дёнюмов! В другом месте они, может, что-нибудь и значат, но только не в Караахметли. Земля сухая как камень. Только жилы последние тянет. А все же как дорог ему этот жалкий клочок! В нем все его надежды, вся жизнь...

Чуть ли не все здешние крестьяне, кое-как убрав свои поля, снимаются с места — идут искать поденную работу. Туда, где урожай богаче, где в страду нужны лишние руки. Не так далеко от Караахметли лежит долина Сарайкей. Большая и благословенная долина! Река Мендерес творит там чудеса. Земля возвращает крестьянину в сто, в тысячу раз больше посеянного. Нет, не сестра ей долина Караахметли. Здесь земля вся в трещинах, жаждет воды и высыхает прямо на глазах, словно сжигаемая адским пламенем. Сожмешь в горсти сарайкейскую землю — она слипается в плотный комок, а от караахметлийской земли один прах остается на ладони. С ума может свести человека такая земля. Хасан знает все это. Знает — и все-таки любит свою землю.

С каким трудом вгрызается сабан¹ в чрево этой земли, как долго семена набирают силу, чтобы пробить ее! Часто крестьянский труд пропадает вчистую — нет дождя. Колосу только-только время пришло зерном наливаться, а он уже сохнет и желтеет. Тут уж каждый дает волю языку, последними словами клянет свою злосчастную судьбу. Только Хасан молчит, надеется на что-то. Ждет Хасан, когда же вслед за неурожайным годом придет урожайный.

¹ С а б а н — древний примитивный плуг.

Не выколосились хлеба — крестьянину прямая дорога в Сарайкей, в поденщики. Ничего другого не остается. С ума сводит караахметлийца эта долина Сарайкей. Сердце его кровью обливается, когда он сравнивает свою скупую землю с благодатной сарайкейской землей.

А те, из Сарайкея, владельцы неиссякаемой земли, радуются, когда в Караахметли неурожай. Они всегда первыми узнают, выколосились ли у соседей хлеба; и если нет, эта весть для них — масло на хлеб, бальзам на сердце. Будешь радоваться, если с приходом караахметлийцев плата за поденную работу сразу падает.

Из-за этого другие крестьяне, нанимающиеся поденщиками в Сарайкей, не любят караахметлийцев. Редкий год дело обходится без поножовщины. При виде караахметлийцев, бредущих с потухшими глазами искать работу, кулаки у всех других поденщиков сами собой сжимаются.

Пока Хасан сидел в тюрьме, миновало самое опасное для посевов время. Небо не оставило без дождя Караахметлийскую долину. Благодать пролилась не только на поля, но и на горящие сердца крестьян — ведь они в эти дни только и делали, что смотрели вверх, как помешанные. Едва на раскаленное небо из-за горы Карынджалы или из-за Бабадага, Кекикли или Марды выплывало несколько едва заметных белых пушистых комочков, деревня приходила в волнение.

Ни о чем другом и разговору не было — только об облаках, о дожде и ветре.

— В Узерлике прошел дождь.

— Сырой землей пахнет, брат.

— Завтра к утру жди у нас...

Чаще всего эти легкие, пушистые облачка обманывали надежды караахметлийцев. Повисят они над долиной день-два, иногда даже и неделю, и уносятся прочь. А на землю хоть бы для смеха одна капля упала. Но караахметлийцы продолжают ждать и верить. Жизнь научила их терпению. Салтык, например, в таких случаях никогда не сердится.

— Не хочет земля дождя. Она и без дождя вырастит зерно,— говорит он.

Все понимали, что это неправда. Всего лишь год назад случилась большая беда. Не смогла земля без дождя налить зерно, колосья стояли пустые — одна солома. Все помнили это, но никто не пытался разубеждать Салтыка, всем очень хотелось верить, что зерно нальется без дождя.

Обманет дождь — тогда целый год свисти в кулак. И это бы ничего, да недаром в Кесикбеле завелась поговорка: «Дождь не идет — конфискатор придет». Конфискатор пощады не знает. Не убежать от него, не спастись.

Да, не будь поденщины, не будь благодатной долины Сарайкей, расстилающейся рядом с сухой карахметлийской землей, Мастан после одного такого засушливого лета стал бы здесь полным хозяином земли. Но крестьяне пока что изворачивались, отдавая ему то, что зарабатывали на поденщине, и дышали свободнее. Правда, свободы этой хватало на какой-нибудь месяц-другой.

— Чтобы я взял у Мастана займы! Да повели сам аллах — ни за что!

— Лучше помереть с голоду, чем брать у него!..
Через два месяца другие разговоры:

— Ага, семян не хватает...

— Ага, волю подыхают...

— Ага, того нет, ага, сего нет...

Мастан никогда не откажет. Не от избытка доброты — сторицей возвращают ему долги. Если у крестьянина пропал весь урожай — Мастан возьмет свое в пятикратном, а то и в десятикратном размере. Все бумаги для ипотеки у него готовы заранее, остается только поставить цифру, расписаться. Бумаги эти составляются с тонким расчетом. В них предусматривается малейшая возможность для того, чтобы вырвать землю из рук крестьянина.

До сих пор еще никто из кесикбельцев не получил от Мастана ни куруша, не подписавшись под такой бумагой или не оставив на ней отпечаток пальца. И каждый куруш возвращается к Мастану сторицей. Что ни лето — ему даром достаются восемь — десять

полей в счет уплаты долгов. При самом милостивом отношении к должникам он забирает себе после обмо- лота третью часть урожая.

С тех пор как первый Мастан принес Хафызу-аге отрубленную голову Караахмета и получил за нее сто золотых, прошло восемьдесят лет. И год от году долг крестьян увеличивается. Так и работают: год на засуху, год на семью Мастанову...

Сумерки сгущались. Хасан очнулся от задумчивости. Вот уж и поля его не различить. Он встал, отряхнул руки от пыли и зашагал в долину. Жара спала. Свежий вечерний воздух был наполнен звоном цикад.

3

Что случилось с Хасаном? Утром чуть свет — в горы. Уйдет к истоку Булака и не показывается до самого обеда. Садится у родника под огромным тутовым деревом и следит оттуда за прохожими. Подсядет к нему идущий мимо крестьянин, заведет разговор, а он и рта не раскроет. Тот встает и уходит ни с чем.

Раз в полдень сидел так Хасан под деревом, стро- гал складным ножом тутовую ветку. Вдруг видит — по тропинке поднимается Алие. Он глазам своим не по- верил: от Караахметли сюда час ходьбы. Девушка из богатого дома, горожанка, забрела одна в такую даль. Смелая...

Алие не видела его. Подойдя к источнику, умы- лась, намочила волосы, тряхнув головой, откинула их назад. Хасан невольно поднялся, нерешительно шаг- нул к ней. Но девушка уже сама быстро шла ему на- встречу.

— С возвращением вас... Я очень рада... От от- да узнала, что вы вернулись. Вчера видела вас в де- ревне.

— А теперь здесь встретились... Не страшно вам одной сюда ходить?

— А что?

— Все-таки горы...

— Я часто сюда хожу. И ничего со мной не случается.

— Все до поры до времени.

— Вот и отец то же говорит. Как узнает, что я в горах была, начинает меня ругать.

— И правильно. Мало ли что бывает...

Алие махнула рукой.

— Скучно мне в деревне, не привыкла я к такой жизни.

— Конечно,— вздохнул Хасан,— если человек вырос в городе, здесь ему скучно будет.

— Да не в том дело. Заняться нечем...

Алие держалась непринужденно, будто давно была знакома с Хасаном. А ему было не по себе.

— Еще увидят нас,— решил он наконец,— болтать начнут всякое.

— Ну и пусть! Что за беда?

— А Мастан? Вряд ли ему это по душе придется, клянусь аллахом!

— Я его не боюсь.

Что ей на это скажешь? Вместе пошли по дороге.

— Почему крестьяне не любят моего отца? — спросила вдруг Алие.

Хасан растерялся. Вопрос оказался для него неожиданным.

— Не знаю,— буркнул он.

Девушка пожала плечами.

— Не пойму я, в чем дело. Он ведь дома ничего не рассказывает.

И тут Хасана вдруг прорвало. И об ипотеке рассказал, и о конфискации, и о процентах — обо всем. Чем дальше слушала Алие, тем ярче становился румянец на ее щеках, будто она сама была ответственна за все крестьянские беды. Иногда она тихо восклицала: «Не может быть!» А Хасан разошелся, забыв, что перед ним дочь Мастана. Потом сам удивлялся своей смелости.

Показалась деревня. Алие все повторяла:

— Я ничего не знала... Это все его дела, я ничего не знала...

Хасан спохватился — могут увидеть. Собрался с духом:

— Вы идите, а я — немного погодя... за вами следом.

Девушка послушалась, ушла вперед. Хасан примостился под деревом и стал смотреть ей вслед. «Непохожа она вовсе на своего отца, — думал он. — Словно и не дочь Мастана. Понимает чужое горе».

Вот она мелькнула за поворотом и исчезла. Хасан поднялся. Недалеко было его поле. Он направился к нему, поглаживая по пути верхушки колосьев. При каждом прикосновении к ним все его тело, словно током, пронизывала радостная волна. Он еще раз оглянулся на дорогу. Там уже никого не было.

Хасан сорвал один колос, растер в ладонях, бросил зерна в рот. Почувствовав на языке хорошо знакомый вкус молодой пшеницы, он ощутил новый прилив радости. Вот поле Сейдали. Две овцы с краю жевали колосья. Хасан поднял камень, чтобы отогнать их, но так и не бросил. Вот стать бы такой овцой, бродить по полям и наедаться вдосталь каждый день! Он сорвал еще один колос и с наслаждением высосал кисловатый сок из зеленого стебля. Потом подошел к овцам и погладил их по сухим теплым спинам. До его поля оставалось метров сто. Он уселся около овец.

Солнце пекло вовсю. Легкий прохладный ветерок, пробежавший по полю, внезапно утих. Огромная долина замерла, ни один колос не шелохнется...

С тех пор нет-нет да и встретится Хасану Алие. Перекинется с ним приветливым словом — и у обоих на сердце радостнее становится. Потом им труднее стало видеться. Мастан запретил дочери уходить из дому, словно почуял недоброе. Всякий раз, когда она отправлялась в горы, он становился сам не свой. Однажды спросил в упор:

— Скажи-ка, где это ты все пропадаешь?

Алие промолчала, потупив голову. Страшнее всего было ему это молчание. Распалившись, он накричал на нее, но ничего не добился.

— Так. Гуляю... — вот и все, что она ему ответила.

— Она гуляет! — гремел отец. — Что девчонке одной делать в горах? О чем твоя голова думает?

— Да что плохого в том, что я туда хожу? Зверей там нет.

— Ты меня слушай! Не зверей, а людей — вот кого нужно бояться. Они хуже зверя, хуже шайтана!

— Мне скучно сидеть дома.

— Поедем со мной в касабу?

— А потом что делать?

Мастан долго ахал и охал. Его дочь перечит ему, дерзит. Слыхано ли это! Однако доводить дело до большого скандала он не решился. Ссоры у них в семье кончались всегда одинаково. Он, когда сердился, уходил из дому и дня два не показывался домашним на глаза. Потом возвращался, и примирение наступало само собой.

— Мать, собери поесть, — говорил Мастан жене.

Постепенно, слово за слово, все становилось на свое место.

Но теперь тревога не оставляла его даже ночью. Он вдруг вскакивал с постели и брел сам не зная куда.

— Тронулся, — перешептывались крестьяне. — Со всем тронулся Мастан.

Встречаясь с ним на улице, каждый внимательно смотрел на него. Не мутные ли у него глаза? Не пора ли ему в сумасшедший дом? Ведь случись такое — вся деревня возликовала бы.

— Скоро подохнет, — сообщал в кофейне Сердер Осман.

— У него семья, не греши, — отвечали ему.

— И у нас семьи, — махал в ответ рукой Сердер Осман, — а кто нас жалеет?

— А по мне так хуже будет, если он рехнется, — заявил Хасан из семьи Окюзлеров.

— Это почему же?

— А вот послушай. Он и в своем уме когда, слушать нас не хочет, за людей не считает. А коль свихнется, еще хуже будет.

— Полоумного, — возразил староста Керим, — не оставят в деревне. Сразу на него бумагу — и конец.

— Повесят? — с замиранием сердца спросил Ма-
рамыт.

— Нет, зачем?.. Составят бумагу — и в сумасшед-
ший дом, к таким же, как он.

— Эх, — вздохнул Рыжий Осман, — как было бы
спокойно! Ни тебе конфискации, ни ипотеки.

— Жена, дочь у него останутся, — размышлял
вслух Салих. — Свалятся они нам на голову.

— С бабами еще труднее будет, — глубокомысле-
нно заключил Хотунлу.

— Да что с вами? — попытался образумить лю-
дей Хасан. — Очнитесь! Кто это вам сказал, что Ма-
стан свихнулся?

— Я сказал, — отвечал Рыжий Осман. — Нормаль-
ный человек не станет гулять среди ночи по улице.

— Слыхал я, — многозначительно сказал Хотун-
лу, — что в Енидже есть ведьма. Очень лихая такая.
И подговорили ее наслать порчу на Мастана.

— Хотунлу правду говорит, — поддержал Салих, —
по всему видно, что в него шайтан вселился.

— А в касабе рассказывали, — продолжал Хотун-
лу, — как в прошлом году один такой заколдованный
бродил-бродил месяца два, а потом взял да и уто-
пился.

— А не врешь?

— Клянусь верой! Османсали это говорил. Тот,
что кофейню арендует у Геика Хаджи.

— Этот зря болтать не станет, — подтвердил Са-
лих.

Хасан молчал.

Открылась дверь. Вошел Мастан.

Хотунлу, а за ним Хаджи, Салих и староста Керим
юркнули в дверь — от греха подальше. На Мастане
лица не было — почерневший, осунувшийся, он дей-
ствительно походил на безумного. Поздоровался, сел.
Ответили ему холодно. Только хозяин кофейни Муса
держался как ни в чем не бывало. Подбежал, долго
тер стол полотенцем.

— Налей-ка чайку, Муса, если горячий, — попро-
сил Мастан.

— Сию секундочку! — отвечал тот. — У меня холодного не бывает.

Не замечая презрительных взглядов, он направился к плите. Достал с верхней полки стакан с позолоченной каймой, налил доверху, принес Мастану. Тот в ожидании хлопал по столу ладонью — ловил муху...

Больше всего на свете Мастан любил лошадей. Был у него даже породистый жеребец — хозяин души в нем не чаял.

— Уж если заводить коня, — говаривал Мастан, — так такого, как мой вороной. Он происходит от знаменитого жеребца самого Нуреттина-паши.

Действительно, конь был хорош. Без всякой дороги чутьем узнавал путь. Стройный, высекающий копытами искры из камня, он словно сошел со страниц старинной сказки. Во всем Кесикбеле не было лошади умнее и изящней его. Но он был с норовом. Шум машины приводил его в ярость. Как слышит рев мотора — седок мешком летит на землю. Словно понимал конь, что машина отняла у него превосходство, и потому ненавидел ее.

В последнее время за вороным ходил Ахмед, по прозвищу Дружок. Во всей деревне у Мастана только и было близких людей, что этот Дружок и хозяин кофейни Муса. Дружка он облагодетельствовал — взял к себе и дал ему работу. Зато тот и предан был Мастану, как собака.

Несколько раз в год Ахмед ездил в соседние касабы. Правда, важных дел ему не доверяли: он был забывчив. Накажи ему хоть сто раз, из двух поручений одно непременно забудет. К примеру, скажет ему Мастан: «Привези из касабы гвоздей», — и достаточно. Если же кто-нибудь попросит купить ему заодно и топор, придет Ахмед или без топора, или без гвоздей.

С того дня, как Мастан впервые разрешил ему сесть на вороного, он заважничал. Если отправляется куда-нибудь, непременно несколько раз, красуясь, проедет по деревне туда и сюда. Крестьяне подзадоривают его, притворно ахают:

— Молодец, Дружок! Настоящий Чакеджи¹!

Лицо Ахмеда покрывается густым румянцем, и он птицей пролетает по деревне.

С утра отправился Ахмед в Гюней за врачом для Мастана. К вечеру должен был вернуться. Стемнело, а его все нет. Мастан уже начал ворчать:

— Уснул в дороге, что ли!

— Взрослый человек, не ребенок,— успокаивала его жена,— Управится и приедет.

— Взрослый, да беспечный! — раздражался Мастан еще больше.— Завалился где-нибудь под горой и спит себе.

— Нет, он спать не будет,— возражала женщина.— Знает, что здесь больной ждет.

— Пузырь у него вместо сердца. Мир будет рушиться, ему все нипочем. Я сам виноват. Нашел кого послать, будто нормальных людей нет.

— Должно быть, что-то его задержало.

— Разбойники напали?

— Может, доктора не смог найти.

— В каждой касабе докторов полно! Не один, так другой. На одном Аптуллах-бее свет клином не сошелся.

— Мало ли что,— вздохнула женщина.— Откуда ты можешь знать?

Мастан сыпал проклятиями.

На другой день, едва открыв глаза, Мастан первым делом справился об Ахмеди. Тот еще не приехал.

— Ну, пусть только приедет! — пригрозил Мастан, обматывая талию шерстяным кушаком.— Уж я с сукиным сыном поговорю...

Одевшись, он вышел из дому и долго стоял как вкопанный, глядя на дорогу, ждал, не услышит ли отдаленного топота копыт. Подождал, подождал, потом, бормоча что-то себе под нос, отправился в кофейню.

¹ Чакеджи — герой народных легенд, предводитель крестьянского восстания.

Ахмед вернулся лишь после обеда — пешком, без лошади. Весь в поту, тяжело дыша, с налитыми кровью глазами он прошел мимо кофейни. Мастан постучал в окно. Ахмед не слышал. Тогда Мастан послал за ним Мусу. Тот вылетел из кофейни, как стрела из лука, не заставляя хозяина дважды повторить приказание.

— Дружок, Дружо-ок! — заорал он Ахмеду вслед. — Хозяин тебя зовет!

Ахмед обернулся, перевел дыхание, увидел в окне Мастана и неверными шажками засеменил к кофейне.

— Где ты пропадал? — грозно встретил его хозяин. — В пору было на розыск посылать!

Ахмед мешком опустил на первый попавшийся стул — никак не мог отдышаться. Молча стянул с головы потрепанную кепку, расстегнул минтан. Рубаха его была темной от пота.

— Не спрашивай, мой ага, — выдавил он.

— А конь где?

— Сейчас все расскажу... Беда свалилась на нашу голову. Пропала лошадь, ага.

Мастан подскочил как ужаленный. Занес кулак над головой Ахмеда.

— Что ты наделал, подлец?! Это же какой конь — от племенного жеребца! Негодяй, сукин ты сын!

— Помер вороной...

Мастан как подкошенный повалился на стул.

— Ох, ох! Позор тому, кто доверяет дело дураку!

— Я ни при чем. Это хозяин постоянного двора виноват.

— Хозяин? Он мне заплатит, этот ублюдок! — Мастан обрадовался возможности хоть деньги за коня вернуть. — Рассказывай все как есть!

— Приехал я в Гюней. Привязал лошадь на постоялом дворе у Геврека.

— Что дальше?

— Ну, ясное дело, привязал его за узду, стреножил. И за шею еще привязал, чтобы не сорвался, если какая-нибудь кобыла во дворе окажется.

— Так ты его удушил?!

— Нет! Ты слушай!

— Что слушать? Моя вина! Доверил тебе лошадь.

— Привязал я вороного. Мне нужно идти к врачу. Буду, говорю, скоро. Ну вот, возвращаюсь на постоянный двор. Геврек смотрит на меня... Странно так смотрит. Я ему: что с тобой? — а он молчит. Тут я сразу и подумал, что с конем неладно... Выбегаю во двор — в крови лежит.

— Что случилось?

— Кобыла зашла во двор. Вороной взбесился. Порвал узду, путы, веревку на шее. Никто его не мог удержать. Геврек сколько лет около лошадей, и то не смог. Живет у него хромой монах, гяур. Так вот этот монах взял и ухнул вороного колуном. Помер конь.

— Хромого заставляю заплатить!

— На мне вины нет.

Мастан уже понял это.

— Редкостный был конь, — повторял он горестно. — К чужим ни за что не шел. А порода какая — от жеребца самого Нуреттина-паши! Птица, а не конь!

Ахмед любил вороного еще больше, чем Мастан.

— Нет греха на моей душе, — бормотал он. — Клянусь аллахом, он был для меня дороже сына.

— Эх, какой был конь! — сокрушался Мастан. — Племенной! А где же доктор? — спохватился он наконец.

— Завтра приедет, сегодня у него дела.

— Я его тоже по делу зову!

— Там убили одного. В Верхнем Армутлу следствие идет.

— Приспичило им! Нашли время человека убивать, когда я заболел!

Крестьяне, услышав о гибели вороного, подвели поближе.

— Я его ржанье за сто метров узнавал, — сокрушенно вздыхал Муса. — Даже копытами цокал по-

своему, душа моя! Знатный был конь, паша среди коней.

— Верно, паша среди коней,— кивал Мастан.— отпрыск жеребца самого паши! Кому, как не ему, быть пашой среди коней!

— Больно пуглив был,— вставил Хотунлу.

— Потому что породистый, понял? Не чета вашим полудохлым клячам. Им все равно! А этот чуял, когда лист мимо пролетит. Я бы его на десять человек не променял. Он лучше меня понимал, кто мой враг, а кто друг. От смерти меня спас. Никогда не забуду!

— Что ты говоришь? — удивился Хотунлу.

— А как же! Поехал я как-то на озеро уток стрелять. Утки далеко сели. Начал я подъезжать к ним тихонько. Вдруг стал вороной как вкопанный. Порази его аллах — с места не тронется, что значит порода! А оказалось, впереди прямо перед конем яма глубокая. Крестьяне потом рассказали. Никогда я этот случай не забуду.

— Эх,— вздыхал Ахмед,— словно ребенка своего лишился! Даю, бывало, ему овес, а он ржет. Я его по ржанию, как человека, понимал.

— Что ж поделаешь,— сказал Мустафа,— помер. Люди помирают, не то что лошади.

— Кто знает цену хорошей лошади, тот поймет меня,— вскипел Мастан.— А что ты понимаешь в лошадях, если вырос на ишаке?

— Ага, не годится так расстраиваться,— успокаивал его Ибрагим.— Коня найдешь, человека потеряешь.

От вороного и его родословной разговор перекинулся к коням легендарных Кероглу и Чакыджи, и в конце концов все забыли, с чего начался этот разговор.

Ах, как ждали крестьяне большого дождя! Того, который выпал, пока Хасан сидел в тюрьме, было недостаточно, чтобы налиться зерну. Нужен был на-

стоящий ливень, обильный и щедрый. В деревне глаз не спускали с вершины горы Карынджалы, над которой вот уже три дня крутились тучки. К вечеру они начали расти, приобретая грязно-черный цвет. Такие тучи обычно сулили дождь земледельцу. Их называли «благословенными облаками». Люди уже знали: постепенно разрастаясь, черное крыло закроет весь небосклон. Можно было заранее устраивать праздник.

— Недолго осталось,— говорил Сердер Осман, поглядывая на небо.

— Помоги аллах! — откликался Рыжий Осман.

Облако выплыло из-за Карынджалы, единственное облако с черной сердцевинкой.

— Малó больно,— вздыхал Рыжий Осман,— черноту за собой не тянет.

— Отец говорил мне, что черное облако одно не приходит,— отвечал Сердер Осман.— Черные облака, что овцы: куда одна, туда и все стадо.

— Помоги аллах!

Облако все росло, потом разорвалось пополам, и два кудрявых тополя застыли над горой, словно пришитые. Как ни старались люди забыть о них, занимаясь своим хозяйством, глаза сами собой нет-нет да и поднимались вверх.

— Гвоздями приколотили нашу тучку-спасительницу! — кричал Хотунлу Рыжему Осману.

Тот показывал ему свою самокрутку. Дым от нее поднимался прямо вверх.

— Как же ей двигаться, коль ветра нет?

— Типун тебе на язык! Не вмешивайся в дела аллаха.

Облака снова сошлись, превратившись в верблюда. Подул слабый ветерок, тучка не двигалась.

— Сейчас ветер ее повернет,— обещал Сердер Осман.

Действительно, через четверть часа ветер усилился, и облако начало скользить с вершины горы вниз, а за ним набегали новые облака, еще и еще... Через час они уже занимали полнеба.

— Ну, что я говорил? — радовался Сердер Осман. — К вечеру польет, — обещал он с видом знатока.

Напряжение рассеялось. Люди потянулись в кофейню.

— Сыграем в шашки? — подмигнул Рыжий Осман Сердеру Осману.

— Обязательно, друг. Кто еще против меня?

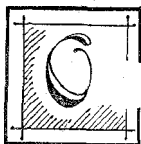
— Давай один на один, — расхрабрился Рыжий Осман.

Никто не решался сражаться с Сердером Османом. Как игрок он был известен не только в своей деревне, но и во всей округе. Когда же он победил известного в касабке Хромого Эмина, слава его среди завсегдатаев кофейни достигла апогея. Теперь его иначе и не называли, как Чемпион.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Я взошел на гору, посмотрел в долину,
Чую — сзади Мустафа целится
мне в спину.

(Из народной песни)



Смытые дождем, утолившие жажду поля
ожили, задышали. Теперь только скосить и
обмолотить хлеба. У крестьян за спиной словно
крылья выросли.

Подготовка к жатве всегда волнует. Повсюду точат серпы, косы, собирают камни для девенов¹. На улице никого не видеть. Пусто и в кофейне.

Мастан зачастил на свои поля. Этот внезапный интерес его к своим полям был необъясним. Много лет он интересовался только чужими полями. А теперь он разглядывал и ощупывал колосья, словно проверяя, действительно ли будет хороший урожай. Крестьяне в толк не могли взять, что с ним случилось.

А дело было в том, что со щедрым урожаем в прах рушились планы Мастана. Пошли он сейчас в касабу, вызови чиновников — и все соседские поля в его руках. Сознание этого не давало ему покоя. Однако он никак не мог осмелиться на такой шаг. Крестьяне обещали расплатиться после урожая. С ними тоже надо знать меру.

Когда у него просили зерно на посев, он давал в тайной надежде, что должникам не под силу будет расплатиться. Легко ли ему теперь отказаться от своего нового коварного плана? При виде тяжелых колосьев он приходил в бешенство. Ему хотелось немедленно бежать в касабу, звать судебных исполни-

¹ Девен — рама с острыми камнями, с помощью которой обмолачивается хлеб.

телей, но, приходя домой, он менял решение. «Они убьют меня»,— думал он в отчаянии. В такие минуты он готов был собственными руками без всякой жалости растерзать кесикбельцев всех до единого.

Потом Мастан остывал, и в мозгу его созревали более осторожные планы. Всю землю сразу не захватить, а что если начать с тех, кто не может за себя постоять? Взять хотя бы Фетчи Кадри, Ибрама¹ Келера, Дештимана. Все трое — робкие, своих крестьян и то дичатся. Разве они посмеют возразить Мастану? Испугаются, небось, сабель и пистолетов, что висят у него дома на стене.

После долгих раздумий он решил послать Ахмеда в касабу за конфискаторами.

— И жандармов позови,— наказывал он.— Скажи, крестьяне в своих делах не могут разобраться. Готовы съесть друг друга. Старосте одному не справиться. Неплохо бы приструнить их.

Ахмед отправился. На другой день в деревню прибыли судебный исполнитель и несколько жандармов.

— Зачем пожаловали в такое время?— удивились крестьяне.

— Требуется провести конфискацию,— последовал ответ.

— Что?

— Поля конфисковать.

— Чьи? — побледнел Рыжий Осман.

— Фетчи Кадри, Сулеймана Угурлу...

— Дештимана, значит.

— ...и Ибрагима Келера.

— ...и Ибрама Келера...— как эхо, повторил Рыжий Осман.— А еще у кого?

— Все,— отрезал чиновник.

— А почему у них, а не у кого другого?

— Да-а,— вздохнул Мустафа,— Никому в этом мире верить нельзя.

— Почему?

— А помнишь, какой с Мастаном уговор был?

¹ Ибрам (местн.) — Ибрагим.

— Чует мое сердце,— скривил губы Сердер Осман,— что это еще цветочки, а ягодки впереди.

— Жаль! — сказал Рыжий Осман.— Они бы много в этом году собрали. Такой урожай раз в сорок лет бывает.

— Без с-совести человек! С-совсем без с-совести! — повторял Хасан сквозь зубы свистящим шепотом.

— Видит — урожай хороший, вот у него глаза и разгорелись,— вставил Хотунлу.

— Надо что-то делать,— решил Хасан,— пропадут ведь люди.

— А что сделаешь? — возразил Рыжий Осман.— Будем кричать и шуметь, так и наши поля отберут, клянусь аллахом...

— Наши, наши! — в ярости прикрикнул на него Хасан.— Ничего другого у тебя нет на языке. Себе, значит, рай, а другим — ад? А беда сегодня к нему, а завтра к тебе.

— А что мы можем сделать? Ну-ка, скажи! По мне — так отделаемся тремя полями, и слава аллаху.

Лицо Хасана налилось кровью.

— Дело не в Али и не в Вели¹. Встанем на кривую дорожку — потом не сойдем с нее. Сегодня ты не отстоишь Фетчи Кадри, завтра он промолчит, когда за тебя возьмутся. Ишаки и те друг другу спину чешут.

— Правильно,— согласился Сердер Осман.

Хасан перевел дыхание и продолжал:

— Волка в стадо нельзя пускать. Поведится — все стадо перепортит. Ни одной овцы не оставит.

— Не оставит,— поддержали крестьяне.

— Давайте же возьмемся и не пустим этого волка в стадо. Нечего нам бояться Мастана! Пора укоротить его загребушие руки. А то он войдет во вкус и всех остальных оседлает. Сегодня три поля, завтра пять, потом десять. Если в запруде вода пробилась — ее нужно вовремя остановить, не то всю деревню за-

¹ Али и Вели — наиболее распространенные турецкие имена.

гопит, разнесет наши дома в щепки. Молчанием сердце Мастана не смягчить. Бешеной собаке хлеба не бросай — все равно кусаться будет. Только палкой ее припугнуть можно. От огня жалости не жди: куда попал — там все сожжет. Сгорит дом Фетчи — займется и у Рыжего Османа. Все мы должники Мастана — значит никому несдобровать. Разве Фетчи не такой же раб аллаха, как ты? Разве Дештиман не мусульманин, разве Ибрам Келер тебе не сосед? Ты думаешь так: пусть его дом сгорит, зато мой останется. Правильно?.. Если ты его сегодня поддержишь — завтра он тебя не бросит. Одна рука делает много, две руки — еще больше.

Запыхавшись, прибежали Ибрагим Келер и Дештиман.

— Наши поля!..

Все отвели глаза. Хасан проговорил твердо:

— Не отчаивайтесь, друзья. В нашей деревне не гяуры живут. Обязательно что-нибудь придумаем.

— Ох-хо-хо! — стонал Ибрагим Келер. — А я-то радовался: аллах пожалел нас, послал урожай! Вся душа горит.

— погоди!

— Тебе-то что! Ох, душа горит! Ничего не останется; ни травинки, ни былинки! Все пропало!

— У меня тоже душа горит. Ведь мы же люди, а не звери. Найдём выход.

Ибрагим Келер вытаращил на Хасана глаза. Дештиман рот разинул.

— Какой выход? — спросили оба разом.

— Пойдем с ним потолкуем. Рыжий Осман, Сердер Осман, Керим-староста, Дювенджи Хафыз и я. Если у этой свиньи остался хоть кусочек сердца, мы заставим его отказаться.

— Спасибо, — пробормотал Ибрагим Келер, — и я пойду с вами.

— И я, — напросился Дештиман.

— Идем, идем! Все идите.

Пошли вдоль деревни, чтобы зайти за старостой Керимом и Дювенджи Хафызом. Известие об их намерении быстро облетело дома. По дороге к ним присоединялись все новые крестьяне, со всех сторон

сбегались женщины и дети. Возле дома старосты толпа остановилась. Хасан постучал в дверь. Хозяин вышел.

— Мы к Мастану потолковать идем, дядюшка Керим,— объяснил Хасан.— Конфискаторы пришли забирать поля у Фетчи Кадри, Ибрама Келера и Деш-тимана.

— Пойду с вами,— заторопился староста.

Теперь — к дому Дювенджи Хафыза.

Узнав, в чем дело, тот наотрез отказался присоединиться. В ответ в его дверь полетел камень.

Теперь вся деревня, кроме Дювенджи Хафыза и хозяина кофейни Мусы, принимала участие в шествии. Толпа жужжала, как растревоженный улей.

— Кровопийца!

— Да покарает его аллах!

— Боюсь грех на душу брать, а то бы давно его прикончил!

— Собака поганая!

— Постоим за себя, пока живы!

Впереди шел Хасан. Взгляд его был устремлен вдаль. Страсти в толпе накалялись, крики усиливались. Хасан никого не видел и не слышал. Он был один сейчас на этой дороге. Он принял решение и теперь будет шагать и шагать вперед. Ничто его не остановит.

У дома Мастана навстречу крестьянам вышли три жандарма.

— Что случилось?

— Мы идем к дому аги,— ответил Сердер Осман. Жандармы взяли за карабины.

— А ну, разойдись! — крикнул унтер-офицер.

Сердер Осман хлопнул кепкой по колену.

— У нас ничего дурного на уме нет.

— Разойдись, говорю!

Сердер Осман оглянулся на толпу и, набычившись, шагнул вперед. Крестьяне потянулись за ним. Жандармам пришлось отступить. Мастан, стоявший у окна, отпрянул в глубь комнаты. Хасан ударил два раза кулаком в дверь. Мастан снова подошел к окну.

— Что надо?

— Пришли с тобой поговорить.

Мастан смерил толпу взглядом.

— Всей деревней?

— Да,— Хасан ударил в грудь рукой.— Я, дядюшка Керим, Рыжий Осман, Сердер Осман, Ибрам Келер, Дештиман...

— И я! — Фетчи Кадри выступил вперед.

Мастан побледнел.

— Зачем же сборище устраивать?

— Мы пришли поговорить,— сказал Хасан.

— Не о чем мне с вами говорить.

Толпа зашевелилась. Хасан поднял руку.

— Уговор был: долги — после урожая. А конфискаторы сейчас приехали.

— Мне нужны деньги.

— У нас нет денег.

— Тогда я продам их поля.

— Что тебе стоит подождать месяц? С голоду не помрешь.

— Это мое дело.

— Жаль.— В голосе Хасана зазвучали металлические нотки.— Жаль, что твои загребущие руки не знают покоя.

— А ну, убирайтесь! — разъярился Мастан.— Прочь от моего дома! Я прошу защиты,— обратился он к жандармам.

Те тотчас щелкнули затворами, словно только того и ждали.

— Разойдись! — рявкнул унтер-офицер.— Все по домам!

Никто не тронулся с места.

— Открой дверь, поговорим по-хорошему! — крикнул Хасан.

Лицо Мастана вновь появилось в окне. Позади маячили два жандарма.

— Уходите, не то потом пожалеете.

— Посмотри,— отвечал Хасан,— тебя охраняют, словно сундук с золотом. А у нас с собой нет даже иголки. Чего же ты боишься? Нам надо с тобой поговорить.

— О чем нам толковать?

— Конфискаторы подождут.— Голос Хасана звучал твердо.— Скажи им, пусть уезжают!

— Их власти посылают, не я.

Услыхав слово «власти», жандармы вновь решительно двинулись на толпу.

— Лед у тебя вместо сердца! Останови их!

— Все по правилу! Палец, отрезанный по закону шарията, не жалеют.

— Это не по шарияту, а по твоему приказу.

Толпа опять загудела.

— О шарияте заговорил! Да если бы у тебя в сердце был страх перед аллахом, ты бы такого не делал!

— Если бы ты был человек...

Хасан снова поднял руку — знак молчать.

— Мастан-ага, откажись ты от этого. Ведь ничего не случится, если подождешь еще месяц!

— Указывать мне будешь?

— Ты же знаешь: в Кесикбеле ни добра, ни зла не забывают. Заберешь поля — навек запятнаешь себя. Кто отказывается от своего слова, кто слизывает свой плевок, от того все отвернутся.

— Ни в ком из вас я не нуждаюсь.

— Только у аллаха ни в ком нет нужды.

— Халил... — тихо позвал староста Керим.

Мастан вздрогнул. Давно его не называли по имени, так давно, что он и имя-то свое, кажется, забыл.

— Халил, брось ты эту затею. Бедняки на тебя молиться будут. Не лишай их семьи куска хлеба!

— Будь по-твоему.— Мастан весь как-то сник.— Знай, только из уважения к тебе. Я твое уважение не променяю на все сорок деревень Кесикбеля.

— Благодарствую.

— Только ради тебя... А эти не знают благодарности. Покуда им на раны соли не насыплешь да хвоста не накрутишь, денег от них не жди.

Фетчи Кадри плакал.

— Значит, можно отсылать конфискаторов, ага?

— Отсылай. Нет, лучше пусть подождут меня в кофейне.

В один миг толпа рассеялась. Один Хасан продолжал задумчиво стоять на прежнем месте. Медленно поднял голову — прямо перед ним, в окне, была Алие. Огромные, лихорадочно блестящие глаза смотрели на него в упор. Хасан судорожно глотнул воздух. Земля качнулась у него под ногами. Опустив голову, он повернулся и пошел прочь.

Придя домой, Хасан повалился на тахту возле очага и сразу заснул обессиленный. На лице его застыла горькая улыбка. Подошла мать, долго глядела на него. Смахивая слезу, прошептала:

— Три поля спас мой львенок.

Хорошенько укрыла сына. Хасан немного повернулся и через минуту опять задышал легко и ровно.

С тех пор отношение к Хасану в деревне изменилось, имя его стали произносить с уважением. Однако ни у кого не было охоты вспоминать о том, что произошло. Крестьяне ходили подавленные, словно ожидая возмездия за свою дерзость. Мастан пыхтел себе под нос и ни с кем не разговаривал. Все боялись, что он замышляет какую-нибудь новую пакость, и каждый надеялся, как всегда, что злая участь и на этот раз минует его.

Между тем пришла пора уборки урожая, и происшествие забылось само собой. Страсти на время улеглись. Только с Хасаном творилось что-то неладное. Он сделался молчаливым, даже дружков своих избегал. Возвращаясь с поля, подолгу задумчиво сидел у ручья в тени тутового дерева.

Присел и сегодня. Вдруг перед ним, словно из-под земли, вырос Сердер Осман.

— Здравствуй, Хасан!

— Здравствуй... — Он растерялся от неожиданности.

— Что с тобой стряслось?

Он молча пожал плечами.

— Сторониться нас стал. Или рассердился на что?

Он положил руки на плечи своего лучшего друга.
— Прости меня. Я словно больной хожу.— Уголки губ у него вздрагивали, то ли от смеха, то ли от сдерживаемого плача.— Жатва выматывает.

— Я кончил свое поле. Хочешь, помогу тебе — пойду навстречу с другого конца?

— У тебя самого много работы. Зерно ведь еще убирать с поля надо.

— А давай побратаемся?

— Мы и так братья. Я тебе все расскажу, только не сейчас.

Сердер Осман вытащил из кармана кисет, протянул Хасану:

— На, свертывай!

— Лучше ты сам.

Сердер Осман сделал две самокрутки. Потом вытащил огниво и одним ударом высек искру. Хасан склонился над трутом, с наслаждением вдыхая его дурманящий запах.

Друзья закурили.

— Что за печаль у тебя? — не успокаивался Сердер Осман.

— Да так... — отмахнулся Хасан.

— Не скрывай, Хасан. Вижу — у тебя горе.

— Да нет же, клянусь аллахом!

— Что ж, мое дело спросить, а там — как знаешь.

— Да будь у меня и вправду горе, разве бы я тебе не сказал!

— Сейдали все про тебя спрашивает. Давай сходим к нему.

— Пошли, — поднялся Хасан.

По берегу речки вышли к шалашу, стоявшему посреди длинной и узкой полоски Сейдали. Солнце стояло в зените, и Сейдали с братом как раз спрятались в шалаше — отдохнуть, переждать жару.

Увидав друзей, Сейдали вскочил с места.

— Откуда вы свалились? На какой горе волк подох?

— Ты уж скажешь! — смеялся Хасан. — Разве нельзя просто так прийти?

— Не тебе это говорить. Кто у тебя в гостях побы-

вает или к кому ты сам придешь, того хаджи можно называть.

Сейдали вымыл в деревянной лохани руки, плеснул горсть воды на лицо, вытер ладони о штаны.

— Ну, давай поздороваемся!

Они долго трясли и стискивали друг другу руки. Потом Сейдали вытащил откуда-то старый тюфяк.

— Садись, поговорим.

Хасан уселся прямо на землю.

— Слава аллаху, половину уже убрал! — сказал он.

— Да, поторопиться не мешает. От Мастана всего можно ожидать. Не успеешь оглянуться, как он конфискаторов пришлет.

— Теперь это не так-то просто. Пришлось ему смердеть впустую.

— И то правда.

Хасан вновь погрузился в задумчивость. Сердер Осман заметил это.

— Эх, поскорее бы с урожаем разделаться! — вздохнул он. — Ибрам говорит — в касабу театр приехал. Вот бы сходить!

— Театр — это здорово! — поддержал его Сейдали.

Хасан был настроен серьезно.

— Сначала дело кончить надо, в театр успеем.

— Душа тоскует! Грех разве — немного потешить свою душу?

— Там одна баба так тянет газели¹ — век бы слушал!

— И животом играет?

— А как же, брат? — развел руками Сердер Осман с видом знатока. — Какой без этого театр?

— Давайте махнем в касабу?

— Мечтала голодная курица об амбаре с ячменем... — улыбнулся Хасан. — Дело прежде всего!

— А после молотьбы свадьба будет. — Сердер Осман помахал в воздухе кепкой. — У Мустафы!

¹ Газель — небольшое лирическое стихотворение в восточной поэзии, многие газели стали народными песнями.

— Да ну? — удивился Хасан.

— Теперь уж точно — обещание получил. Надры-
вался, бедняга, — пупок наружу. Все боялся, не отда-
дут за него.

— Да уж ломались там, словно невеста — дочь
падишаха.

— Все-таки добился своего!

— Он терпеливый, как дервиш... — Вытащив ки-
сет, Сердер Осман опять стал крутить для всех ци-
гарки.

— Фабрика ты, что ли! Крутишь одну за другой,
как машина, — засмеялся Хасан, увидев три аккурат-
ные самокрутки.

— Дело привычное, брат. Коль куришь контра-
бандный табачок, ко всему привыкнешь.

Брат Сейдали встал и взялся за косу. Отдохну-
ли — хватит! Рассиживаться некогда.

В эти дни вся деревня на полях. Трудное это дело,
жатва. Ох и трудное! Все силы высасывает. Идет че-
ловек по полю, машет косой, а в запястьях резь, опух-
шие руки деревенеют. В дни жатвы руки у крестьян
все время сжаты в кулак, словно они каждую минуту
собираются драться. Если разогнуть тяжелую, на-
бухшую крестьянскую ладонь, она сплошь покрыта
трещинами и мозолями. Покосишь с неделю, все ко-
сточки начинают ныть, так что по ночам невозможно
заснуть.

— Много еще работы! — вздохнул Хасан.

— Справимся, не горюй. Поможем друг другу.

— Благодарствую, Сейдали, — поднялся Хасан. —

Пора отправляться.

— Заходите еще!

— Мы-то зайдем, — отозвался Сердер Осман. — Но
и ты в долгу не оставайся!

— Приду! Счастливого пути!

— Проща-ай!

Солнце палило нещадно. В этот год уборка при-
шлась на начало рамазана¹. Голодные люди чуть не

¹ Рамазан — девятый месяц лунного года, во время ко-
торого мусульмане соблюдают пост.

падали на работе. Наконец с грехом пополам скосили и заскирдовали хлеба. Обмолот решили начать после праздника.

Долгожданный праздник! Все настроены торжественно. Сразу после утреннего намаза высыпали на улицу. Сначала надо поцеловать руку у отца и матери. Потом поклониться всем старикам села, почтить память умерших за прошедший год, посетить семьи покойных. Обычай этот соблюдается свято, поэтому во время праздника все межсемейные распри затихают.

Так прошел первый день праздника. На второй все собрались под большой чинарой, где были устроены качели. Давул, зурна¹ — все здесь, как полагается. В первый день качели отдают в распоряжение детей, а потом уж и взрослым можно побаловаться.

Хасан, Сердер Осман, Рыжий Осман, Сейдали, Сулейман небольшой группой прохаживались около качелей.

— Ну, кто со мной? — крикнул Сердер Осман.

Откликнулась вся компания. Каждый дал давулджу² пять курушей — для крестьянина большие деньги. Первым сесть выпало Хасану. Два парня взяли за концы длинной веревки из конского волоса, приводящей качели в движение, — и снова началось ликование зрителей.

Взмах за взмахом качели набирают высоту. Под конец голова человека мелькает уже где-то в ветвях чинары. Особой удалей считается взлететь так высоко, чтобы доска вертикально к земле была, но не каждый решается на это.

Хасан взлетал все выше.

— Держись, Хасан! — подбадривали снизу.

Молодец Хасан, ничего не боится! Давул и зурна славят его удаль — гудят бодро и призывно, как во время борьбы пехливанов³. Наконец парни отпустили

¹ Давул, зурна — народные музыкальные инструменты.

² Давулджу — музыкант, играющий на давуле.

³ Пехливан — богатырь, силач, борец.

веревку, качели стали постепенно останавливаться. За Хасаном была очередь Рыжего Османа.

— Не очень-то раскачивайте, а то у меня голова закружится! — с деланным страхом кричит он сверху.

— Ой, ой, шлепнется сейчас! — в тон ему вопит Сердер Осман.

Зрители покатываются от дружного хохота. Чем выше взлетает Рыжий Осман, тем смешней его шутки. Смех не умолкает вовсе.

— Покачаемся — и в касабу, — предложил Сейдали.

— Пошли! — обрадовался Сердер Осман.

В этот момент со стороны реки раздался выстрел, за ним второй, третий...

— Пистолет, — определил Хасан,

— Наверняка били — три выстрела, — добавил Сердер Осман.

— Уж не драка ли, спаси нас аллах?

Рыжий Осман мигом прыгнул с качелей.

— Идем!

По дороге уже спешили люди. Друзья догнали их.

— Из пистолета палили, верно ведь? — возбужденно бросил Хасан.

— И мне так показалось, — подтвердил Кель Бакырлы из толпы.

— А может, жандармы едут?

— Да нет, кто-нибудь развлекается...

— Зачем же попусту тратить пули?

Подумав о возможных последствиях выстрелов, прибавили шагу. Одним махом взбежали на пригорок: у источника под грушевым деревом лежал человек. Кинулись к нему. Одного немедленно отрядили за лошадью. Лежавший на земле оказался Ибрагимом Салихом. Он был ранен в плечо.

— Кто тебя, кто? — склонился над ним Хасан.

— Хаджи, — ответил за него Ташчи, — Хаджи Живодер...

— Убежал?

— Не знаю... Вроде убежал.

— Поймаем... Куда ему деться, сукину сыну! А за что он тебя?

— Не знаю.

— Повздорили они,— объяснил Мустафа.— Слово за слово, тот за пистолет и...

— Из-за Разие сцепились,— сказал кто-то.

— Из-за какой-то потаскухи человека убивать?

— Хаджи — это же зверь. Ему только повод дай. Родную мать убьет.

Ибрагима посадили, прислонив спиной к дереву. От большой потери крови он был весь желтый.

— Сольцой бы присыпать рану,— сказал Сейдали.

— Брось, еще беды наделаешь. Помнишь, Убейт и Дуран дрались? Я тогда Убейту так насыпал соли, что он еле жив остался. Столбняк с ним был.

— А если с кожи наскоблить?

— Это можно.

Сердер Осман снял с пояса патронташ и начал соскабливать с него в ладонь внутренний, соленый от человеческого пота слой. Как только он приложил к ране соленую пыль, раненый застонал.

— Воды! Воды...

Один парень побежал к источнику. Сердер Осман остановил его.

— Нельзя! Раненому воду не дают, а то много крови потеряет.

Теперь кровь из раны текла медленнее.

— Скоро совсем остановится,— пообещал Сердер Осман.

Пригнали чью-то плохонькую лошаденку. Пять парней подняли Ибрагима Салиха, посадили верхом на лошадь. Он был почти без сознания. Если бы его не поддерживали сзади, он бы мешком свалился на землю.

— Воды! — вдруг опять прошептал раненый.

— Умрет ведь от жажды! — взмолился Мустафа.— Что ему сделается от одного глотка воды?

— Нельзя, говорю! — непререкаемым тоном заявил Сердер Осман.

В деревне уже ждала упряжка Мастана. Не отказал, дал свою лошадь. Ибрагима уложили в повозку. Сердер Осман и Хасан залезли тоже. Раненый продолжал стонать и просить воды.

— Молитесь, чтобы мы поспели в больницу! — крикнул Сердер Осман и повертел в воздухе толстой палкой. Колеса загромыхали по дороге.

Впереди сидел Сердер Осман и правил лошадей. Хасан примостился в ногах у раненого.

— Воды! Воды! — хрипел раненый.

— Уже скоро... Потерпи, друг, — уговаривал Ибрагима Хасан, поддерживая его за плечо, чтобы уберечь от ударов о дно повозки. — Нет у меня воды, пойми.

— Ох, помираю, пить...

Дорога стала песчаной. Тряска прекратилась.

— Ибрам, Ибрам! — тревожно окликнул Хасан раненого: тот вдруг умолк...

— А?

— Как себя чувствуешь?

Раненый прикоснулся к плечу, нащупал теплое — кровь...

— Я ранен?

— Пустяки. Плечо оцарапано.

Ибрагиму опять стало плохо.

— Куда... куда мы едем? — стонал он.

— К доктору.

— О-ох!.. Я ему покажу!

— Кому? Кто в тебя стрелял?

— Хаджи Живодер. Сволочь...

— Молчи, молчи. Опять кровь пойдет!

— А рана большая, скажи? — Ибрагим со страхом смотрел на свой рукав — увидел запекшуюся, загрязненную пылью кровь.

— Пустяки, — успокоил его Хасан.

— Только бы поправиться... Живым он от меня не уйдет. Клянусь честью матери, не уйдет он от меня живым! — повторял Ибрагим в тоскливой ярости.

— Аллах его покарает!

Они были в пути уже целый час.

— Ну, как дела? — обернулся Сердер Осман.

— Хорошо! — отозвался Хасан. — В себя приходит.

— Стисни зубы, друг. Совсем немного осталось, — обернулся к раненому Сердер Осман.

— Ох, помираю...— хрипел Ибрагим Салих.

Он слизал запекшуюся у него на ладони кровь, да же не почувствовал привкуса соли.

— Хоть бы глоточек воды!

— Где ж ее взять. Нет у нас воды!

Ибрагим с трудом шевелил заплетающимся языком, словно рот у него был набит ватой. Вот и последний спуск к касабе. Оставалось ехать минут десять—пятнадцать. Под гору лошадь шла веселее. Сердер Осман то и дело подхлестывал ее, как бы назло Мастану, который холил и берег своих лошадей пуще глаза.

— Потише ты!— крикнул Хасан, когда повозка загромыхала по булыжнику.

— Надо пораньше успеть, а то эти доктора— народ капризный.

Вот уже Тевфиков виноградник, кладбище, за ним парк. Раненый впал в беспамятство.

— Торопись, дорогой, он без сознания,— теребил возницу Хасан.

Сердер Осман снова стал нахлестывать лошадь. На полном скаку въехали в город. Вот и больница.

— У нас раненый,— обратился Хасан к привратнику.

— Разлетелись, как на скачках!.. Никаких докторов нет,— проворчал тот.

— А когда будет доктор?

— Я их не сторожу.

— Смотри, приятель,— Сердер Осман понизил голос.— Если раненый подойдет у ваших дверей, тебе несдобровать.

— И тяжело он ранен?

— Да уж зазря мы бы сюда не поехали. Две пули в него всадили, бочонок крови вытек.

Привратник открыл ворота.

— Давай сюда!

Повозка въехала во двор. Со всех сторон сбежались любопытные, под ногами сновали дети.

— Ему легкое прострелили...

— Думаешь, помрет?

— Раз к нам попал—выживет. Два дня—и на

ногах будет,—сказал привратник.— Бывали случаи и поуже.

— Ишь какой пряткий! — возражали ему.— Два дня... Не так-то все просто.

— Врача надо позвать,—сказал Хасан.

— Сейчас позову,—невозмутимо отвечал привратник.— Вот привалила работенка в праздничный день! — бормотал он по дороге.— А прокурора известили? — обернулся он уже у ворот.

— Нет, мы прямо сюда,—пожал плечами Сердер Осман.

— Да вижу: уже полны штаны от страха. По головке за это не погладят.

Наконец он ушел. Толпа, окружившая повозку, начала редеть. И все же много любопытных осталось.

— Что с ним? — допытывались они у Хасана.

— Ранили, да и все.

— Из-за земли?

— Неизвестно. Мы сами еще не знаем.

— А кто стрелял, известно?

— Нет.

— Если он помрет, убийца выйдет сухим из воды.

— Не помрет. Это гора, а не человек. Такого не скоро угробишь.

— И свидетелей не было?

— Не было.

Хасан по горькому опыту знал, что такое попасть в свидетели: не стал подводить людей. Во двор вошел человек с бледным лицом — доктор.

— Господин прокурор знает о случившемся? — спросил он.

— Нет,—ответил Хасан.

— Внесите его в приемный покой,—распорядился врач.— Надо подождать прокурора.

Ибрагим то приходил в себя, то снова терял сознание. Его внесли в помещение.

— Что клали на рану? — склонился над ним доктор.

— С кожаного ремня наскоблили,—ответил Сердер Осман.— Очень кровь текла...

— Когда это было?

— Часа три назад.

— Правильно сделали. Надо было заодно и перевязать рану.

Сердер Осман промолчал. Доктор побрызгал на рану из какой-то бутылки: жидкость вспенилась, зашипела.

— Пить...— простонал Ибрагим Салих.

— Дайте ему воды,— распорядился доктор.

— Нельзя — помрет же! — удивился Сердер Осман. Он был уверен в своей правоте.

Однако выразительный взгляд доктора привел парня в замешательство.

— Вам видней, конечно,— забормотал он.— Да только у нас...

— Помолчи пока,— перебил его доктор.

В сопровождении сторожа явился прокурор.

— Кто привез раненого?

— Мы,— ответил Сердер Осман.

— Из какой деревни?

— Караахметли.

— Это Кайран, что ли? Или я ошибаюсь?

— Да нет же, Караахметли.

— Кто в него стрелял?

В этот момент вернулся Хасан, которого посылали за водой.

— Неизвестно, господин прокурор.

— Кто был при этом?

— Никто. Мы услышали выстрелы и прибежали. Вот и все.

— И никаких следов не осталось? Кто в тебя стрелял? — наклонился прокурор к раненому.

В ответ послышался стон.

— Займитесь им,— повернулся прокурор к доктору.— Показания потом снимем.

Ибрагима положили на стол. Доктор велел раздеть его и разрезал ножницами минтан.

— Приготовьте шприц. Дайте пинцет...

Двумя ватными тампонами он очистил рану. Потом подошел санитар, велел поднять Ибрагиму рубашу и сделал ему укол.

Какой крестьянин по доброй воле согласится быть свидетелем на суде, да еще в страдную пору? Судье ведь нет дела, жатва у крестьян или молотба,— знай вызывает в город всех подряд. Поэтому и появилась в деревне поговорка: «Если у тебя много денег — иди в поручители, а если много времени — в свидетели».

Оказавшись без свидетелей, Ибрагим сослался на несчастный случай. Как прокурор ни бился с ним, слышал одно:

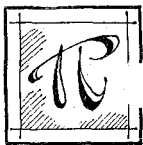
— Я сам в себя выстрелил, нечаянно получилось...

Через пятнадцать дней с перевязанной рукой Ибрагим вернулся в деревню. К тому времени большинство крестьян обмолотили половину урожая.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Пусть радость навсегда приходит,
Скорее пусть беда проходит.
С бедою мы давно знакомы —
Пусть, как весной воды, проходит...

Кул Халиль



1

лохо приходится караахметлийцу, когда наступает жара. Все выгорает. Не остается ни одной зеленой былинки даже на лугах, багровеет крона сосен. Грушевые деревья стоят жалкие, общипанные.

Воздух раскаляется — дышать нечем. Это уже не привычная Караахметлийская долина, а сущее пекло, царство красного яростного огня, от которого гибнет все живое. Кувшин воды на голову выльешь, а через секунду волосы сухие, как солома. А подует ветер — еще страшнее. Лицо как будто обжигает огненное дыхание ада. Люди бредут к родникам, в тень деревьев, и падают там на землю в изнеможении. Долина погружается в забытие. Лежит желтая, как больной в лихорадке. Только два дерева возле родника — тута да седая верба — по-прежнему зеленеют, потому что корни их омываются родниковой водой. Чуть не половина деревни собирается в такие дни под их тенистым шатром, и до самой темноты никто не может тронуться с места.

В народе эту пору прозвали «огненной молотилкой». Первый ее вестник — пыльный вихрь. Он рождается в лощине между деревнями Гюллю и Узерлик. Его зовут здесь «вражьим вихрем». Подхватывая и крутя все, что попадает на пути — хвою, листья, солому, — ломающая ветки деревьев, он бешено мчится по лощине.

Вывавшись на простор, он достигает предельной мощи. До самого моста в Пашалар продолжает он свою неистовую пляску. Но у моста его будто косою

подкашивают. Он вдруг бессильно оседает, словно загнанный скакун. Не одолеть ему моста. Ложится безумец в русло реки, как в постель, и успокаивается.

Рождается «вражий вихрь» в июне, между десятым и двадцатым числами. Ни разу еще не случилось, чтобы он нарушил этот срок. А через десять дней после его нашествия вся долина уже грязно-желтого цвета, как детский понос. Крестьянину этот ветер всю душу выматывает. После него не то что работать — рукой пошевелить силы нету. Поэтому каждый спешит закончить обмолот до появления «вражьего вихря». Да не всегда это удается, порой зерно наливается позже, чем надо... Тогда жди беды.

В этот год к первому июня повсюду на токах уже лежали груды обмолоченной соломы. Чтобы перевеять хлеб, ждали только ровного, сильного ветерка. Лишь он поможет отделить зерно от половы. Подует он — на токах сразу закипит работа. Солому в одни мешки, зерно — в другие.

Уже наступило четвертое число, а сонный воздух все не шевелился. С ума сойти можно, пока ждешь этого ветра, стоишь с вилами в руках и ждешь. Колыхнулась какая-нибудь веточка, зашелестел листок — ты с надеждой поднимаешь голову. Хватаешь горсть зерна, бросаешь в воздух — опять мякина падает вместе с зерном. С ума сойти можно! День ждешь, другой, третий... Наконец в бессильной ярости начинаешь посылать небу проклятья.

На пятый день из-за горы выползли два крошечных облачка. Люди обрадовались.

— Должны ветер принести. А, душа моя?

— Верно говоришь, дорогой. Только бы дождя не принесли.

— Упаси аллах, упаси аллах!

После полудня облака сгустились. Подул легкий ветерок, однако не такой еще, чтобы можно было веять зерно.

— К завтрашнему дню окрепнет, — надеялись крестьяне.

Ветерок действительно окреп, и даже скорее, чем ожидали. Опять крестьянин в тревоге — не было бы дождя раньше времени.

К вечеру ветер набрал нужную силу. Можно было приниматься за работу. На радостях люди забыли о самом дожде. А он был уже не за горами.

Если бы не ночь, успели бы управиться. Но что сделаешь впотьмах? Небо сплошь заволокло тучами. Не то зерно будет после дождя! А если дождь затянется, совсем дело плохо! Половину урожая водой смоем, половина потом погниет.

Спасать надо урожай, ох, успеть бы только! В лихорадочной спешке люди ссыпали зерно в мешки и тащили их домой, под крышу. Работа не из легких!

— О аллах милосердный!

Торопливо швыряя зерно лопатой, Сердер Осман то и дело поглядывал на потемневшее небо в надежде отыскать там хоть одну звездочку. Ни одной, всюду черным-черно.

Хасан успел отнести два мешка. Целый вал зерна еще лежал нетронутым. Сумерки сгустились настолько, что люди с трудом различали друг друга, однако работа кипела, как в ясный день. Работали все: от стариков, еле стоящих на ногах, до малых детей, едва вставших на ноги. Даже больные были на токах. Солому охапками грузили кто на осла, кто на вола, кто на лошадь, кто на тележку и, отвезя домой, тут же возвращались, не давая себе передышки.

Сердер Осман опять задрал голову кверху. На лоб его упали две крупные капли.

— Вот оно... Вот оно...—забормотал он.— Проклятье!

С токов неслись крики.

— Дождь!

— Ах, мать моя! Пропал урожай!

— Сюда тяни!

— погоди, сейчас Хусейн придет!

Подгоняемые дождем, люди сгибались в три погибели под непомерной тяжестью — каждый стремился захватить с собой как можно больше, дождю оставить поменьше.

Халил-ага взвалил девятилетнему сыну на спину огромный мешок. С трудом удерживая равновесие, выкатив глаза от напряжения, мальчонка медленно

тащился по полю. Край мешка волочился по земле — было в нем верных пятьдесят килограммов. Хасан поравнялся с мальчиком. Вся душа перевернулась, да что сделаешь — у самого огромный мешок за плечами... Стиснув зубы, он шагнул вперед. Сзади донеслось сдавленное рыданье ребенка.

Большую часть урожая уже увезли с полей. Дождь все усиливался. Грянул гром. Вспышка молнии на мгновение осветила несчастные лица с потухшими глазами, как у мертвецов. И тут стеной хлынул ливень. Спасать оставшееся на токах зерно было уже бесполезно. Мешки на спинах людей, набухая от воды, пригибали их к земле. Люди шли молча, словно выносили убитых с поля боя. Это промокшее насквозь зерно было их последним спасением и последней надеждой.

Глядя со стороны на этих неторопливо шагающих людей, можно было подумать, что они нарочно не спешат уйти от ливня — хотят, чтобы он промочил их до костей.

У женщины, которая шла впереди Сердера Османа, вдруг подкосились ноги, и она упала. При вспышке молнии мелькнула ее растрепанная голова, которую она второпях забыла накрыть платком.

Молнии сверкали все чаще. Одна из них ударила в гору Карынджалы, где-то совсем рядом. Сердер Осман поспешил к женщине. Она уже встала и снова взвалила на себя мешок.

— Что с тобой, сестра?

— Ничего.

По голосу Сердер Осман узнал ее. Это была жена молодого Чюрюка. Два дня назад она родила.

— Брось мешок!

Женщина пошатывалась, но шагала вперед.

— Брось, говорю! Разве тебе можно?

Женщина продолжала идти, будто не слышала.

— А ну, брось! — заорал Сердер Осман.

— Немного осталось, дойду...

— Дай сюда.

Он потянул мешок к себе.

Сверкнула молния, осветив на мгновение искаженное, с прикушенной губой, лицо молодой женщины.



— Нехорошо тебе, сестра?

— Да нет, ничего...— Голос был нетвердый, дрожащий.

— Не притворяйся, сестра, я же вижу...

Женщина молча оседала на землю. Бросив оба мешка, Сердер Осман подхватил ее на руки. Она слабо отбивалась, но потом все тело ее безвольно обмякло.

— Сестра!

Женщина не шевелилась.

— Сестра!..

Слышалось только ее прерывистое дыхание. Все вокруг были настолько поглощены своим горем, что никто не обращал внимания на Сердера Османа и его ношу. Он скользил и оступался на грязной дороге. Дождь яростно хлестал в лицо. Вот, наконец, и деревня. Дом Чюрюков первый с краю. Дверь открыта. Войдя в дом, юноша бережно опустил свою ношу на пол. Вслед за ним вошел хозяин, Мустафа Чюрюк.

— Безжалостное у тебя сердце! Кто же посылает женщину в поле сразу после родов?!

— Сама ушла... Клянусь аллахом, не послушалась...— растерянно бормотал Мустафа.

За стеной пищал новорожденный.

Дождь утих на другой день к полудню. Кругом грязь, желтые намывы, созданные дождевыми потоками. В печальной деревне царило безмолвие, как на похоронах. Один Мастан радовался втихомолку. Урожай его пострадал больше других— у него ведь и поле самое большое. А ему и горя мало, он с лихвой возместит убытки. Теперь крестьянам не под силу выплатить долги, много новых полей к Мастану отойдет.

Знает Мастан, конечно, что крестьянин живуч, как сама земля, выкрутится как-нибудь и из этой беды. Не умирающая в нем надежда всегда спасает его. Рассердила небо земля-кормилица, обрушился на нее гнев небесный, а крестьянин все не смиряется, бьется за жизнь до конца.

Только прошел дождь, а деревня уже радуется, что он был не затяжной — зерно не попреет, не погниет. Надо только рассыпать его на токах да высушить. Забот хватает, для печали времени нет.

Усталая долина, умытая, освеженная дождем, сразу похорошела. Постороннему она и в красоте своей показалась бы жалка, как молодая дикарка, нацепившая на шею стекляшки, а карахметлийцу любо. Трудно будет после такого дождя «вражьему вихрю» спалить долину своим мертвящим дыханием, запоздает «огненная молотилка».

Опять повез крестьянин свое зерно на ток. Солнышко просушило все в один день.

— Зерно чистехонько! — кричал Сейдали работающему рядом Сердеру Осману.

— Еще немного — и в амбарах у нас было бы чистехонько.

К вечеру люди вывезли хлеб на поля и всю ночь потом перелопачивали его, всю ночь с полей доносились говор, песни, смех.

С первым лучом солнца усталые люди повалились на землю там, где настиг их сон.

2

Ибрагим Салих размотал повязку на плече. Рана подживала. Удовлетворенно кивнув головой, он уселся среди камней, зажав между коленями немецкую винтовку системы «Маузер», которая осталась у них в доме еще со времен «войны с греками»¹. Давно уже никто не снимал ее со стены, не прикасался к трем патронам, лежавшим в коробке из-под сигарет. Сегодня впервые за долгие годы хозяйская рука бережно протерла ее.

С вершины горы, где устроился Салих, все вокруг видно как на ладони. И дорогу хорошо видно. Ибрагим Салих все поглядывал на нее, раздвигая кусты. Сейчас дорога пуста, время еще не пришло. А все-таки как бы не прозевать...

¹ Имеется в виду национально-освободительная война турецкого народа 1919—1923 годов.

По этой дороге Мастан с Хаджи должны были сегодня ехать к источнику Кесен, который считался целебным. Мастан лечился его водой. До источника верховому час езды. Час туда, час обратно, да часа два там — значит, к обеду должны вернуться. С тех пор как они уехали, прошел час. Ждать еще долго.

Ибрагим Салих погладил крепко зажатый между коленями приклад, проверил затвор, навел прицел. Все в порядке. Повеселев, вытащил из кармана коробку с патронами и зарядил винтовку. Она действовала исправно. Надо все проверить заранее, чтобы Хаджи не осталось пути назад. Только бы рука не дрогнула! Только бы не дрогнула рука у самого лучшего стрелка Кесикбеля, который с одного выстрела бил птицу на лету. Ибрагим Салих согнул и разогнул пальцы — рука тверда.

— Ну, пусть только подъедут!..

Он опять осторожно раздвинул ветки. На дороге никого не было. Значит, план действий такой. Как только они покажутся из-за поворота и подъедут к тополям, он спускает курок и посылает в цель свою верную пулю. Не поразит цель первая пуля — есть еще вторая и третья в запасе.

«И Мастана пристрелю — пусть люди вздохнут свободно», — думал он в лихорадочном возбуждении.

Из трех патронов два он предназначил для Хаджи, один — для Мастана. А что в деревне скажут, если он убьет Мастана? Что он промахнулся — целил в Хаджи, а попал в его хозяина? Негоже ему приобретать такую славу. Пятьдесят раз он стрелял из пистолета в пачку «Енидже»¹ с сорока шагов и ни разу не промахнулся.

— Ну и пусть говорят, что хотят, — решил он наконец, — зато крестьян освобожу.

Он был рад, что все решил для себя. А крестьяне... Да после этого он у них станет героем — он, отомстивший за Караахмета.

В сетке ветвей замаячила фигура всадника. Ибрагим Салих вскинул винтовку и притаился. Всадник

¹ «Енидже» — сорт дешевых сигарет.

скрылся за поворотом и вскоре вынырнул опять. Он был похож и на Хаджи и на Мастана. Вот он приблизился к тополям.

«Чужой!» — Ибрагим отложил винтовку.

Над его головой, на самой вершине, сидели два ворона, зорко оглядываясь по сторонам. Вот они взмахнули крыльями, сделали круг и опять опустились на прежнее место. Ибрагим Салих с наслаждением растянулся на сырой и холодной земле. Огромный шмель прожужжал мимо носа. Припекало солнце. Он спрятав голову в тень куста.

...Отец утром испугался.

— Зачем тебе винтовка?

— Стрельба по мишеням будет. В Узерлике — свадьба.

Не поверил старик, однако смолчал. Он никогда не перечил своему «упрямому гяуру», знал — бесполезное дело. Мать тревожить не хотелось... Жена тоже, видно, догадалась... Через пять дней приедет брат из армии.

Ибрагим Салих не заметил, как заснул. Снилось ему, будто лежит он посреди изумрудно-зеленой долины. И куда ни посмотришь — всюду хлеба в человеческий рост. Лежит он, а над головой колосья под ветерком шумят, качаются...

Спит Ибрагим Салих и не знает, что приближается тот самый миг, о котором он думал всю ночь напролет, ворочаясь с боку на бок. Кузнечик уселся на приклад винтовки, а оттуда прыгнул ему на шею. Ибрагим дернулся во сне, открыл глаза, вскочил на ноги... Ни души вокруг... Глянул на небо — солнце в зените. А вдруг уже проехали? Не может быть, он ведь проснулся оттого, что явственно услышал топот копыт. Он различил бы его и в смертном сне, цокот копыт этой рыжей лошади с белой подпалиной возле бабки. Посмотрел на дорогу. Вьется далеко облачко пыли. Сощурил глаза:

— Они!

Еще раз проверил затвор, размял пальцы. Лошади шли рысью. Эх и хорош конь под Хаджи! У поворота всадники остановились. Мастан, привстав на стремене

нах, оглядывал поля. Как бы они с дороги в поле не свернули! Тогда пуля их не достанет. Стоя на коленях, Ибрагим напряженно ждал. Из-под правой ноги выскользнул камень и покатился вниз. Слава аллаху, опять двинулись! Вот скрылись за поворотом, опять показались.

Смуглое лицо Ибрагима побледнело. Он сплюнул, втянул в себя воздух и лег затаив дыхание. Поравнялись с тополями. Он обломил ветку, чтобы не лезла в глаза. Проехали тополя... Он прильнул к прикладу и спустил курок. Есть! Хаджи в седле судорожно дернулся и запрокинулся. Не помня себя, Ибрагим вскочил на ноги и послал в него еще две пули. Хаджи слетел с лошади и растянулся на дороге во весь рост. Испуганная лошадь Мастана попятилась и поскакала назад, а лошадь Хаджи все кружила около своего хозяина.

Ибрагим совсем забыл о своем решении убить и Мастана. Не спеша, удовлетворенный сознанием выполненного долга, он спустился с горы, перекинул винтовку за спину и подошел к своей лошади.

Прежде, обдумывая месть, он решил сразу после убийства во всем сознаться, но теперь думал иначе.

«А может, обойдется?» — размышлял он, проводя рукой по шее лошади. Ему уже не хотелось идти с повинной. Он взлетел в седло, дал шпоры и галопом поскакал в сторону гор.

Хаджи еще раз дернулся, словно хотел выпрямиться и встать, потом по всему телу прошла судорога, и он замер. Целый рой мух налетел откуда-то на свежую кровь.

Мастан все погонял взмыленную лошадь. Наконец он решился оглянуться. Труп, растянувшийся на дороге, был виден ему издалека. Легкий ветерок шевелил полы минтана. Погони не было. Опасливо косясь по сторонам, Мастан свернул с дороги и полями поехал в деревню.

Кругом мертвая тишина. Только треск сухой травы под ногами лошади да осторожный цокот копыт... Мастан был весь в поту. Натянув поводья, он в последний раз оглянулся. Во всей долине никого не видно.

Въехав в деревню, Мастан пустил коня галопом. На полном скаку осадил возле кофейни.

— Беда!

Завсегдатаи кофейни окружили его со всех сторон.

— В засаду мы попали. Возле тополей.

— В какую засаду?

— Хаджи убили... Стреляли и в меня, да промахнулись...

— А много их было?

— Не знаю, из-за кустарника стреляли.

— Вот бандиты, вот янычары! Три года назад тоже одного убили из-за денег.

— Мне показалось, что там был Ибрам Салих. Я не разобрал как следует.

Крестьяне давно смекнули, что стрелял Ибрагим Салих — кому же еще?

— Нет, он не решится, — загудели в толпе. — Он только языком мелет.

— Я не жандарм — голову ломать, кто да кто стрелял, — заключил Мастан, беря лошадь под уздцы. — В касабу сообщу, пусть, кому положено, расследуют.

Весть об убийстве Хаджи Живодера мигом разнеслась по деревне. Зюбейде-ханым встретила мужа на дороге.

— Ты чего? — набросился на нее Мастан.

— С тобой ничего не случилось?

— Нас так просто не возьмешь, — засмеялся он.

— Слава аллаху!

Алие испытующе смотрела на отца. Она никогда не чувствовала к нему особой привязанности, а в последнее время была и вовсе равнодушна. И все же странно, что мысль о том, что его могли убить, совсем не испугала ее. Девушка вспомнила, как Хасан рассказывал ей о жестокости отца. Ведь тогда его слова причинили ей боль. А сейчас она без ужаса готова примириться с его смертью. Алие старалась отогнать эти мысли, но все возвращалась к ним. Вспоминала тот разговор с Хасаном — это было давно, а она помнит каждое его слово. И вдруг ее охватило желание увидеть Хасана вновь, сейчас, сию же минуту, во что бы то ни стало!

Но она только повернулась и побрела на кухню.

Ибрагим Салих расстегнул минтан, подставляя грудь легкому прохладному ветерку. Он сидел в седле как влитой. Ничто не мешало ему думать свою думу. Забытая винтовка болталась за спиной. Лошадь шла сама по себе, он лишь изредка машинально трогал ее шпорой.

Подъехав к источнику, где он собирался напоить лошадь, Ибрагим даже забыл отпустить поводья, и лошадь не могла дотянуться до воды. Она несколько раз мотнула головой, но он и этого не заметил. Через некоторое время вновь пришпорил лошадь, и она затрусила по дороге.

Он был словно во сне. Губы его шевелились, шепча какие-то слова. Лошадь сама знала дорогу в Караахметли. Почувяв близость деревни, она пошла галопом, раскачивая своего седока из стороны в сторону. Очнувшись, он потянул к себе поводья.

Вот и деревня, первый дом — Чюрюков. Стоявшие у ограды крестьяне удивленно проводили глазами странного всадника — он не ответил на их приветствие, словно не слышал ничего. Показалась кофейня. Навстречу ему бежали люди. Кто-то остановил его лошадь, взяв ее под уздцы.

— Ибрам Салих!

Он очнулся. Дештиман дергал его за рукав. Ибрагим спешился. Глаза его смотрели печально и беспомощно.

— Ты пролил кровь! — Дештиман ударил его по щеке.

Пощечина прозвучала в тишине, как выстрел.

Дештиман ударил еще раз. Ибрагим не отворачивал лица. Слезы катились по его щекам. Толпа повалила назад в кофейню, увлекая его за собой. Он тяжело рухнул на стул.

— Я убил... Три пули у меня было... Все всадил в него. Будь еще одна — и Мастана убил бы...

Слезы не давали ему говорить. Кто-то, сочувствуя парню, вылил ему на голову кружку воды.

— Позовите его отца! — распорядился Дештиман.

— Не надо, — выпрямился Ибрагим Салих. — Как я ему в глаза погляжу?

— Значит, ты убил? — переспросил для верности староста Керим.

— Я.

— За что? — Староста тронул его за плечо.

Ибрагим вздрогнул.

— Я должен был его убить!

— Сам, значит, сознаешься?

— Сознаюсь, все одно пропадать.

Староста облегченно вздохнул. Преступник сам покаялся. Теперь можно спокойно ждать приезда жандармов.

— Полагается тебя связать, — приступил он с веревкой к Ибрагиму.

— А зачем ты, староста, за жандармов работаешь? — вмешался Дештиман.

Сконфуженный Керим сунул веревку в карман и уселся напротив преступника. Ибрагим пустыми глазами глядел в одну точку. Вдруг дверь тяжело скрипнула. На пороге встал его отец — дядюшка Дурмуш. Он медленно подошел к сыну.

— Ты убил человека... Не ожидал, что придется провожать тебя в тюрьму.

Ибрагим молча рыдал, прижимая руки отца к своему лицу.

— Юсен скоро вернется, забудьте меня, — он судорожно глотнул воздух. — Прости меня, прости!

— Прощаю. — Голос старика дрожал...

Жандармы приехали только под вечер. Старший был сердит.

— Нашли время для убийства. И место выбрали! Сюда и шайтан не сунется. Ну, где он?

— Это я! — Ибрагим поднялся со стула.

— Хорошо придумал. Его — на кладбище, а себя — в тюрьму?!

Унтер отстегнул от пояса наручники и нацепил их на Ибрагима, не переставая ворчать:

— Работаешь, как ишак, ни дня, ни ночи не видишь.

— Ночи теперь темные, подождали бы до утра, — предложил староста. — Скажете потом, что искали преступника.

— Нет уж, мы пойдем. Эй, шагай вперед! — крикнул унтер Ибрагиму.

Тот послушно встал впереди всадников. Дядюшка Дурмуш, не шевелясь, смотрел ему вслед.

— Эх! — вздохнул кто-то в толпе. — Хоть и убийца, а все-таки сын родной!

— Не печалься, дядя Дурмуш, видно, такая его судьба.

Старик потер лоб ладонью.

— Видно, так...

Он нагнулся и долго искал на полу упавшую палку, чтобы скрыть от людей слезы.

Услыхав об аресте Ибрагима Салиха, Хасан вспомнил, как таскали в касабу его самого, как, выпуская его, чиновник велел ему прийти еще раз, через неделю. А с тех пор уж не одна неделя прошла. Как бы не было беды! Он решил навеститься в касабу. Оповестил всех соседей, чтобы к вечеру написали письма (в Караахметли почты нет, письма отправляют с оказией).

На другой день вышел с зарей. Шагалось легко, весело. Вот уже и шоссе. Задержался немного у родника. Сполоснул руки, лицо и уселся на свое любимое место под тутовым деревом, потом огляделся. Неподалеку на пригорке маячила повозка Мастана. Хасану стало не по себе, но он отогнал тревогу: «Какое мне до него дело!» — и растянулся на земле, глядя на небо и хлопая себя ладонью по лицу, чтобы поймать щекочущего кожу травяного клопа.

Повозка подъехала прямо к Хасану и остановилась. Из нее вышли Мастан и Алие. Хасан приподнялся.

— Селямюналейкюм, — приветствовал его Мастан.

— Алейкюмселям.

— В касабу?

Хасан кивнул.

— Идите к нам в повозку, — сказала Алие.

— Я груз тяжелый, — улыбнулся Хасан.

— Садись, садись, — поддержал Мастан. — Мои лошади вытянут.

Хасан сел. Если бы не Алие, не согласился бы ни за какие деньги. И почему при этой девушке он так смущается, власть над собой теряет? Вот бы на ком жениться! Да разве она ему пара?

Хасан сидел рядом с Мастаном, напротив Алие. Девушка в упор рассматривала его.

— Какое дело у тебя в касабе? — спросил Мастан.

— Скучно стало, решил погулять.

— Что ж, молодому только и гулять.

— Да, в деревне очень скучно жить, — сказала Алие.

— Нам не привыкать, — ответил Хасан. — Это я так что-то захандрил. Нездоровится вроде...

— От усталости, должно быть, — сказал Мастан.

Разговор явно не клеился. Алие продолжала с любопытством смотреть на Хасана.

— А то давай с нами в больницу! — после некоторого молчания сказал Мастан.

— Кто ж у вас заболел?

— Ее везу. — Мастан показал на дочь. — Что-то тоже все время грустная ходит.

Хасан глянул на девушку.

— Пусть сгинет хворь, как вчерашний день.

— Спасибо, — улыбнулась Алие.

Он смущенно опустил глаза.

Повозка въехала в касабу. Хасан соскочил на мостовую.

— Благодарствую! Счастливого пути!

Он направился прямо в суд. Секретарь, у которого он спросил о Хусейне, долго рылся в бумагах и, наконец, объявил:

— Его здесь давно нет. Они пожениться успели.

Хасан облегченно вздохнул, словно груз свалился с его плеч. Теперь надо сходить в тюрьму. Хоть и не приемный сегодня день, но можно к ограде подойти, поговорить. Особенно хотелось ему повидаться с Гюрро. Приближалось как раз время прогулки.

Вот надзиратель открыл большую дверь. Заключенные выходили по одному и по двое. Гюрро шел последним.

— Гюрро! — окликнул Хасан.

Тот завертел головой.

— Ула! Это ты, Хасо?

— Я самый!

— Как твои дела?

— Спасибо, ты-то как?

К Гюрро подошел надзиратель, стал отгонять от решетки.

— Прощай! Ефрах я ельби! — донеслось до Хасана. Слезы навернулись ему на глаза.

— Ефрах я ельби, — тихо прошептал он.

Возвратившись к вечеру в деревню, Хасан никак не мог уgomониться, пошел снова бродить по горам.

Вдыхая полной грудью ночную прохладу, он дал волю своему воображению.

Из головы не выходила Алие. О чем бы он ни думал, мысли его вновь и вновь возвращались к ней. Что она хотела сказать своим взглядом там, в повозке? Тысячу значений можно приписать такому взгляду. А вдруг он тоже нравится ей? Думать об этом было приятно — она красива и богата. Только вряд ли... Алие выросла в касабе, кого только она там не повидала! Врачи, инженеры, адвокаты! Что такое он перед ними? Ничто! Не может его полюбить Алие. «Увидела себя голодная курица в амбаре с ячменем!..» А все-таки как она глядела на него из-под опущенных век, как вздыхала!.. И прямо на глазах у отца!

Хасан достал сигарету и глубоко затянулся. Внутри у него горело, он жадно вдыхал в себя дым, словно стараясь заглушить терзающую сердце тревогу. Рассудить трезво — разве сможет он пойти к Мастану и попросить руки его дочери? Никогда в жизни! Для Мастана он нищий, голодранец. Увезти ее? Но куда? И что он потом будет делать? Ну он-то еще куда ни шло, а она, дочь аги, воспитанная в городе?

Опять понесло те же воды в ту же реку!

Ничего не надумав, Хасан вернулся в деревню, а ноги сами направились к дому Мастана. Он остановился за углом. Отсюда было видно ярко освещенное окно. Лампа «люкс» далеко разливала сильный, ров-

ный свет. Мастан долго был единственным в деревне обладателем такой лампы. Когда Муса тоже завел себе «люкс», ага даже обиделся на него.

За белой занавеской мелькнула тень. Надо уходить, да ноги будто приросли к земле... Тень опять приблизилась к окну. Конечно, это ее тоненькая фигурка! Она разговаривала с кем-то через плечо, то и дело оборачиваясь назад. Хасан невольно подошел ближе к окну. Слышны были обрывки разговора. Голос Алие звучал приглушенно, но кое-что можно было разобрать.

— А чем он хуже других? — говорила девушка. — Почему ты придаешь этому такое значение?

Мастан говорил что-то назидательно, она отвечала резко.

— Он крестьянин... — долетело до Хасана. — Наша честь... Древний род...

«Кого-то хвалят, кого-то ругают — ничего не понять!»

— Воля твоя, — сказала Алие, и тень ее, как веточка на ветру, метнулась в сторону.

Разговор продолжался, но Хасан не мог уловить ни слова... И вдруг...

— Я не променяю Хасана на десять докторов! — явственно донеслось до него.

Он даже вздрогнул. Значит, это о нем шел разговор? Значит, это все возможно?

Все, о чем он мечтал на горѣ!

Как безумный, мчался Хасан, не разбирая дороги. Она не променяет его на десять докторов! Так и сказала отцу в лицо! Чего же он-то боится? Нечего ему бояться. Он все сделает для своей Алие. Раз она отцу решилась такое сказать — значит, Хасан ей действительно нравится. (В суеверном страхе, чтобы не спугнуть свою судьбу, Хасан даже мысленно не произносил слова «любит».)

Месяц был уже высоко. Грудь Хасана распирало от нахлынувшей радости. Если бы сейчас ее увидеть! Он сказал бы ей все, что переполняет душу.

Во всем мире сейчас существовала только она. Богатство ее отца, конфискованные земли крестьян — это было забыто.

Обежав деревню кругом, он опять очутился возле ее дома. Лампа уже была погашена. Он прошел мимо самого окна.

— Хасан!

Хасан обернулся. Она, Алие!

— Гуляю вот... Что-то не по себе...

— И мне не спится. Давай поговорим о чем-нибудь.

— Увидят еще...

Алие ничего не ответила.

— Приходи завтра утром к реке,— осмелился он.

— Приду,— кивнула она.

— Я буду ждать. До свидания!

Бредя домой, Хасан и сам не верил тому, что случилось. Неужели он действительно говорил с Алие? Неужели он опять увидит ее завтра?

Мать не спала.

— Хасан, как ты поздно! Случилось что?

— В горах был с ребятами.

— Я уж не знала, что и думать.

— Не волнуйся ты за меня. Куда я денусь?

— У меня ведь больше никого нет. Ты вся моя опора в жизни...

Хасан долго лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к старческому кашлю матери в ночной тишине.

На следующий день Хасан встал с зарей. Позавтракав базламой¹ с козьим сыром, вышел на улицу.

— В горы пойду,— сказал он матери.— Если к обеду не вернусь, не волнуйся.

— Иди, сынок, иди. Твое дело молодое.

Одним махом очутился он у Булака, на своем любимом месте — под тутовым деревом. Придет ли Алие? Если и придет, то не в такую же рань. Давай-ка, Хасан, обдумай пока все хорошенько.

Подумать было о чем. Уехать из Караахметли вместе с Алие? Если бы он не был простым крестьяни-

¹ Базлама — мучное блюдо типа оладий.

ном, а она — дочерью аги! А уехать — обратно пути уже не будет. Говорят же: есть дорога на родину, да путь заказан.

Деньги, деньги стоят между ними. Если в деревне узнают, что он сватается к Алие, его на смех поднимут. Даже сердечные друзья Сердер Осман и Сейдали будут потешаться. А мать? «Деньги к деньгам льнут, — скажет она. — Колокольчик на шее верблюда и тот гремит: «Деньги к деньгам, деньги к деньгам!» Эх, не будь этих денег на свете, была бы Алие такой же, как Хатидже, Айше, Фатьма, Дене, — как все другие девушки в деревне. Проклятые деньги Мастана! Если б был Мастан таким же, как он, бедняком, боялся бы конфискации... Но ведь сказала же Алие: «Не променяю Хасана на десять докторов». Да что там — сгоряча, наверно, сказала! Очутись здесь сейчас не десять, а хоть один доктор, солидный человек, с деньгами, с положением, которого все называли бы «господин доктор»... Что такое Хасан перед ним? Жалкий крестьянин из деревни Караахметли.

Солнце поднялось высоко. На тутовом дереве весело щебетали птицы. Хасан закурил. В последнее время он много стал курить — почти по пачке в день.

Вдали показались фигуры женщин, идущих к источнику за водой. Все здесь бедняки, как и он. Кроме Мастана. Подойди он сейчас к ним и скажи: «Слушайте, я сватаю Мастанову дочь», — вот смеху-то будет! Все, все в деревне безоговорочно признают, что Мастан другим не чета, сортом выше. Да, наверное, выход только один: надо заработать деньги, много-много денег.

И тут он увидел Алие. Она чуть не бегом бежала. Хасан поднялся в волнении. Стал ворошить рыхлую землю носком бабуша. Сейчас он ей все скажет. Пальцы его мяти сорванный с дерева листок.

— Ты зачем меня звал? — подбежала девушка.

— Поговорить с тобой хотел, — начал Хасан нерешительно. — Сказать тебе кое-что надо. Только боюсь, смеяться будешь...

— Говори. Не буду смеяться.

— Знаешь, в тот день, когда я тебя увидел...

Алие покраснела — поняла, о чем пойдет речь.

— Я долго думал,— продолжал Хасан, не поднимая на нее глаз,— все не решался сказать. Вот решился теперь, хочешь — смейся, хочешь — сердись.

— Что же ты хочешь мне сказать?

Хасан оробел. Вдруг она обернет все в шутку?

— Ты из богатой семьи... Выросла в городе...

— Ну...

— А я бедный крестьянин. Да еще должник твоего отца. Наверно, это глупо с моей стороны, но сердцу не прикажешь...

Алие прикусила губу. Она ждала этих слов. Но оказалось, что они несли в себе не только радость. Она должна решать за двоих, и решать сейчас же.

— С тех пор, как увидел тебя в первый раз, все о тебе думаю,— говорил Хасан.— Вчера, когда в повозке ехали вместе, я понял, что творится с моим сердцем...

Он опять запнулся, не зная, чем кончить свою речь. Сказать: «Давай поженимся»,— еще засмеется. Лучше просто сказать: «Я тебя люблю».

— Твои глаза день и ночь стоят передо мной, жгут меня, как раскаленные угли.

Алие слушала, не произнося ни слова. Хасан по-своему истолковал ее молчание.

— Знаю: мы друг другу не пара. Твой отец богатый, ты красивая, не то, что я.

— Не надо так говорить,— обеспокоенно сказала девушка.

В страшном возбуждении Хасан привстал с места. Не зная, куда девать руки, сунул их в карман, сжал в кулаки.

— Мне б только видеть тебя. Больше ничего не надо.

— Я...— Девушка остановилась на миг и, поборов смущение, продолжала: — Я поговорю с отцом.

— Не надо! — Хасан даже весь встрепенулся.— Не навлекай беды на наши головы!

И тут же устыдился своих слов: она подумает, что он за себя боится! Он взъерошил волосы, потер лоб.

— Он ведь запрет тебя.

— Пусть! Это не страшно.



Вот какая девушка! Другая бы на ее месте испугалась, а эта сама решила, да так просто, без ломанья, без притворства...

Хасан тихонько потянул ее за руку — к источнику подошли женщины. Повинуясь ему, Алие поднялась. Сделала несколько шагов, и толстый ствол туты заслонил их от всего мира. Хасан робко обнял девушку за плечи, зарылся лицом в ее густые волосы.

— Ты все знаешь... — прошептал он.

Несколько дней Алие не показывалась на улице. Хасан ни разу, даже мельком, не видел ее. Зато Мастан без конца попадался ему на глаза и смотрел на Хасана так, словно готов был сожрать его. Неужто Алие все-таки рассказала отцу? Надо побыстрее вернуть ему долг. Два дня назад Хасан все до последнего зернышка перевез с поля, рассыпал пшеницу на крыше соседнего заброшенного дома, солому сложил в амбаре. Прикинул: зерна получалось двадцать шесть мер. Четыреста—пятьсот лир можно выручить. Сто пятьдесят лир он отдаст Мастану, сто пятьдесят — товарищам. И самому немного останется.

Мастан смотрит на него волком. Верно, замышляет что-то. Но пшеница уже собрана. Что теперь Мастан может ему сделать? Он в любое время продаст свою пшеницу и выплатит долг.

Как-то под вечер сидели в кофейне. Пришел и Мастан. Давненько он тут не показывался. Пришел он с работником, но тот сразу убрался куда-то; потом вернулся, примерно через час, и сел с Мастаном играть в нарды.

Через десять минут дверь с грохотом отворилась, и в кофейню ввалился Дуран.

— Хасан! — он задохнулся. — Твой амбар горит!

Хасан вскочил, все вскочили, а Мастан даже головы не поднял.

Не разбирая дороги, бросился Хасан к амбару. Пламя полыхало вовсю. Прибежавшие раньше соседи до его прихода успели вытащить только один мешок пшеницы. Как выпущенная из лука стрела, Хасан ринулся в огонь. Кто-то загородил ему дорогу.

— С ума ты сошел! Пусть уж лучше пшеница сгорит.

Хасан вырывался, бился руками и ногами. Подоспел еще народ, схватили его за руки, держали крепко. В бессильном отчаянии смотрел он, как у него на глазах горит его добро. Сейчас затрещат балки, рухнет кровля. Это не амбар горел — горела его последняя надежда, самая последняя...

Неспроста так упорно сидел Мастан в кофейне у всех на виду. Это он все подстроил! Испугать Хасана хочет, выжить его из деревни. Вот, значит, в чем дело!.. Хасан усмехнулся. Этот лихоимец, богач, гроза всего Кесикбеля, боится его, бедняка с тридцатью дёньюмами земли! Хасан повернулся и зашагал прочь. На него смотрели с удивлением. Только что рвался в огонь, как безумный, а теперь — словно и не его амбар горит. Не обернулся даже тогда, когда с треском рухнули стропила.

Словно другой человек родился в нем — спокойный, решительный, бесстрашный. Мерным шагом вошел он в кофейню.

— Все,— сказал Мастану,— сгорел амбар. Теперь бери мое поле, руби мою голову.

— Что ты мелешь?

— Ты знаешь что. Амбар не джинны подожгли.

— Я при чем? Я здесь сидел. Все видели.

— Забирай поле, руби мою голову! А я знаю, что мне делать.

— Содеянное аллахом не сваливай на его раба. Не бери грех на душу.

Хасан вышел все тем же размеренным шагом.

Да, в этом году конфискаторы в первую очередь постучали в дверь Хасана. А тому хоть бы что! Куда девался парень, который трясся над своим клочком земли? Товарищи предлагали ему помощь, собирались идти просить за него — он ни на что не соглашался. Замкнулся в себе. Уйдет с утра в горы, бродит там до ночи, все думает о чем-то. Даже с Сердером Османом, Рыжим Османом и Сейдали перестал водить компанию. Изредка зайдет в кофейню, посидит там молча и уходит. Чаще всего его видели возле дома Мастана. Тот не гнал его. Похоже было, что побаивался. Один

только раз подослал своего работника. Тот встал у Хасана на дороге.

— Чего тебе здесь надо? Ну!

Хасан молчал. Тот его за шиворот.

— А ну, проваливай, чтоб духу твоего здесь не было!

Хасан с силой стряхнул его руку. Тот в драку полез. Силен Мастанов батрак, да и Хасан ему не уступит, хоть от удара в лицо в глазах у него потемнело, из губы сочилась кровь. Он стер ее рукавом, да так и замер с поднятой рукой, не слушая, как хрипло бормочет его противник: «Поди прочь, говорю. Нечего тебе здесь делать». В окне стояла Алие. Позабыв обо всем, они молча глядели в глаза друг другу, как замороженные. За спиной девушки показался Мастан, оттащил ее в глубину комнаты, захлопнул окно.

Чего только не болтали в деревне, а в толк не могли взять, что означают эти безмолвные прогулки Хасана и почему Мастан зубами скрежещет, едва услышит его имя. Одно ясно было всем: где-то схлестнулись между собой их дороги.

О Хасане говорили много. Кто его героем считал, кто сумасшедшим. Изменился человек. Прежнего Хасана уже не стало.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В Йеменской пустыне камыш качается...
Что было — ушло, не возвращается.

(Из народного плача)



Кроме поля Хасана, Мастан в этот год прибрал к рукам еще три, да заодно и виноградник Мехмеда-кузнеца. Виноградник-то, правду сказать, бросовый. Мехмед никогда им всерьез не занимался. Раньше его кузница кормила, подковы ковал такие, что со всей округи к нему съезжались (но об этом в деревне помнят только старики), а когда бросил кузнечное дело — искра выжгла один глаз — стал выращивать фасоль на берегу реки. Потом расчистил заброшенный минеральный источник и надумал возить в город целебную воду. Привезет бутылки четыре, разольет по маленьким бутылочкам и продает.

Что ни неделя — лир восемь—десять выручает. Да только они ему к рукам не прилипают — идет прямоком в кабачок и наливается вином, как бочка. Если бы не эта его проклятая страсть, мог бы жить припеваючи. Сорок лир в месяц — в деревне это не шутка!

Мастану он должен был четыреста лир. Когда тот предложил уступить ему в счет долга виноградник, Мехмед и глазом не моргнул.

— Кому нужен попугай в мечети!

А участок вместе с источником стоил все три-четыре тысячи. Таких денег в Кесикбеле никто и в глаза не видывал. Приехали из города чиновники и оформили сделку.

Ловко все удавалось Мастану!

У Ибрагима Салиха, Хаджи Слепого и Будуклу тоже уплыли поля в этом году. Все трое не успели спасти урожай от дождевых потоков. Мастан, как гиена, терпеливо выжидал и хватал свой кусок, когда приходило его время.

Теперь вся долина Дюзкесик, в которой было дюномов триста самой лучшей в Кесикбеле земли, оказалась в его руках. Оставалось только повернуть в нее речку Канаре. Это была не речка, а грязный сточный ручей, текущий из касабы, но для жаждущих полей и такая вода была бальзамом.

Мастан принялся за дело решительно. Выписал из касабы подрядчика. Подсчитали — затея получалась дорогая. Но Мастан никогда не отступал от того, что заберет себе в голову. Батракам его было не справиться — еще работников поднанял. Караахметлийцы с тревожным недоумением обсуждали всю эту затею, но работать к Мастану никто не шел.

Людей набрали в Узерлике, в Харымлы, в Гюллю. Работа закипела. За восемь-десять дней навезли кучу цемента, прорыли к полям глубокий арык, перегородили старое русло бетонной стенкой. Вода устремилась на поля Дюзкесика.

Довольный и благодушный, Мастан разглагольствовал в кофейне:

— Слава аллаху, еще одна забота с плеч долой! Теперь увидите, что это за земля. Правду говорят: ухаживаешь за ней — будет сад, не ухаживаешь — будет камень.

— Верно, хозяин, — лебезил Муса. — Умный ты человек, ничего не скажешь.

Мастан слушал с довольным видом. Сам себя он хвалил редко, но лесть очень любил.

Крестьяне только и говорили, что о новом канале, искали скрытого подвоха — Мастан просто так ничего не делает. Всем известно: стоит ему только пальцем шевельнуть, как на людей обрушивается новая беда. Не станет он браться за дело, от которого не будет им пакости. Какая же новая напасть таится за этой стеной?

— Что бы все это значило? — разводил руками Сердер Осман. — Ума не приложу!

— Плетет паук для нас новую паутину, — отвечал Сейдали.

— Это как же?

— Как — не знаю. А только не станет он деньги

зря тратить. У него каждый куруш на счету, а тут вон какую стену возвел!

— Это верно, новый капкан готовит.

— Что же делать? Может, стену проломить?

— А если и впрямь проломить?

— Узнают...

— Пусть узнают. Ну и что?

— Что нам сделает твой Мастан? Долг мы выплатили. Теперь бояться нечего.

Сейдали ударил кепкой оземь.

— Эх, была не была!..

Так и порешили: проломить стену. Оставалось обсудить, как и что делать, чтобы не попасться никому на глаза.

— Ночью надо туда идти, — сказал Рыжий Осман.

Сейдали отряхивал о колено поднятую с земли кепку.

— Ясное дело, ночью. Не днем же у всех на виду: приходи медведь, рви меня!

— Выйдем ночью, возьмем с собой мотыги, — продолжал Рыжий Осман, — и за дело. Мы его проучим!..

— А если нас кто увидит?

— Кому там быть среди ночи? Ведь это поле — не гулянье, не ярмарка.

— Мастан хитер. Уже, наверно, и сторожа поставил.

— Вот упрямый верблюд! Да что это — военный объект, чтобы его охранять?

— Кто его знает! Мастан такая ехидна.

— Ладно, там видно будет.

— Да чего там! Навалимся все сразу и до утра гору своротим, не то что эту стену!

Договорившись, разошлись по домам ужинать, сжигаемые радостным нетерпением, словно дети, ожидающие утра праздничного дня.

Утомленные зноем деревья тихо шелестели листьями, радуясь ночной прохладе. Первым в условленное место явился Рыжий Осман, за ним — Сердер Осман. Вместе дождались Хаджи и Сулеймана. У каждого

в руках по кирке. Молча двинулись в Дюзкесик. Миновали мост, поднялись на крутой берег реки. Подошли к стене. Подождали, пока совсем стемнело.

— Вы оставайтесь здесь, а я посмотрю,— прошептал Рыжий Осман и на цыпочках, крадучись, побежал вдоль стены.

— Идите сюда,— тихо позвал он.— Никого нет!

Друзья постояли еще немного, прислушались — все тихо — и принялись за дело. Работа шла споро, слышалось только частое постукивание кирок да прерывистое дыхание. Все думали только об одном: поскорее бы проломить эту стену, словно за ней их ждал клад. На небо вышла луна. От падающего в воду щебня тихо всплескивали речные струи. Работали без усталости, в состоянии непрерывного возбуждения. Особенно радовался Рыжий Осман. Улыбка растягивала его рот до ушей.

— Видали, братцы?

Когда друзья пустились в обратный путь, вся долина была залита мягким лунным светом. Под их ногами чуть слышно скрипели песчинки.

Возвращались не торопясь, все с тем же ощущением праздника.

На другой день все четверо поднялись рано, разбуженные любопытством. Интересно, что будет делать Мастан? Взбесится, наверное, от злости!.. Однако в деревне узнали об этом только после обеда. Крестьяне разводили руками, удивлялись.

— Кто бы это смог?

— Ты подумай — за одну ночь! С такой работой и силачу не совладать.

— Святого Мастан потревожил. Святые мощи там зарыты.

— Э-э-э! А что я вам говорил? Никто меня тогда не слушал...

Весть о разрушенной стене пулей вонзилась в сердце Мастана.

— Что? — вскочил он.— Разрушена?

— Разрушена,— сокрушенно подтвердил принесший известие батрак.

— Я им покажу!.. Со мной шутки плохи. Я Мастан! Материнское молоко у них носом пойдет!

Задыхаясь, он побежал к реке.

— Собаки! — доносились в деревню его вопли. — Когда я спал... Да я им покажу, мать их!.. Я их прочу, не будь я Мастан!..

Безобразно ругаясь — никто и не знал, что он может так ругаться, — он долго искал хоть какой-нибудь след злоумышленников, разгребал ногой щебень, словно надеялся найти под ним виновника своей беды. Потом оседлал коня и поскакал в касабу, то и дело яростно прищпоривая лошадь, — срывал на ней зло.

Вслед за этим событием потянулась целая цепь других — крестьяне не успевали обсуждать новости. В деревню приехали жандармы, допрашивали тех, кого подозревал Мастан. А у того вся деревня на подозрении: Ахмет, Мехмет, Али, Сулейман, Хасан, Реджеп... Однако допрос не дал никакого результата. Жандармы пообещали найти виновника, с тем и уехали.

Между тем крестьяне всерьез уверовали, что Мастанову стену разрушил святой, старец Этхем, мощи которого были погребены на берегу речки. По всей деревне ходили рассказы о чудесах, совершенных святым, начиная от смерти председателя муниципалитета, который превратил городское кладбище в парк, и кончая смертью человека, невзначай помочившегося у могилы старца.

— Святой всемогущ! Построй хоть железную стену — он и ее разрушит.

— Беду накличет на свою голову этот Мастан. Где это видано, чтобы рядом с могилой святого стену ставить! Пусть благодарит аллаха, что сам жив остался!

Мастан от таких разговоров приходил в ярость. Он ненавидел всю эту проклятую деревню. И ни единого друга, не только в Караахметли, а во всем Кесикбеле, во всех его сорока деревнях!.. Те, что от его

щедрот кормятся, его собственные батраки и работники, в счет не идут. Это все собачьи души: пока кормишь, они не лают. С кем поделиться, облегчить свое сердце?

Затосковал Мастан. Впервые в жизни ощутил он страшную горечь одиночества. К Мусе пойти или к Хафызу Оголтелому? Нет, это тоже друзья его денег. А дай им волю, они бы его живьем съели. Где найти друга, которому можно довериться, который не бросит в беде? Во всем мире нет такого человека. Всегда и везде улыбались люди не ему, а его кошельку. Совсем загрузил Мастан.

Злоумышленников так и не нашли. Мастан ходил сам не свой, чувствуя себя побежденным. Он мог стоять упорно на своем — построить новую стену. Но эти негодяи и ее снесут, ослы упрямые. Ставь десять стен — все десять снесут. Будут знать, что подохнут в тюрьме, — а все же снесут. Этот народец ему известен. Как бодливая коза: раз подняла свои рога — потом с ней не справишься.

Не хотелось Мастану признавать себя побежденным. Как можно допустить, чтобы все вокруг над ним насмеялись, а виновники ходили безнаказанными?! Он поставит сторожа у новой стены. Но сколько можно держать его там? День, два, ну, пять дней, а дальше?

Он не выходил из дому; в глазах у каждого, начиная от малых детей, которые еще кирку держать не умеют, до старого дядюшки Вели, чудилась ему усмешка. Да и Муса, дружок двуличный, и Хафыз — все они хороши.

Измученный своим одиночеством, Мастан забрел как-то раз в кофейню. Угрюмо бросил, не поднимая головы:

— Здравствуй, Муса!

— О хозяин! Совсем запропал!

Мастан мрачно молчал.

— Я тебя обидел? Что случилось, хозяин?

— Ничего, — отрезал Мастан.

- Чай приготовить?
- Давай.
- Не заболел ты, хозяин?
- Нет. Так — настроение плохое.
- Муса уже ставил перед ним чашку.
- Спасибо.

Муса разочарованно вздохнул и отошел к очагу, Мастан наблюдал за ним краешком глаза, медленно отхлебывая чай. Не посмеивается ли и этот втихомолку? Нет, Муса со спокойным, приветливым лицом занимался своим делом. Мастан и за это был ему благодарен. Решил польстить:

— Давай еще чашку! Хорош у тебя чай. Поневоле выпьешь.

— Достоин того, кто его пьет, хозяин.

— Как ты думаешь, кто разрушил стену? — не выдержал Мастан.

— Кто его знает? Крестьяне говорят, святой. В кофейне только и слышно, что ты рассердил святого.

— Болтовня это! Сами сломали ее, проклятые ослы!

— Если бы кто-нибудь из здешних, проговорился бы.

— Сам-то ты как думаешь?

— Да уж какая-то вошь оставила свой помет.

— А как же! Они у меня пожалеют! Я им устрою!..

— Устроишь, хозяин. И правильно сделаешь.

— Обязательно! Они узнают, что значит играть с Мастаном.

— Построишь новую стену — и пусть злятся!

— И построю. Их, что ли, испугаюсь! Меня соплей не перешибешь.

— Не перешибешь.

— Налей-ка еще чайку.

Муса усердствовал. Снял с верхней полки стакан с позолоченными краями, который подавался только важным гостям, и поставил перед Мастаном. Тот поднял стакан на свет.

— Никогда из такого не пил. Высший класс!

Вошел новый посетитель:

— Чаю! Да покрепче.

Муса поспешно вернулся на свое место.

К обеду кофейня наполнилась людьми. Разговор, как обычно в эти дни, вертелся вокруг разрушенной стены. Все наперебой рассказывали о святом. Тому он встретился на реке в зеленом плаще дервиша, с белой бородой; этот видел, как он молился под тутовым деревом.

— Мастан решил новую стену строить, — забросил удочку Муса.

В кофейне мгновенно воцарилась тишина.

— Когда?

— Скоро.

Муса опять склонился над своими чашками, исподтишка следил: как будет воспринято известие?

— Э-э-э... — протянул один.

— Вот вам и «э-э-э»! «Пусть, — говорит, — тысячу раз ломают — тысячу раз построю!» Что ему...

— Будь у меня деньги, и я бы строил, — протянул глубокомысленно другой.

— Беду он накличет на свою голову, — веско сказал Дештиман. — Клянусь аллахом, покарает его святой. Вот посмотрите. Помните, что случилось с председателем муниципалитета? Плюньте мне в глаза, если и сейчас не будет так.

— Мне-то что за печаль, — ретировался Муса. — Покарает так покарает.

— Пусть тогда подает на святого жалобу! — выкрикнул Сердер Осман.

Шутку его одобрили дружным хохотом. Муса обозлился. Он ожидал, что его слова произведут совсем другое впечатление. Но никто из крестьян не беспокоился. Пусть себе строит! Святой за себя сумеет постоять. Глядишь — и правда помрет Мастан несправедной смертью.

Через несколько дней на берегу реки опять лежал цемент и копошились строители. Новую стену возве-

ли еще выше и толще прежней. Мастан специально так приказал.

Крестьяне надеялись, что старец Этхем разрушит ее в первую же ночь. Однако прошел день, другой и еще несколько дней — стена стояла целехонька. Приуныли крестьяне. Но вера их в старца Этхема оставалась непоколебимой. Каждое утро они отправлялись проверять, сделал ли святой свое дело.

— Вот увидите, разрушит,— утешали они друг друга.

Сердер Осман ходил, задумчиво посвистывая,— знал, что в первую неделю действовать рискованно. На одиннадцатый день стена была разрушена.

— Пусть сгорит мой хлеб, если вру! — захлебывался Хусейн из семьи Молламатов, первым принесший радостную весть.— Идет он по реке. Плащ на нем такой зеленый. В руке большие четки. Испугался я, а он через кусты — и в свою гробницу. Пусть лопнут мои глаза, если вру!

После этого уж никто не сомневался в том, что разрушает стену старец Этхем.

Мастан и тот присмирел. За всеми этими событиями он совсем забыл про Хасана. А того теперь в деревне почти и не видели. Он стал часто наведываться в касабу, то дня на три уйдет, то на неделю. Там всегда можно заработать немного денег, если человек согласен на любую работу. Не будь у Хасана Алие и — в глубине души — желания отомстить ее отцу, он совсем бросил бы деревню. Узы, связывающие его с односельчанами, сильно ослабли после того, как он потерял землю. Иногда, работая где-нибудь на стройке, он вспоминал вдруг свое поле. Не по душе ему были эти строительные работы, руки его тосковали по земле. В деревне он сам себе хозяин. Знал свое поле вдоль и поперек. С закрытыми глазами мог сказать, где земля сухая, где влажная, где каменистая. Злость и обида вновь поднимались в нем в такие минуты.

Все его мысли по-прежнему были только об Алие. Но теперь он не тешил себя сладкими надеждами. Он скажет ей, чтобы она его забыла, что все их меч-

ты рухнули, что последняя спасительная веточка, за которую он держался, обломилась. Входя в деревню, он с задумчивым и сосредоточенным видом, опустив голову, шел домой и бросал на стол покупки и остатки денег.

Однажды он заглянул в кофейню. Давно он там не бывал. Обвел всех взглядом: «Здравствуйте!» — и направился к столу, где сидели Сердер Осман и Ташчи.

Лицо Сердера Османа расплылось в улыбке.

— О! Наш Хасан! Здравствуй, здравствуй! Добро пожаловать!

— Рад вас видеть.

Сердер Осман от радости не знал, что и сказать, словно Хасан воскрес из мертвых.

— Эй, неси чаю! — наконец крикнул он хозяину.

Хасан закурил «зеленую лягушку». Сердер Осман колебался: рассказать Хасану про их проделки или нет? Он боялся расстроить друга: разговор-то пойдет о поле, о земле, а у того земли-то уже нет...

— Ну, как живешь? — осторожно начал он. — Давно не видались.

— Хорошо.

— Да, не видались давно. Все здесь о тебе спрашивают, а ты пропал совсем...

В разговор вступил Ташчи.

— Чем теперь занимаешься?

— Хожу в город работать. В хорошие дни по три—пять курушей зарабатываю. И за то спасибо аллаху!

— Упустил ты свое поле.

— Да что в том поле? — ответил Хасан с таким беспечным видом, словно в любой момент мог раздобыть десять полей.

— Да поможет тебе аллах!

В дверях показался Рыжий Осман. Увидев Хасана, он бросился к нему и сгреб в охапку.

— Вот так товарищ! Забыл своих друзей.

— Прости, не до того мне было.

Рыжий Осман с Сердером Османом переглянулись.

Хасан поднялся.

— Счастливого оставаться! — раскланялся Рыжий Осман с Ташчи.

Тот понял намек — остался сидеть в кофейне.

Вышли за деревню. На небе сияла круглая, как поднос, луна.

— Слышал о стене? — начал Рыжий Осман.

— Без вас не обошлось, а?

— Конечно! — радостно засмеялся Сердер Осман. — Мы двое, Хаджи и Сулейман. Крепкая оказалась, мать ее!..

— Правильно сделали, — безучастно отозвался Хасан.

— А второй раз пошли — натерпелись страху. — Рыжий Осман толкнул Сердера Османа локтем. — У меня все поджилки тряслись.

— Боюсь, как бы Мастан до нас не добрался, — сказал Сердер Осман.

При упоминании о Мастане сердце Хасана болезненно сжалось.

— При мне о нем лучше не говори. Я его имени и слышать не могу.

— А кто может?

— Лучше скажи, как вы все это обделали.

— Собрались ночью. Огляделись — никого нет. И пошли махать кирками — аллах сил прибавил... — рассказывал Рыжий Осман.

— Ты видел бы Хаджи! — вставил Сердер Осман. — Мотор, а не человек.

— Эх, друг! — вздохнул Рыжий Осман. — Раз уже дело дошло до Мастановой стены, так я и больной пошел бы ее рушить.

— Любой пошел бы, — согласился Сердер Осман. — Хасан!..

— Что?

— Послушай-ка, что скажу. Толковали мы вчера вечером с Ибрамом-агой — знаешь, из семьи Хуршут-ов. Про тебя толковали.

— Что же?

— Он говорит: Салим в солдатах. Если, говорит, Хасан захочет — пусть идет ко мне в пайщики.

Хасан молчал.

— Ну, что скажешь?

— Я подумаю...

— Да я бы на твоём месте...— начал Рыжий Осман.

— Душа у тебя успокоится,— доказывал Сердер Осман.— Соглашайся, а?

— Надо подумать...

Хасану бы только радоваться, да, видно, не осталось для радости места в его душе. Странное оцепенение сковало его.

— И ты ещё думаешь? Поле само идет к тебе в руки!

— Не знаю...

Как им объяснить, что с ним творится? Нет таких слов.

Он молча побрел домой. Сердер Осман смотрел ему вслед, а руки между тем привычно свертывали самокрутку.

Хасан, наконец, повстречал Алие на дороге. Она сказала ему, что Мастан по пятницам ездит в касабу. Договорились: в ближайшую же пятницу они встретятся в сторожке Кебиров, на винограднике. Там надежнее, чем под деревом у источника.

К тому времени, рассудив трезво, Хасан решил взять поле Хуршуту. «Поле большое,— думал он.— И им хватит, и мне».

Он пошел к Сердеру Осману.

— Скажи Ибраму-аге, что я беру поле.

— Вот молодец!— возликовал Сердер Осман.— И старик рад будет.— Он по привычке потянулся к кисету, верному другу и в радости и в горе. Одну сигарку свернул себе, другую — Хасану.— Пора пахать, а то все сроки упустишь.

— Да вот после пятницы и начну,— ответил Хасан, попыхивая самокруткой.

В тот же вечер он поправил свой старый сабан...

Хасан улегся на земле возле сторожки Кебиров, подставив лицо ласковым, ещё не жгучим лучам утреннего солнца. Алие мешкать не будет. Уедет Ма-

стан — она и придет. Пока же ему надо подумать и взвесить, что он скажет сейчас Алие. Нужно все ей объяснить. А то ведь что получается: подготовит целую речь, а увидит девушку — все слова из головы вон.

Только о земле, о погоде, о дождях Хасан мог толковать часами. Он считал, что других это волнует так же, как и его. А больше ни о чем говорить не умел.

Где-то недалеко послышался яростный собачий лай. Хасан вскочил. Хоронясь за деревом, глянул на дорогу. К сторожке шли деревенские мальчишки. Собака лаяла на них. Они отгоняли ее камнями.

— Отдохнем немножко! — донесся до Хасана то-
ненький голосок. — И опять пойдем.

— Теперь уж не к чему отдыхать, — отозвался гну-
савый голос, — дальше легче идти — под гору.

Хасан затаил дыхание. Громко переговариваясь, дети прошли мимо и вскоре скрылись из глаз. Собака опять залаяла. Алие! Хасан бросился отгонять пса.

— Нагнал он на меня страху! — выдохнула де-
вушка.

— Запомни: если собака лает, иди прямо на нее —
никогда не тронет.

Она уже улыбалась.

— Отец только что уехал — поэтому я так поздно.

Они укрылись в сторожке — хозяйева ее никогда не
запирали. Хасан привалил к двери большой камень. Вспомнилось вдруг, как на этих виноградниках пря-
тался Хусейн со своей девушкой. «Может, и нам с
Алие убежать? Вот был бы переполох!»

Словно прочитав его мысли, Алие сказала:

— Отец следит за мной, каждый шаг стережет.

— Я же просил тебя: не говори ему.

— Теперь не буду. В тот раз он так рассвирепел,
что даже побил меня, — добавила она задумчиво.

— Побил?

— Никогда я его таким не видела. После сам два
дня лежал.

В груди Хасана шевельнулась жалость. Все-таки Мастан — отец ей...

— А теперь как?

— Лучше. Только со мной с тех пор не разговаривает.

— А мать что говорит?

— Мама у меня добрая. Только она в эти дела вмешиваться не решается. Она тоже любила одного, когда молодая была. Соседа своего. Ушел он на войну. Вернулся с одной ногой и без глаза, но она все равно от него отказываться не хотела. Дед насильно выдал ее за отца. Бойтся она за меня. «Как бы,— говорит,— не случилось то же, что с Халиме, дочерью Халила-аги».

— А что с ней случилось?

— Разве ты не знаешь? — удивилась Алие. — Об этом все знают. Ее выдали насильно, а она через два месяца умерла от скоротечной чахотки. Я тогда еще маленькая была. Халил-ага потом в ее память колодец вырыл.

— Что-то я такого колодца не знаю.

— Да он зарос теперь. Халил-ага умер, сыновья чистить перестали.

— На все воля аллаха... Мать твоя, значит, тебя не ругает?

— Молчит все. «Не серди,— говорит,— отца, больной он».

— А что с ним?

— Мнительный стал. Даже в Измир ездил — здешним докторам не верит. Чуть кашляет — сразу о смерти вспоминает.

— Смерть каждого ждет,— вздохнул Хасан.

— Отобрал у тебя поле,— помолчав, сказала девушка. — Что теперь будешь делать?

— Я с Ибрамом-агой в пай вошел.

— Просила я маму: поговори с отцом, чтобы поле тебе вернул. Он ее и слушать не хочет.

— Спасибо! Как-нибудь прокормлюсь.

— А твоя-то мать как?

— Я ей не все рассказываю, жалею. Старенькая она.

— Наверно, убивалась по полю?
— Она и не знает. Не сказал я.
— Может быть, уговорим все-таки отца — отдаст обратно?

— Зачем? И так не пропаду. Скажи лучше, когда в следующий раз увидимся?

— По пятницам отец каждый раз уезжает...

Оба взглянули друг другу в глаза и покраснели. Девушка опустила голову и улыбнулась. Хасан в смущении потянулся за сигаретами.

— Не будь тебя здесь, не остался бы и дня в Караахметли, — тихо сказал он.

— Не уезжай!

— Пусть хоть убивают — не уеду, пока ты здесь.

Оба примолкли. Тихо вокруг, только деревья шелестят под налетевшим порывом ветра.

— Ну, я пойду, — встала Алие. — А то мать забеспокоится.

Хасан тоже поднялся. Вдруг Алие испуганно прильнула к нему. За дверью снова послышались ребячьи голоса. Должно быть, те двое мальчишек возвращались. За щавелем, что ли, ходили? Кто-то из них подошел к самой двери и сел на порог.

— Ты дождешься, что я все расскажу, — прозвучал гнусавый голос.

Хасан и Алие затаили дыхание. Девушка изо всей силы стискивала руку Хасана, но, слава богу, скоро ребятишки ушли. Голоса их постепенно затихали. Алие облегченно вздохнула.

— Ох, перепугалась!

Хасан отвалил от двери камень, дверь распахнулась. В серый сумрак сторожки щедро хлынули солнечные лучи.

После обеда Хасан вывел из хлева волов, взял сабан и, мурлыча песенку, отправился в поле. Давно не было у него легко на душе.словно в прежние времена, по пути завернул к Сердеру Осману. Тот только-только поднялся, собирался завтракать. Хасану обрадовался:

— Присаживайся, набьем животы, порадуем своих будущих тещ.

— Да я уж поел.

— Садись, садись! Со второго куска не лопнешь.

На скатерти, расстеленной на полу, стояла тархана¹, дымился плов из булгура². Дома Хасан поел только немного тарханы. Мать совсем слаба стала, даже стряпать ей трудно. У Сердера Османа мать еще в силе. И еду подает и разговаривать успевает.

— Где ты все пропадаешь, мой Хасан? Я уж и спрашивать у Османа перестала. Наплевал на старых друзей, а?

— Что вы, тетушка! Просто не по себе как-то было.

— С твоей матерью недавно разговаривала. Душа у нее за тебя изболелась. А ведь она уже в годах. Ты уж ее не огорчай!

— Нет, тетушка, зачем же?

— А про поле-то ты не сказал ей...

— Разве она знает?

— А как же! Все знает, только виду не подает. Вот оно что! Хасан в растерянности даже ложку опустил.

— Матушка моя бедная, втихомолку мучилась.

— Материнское сердце всегда за дите печалится,— вздохнула женщина.

Покончив с едой, Осман стряхнул крошки с рук на скатерть.

— Дурная примета,— неодобрительно сказала мать,— бедно жить будем.

— Ничего! — засмеялся он.— Мы и так не богачи.

Выехали в поле. Воле тяжело ступали по мягкой земле. Сердер Осман предложил Хасану обойти новый участок — он хорошо знал его.

— Это земля особая,— объяснял он.— Тут нужно глубоко пахать. Вспашешь мелко — не взойдет зерно! Будешь потом ладони лизать.

Шаг за шагом обошли все поле.

¹ Тархана — род похлебки из муки и простокваши.

² Булгур — крупномолотая пшеница.

— Больно велико,— засомневался Хасан.— Справлюсь ли?

— Эх, ты! Другого такого в Караахметли не найдешь! Сейчас помучаешься — после молотьбы веселиться будешь.

— Помогги аллах!

Присели покурить на краю зеленого луга, где паслись коровы.

— Что ж,— сказал, наконец, Хасан,— начнем, помолвившись аллаху?

— Желаю удачи.

— Уходишь?

— Надо идти. Дела.

Сердер Осман ушел, Хасан принялся пахать. Напевая песню, прокладывал одну борозду за другой, веселый, бодрый,— совсем тот Хасан, каким все его знали раньше.

Крестьяне с других полей посматривали на него и тоже радостно усмехались.

Солнце жгло все сильнее. К обеду пахарь притомился. Присел на краю поля под деревом, заглянул в бадью — еще немножко осталось воды: во время работы он время от времени плескал себе на грудь пригоршню-другую. Достав из узелка сладкую лепешку, сложил пополам, откусил добрый кусок. Хороша лепешка!

Он здорово проголодался. Быстро покончил с лепешкой, запил водой.

На четвертый день поле было уже наполовину вспахано. Хасан остановился перевести дух. Кто-то шел к нему по пашне. Сердер Осман, наверно. Хасан всмотрелся повнимательнее...

К нему приближался Мастан. «О господи! Уж не Алие ли что сказала?» Мастан подошел, остановился. Лицо вспотевшее, красное, но спокойное — не поймешь, с чем пришел.

— Селямюналейкюм!

— Алейкюмселям!

Мастан, кряхтя, уселся в тени под деревом. Похлопал ладонью по земле, приглашая:

— И ты садись!

— Благодарствую.

— Пришел с тобой поговорить.

— О чем?

— Не перебивай меня. Сначала слушай!

— Слушаю.

— Даю тебе тысячу, если уедешь отсюда.

— Я никуда не собираюсь ехать. И денег мне твоих не надо.

— По-хорошему говорю. Потом пожалеешь. Подумай как следует. Я свое слово сдержу. Если уедешь, хоть сейчас выкладываю тысячу — новенькую, хрустящую.

— Я тебе не мешаю. Или тебе стало тесно в деревне?

— Я все сказал. Уедешь — получишь тысячу. А то ведь и босиком могу отправить куда следует.

— А что ты мне сделаешь, если не уеду?

— Аллах знает, что сделаю.

— Ты меня не запугивай. Не боюсь я ни тебя, ни всех твоих хаджи-живодеров с пистолетами.

— Я свои руки кровью марать не стану. — Мастан прищурился. — А обделаю все так, что никто не подкапается.

— Попробуй. Посмотрим, что ты сумеешь. Люди белую овцу от черной всегда отличат.

— Со мной лучше не шутить. Я из рода Мастанов.

— Никто и не шутит.

— Пусть позор падет на мою голову, если я не смогу вышвырнуть из деревни такого голодранца, как ты! — Мастан смолк, чтобы проверить впечатление от своих слов. — Давай кончим по-хорошему. Уезжай куда-нибудь, купи землю. Кто в Кайране выжил, тот нигде не пропадет.

— Здесь мои деды жили. Кому тут не нравится, тот пусть и уезжает.

— Не накликай беды на свою голову. Не шути с Мастаном-оглу!

— В нашей стране законы есть. Никто никого не имеет права сгонять с земли.

— Не прикидывайся несмышленышем.

— Может, я раньше и хотел куда-нибудь податься, да только после такого разговора и шагу не сделаю, даже в город перестану ездить. Понял?

— Чума на твою голову! Ну что ж! Мое дело предупредить. Кто сам упал, тому винить некого.

— За меня не беспокойся, хозяин. Пусть уезжают, кому надо,— скатертью дорога! С давулом и зурной проводим.

Мастан уселся поудобнее, закурил, протянул и Хасану сигарету. Тот не шелохнулся.

— Послушай, Хасан мой, лев мой. Не сладить тебе со мною. Не то что ты один — все кайранцы вместе меня не одолеют.

— Не знаю, как другие, а я тебя не боюсь.

— Да постой ты! — Мастан раздраженно замахал руками. — Не перебивай меня. Я Мастан-оглу, понимаешь ты это?

— Понимаю.

— Куда я ни постучусь, везде мне почет, уважение. А до твоей болтовни никому дела нет. Отчего это, как думаешь?

— У тебя деньги.

— Конечно. Дам тебе один пинок в зад — так и покатишься отсюда... Скажу каймакаму, скажу в жандармерии. Да тебя за ноги выволокут отсюда. А надо будет — и губернатору скажу. Ты что думал...

— Все они твои свояки, что ли?

— Тогда увидишь.

— А вдруг да найдется на мое счастье кто-нибудь честный, который не станет рабом твоих денег?

— Решай сам. — Мастан сжал кулаки. — Потом поздно будет.

— Не запугивай меня, это ни к чему. Один грозился, да сам в ложке утонул. Посмотрим, что мне сделает Мастан-оглу.

— По-хорошему говорю!

Опершись на ладони, Мастан поднялся, отряхнул руки от пыли. В глазах его таилась злобная усмешка.

— Ну, прощай. Будь здоров!

Хасан молча, закусив губу, направился к волам. За спиной у него раздался drobный топот. Мастан с места пустил коня галопом.

— Подлец,— бормотал Хасан, слизывая с губы кровь.— Будь ты проклят, пес кровожадный!

Уже третью пятницу встречался Хасан с Алие. Остальные дни недели для обоих были сплошным ожиданием. Встретясь, они усаживались лицом к лицу и болтали, как умели. Иногда замолкали, глядели друг другу в глаза.

Алие готова была так сидеть часами. Но тревожилась за любимого: чувствовала, что вокруг них смыкается кольцо. И ее всюду преследовала тень длинной руки отца. А Хасан ждал, когда зверь выскочит из засады. Мастан никогда не оскаливал клыки, если не хотел укусить. Но где, когда он укусит?

Первую атаку Хасан уже отбил. Теперь начал привязываться к нему батрак Мастана. Слово за слово задирался, в драку лез.

Мрачный ходил Хасан. Ночи напролет не мог сомкнуть глаз. Если бы только знать, откуда беда нагрянет!.. Да, попал палец в навоз — не очистишь его.

Через несколько дней зашел он с утра в кофейню, а там жандармы сидят, чай пьют.

— Поди-ка сюда, Хасан! — поманил его унтер-офицер.

— Пожалуйста!

— Так это ты стену разрушил?

— Уж не меня ли вы имеете в виду?

— Нет — отца твоего!

— Правильно сделал. Хвалю!

Унтер покраснел от ярости.

— Правду отвечай! А то всю рожу разукрашу. Я с тобой церемониться не буду.

— За сколько?

— Что «за сколько»? — не понял унтер.

— За сколько нанялся меня разукрашивать?

Унтер весь затрясся. Никогда еще он не слышал ничего подобного.

— Я тебе покажу, как оскорблять человека, состоящего на государственной службе!

Хасан наклонился к нему и тихо сказал сквозь зубы:

— Вас на вашу должность для поддержания порядка назначили!

— Что ты сказал, что сказал? — ухватился за эти слова унтер, словно усмотрел в них тайное значение. — Я тебя в тюрьму отправлю! Сгною!..

— Нашел чем пугать. — Хасан смотрел ему прямо в глаза. — Отправляй, коли право имеешь!

В кофейне воцарилась мертвая тишина. Унтер выхватил наручники.

— И арестую! Имею право! И не только за оскорбления...

Крестьяне поразевали рты.

— Так я и думал... — протянул Мустафа.

— Где бумага на арест? — закричал староста. — Это государственное дело! Где бумага?

— Много понимать стали! — Унтер сплюнул, но все-таки вытащил из кармана измятый листок.

— У нас все по закону. Мы от закона ни на волос не отступаем.

Староста развернул бумагу. Это был ордер на арест Хасана.

— Сукин сын... — Хасан скрипнул зубами.

Жандарм с победным видом надел на него наручники.

— С нами, брат, не шутят. Мы тебе живо хвостá накрутим. Ишь, деревенский лев выискался!

Хасан смотрел поверх его головы на кучку белых облаков, сгрудившихся на вершине горы.

И опять загудела деревня:

— Хасана забрали!

— Да что ты?

— Такое сказать жандармам!

— Вот молодец! Сразу видно, что из рода Карахмета.

— Я и раньше это знал.

— Что же он сказал?

— Ах, брат, чего он только не говорил! «Разве,— говорит,— вы жандармы? Вы,— говорит,— шайка грабителей. Перевешать вас всех надо!»

— А начальник их что?

— Зубами скрипел, да помалкивал. Нечего ему было сказать.

— Не довезти им Хасана до города.

— Вот и я так думаю.

— Как доедут до Дагбаши, этот герой всех уложит, будь их хоть десять человек, а сам убежит.

— Пожалуй, завтра с петухами уже здесь будет.

— А может быть, в горы уйдет.

— Как дед его.

— Он теперь Мастану отомстит. Обязательно прикончит.

— Да, песенка Мастана спета. Пусть дети мои гяурами будут до седьмого колена, если я на его месте не прикончил бы этого кровососа.

— Клянусь аллахом!

— Попомни мои слова. Вернется он завтра чуть свет...

Рыжий Осман не находил себе места. Мысль о том, что Хасан арестован по его вине, не давала ему покоя. В конце концов он решил пойти в касабу и во всем сознаться. Так и скажет в полиции: «Я разрушил стену! Хасан не виноват!» Только вот на кого дом оставить? Кто в поле работать будет, волов кто накормит?

Он начал колебаться: «А вдруг и меня возьмут и Хасана не отпустят? Мастан — заклятый враг Хасана. А я — лучший друг Хасана». Да, но теперь по вине этого самого друга Хасан сидит в тюрьме.

В конце концов Рыжий Осман решил идти. Да, он войдет в дверь с надписью «Булданский жандармский участок» и все расскажет. Обернувшись на дороге, он прощальным, торжественным взглядом обвел деревню. Самая нищая в нищем Кесикбеле, она показалась ему такой прекрасной... Слезы подкатили к горлу.

«Надо идти! — уговаривал он себя. — Иначе как

мне смотреть в глаза Хасану? Аллах всемогущий, я ведь умру со стыда!»

И он зашагал вперед, подстегивая себя сосновой веточкой и радуясь, словно дитя, одержанной над собой победой. Затянул даже песню. После обеда он будет уже там, в участке. Его посадят, а Хасана выпустят.

— Вай, молодчина, Рыжий Осман! — приговаривал он, ликуя, словно не шел в тюрьму, а только что вышел из нее. — Тысячу лет жизни тебе, умник Рыжий Осман!

Хасан всем в деревне расскажет, какой он герой, и вся деревня, нет, весь Кесикбель заговорит о нем. Деды внукам будут рассказывать: «Был у нас Рыжий Осман, он сам пошел в тюрьму, чтобы спасти друга». Деревня гордиться им будет. «Герой, как Рыжий Осман», — скажут о ком-нибудь. «Вот это был человек!» «Хорошее сердце у него было!» «Лев, а не человек! Себя не пожалел, чтобы Хасана спасти!» «Так, значит, это он разрушил стену? А сам ведь и виду не показывал!» «Ну и молодец этот Рыжий Осман!».

«Да что вы, — скажет кто-нибудь. — Разве вы не знаете, что стену разрушил святой! Это Осман нарочно сказал, чтобы Хасана спасти...»

Размечтавшись, Рыжий Осман летел вперед как на крыльях.

Дойдя до старого верстового камня, он присел отдохнуть. Вся одежда на нем стала мокрой от пота, хоть выжимай! Он снял минтан, встряхнул его на ветру, стащил чарыки, постучал ими друг о друга, вытрясая набившуюся пыль.

От верстового камня дорога пошла на подъем. Чем дальше шел и чем больше думал Рыжий Осман, тем тверже он укреплялся в своем решении. Теперь ему хотелось только как можно скорее исполнить задуманное.

На краю дороги свернулась клубком змея, грелась на солнышке. Схватив подходящий камень, он одним ударом размозил ей голову. Слава аллаху, вот уже

одно доброе дело сегодня сделано! Плюнув на мерзкую тварь, Осман продолжал свой путь.

У источника перед городом он умылся, набрав в рот воды, попрыскал на минтан, почистился.

— Ну, совсем немного осталось!

До самого города он больше не отдыхал, только разок остановился, чтобы окончательно привести себя в порядок и явиться на место бравым молодцом. Ведь теперь он не просто Рыжий Осман — ему уготована великая судьба. Он расправил плечи. Поднял руки — они дрожали. Что же это такое? Неужели порчу на него наслали? Или заколдовали? Этак и умереть недолго. Его охватил страх. Не в смерти дело — всё мы когда-нибудь умрем. Но умереть сейчас, умереть Рыжим Османом, какого все знали раньше! Собрав последние силы, он почти бегом ринулся в город. Он обязательно совершит то, что задумал, обязательно станет героем!

Перед входом в полицейский участок он остановился, чтобы сполна ощутить всю торжественность этой минуты. Сейчас он сядет в тюрьму... А Хасан пойдет домой и расскажет всем о его геройстве. Мысли плясали в его мозгу. Он поднялся на второй этаж и остановился перед роковой дверью. Дверь открылась сама. Вышел жандарм с изжелта-бледным лицом.

— Тебе чего, земляк?

Перед глазами Рыжего Османа мгновенно пронеслись отец, мать, невеста, его поле, его волы...

— Ничего, — проговорил он, запинаясь. — Куда это я попал?

— Здесь полицейский участок.

Рыжий Осман попятился и одним махом слетел с лестницы. Очутившись на улице, он побрел в кофейню.

— Чаю, чаю! — крикнул он, повалившись на стул и еле переводя дыхание.

Постепенно он пришел в себя и ужаснулся: «Что же я делаю?» Бросил на стол деньги за чай и кинулся к двери. Добежав до участка, он в два прыжка одолел лестницу.

— Начальника мне!

— Что такое? Зачем тебе начальник?

— Мне нужно с ним поговорить!

— Нашел себе приятеля! Иди-ка по своим делам.

— Я разрушил стену.

— Какую стену?

От удивления Рыжий Осман даже рассмеялся. Вот так жандармы! Про стену не знают!

— Да стену Мастана в Караахметли!

Жандарм задумчиво переступил с ноги на ногу.

— Пойдем со мной! — сказал он наконец.

Начальник жандармского участка с важным видом восседал за столом.

— В чем дело?

Рыжий Осман шагнул вперед. Лицо начальника плыло перед его глазами.

— Хасан не виноват! Это я разрушил!

— Что ты разрушил?

— Стену, стену я разрушил.

— Какую такую стену?

— Стену Мастана... В Караахметли у Мастана была стена.

— Ах, вон что! Так, значит, это ты сделал? — Начальник ткнул в его сторону указательным пальцем.

— Я! — Рыжий Осман вытянулся, выкатив грудь.

— Хорошо, чего же ты хочешь?

Указательный палец нажал зеленую кнопку над столом.

— Принесите машинку, составим протокол.

Бледнолицый жандарм, которого Рыжий Осман уже видел, принес печатную машинку и уселся за стол. Пока шел допрос, Рыжий Осман не спускал с машинки глаз, следя за тем, как от движения пальцев жандарма на белую бумагу выбегали строчки. Такое чудо он видел впервые.

После допроса начальник опять нажал кнопку звонка.

— Отведите его к судье.

В сопровождении жандарма Рыжий Осман спустился по одной лестнице и поднялся по другой. Они вошли в кабинет с черной табличкой на двери.

— Господин судья! Меня послал капитан...

Судья взял из рук жандарма бумаги и начал читать. Прочитав два раза, он глухо кашлянул.

— Заберите этого. Там еще кого-то держат по тому же обвинению. Как его... Хасаном, что ли, зовут? Выпустите.

Рыжий Осман вздохнул. Вот и случилось все так, как он хотел. Тот же невозмутимый жандарм отвел его в какое-то новое помещение, указал на стул и велел ждать. Рыжий Осман так и рухнул на стул — устал, оказывается, ноги уже не держали. Дверь отворилась, и вошел Хасан. Он удивленно уставился на друга.

— Я во всем сознался, — торжественно сказал Рыжий Осман. — Кланяйся там в деревне.

— Зачем ты это сделал? Меня бы все равно выпустили.

— Сердце у меня ныло. Не мог я снести, чтобы ты вместо меня сидел. Ну до свидания, Хасан, счастливого пути!

— Спасибо, друг. Да наградит тебя аллах!

Пришел новый жандарм и повел Рыжего Османа в тюрьму.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Утро настало,
утро настало.
Цигарка моя гореть
перестала.

(Из народной песни.)



Хасан не мог нарадоваться обретенным вновь солнцу и свету. Пятница впереди, он увидит Алие... Грудь его разрывалась от неведомого чувства, жаркого и тревожного. Слезы брызнули из глаз при виде родной деревеньки.

— Слава аллаху, слава! — шептал он.

Увидев Хасана в деревне, люди глазам своим не поверили. У Мастана-то хватка железная. Как это парень вырвался на свободу? Ну и ну!.. В который раз Мастан расставляет ему ловушки, а этот нищий Хасан из нищей Караахметли выходит из них жив и невредим.

— Рассказывай, как да что?

— Рыжий Осман...— Хасан почесал в затылке, кашлянул,— пришел к начальнику. Я,— говорит,— стену разрушил.

— Да что ты! Наш Рыжий Осман!

— Его посадили, а меня выпустили.

— Неужели он разрушил?

— Про то аллах знает.

— Не под силу ему одному такое дело.

Все новые и новые крестьяне, любопытствуя, подходили послушать, сказать свое слово.

— Как знать.

— Камень, от которого меньше всего беды ждешь, на голову и падает. Мы про Рыжего и не думали, а он вот что отмочил!

— Такую толстую стену! Да ему за месяц ее не проломить.

— А я так полагаю: это он наговорил на себя, чтобы Хасана спасти.

— Позлится теперь Мастан...

— Позлится... Хасан, а Хасан! С чего это Мастан все подкапывается под тебя? Тут что-то не так...

— Не знаю,— отвечал Хасан.— Не уживаются наши звезды на одном небе.

— Его звезда ни с кем не уживается. Дело не в том.

— Все время тебе пакости устраивает, нечестивец!

— Не печалься, брат,— успокаивали Хасана.— Есть на небе аллах!

— На него вся надежда...

Услышав о возвращении Хасана, Мастан ушам своим не поверил, вскочил:

— Что, что ты сказал, Муса?

— Хасан, говорю, вышел из тюрьмы, хозяин,— повторил тот.— Клянусь аллахом, правда!

Лицо Мастана налилось кровью, потом посинело. Дрожащие губы что-то забормотали.

— Ты смотри,— сказал он, тяжело усаживаясь на место,— девять душ у гада.

Он-то думал, что разделался, наконец, с Хасаном, повесил ему на хвост жестянку¹. И вот на тебе!

Чувствуя себя усталым и разбитым, поплелся он домой и лег в постель. Долго ворочался с боку на бок, вздыхал, сон не шел к нему. Хасан стоял перед его глазами, мешал уснуть.

Алие тоже не спала. Она лежала в темноте с открытыми глазами, закинув руки за голову. Так, значит, в пятницу они встретятся!

Девушка знала, что и отец сейчас не спит. Из щели под его дверью струилась полоска света.

Алие было душно в тесной комнате. Она тихо встала, вышла в залу — так в доме называлась парадная комната — и подошла к окну. Как прекрасна деревня, залитая лунным светом! Еще сегодня утром глаза ее ни на что не глядели. А теперь...

¹ Повесил на хвост жестянку...— В Турции хищников не убивают, а вешают им на хвост жестянку. Через некоторое время животное гибнет от голода, так как громыхание жестянки не дает ему возможности подкрадываться к добыче.

В груди подымалась теплая волна... Она прислонилась горячим лбом к оконному стеклу. Две слезинки упали ей на руку. «От радости плачу», — подумала она. И вдруг слезы хлынули неудержимым потоком. Она и не пыталась сдерживать их. Рыдания сотрясали все ее тело.

— Что такое? Что это за плач среди ночи?

В дверях стоял отец.

Алие подняла голову.

— Тоскливо мне... Не спится...

— Тоскливо, тоскливо! Других слов у тебя нет! — Отец воздел руки к небу. — Если сидеть на одном месте, как попугай, да думать, будет тоскливо. Займись делом. От безделья с ума сходят!

Не дослушав отца, Алие повернулась и пошла в свою комнату. Лучше молчать. Отца трясет от одного упоминания о человеке, которого она любит. Сидел небось сейчас за своей дверью и голову ломал, в какую бы новую паутину заманить Хасана. Чем объяснить, что один человек так ненавидит другого?

Молчаливый отпор дочери потряс Мастана. Что заставляет Алие не спать, бродить ночью по дому? «Хасан!» — кольнуло в сердце. Глаза Мастана загорелись злобным огоньком, все тело покрылось холодным потом, во рту пересохло.

— Открой! — Он с силой ударил кулаком в дверь. Послышались пугливые шаги. Тень Алие метнулась под дверь.

— Открывай сейчас же!

Дверь тихо отворилась. Алие стояла на пороге.

— А ну, отвечай, что тебе мешает спать?

Она опустила голову.

— Это он, собака? Отвечай!

Девушка молчала.

— Обрадовалась, что он вернулся? Говори!

Алие молча переступила с ноги на ногу.

— Та-ак! Довольна, что вернулся этот бандит, разбойник с большой дороги? О аллах, моя дочь радуется вместе с моим врагом!

Алие продолжала молчать.

— О всевышний, не гневайся на меня, если я согрешил перед тобою! Даже дитя мое на стороне врага.

Алие медленно подняла голову. Мастан всей кожей ощутил ее пристальный и твердый взгляд.

— Кто твой враг?..— Она чуть не сказала по привычке «отец», но запнулась и смолчала.

Мастан оторопел. Его дочь впервые говорила с ним на «ты»!..

— Хасан! Эта собака, этот головорез, которому ты так обрадовалась...

— Он не враг тебе.— Голос девушки дрогнул.

— Не враг? А кто же?

— Это ты его враг.

— Замолчи! — Мастан бросился к дочери, пятерней закрывая ей рот.

— Ты его враг! Чего тебе от него нужно?

— Замолчи!

— Не буду молчать. За что ты посадил его в тюрьму, сжег его амбар? А теперь говоришь, что он твой враг. Это ты его преследуешь без конца...

Мастан размахнулся. В темноте прозвенела пощечина. На минуту воцарилось молчание, потом послышалось сдавленное рыдание девушки.

Голоса разбудили Зубейде-ханым. Она вскочила с кровати и выглянула из-за двери своей комнаты. Над плачущей Алие стоял Мастан, такой страшный, словно душу из нее собирался тянуть.

— Иди, иди отсюда! — Женщина потащила мужа за собой.— Посреди ночи драться задумал! Чего ты пристал к девочке?

— Она меня в могилу сведет! Все! Не дочь она мне после этого! Клянусь!

Зубейде-ханым втащила его в комнату и закрыла за собой дверь. Девушка осталась одна. Она вытерла слезы, выпрямилась и ушла к себе, с силой хлопнув дверью.

Утром Алие не вышла из своей комнаты. Ужас охватывал ее всякий раз, когда до нее доносился голос отца или звук его шагов. «Это же мой отец»,—



пробовала она урезонить себя. Нет, никакого родственного чувства к нему у нее не осталось, только отвращение и страх.

Алие ждала, когда затихнет этот ненавистный хриплый голос и она сможет выскользнуть из дому, убежать на виноградник Кебира, к Хасану.

Наконец Мастан собрался и уехал.

Не помня себя от радости, Алие неслась к заветному месту. Сейчас, сейчас она увидит Хасана! Вот он впереди, на камне сидит... Хасан вскочил и побежал ей навстречу. Алие чуть не бросилась ему на шею, но застыдилась, сдержала свой порыв. Они молча смотрели друг на друга. По лицу Алие катились слезы. Хасан обнял ее. Она уткнулась ему в плечо и заплакала еще сильнее.

— Что с тобой, Алие? — встревожился Хасан. — Что случилось?

— Спаси меня! Я боюсь отца. — Тело ее вздрагивало от рыданий. — Спаси меня!..

Хасан нежно гладил ее плечи. Ах, где найти слова, чтобы выразить то, что у него сейчас на душе!

— Потерпи, потерпи, — только повторял он. — Аллах милостив.

— Не могу я больше так, мы враги с ним! — Алие отвела голову, посмотрела в глаза Хасану. — Вчера опять меня побил.

Хасан снова привлек девушку к себе.

— Потерпи немного.

Они медленно пошли к сторожке.

— Он вчера заснуть не мог от злости, — жаловалась Алие. — Из-за того, что ты из тюрьмы вышел. Как сумасшедший бродил по дому.

Хасан невольно улыбнулся. Скажи на милость! Мастан из-за него уже и спать не может.

Алие села на камень. Хасан осторожно пристроился рядом. Она придвинулась поближе. Ей захотелось быть с ним всегда... Трудная доля ожидает ее, если она согласится разделить с ним любовь и жизнь. Но уйти от этой любви уже нельзя. От судьбы своей как уйдешь?

— Давай убежим, — сказала девушка.

Хасан недоверчиво заглянул ей в глаза. Он ведь то же думал...

— Не время еще. Подожди немного.

Алие сидела к нему так близко, что он ощущал тепло ее тела.

— Давай убежим далеко-далеко...

— А на что жить будем? — Хасан развел руками.

Девушка поймала его руку и потянула к себе.

— Я буду шить. И ты будешь работать.

Хасан закусил нижнюю губу.

— С тобой, — он крепко сжимал руку девушки, — с тобой я поеду, куда хочешь, но до урожая надо подождать. Соберем урожай — будет у нас немного денег на дорогу.

Алие подняла на него светящиеся надеждой глаза. Все ее мечты о будущем приобретали теперь черты реальности. Она радостно прислушивалась к его мягкому, низкому голосу — уверенному, ласковому, проникающему в самое сердце... Он нес ей покой и счастье.

— Мне кажется, что я не доживу до этого дня, — прошептала она. — Давай продадим мои перстни.

Хасан встал на колени, взял девушку за руки и стал перебирать перстни на ее пальцах.

— Я так не хочу, — сказал он. — Ты не возьмешь их с собою. Они не твои. Я не желаю брать у Мастана ни одного куруша, ни одной тряпки. Хочешь, я куплю тебе бархатное платье?

Алие с восторгом смотрела на его взволнованное, излучающее нежность лицо.

— Когда, когда ты купишь?

— Да хоть сейчас! У меня на это хватит денег.

— Ах, купи, пожалуйста!

— Обязательно.

— Ты только бархат купи. Я сама потихоньку сошью себе платье.

— Завтра же поеду в касабу.

Алие все теснее прижималась к Хасану, словно хотела раствориться в нем. Он медленно провел рукой по ее рассыпавшимся волосам — мягкие, как шелк.

Он страстно обнял девушку, губами нашел ее губы, замер в долгом поцелуе, целовал еще и еще... Девушка не противилась. Глаза Хасана были закрыты. Ему казалось, что если он их откроет, все исчезнет, как сказочный мираж: он ведь и во сне не смел думать о таком счастье.

Алие осторожно просунула руку через вырез рубашки Хасана и, погладив его грудь, легонько оттолкнула...

— Мой Хасан! Пора идти.

Не слушая, он все сильнее сжимал ее в своих объятиях. В наступившей тишине только дверь сторожки стучала и скрипела под ветром...

В ту пятницу Мастан не вернулся из города. К вечеру приехал от него человек и сказал, что у хозяина дела в Алашехире, задержится неизвестно на сколько. Алие обрадовалась. Она была под впечатлением того, что совершилось в это утро, и боялась, что лицо выдаст отцу ее тайну. Девушка заперлась в своей комнате, стараясь даже матери не показываться на глаза.

Прошла суббота, за ней воскресенье, а Мастан все не возвращался. В деревне заметили его отсутствие, но никому и в голову не пришло побеспокоиться о нем. Напротив.

— Опять какую-нибудь пакость нам готовит, не иначе...— с тревогой говорили крестьяне.

А потом пришло известие, что Мастан арестован в Алашехире. Вот это была новость! Вся Караахметли, весь Кесикбель радостно гудел, как улей. Разорвись сейчас в деревенской кофейне бомба, люди не были бы так удивлены.

— Вот так так!

— Накрутили ему все-таки хвостá!..

Выяснялись подробности. Какой-то алашехирец заложил Мастану свой виноградник за триста лир. Вовремя долг выплатить не сумел. Мастан и прибрал виноградник к рукам. В субботу встречает этот человек Мастана в Алашехире, выкладывает ему денежки.

— Отдай мой виноградник.

А Мастан ему:

— Поздно, мой дорогой.

— Пожалей, хозяин. Я бедный раб аллаха. Кроме этого виноградника, ничего у меня больше нет.

— Я у тебя денег на большой дороге не отнимал.

— Аллах наградит тебя. У тебя земли — конца-края не видать.

— Деньги кончились — лавка закрылась. Ступай-ка восвояси!

Тот чуть не задохнулся от гнева.

— Не толкай меня на зло, хозяин. Тебе же хуже будет.

Сцепились они. Мастан взял да и подал на него жалобу в суд. Посадили человека, а против него ни бумаг, ни свидетелей. Подержали да отпустили. Сидит раз Мастан в кофейне, в нарды играет со своим адвокатом. А человек тот и входит туда — разыскал-таки Мастана. Входит он в кофейню — Мастан к нему спиной сидит, — выхватывает нож, а адвокат:

— Берегись, Мастан!

Мастан обернулся, выхватил у этого человека нож с серебряной ручкой, да его же и пырнул тем ножом... Насмерть. После этого и забрали Мастана в полицию.

Рассказ будоражил людские головы, как праздник, как свежий ветер. Если бы не было того проклятого адвоката, который крикнул Мастану: «Берегись!»...

Наконец-то он получит по заслугам! Теперь ему не выкрутиться, не вернуться в Кесикбель, не вылезти змее из-под камня. Находились, правда, и скептики.

— Освободят Мастана. Не он первый напал. Убил человека, обороняясь...

Таким горячо возражали:

— Ну и что же! Закон как говорит? Доброму — добро, злему — зло. Там не будут разбираться: оборонялся ли, нападал ли.

Отсутствие Мастана сослужило службу и молодым влюбленным. Они встречались теперь каждый день.

Хасан привез из города алый бархат. Он весь переливался. Такой и сказочной королевне в пору носить. Хасан, сияющий от удовольствия, поглаживал материю рукой.

— Вот тебе бархат.

Он расстелил ткань у девушки на коленях.

— Какой красивый! — ахнула Алие. — Где ты нашел такую прелесть?

Она со счастливой улыбкой поглядывала то на Хасана, то на бархат, прислушиваясь, как материя тихо шуршит под ее пальцами.

Хасана томила непонятная, необъяснимая тревога. Ему все казалось, что вот-вот появятся какие-то злые силы и разрушат его счастье. Он подолгу глядел на огромные красные цветы, что росли по берегам речки. Нежнее и красивее этих цветов здесь не найти. Но они всегда на волоске от гибели. Хлынет дождь, сорвет их с хрупких стебельков, сбросит в реку. После каждого дождя плывут по ней эти измятые, искалеченные цветы. Хасан вспомнил, как отец говорил ему: «Лучше на сухой земле чертополох выращивать, чем цветы на берегу реки». Вот и он, Хасан, такое же семя, брошенное в землю на берегу реки. И Алие тоже! Нужно спасти ее как можно скорей, пока не налетит на них бешеным потоком, не погубит их Мастан. Скорее бы скосить, обмолотить, провеять хлеб, продать его, а там видно будет.

Забравшись на чердак сторожки — отсюда хорошо видна дорога, — Хасан ждал Алие. Сердце его билось нетерпеливо. Девушка все не шла. Чтобы протянуть время, Хасан стал разбирать корявую надпись на подоконнике слухового оконца. Начало прочитал легко: «Предназначается высокочтимому...» Из последующего можно было только понять, что автор «послания» хочет жениться на дочери Османа Кебира. Заканчивалось послание бранью в адрес Кебира. Должно быть, какой-нибудь крестьянин написал. Захотел жениться на дочери богатого горожанина.

И такой же бедняк, как Хасан. Не подписался. Ясно, не от страха. Просто сплетен не хочет. Уж Хасан-то его хорошо понимает. Он еще раз внимательно и сочувственно прочитал корявые строчки. Потом взор его опять устремился на дорогу.

Опаздывает что-то Алие!

Он распахнул окошко. Сердце его заняло от дурного предчувствия. А вдруг Алие испугалась бед и напастей, которые подстерегают их в будущем? Вдруг она решила, что лучше выйти замуж по воле отца, чем скитаться с Хасаном в чужих краях, жить без денег, в постоянных лишениях? Она ведь не привыкла ни в чем себе отказывать, ей такая жизнь и во сне не снилась. Дочка Мустафы, которого звали Сорок Зубов, сто раз бы уже пришла к нему на свидание. Давно уже заглядывается она на Хасана. Он мысленно поставил ее рядом с Алие, сравнил. Слов нет, Алие во всем превосходила соперницу. Хасан устыдился собственных мыслей. Как он мог с кем-то сравнивать Алие!

Никогда она так не запаздывала. Всегда хоть на минутку прибежит, предупредит, что не сможет посидеть с ним. Они ведь теперь настоящие муж и жена, только пока без документа.

Хасан захлопнул оконце и решительно направился к выходу по утопанной белой глине дворика, примыкавшего к сторожке. Дольше ждать было бесполезно. Все сроки прошли. Надо идти. Сердце его заняло с новой силой. Может быть, случилось самое ужасное — все открылось? Сейчас он пойдет по деревне, а в спину ему понесется:

— Вон он!

— Голодранец! Кем себя вообразил?

— Задумал с хозяйской дочкой на винограднике любовь крутить...

Весь Кесикбель поднимет его на смех. Даже деревенские собаки будут смеяться.

— Землю проворонил, а туда же, за хозяйской дочкой!..

Хасан очнулся. Как, он все еще стоит на пороге сторожки! Да разве можно без толку проводить вре-

мя! А если с Алие что-нибудь стряслось? От злости на свою глупость он с силой ударил себя в грудь тяжелыми, словно молоты, кулаками и со всех ног помчался в деревню. Ворвался в кофейню — здесь в первую голову любую новость узнают. Нет, все как обычно. Он облегченно сел, облокотился на стол, чтобы отдышаться.

— Мастан приехал! — услышал он.

У Хасана дрогнула рука, на которую он опирался. Локоть чуть не соскользнул со стола.

— Что ты сказал?

— Гроза Кесикбея вернулся, вот что, брат.

С другой стороны послышалось осторожное покашливание.

— Пожалуй, это даже к лучшему.

Хасан повернул к говорившему пылающее лицо.

— Это почему же тебе лучше будет, дорогой?

Человек опять осторожно покашлял.

— А как же с семенами-то?

— «С семенами...» — машинально повторил Хасан.

— Нечего ждать от Мастана добра, — говорили в другом углу. — Для наших ран он мази не даст.

— Ничем их не научишь, — поддержал чей-то бас. — Хоть кол им на голове теши!.. Поглядите только: опять Мастан стал их благодетелем!..

Все эти разговоры доносились до Хасана, словно из-за стены. «Вон оно что, вон оно что! Приехал», — вертелось у него в голове. Он плюнул на пол и вышел.

Многие в деревне с надеждой ждали возвращения Мастана. Кому сына женить, кому в армию провожать, кому дочь выдавать замуж, а денег-то нет. Может, выручит Мастан? Почему бы не выручить? Ему от этого только прибыль.

— Эх, вы! — негодовал Сердер Осман. — Опять Мастан хорош стал?

Хорош ли, плох ли Мастан — земля не спросит. Ей нужны семена. Отсеется крестьянин, замаячит перед ним надежда на хороший урожай, на счастливую жизнь, которая придет вместе с этим урожаем. Да

ради этого крестьянин теперь готов простить бы Мастану не только конфискацию, но и убийство собственного отца. Лишь бы дал денег, не прогнал от своих дверей.

— Выходит, кроме Мастана, на всей земле и обратиться не к кому? — Сердер Осман навалился всем телом на стол. — А банк на что?

Вся кофейня так и загудела, так и заходила ходуном.

— Думаешь, дадут?

— Дадут, конечно.

— Для правительства все равны.

— Молодец, что надоумил. Обязаны дать!

— А как же! Всем дают, а нам — нет?

— Клянусь аллахом, напишем самому главному паше! Я знаю одного писаря. Он за две с половиной лиры хоть в Анкару напишет. Однажды...

— И напишем!

— Если ребенок не заплачет, ему молока не дадут.

— Не дают!

— Идем сейчас же!

— Расскажем, как живем. Тогда...

— Клянусь аллахом, смягчатся их сердца!

— Пусть только не дадут!

— Тогда сразу к тому паше...

— Мы так ему распишем...

— А писарь-то на днях...

— Что?

— «Пусть, — говорит, — зайдут ко мне караахмет-лийцы».

— Отчаянная голова!

— «Я, — говорит, — одним письмом разделаюсь с вашим Мастаном».

— У него даже с пера кровь каплет, во как!

— Он с большими людьми запросто...

— Надо только в банк сходить.

— Сейчас же и пойдем!

— Точно, душа моя.

Староста Керим нацепил на шею новый галстук, огромный узел которого никогда не развязывался. Этот галстук в прошлом году ему подарил сам каймакам. С полным сознанием всей важности своей миссии староста степенно прошелся перед крестьянами.

— Клянусь аллахом, наш староста настоящий господин! — восхищенно воскликнул Тоший Омер.

— Представительный мужчина, — закивали крестьяне.

В касабу отправились налегке. Счастливые, опьяненные новой мечтой, люди не чуяли под собой ног, словно деньги были уже в их руках. В касабе Мустафа Сорок Зубов развязно обратился к прохожему:

— Где здесь банк? Вот тот, что ли?

— Ну да!

— Кто первый войдет?

— Ясно, староста. Ему по званию положено.

— Что ж, душа моя, — сказал староста Керим неожиданно дрогнувшим голосом. — Давай войдем.

Подошли к подъезду банка. Староста в последний раз поправил галстук, огляделся по сторонам, прокашлялся, одернул пиджак и, наконец, сказал бодро:

— Пошли, братцы!

Открыв огромную железную дверь, крестьяне очутились в просторном зале. По углам его стояли три стола и касса. Один чиновник поднял голову от бумаг.

— Добрый день!

Староста опять поправил свой галстук, сделал по направлению к чиновнику два шага.

— Добрый день, господин.

— Что вы хотите?

— Нам бы директора повидать.

Чиновник показал рукой на дверь.

— Вот его кабинет. Он знает про вас?

— Откуда же он узнает, когда мы только в город пришли.

Все направились к двери, указанной чиновником. Староста еще раз поправил галстук и решительно взялся за дверную ручку.

За огромным письменным столом сидел круглолицый человек и, улыбаясь, смотрел на вошедших.

— Пожалуйста, входите.

Теснясь в дверях, крестьяне вошли, гурьбой стали посреди комнаты.

— Садитесь,— пригласил директор.

Расселись на стульях, как важные господа. Старосте и Мустафе Сорок Зубов достались кресла, обтянутые сафьяном.

— Я вас слушаю,— сказал директор.

— Простите нас ради аллаха,— начал староста,— мы с просьбой к вашей милости.

— С какой же?

— Нам деньги нужны. У нас бедная деревня.

— Но долг мы заплатим, хоть и бедные,— вставил Мустафа Сорок Зубов.

Директор положил на стол длинную тонкую ручку с пером.

— Значит, вы просите кредит?

— Вот-вот,— обрадовался Сейдали.— Кредит нам нужен, кредит!

— Это наш долг — предоставить вам кредит,— сказал директор и задумался.

— Не знаем, как и благодарить вас, господин...— начал староста.

— Только...— перебил его директор,— лимит у нас кончился.

— Как это?

— Сейчас скажу, чтобы вам было понятней. В этом году мы получили из Анкары для кредитов сто тысяч лир. Эти деньги уже использованы. Пришли бы вы немного пораньше...

— Значит, ничего не выйдет? — спросил Сейдали со слезами в голосе.

— Отчего же, душа моя, мы что-нибудь придумаем.

— Да благословит вас аллах!

— Напишем снова в Анкару. В прошлом году тоже пришлось так делать.

— Значит, можно надеяться?

— Обязательно. Это наш долг.

— Пусть в вашей жизни будут одни радости! — расчувствовался Мустафа Сорок Зубов. — Аллах наградит вас за доброе дело. А о нас и говорить нечего!

Директор встал и проводил их до двери.

Очутившись на улице, крестьяне с удивлением посмотрели друг на друга. Они не могли опомниться от радости.

— Теперь все в порядке, — сказал староста.

— С доброй молитвой за доброе дело!

Только Сердер Осман был недоволен.

— «Все в порядке», — ворчал он. — Не приведи господь просить у государства... Легче грыжу нажить, чем у властей что-нибудь выпросить.

— Ах ты, гнилое пузо! — возмущался Мустафа Сорок Зубов. — Это же деньги! Разве ты сам дал бы в долг неизвестному человеку, ни с кем не поговорив, ни у кого не расспросив?

— И то правда, — согласился Тоший Омер.

— Ишь чего захотел! Вынь да положи ему денежки! С такими, как ты, банк мигом в трубу вылетит, — согласно подхватили все.

До самой деревни Сердер Осман молчал. Что толку говорить, когда никто и слушать не станет! «Зачем же, — скажут, — ходил, если сам не веришь?»

Вокруг старосты Керима в деревенской кофейне собралась целая толпа.

— Староста я все же — что ни говори, — объяснял он, — к моим словам в касабе прислушиваются.

— Что ж там сказали?

— Главное — дойти туда, остальное легко. Проси чего хочешь. Не успел я с директором поговорить, как он побежал давать в Анкару телеграмму. Теперь осталось только чиновников из банка подождать. Приедут к нам бумаги заполнять. Тогда считай — денежки в ваших карманах.

— А сколько дадут?

— Сто тысяч — вот сколько. Сам директор обещал.

— Да нам столько не выплатить!

— А мы возьмем, сколько нам надо. Силком никто брать не заставляет. Пусть знают, что мы не завистливые.

— Мастану теперь и делать нечего у нас в деревне.

— Помрет с тоски.

— Перестанет важничать. Сразу подожмет хвост.

— Директор к нам со всем уважением, словно только нас и ждал. И о чем мы до сих пор думали!

— Я вам давно говорил. Не слушали меня.

— Теперь, глядишь, и наша деревня станет не хуже других, в люди выйдем. Никакой тебе конфискации-монфискации!

— Какое там, если государство нам такую услугу оказывает!

— Ну и заживем теперь, братцы!..

Время шло, а из банка ни слуху ни духу. Караахметлийцы спали и видели тот счастливый день, когда к ним приедут чиновники с полными карманами и начнут пригоршнями отсыпать деньги — только руки подставляй.

А время шло. Сев не за горами. Не посеешь в срок — все упустишь. Приуныли крестьяне, припрятали оставшуюся пшеничку — на случай, если не приедут из банка. Придется тогда сеять тем, что осталось. Большей беды для крестьянина и придумать трудно. Некоторые уже испытали это на своей шкуре. Такое и во сне не дай бог увидеть. А что делать, если вся твоя надежда в оставшейся пригоршне пшеницы?

Идет человек в амбар, выгребает остатки прошлогодней соломы, делит: половину на корм лошади, ослу и волю, половину везет в город. А там этой соломы уже полным-полно! Из сорока таких, как Караахметли, деревень Кесикбея по всем трем дорогам везут ее в крошечную касабу на ослах, на лошадях, на тачках. Терпкий запах соломы разносится по всему городу, ею завален уже весь базар, дети ныряют в пыльных ворохах — им-то раздолье!

Да, на одной соломе далеко не уедешь. Весь Кесикбель, все сорок деревень начинают готовить йогурт¹, сбивать масло и везут продукты в город, чтобы добыть хоть дирхем пшеницы для сева, хоть дирхем — для еды.

Заважничал горожанин, увидев на базаре такое обилие соломы, йогурта, масла, молока. Только масло и молоко покупает, да и то если уступают задешево. На обе лопатки кладет крестьянина. А мимо возов с соломой не глядя проходит. Если бы посмотрел хоть раз в эти отчаявшиеся глаза, прочел бы на этом лице и мольбу, и надежду, и страх... Постоит, потопчется человек возле воза, да и поворачивает оглобли домой несолоно хлебавши. Масла и молока надо горожанину. А крестьян, у которых есть дойные коровы, во всем Кесикбеле по пальцам перечтешь!

Все сильнее наваливается нужда на кесикбельца, за горло берет. Крестьянин стоном стонет, безучастно смотрит на мир потухшими глазами. Смолкают в деревнях звонкие шутки-прибаутки. У людей рты на замке. Все сносит терпеливый крестьянин. Только тяжкий стон плывет по Кесикбелю. «А-ах!», «О-ох!» Это проклинает человек свою судьбу, это исходит горем его измученная душа.

Дождались, наконец, караахметлийцы, приехали чиновники из банка: один толстяк — живот горой, руки в карманах — и с ним двое тощих. Обрадовались люди. Рассеивалась грозовая туча над их головами. Приехали спасители, раздадут им деньги, положат конец их страданиям. Не будет больше вздыхать, ворочаться крестьянин по ночам. Заснет деревня спокойно. Опять все забыл, опять радуется и веселится живучий караахметлиец.

Крестьяне плотным кольцом окружили толстяка. Как доверчивые дети, не отрывают они глаз от его карманов. Вот сейчас толстяк вынет руки, а пригоршни его полны денег...

¹ Йогурт — заквашиваемое особым способом кислое молоко.

Видать, для порядка толстяк задал им несколько вопросов:

— По сколько дёнюмов у вас в среднем?

— У кого десять, у кого тридцать пять, у кого — сорок. Больше сорока ни у кого нету.

— Каков урожай?

— Слава аллаху...

— По сколько на дёнюм?

— Один аллах знает. Когда один мешок, а когда и десять.

— Прокормиться можно?

— Солому продаем, ею тоже кормимся.

Толстяк вынул руки из карманов, взял у тощих чиновников бумагу, где они что-то намарали, сложил ее и сунул в карман.

— Что же теперь будет? — оторопел староста.

— Сообщим в Анкару, — ответил толстый с важной миной. Он провел рукой по лысине, — потом представим туда подробный рапорт.

— Что еще за лапорт?

— Там его читать будут. Им видней, что дальше делать.

— Когда же решение выйдет?

— Месяца два дело протянется.

— А-а-а!..

— Два месяца, не больше.

Чиновники отбыли, степенные и невозмутимые, оставив крестьян в полном смятении. Вот тебе и денежки из кармана! Что теперь делать, где искать спасения? Некоторое время в толпе царило гробовое молчание. Наконец кто-то встал, медленно стянул с головы кепку и ударил ею оземь.

— Осталось только у Мастана просить.

— У него?

— А что ж поделаешь? Если он не поддержит, пропали мы совсем. Последняя надежда.

Мустафа Гнилой поднялся, отряхнулся, как курица, вылезшая из пыли, кашлянул.

— Я пошел. Кто со мной?

Он сделал два шага. Два шага — две секунды — две вечности... остановился. Тишина. Только сердца

крестьянские стучат. Решиться, пойти за Гнилым. Ноги словно гвоздями к земле прибиты. Мустафа еще раз оглянулся, кашлянул.

— Ну, кто со мной?

Страшно идти одному. Вернешься с пустыми руками — позору не оберешься. «Ну, как, — скажут, — вымазал лицо грязью?» Из толпы тихо вышли трое, догнали Гнилого. Вот и остальные зашевелились. Медленная процессия двигалась к дому Мастана. Шли молча, как пленные солдаты, — понуро опустив головы и бросая себе под ноги глухие проклятия. У каждого камень на душе. Опять идти к Мастану, унижаться, умолять...

— Лучше бы мне подохнуть на этом месте!

— Не ходи. Тебя силком не тащат.

— Ох, брат, не захочешь, да пойдешь!

У дома Мастана остановились; смотрят друг на друга, молчат. От такого молчания мороз по коже подирает.

— Пришли, так надо дело делать, — снова первым решился Мустафа Гнилой и ударил кулаком в ворота.

Мастан словно ждал их.

— Добрый день, добрый день, уважаемые.

— Добрый день. Пришли у тебя денег просить.

Лицо Мастана расплылось в довольной улыбке.

— С банком, что ли, не столковались?

— Где уж нам, беднякам, с ним столковаться, — отвечал Мустафа. — Мы привыкли у тебя занимать.

— Вот так-то! Надо это навсегда запомнить. А то все с ума посходили — в банк! Да кто вам сейчас даст в банке денег, если у вас земли с ладонь?

— Ошиблись мы... Вперед не будем...

— Ишь, решили, что банк сильнее меня. Да я ваш банк раздену! Меня Мастан-оглу зовут! Что мне ваш банк-манк! Не ему со мной тягаться.

— Вот мы и пришли к тебе, — сказал Рюзгяр. — Как решишь... Сев проходит, а у нас семян нету. Такая беда!

— Подумаем, посмотрим.

Знал Мастан — нельзя крестьянам ждать, пока он думать будет. После пятнадцатого октября в десять дней нужно отсеяться. Не успел — сам руби свою голову. После двадцать пятого семени что в землю бросать, что в реку — все едино. Знал, ох, знал про то Мастан...

— Времени у нас нет, Мастан-оглу, чего же там ждать.

— Припадаем к твоему очагу, помилуй!

— Не отсылай нас с пустыми руками, вечными рабами твоими будем, хозяин!

Мастан смеялся, оттопыривая губы.

— А вы в банк идите, если уж так невтерпех.

— Хозяин...

— Что вы здесь разнылись? — заорал вдруг Мастан. — Я не говорю, что не дам. А подумать надо. Не про песни — про деньги разговор идет.

— Ты же знаешь... — начал опять Мустафа Гнилой.

— До конца месяца отсеяться нужно, — подхватил Рюзгяр, — а потом, что сей, что не сей...

— Это меня не касается. У меня свое хозяйство, свой расчет. Я вам не помеха — хоть в августе сейте.

— Опоздаем с севом — не родит земля!

— А мне что? Это ваша забота.

— Скажи, когда же ты дашь ответ?

— Через месяц. — Мастан еще подумал. — Ровно через месяц. — Вот так! Будьте здоровы!

Крестьяне еще потоптались, переглянулись.

— Дал бы сегодня — молиться на тебя будем.

— Деньги счет любят. Они в поле не растут. Подсчитаю, прикину, если получится — дам. Ясно?

Крестьяне ругали Мастана последними словами. Осталось одно: подтянуть потуже пояса и достать из закромов зерно, оставленное на прокорм.

— Как-нибудь не умрем с голоду.

— Аллах взял, аллах и даст.

— Аллах милостив!

— Много ли нам надо?

— Аллах велик!

— До сих пор у нас никто с голоду не помер..

Между тем погода совсем испортилась. Последние сроки сева были на исходе. Умываясь кровавыми слезами, вытаскивали крестьяне из амбаров остатки пшеницы и везли на поле. Нелегко отнимать у малых детей последний кусок хлеба, да делать нечего.

— Никто не поддержит бедняка. Ну и времена настали!

— Конец света настал!

— Пошатнулась под нами земля. Спасения не жди!

— Кто думал, что доживем до такого?

— Помилуй, аллах!

— Помрем голодной смертью.

— Впереди лютая зима, что делать?

— О аллах!..

Ударили первые морозы.

Потрескивают в закопченных очагах сосновые поленья, тянутся к огню дрожащие руки. Тяжелая тишина придавила Караахметли, придавила весь Кесикбель. Смотрит на крестьян своими страшными глазами новая беда.

Брошены в землю последние зерна, съедена в тусклых мисках последняя тархана. Осталось жить только надеждой, да не на завтрашний день, а на далекое будущее. Кто мешок посеял, кто полмешка. Невелик урожай будет: когда же, когда затянутся их раны, разогнутся спины? Печальные дни настали для Кесикбеля. «А-ах!», «О-ох!» — стонет Кесикбель. Сидят крестьяне по домам — каждый со своей бедою — одинокие, беспомощные, словно в лесу заблудились.

Как ни подсчитывай, после нового урожая тоже особенно не разойдешься. Полмешка посеял — соберешь мешка три, с целого мешка — около пяти наберется. Разве на этом хозяйство поправить? Отчаяние черной тучей нависло над крестьянскими головами, заслоняя солнце, одевая в траур весь мир.

Окончился срок, назначенный Мастаном. Опять какая-то надежда забрезжила. Собравшись, караах-

метлийцы робко направились к нему. Тот встретил их, как всегда, улыбаясь.

— Скоро из Измира мне привезут денег. Вот тогда и приходите! — И захлопнул дверь у них перед носом.

Стоят молчат крестьяне. Вздыхают, чуть не всхлипывают. Но нельзя давать волю закипающим слезам. Нужно держаться!

Из Измира, говорит, привезут деньги!.. А когда — даже не сказал. Да теперь уж все равно. Погибает Караахметли, погибает Кесикбель. Без хлеба, без денег. Кажется, и ждать уже от жизни нечего, а люди все еще ждут по привычке. Вдруг свершится какое-нибудь чудо! Какое? Бедное воображение голодных людей не в силах и этого представить.

Раньше была хоть слабая надежда у Мастана признаться. «Может быть... Может быть...» — как свежий ветерок, перелетало из уст в уста, проникало в сердца, согревало людей в непогоду. Теперь все рухнуло, померк последний огонек впереди. Самые отъявленные фантазеры, оптимисты и те примолкли. За зимой придет весна, а там опять зима... Проклятое, безнадежное положение! Кто протянет руку, кто поможет? Зайди к любому соседу — ни у кого миски тарханы, горсти пшеницы не найдется, все амбары пусты, все кувшины перевернуты вверх дном. Словно смерч налетел и повымел все из домов.

— Что же делать?

— Пойти в город на заработки?

— Найдется ли там работа?

— Поищем.

— Всех нас город не прокормит...

Кому-то в голову пришло промыслять дровами. Дело, правда, нелегкое, но ведь крестьянам к труду не привыкать. Вот только разрешения на это не дают. На всех дорогах выставлены охранники. Поймает тебя лесничий с двумя хворостинами на осле — отберет и хворост и осла.

— Надо с Джевдетом посоветоваться. Он что-нибудь придумает, — заговорили крестьяне.

От Джевдета многое зависит. Он служит чиновником, заправляет в Кесикбеле всеми делами по защите лесов. Ума у него хоть отбавляй. И пошутить любит. Шутит, правда, по-своему. Больного в гору заставит бежать — лишь бы позабавиться. Разъезжая по своим делам, он иногда заглядывал в Караахметли — отдохнуть, выпить чаю.

Во вторник он появился у Мусы в кофейне. Крестьяне сразу окружили его, с надеждой и подобострастием глядя ему в лицо.

— Здравствуй, Джевдет-бей!

— Здравствуйте!

— Муса! Чаю для Джевдет-бея.

У Джевдет-бея глаз наметанный. Раз крестьяне его чуть ли не на руках готовы носить — значит, есть причина.

— Х-е-е! Выкладывайте, что у вас случилось.

— Да так...

— Ну-ну! Выкладывайте все! Нечего прятать бобы под языком!

— Большое у нас горе. Узнаешь — заплачешь. Жареная курица меньше горя видела...

— Что ж такое?

— Пшеницы нашей даже на семена не хватило. Посеяли все, что было...

— Это хорошо.

— Теперь голодаем, друг ты мой.

— Это плохо.

— Ясно, плохо. Хотим у тебя совета просить.

— Спрашивайте, коли могу помочь.

— Достань нам разрешение на дрова, а там уж мы выкрутимся.

— Никак нельзя. Прошли те денечки. Сейчас за каждую палочку, за каждую веточку в лесу — смертная казнь.

— Послушай, дорогой. Нет такого дела, которое тебе не по плечу. Стоит тебе только захотеть...

— Прошли те денечки...

— У нас еды и на день не хватит... Войди в наше положение...

— Будь моя воля, всем бы вам разрешение дал. Я постараюсь для вас, клянусь аллахом, но что полу-

чится — сказать не могу. И надо мной начальство есть. Это раньше легко было.

Крестьяне молча переглянулись — неужели и тут ничего не выйдет?

— Ну одну-две бумажки достанешь? Мы бы по очереди...

Джевдет отрицательно качал головой. И вдруг встрепелся, словно его осенило.

— Да вы бы попробовали, как в Ирме!

— А что там делают?

— Черепах ловят, дармовые денежки гребут.

— Кому нужны эти черепахи?

— О-хо! Ну и невежи вы! Да итальянцы за пару дают две с половиной лиры, ничего-то вы не знаете!

— Да ну?

— Сколько наловите — все заберут. Надо только ловить, не лениться. Спите вы тут, я смотрю.

— А что итальянцы делают с черепахами?

— Едят, что ж еще.

— Ну и ну!..

— Они и улиток едят, не только черепах.

— Я тоже слышал про это, — сказал кто-то из крестьян. — Правда это, значит.

Люди зашевелились, загалдели.

— Эх, велик аллах! Одну дверь закроет — другую отперет. Аллах не пройдет мимо голодного.

— Ну ладно! Мы тоже будем ловить черепах.

— Чего проще!

— Благослови, аллах, кошельки гяуров-итальянцев!

— Как начнут брать у нас черепах, так эти кошельки живо опустеют, хоть просо в них сыпь!

— Люди добрые, разве стоит пара черепах две с половиной лиры?

— Кругом этих черепах полно!

— В день придется не меньше десятка на брата!..

— Считайте, что вы разбогатели, — улыбался Джевдет.

— Да благословит тебя аллах, Джевдет-эфенди!

— Клянемся, не забудем твою помощь.

— То-то! Помните, кто вас надоумил,— сказал Джевдет, уходя.

— Да сопутствует тебе удача во всех делах!

В деревне началась оживленная подготовка к новому промыслу. Все воспрянули духом. Даже если каждый будет ловить в день по две черепахи, и то можно жить припеваючи. В тот вечер только о черепахах и говорили; каждый старался вспомнить, где видел их в последний раз.

— На горе Карынджалы их много.

— А на речке Кесен? Там они кишмя кишат.

— Будь спокоен, и на Кесен сходим, и на Карынджалы.

— Да их везде столько, что и за десять лет не соберешь.

— Ты только посмотри, что в мире делается! А я то голову ломал: на что, думаю, годится эта толстокожая мразь?

— Эти гяуры даже сушеных мышей едят.

— Тьфу ты! Скажешь тоже!

— Клянусь аллахом! Мне один инженер рассказывал. Он в Германии учился, все знает.

— А может, и мышей им продавать будем?

— Такая уж религия у них, сынок. Никаких порядков не признают, не то что мусульмане. Заниматься нечестивыми делами им ничего не стоит.

— Наше дело им черепах продавать. А там пусть хоть скорпионов едят, нам-то что за печаль?

— Зимой трудно будет черепах ловить. Это летняя работа.

— Для черепахи все одно, что зима, что лето. У этой твари дом на спине...

На другой день деревня опустела. На ловлю отправились все от мала до велика, кто с мешком, кто с торбой. Большинство отдало предпочтение речке Кесен. Все берега обшарили, каждый камень перевернули. Черепах оказалось много — по несколько штук на брата.

— Интересно попробовать, каковы на вкус эти твари — ишь, какие дорогие! — говорил Сердер Осман, укладывая добычу в мешок.

— Вот откажутся у нас их покупать,— отозвался кто-то рядом,— тогда вдоволь наедемся.

Все рассмеялись.

К вечеру черепах принесли в деревню. Стали ломать голову, куда их деть на ночь: в доме держать нельзя — еще в постель заползут, в хлеву — скотину испугают. Наконец Сердер Осман придумал: он раздобудет тетрадь, перепишет, кто сколько поймал, и всех пойманных черепах свалят в кучу посреди деревни.

— Далеко не убегут,— успокаивал он соседей,— а убегут, мы их поймаем и обратно принесем.

— А если их будут воровать?

— Крестьянин у крестьянина никогда не украдет. А чужих здесь нет.

— А если кто-нибудь хитрить начнет и себе чужих черепах приписывать?

— Черепахи, пойманные около деревни, добычей не считаются,— безапелляционным тоном изрек Сердер Осман.

Прошло еще несколько дней. Стадо черепах, ползающих по деревенским улицам, росло. Их было уже штук пятьсот-шестьсот. А вместе с ними рос и охотничий азарт. Люди по улицам ходили осторожно, особенно по ночам, боясь раздавить какую-нибудь черепаху. Дети были довольны больше всех. Целые дни играли с этими диковинными живыми игрушками.

Время шло, а Джевдет не показывался.

— Раз он к нам не едет, пошлем к нему человека,— решили крестьяне.— Дело надо до конца довести.

Выбор пал на Сейдали. На другой день он отправился в касабу, разыскал Джевдета.

— Джевдет-бей! Черепах мы наловили тьму-тьмущую! У нас теперь не деревня, а прямо черепаший питомник. Поискать бы этих итальянцев.

— Наловили? Ну и слава аллаху!

— Наловить-то наловили. Теперь продать бы.

— Итальянцы в Измир уехали. Много товару у

них накопилось. Они повезли его на парохоме. Через несколько дней вернутся.

— Спасибо. Будь здоров...

Охота продолжалась. Черепашие стадо увеличивалось. Обжившиеся в деревне черепахи уже привыкли к людям и не прятались в панцирь, а храбро ковыляли в разных направлениях.

Итальянцы, обещанные Джевдетом, так и не приехали за товаром. Весь Кесикбель потешался над простодушными караахметлийцами. Только иримцы понимали их. Они несколько недель тоже бродили по горам, собирая сосновые шишки по совету Джевдета, который обещал продать их по двадцати пяти курушей за пару.

Забытые беды опять глянули в лицо крестьянам. Опять люди затаились, помрачнели. Ползающие по деревне черепахи живо напоминали им об их непростительной наивности. Иные от злости швыряли в них камнями.

Наступило двадцатое ноября — срок, назначенный Мастаном. Теперь о семенах и речи быть не могло, все думали только о том, как бы не умереть с голоду. Брали у Мастана понемногу, чтобы суметь расквитаться после урожая и не попасть в лапы конфискаторов. Слабая надежда на урожай была в этом году — посеяли поздно, семена могли совсем не взойти.

— Смотри, брат,— предупреждал каждого Мастан, давая деньги,— после урожая сразу!..

— И так знаем...

— Заранее предупреждаю, чтобы греха на душу не брать. Потом меня не вините.

Хасан засеял свое поле. У Ибрагима-аги тоже хватило семян, поэтому Хасан чувствовал себя независимым. Однако тоска грызла его, он не мог спокойно смотреть людям в глаза: сердце его обливалось кровью, когда он читал в них откровенное отчаяние. Остановись с любимым, скажи ему «здравствуй», а у того в ответ уже рвутся слова жалобы, мольбы о поддержке и сочувствии. Конечно, у крестьян не принято плакаться. Погибай, кровью харкай, а молчи.

Только по тону голоса, по случайно брошенным словам, по шуткам можно догадаться, что у крестьянина на душе. Но скажи ему одно только слово: «семена» — он сразу в лице изменится.

В другое время Хасан и раздумывать бы не стал, поделился бы с друзьями последним. Хоть самому трудно, а Сердеру Осману, Сейдали обязательно помог бы. Теперь нельзя. Он не хозяин, всего лишь пайщик Ибрагима-аги. Да главное не в том, главное — Алие... Теперь от урожая зависит все его будущее. Сразу после уборки он отвезет мать в город, устроит ее там на время. Потом вернется в Караахметли спокойный, сильный, огромный, как гора с окутанной облаками вершиной, и заберет с собой свою любовь, свою ненаглядную Алие. Они отправятся далеко-далеко, так далеко, что Мастан нипочем не дознается, где они.

Только об этом мечтал Хасан, только этим и жил. Был он раньше обыкновенным крестьянским парнем: любил землю и от людей не бегал. А теперь словно подменили человека. Даже земля теперь не интересовала его. Ему все равно было, влажная она или сухая, песчаная или глинистая, кроты по ней ползают или скорпионы. Только бы уродила в этом году! Урожай, урожай — вот что было для него сейчас важнее всего на свете! Он все время следил за погодой, подсчитывал, прикидывал, как бы собрать побольше. Конец ноября, а первый снег уже выпал, укрыл землю легкой тонкой простыней. Выпади его побольше — будет урожай обильным и ранним. Голова раскалывалась от всех этих дум!.. Иногда, усталый, он разрешал себе мечты о новой жизни с Алие и был почти счастлив. Но стоило ему очнуться от грез и вернуться в реальный мир, как тоска с неослабевающей силой подступала к нему, и он тысячу раз проклинал свое поле, свою деревню и свою судьбу.

Даже во время свиданий с любимой он иногда замолкал и устремлял вдаль неподвижный взор.

— Что с тобой, Хасан? — спрашивала она. — Уж не заболел ли?

С дрожью в голосе он начинал рассказывать ей о крестьянской судьбе; и чем больше рассказывал, тем острее чувствовал людское горе. Он говорил о семенах, о несбывшихся надеждах, о незасеянных землях, об отчаявшихся людях, о черепахах... Говорил, говорил...

Когда Алие в первый раз услышала о черепахах, она, несмотря на весь трагизм повествования, не выдержала и залилась звонким смехом, живо представив себе, как эти чудные создания неуклюже ползают по всей деревне. То, что рассказывал Хасан, казалось ей сказкой, немного странной, но забавной, веселой.

А потом Алие и в самом деле увидела в деревне черепах. С тех пор она перестала смеяться. Черепахи показались ей семиголовыми чудовищами, сказочными злыми духами. До какой же крайности должны дойти люди, чтобы лазить по горам и собирать там этих никому не нужных тварей! Постепенно у нее начали раскрываться глаза на подлинную жизнь крестьян.

Все разговоры Хасана с Алие кончались тем, что, забыв о земле, семенах и черепахах, они упоенно мечтали о своей будущей жизни, мечтая о том дне, когда они вместе покинут деревню.

— Ты наденешь красное платье...— говорил Хасан.

«Красное платье» — эти слова вливались в сердце девушки струей горячей радости.

Для Хасана они тоже были полны значения. Когда Алие сбросит прежнюю одежду и оденется в красный бархат, она перестанет быть дочерью Мастана. Она будет его, Хасана, женой. Платье на ее плечах, купленное отцом, было для него олицетворением прошлого, а платье из красного бархата, которое она себе сошьет,— символом их будущих счастливых дней, всего светлого и прекрасного, что ожидает их.

Алие спрятала бархат на дно сундука, где с самого ее рождения копилось для нее приданое. Иногда она закрывалась в своей комнате на ключ, с бьющимся сердцем доставала заветный сверток и долго смотрела на него. Ах, когда она его наденет? Какой счастливый это будет день! В платье из этой яркой

переливающейся материи она будет такой красивой! Все беды останутся позади. Она мысленно уносилась в это безоблачное будущее, далеко-далеко, туда, где начинается море... Рядом с ней ее Хасан, нежно поглаживает ее волосы. Он найдет себе хорошее место, поступит работать, а она будет готовить ему обед, штопать носки, с нетерпением ждать его по вечерам.

Неожиданные шаги за дверью, голос отца или матери обрывали сладкие мечты Алие, и она торопливо засовывала сверток в самый дальний угол сундука. Ах, придет ли тот день, когда она, ничего не боясь, наденет свое красное платье и не будет больше никогда снимать?..

Хасан опять впадал в оцепенение. Знакомое чувство страха и ужаса перед грядущей бедой, как змея, заползало в его сердце. Соседские кумушки, от которых раньше отбоя не было, теперь редко беспокоили их.

— Как заболел человек, так словно умерли все,— вздохнул Хасан.

Но поле ждать не могло. И, выбрав часок-другой, он стал снова уходить на него. Работал яростно, напряженно. Все кипело у него в руках. Не чувствуя усталости, быстрее птицы летел домой. Хоть и просил соседок заглядывать к матери, а кто их знает... У каждой своих дел полно.

С Алие они виделись теперь очень редко. Самой страшной из терзавших Хасана забот была тревога о том, как бы не пронюхал чего Мастан. Тогда дело плохо, он ведь способен на любую подлость. Алие тоже боялась этого, но молчала.

— Как бы нас не увидели...— обронил однажды Хасан.

— Давай встречаться пореже,— ответила девушка, глядя на него понимающими глазами. Она знала, что ради тех счастливых дней, которые их ждут, стоит поступиться настоящим, взять себя в руки.

Мастан после событий в Алашехире ходил мрачный. По всему было видно, что не в себе он после убийства несчастного виноградаря. Ранним утром он уходил в горы на охоту и пропадал там целыми днями. А по пятницам, как и прежде, уезжал в касабу.

Крестьянам было не до него. Даже когда пронесся слух, будто Мастан палил в небо на излучине реки, судачить об этом не стали.

В другое время за каждым кустом на пути Мастана засел бы человек, каждый шаг его был бы известен. Теперь же следить за Мастаном было некому. Деревня опустела, все ушли в долину Сарайкей на поденщину.

Такая беда не часто заглядывает в дом. Даже старики не помнили таких страшных дней. Убрав свои три-четыре мешка пшеницы да по стольку же хара-

ров¹ соломы, отправились карахметлийцы в долину Сарайкей — на поденщину. Много горемык повидала долина Сарайкей в то лето.

Постепенно сюда стянулся весь Кесикбель. Владельцы бескрайних пшеничных полей поначалу радовались, но армия безработных росла и росла... Дошло до того, что чуть не на каждый колос приходилось по человеку. Такое нашествие обездоленных людей испугало прижимистых хозяев.

В прошлом году поденщики просили по четыре меджита² в день. В этом году сразу соглашались на три, а потом цены пошли падать, словно с крутой горы катиться. Тот, кто успел захватить работу, со страхом и злобой смотрел на каждого нового пришельца, такого же голодного и измотанного, как он сам.

Люди брели и брели без конца под палящим солнцем, спеша к каждому новому полю с новой надеждой и уходя прочь с поникшей головой. Усталые, измученные, они все не хотели сдаваться, стремились сохранить в себе веру и упорство.

Сейдали был в числе этих несчастных. Он уже начал отчаиваться. Хозяева больше и слушать их не желали. Завидев людей издали, они отрицательно качали головой и хлопали в ладоши, что означало «работы нет». Не было работы! Во всей огромной, сгорающей под раскаленным солнцем долине Сарайкей не было работы.

Ночевали скитальцы в шалашах, построенных на полях для поденщиков. Если временным хозяином шалаша был свой брат кесикбелец, он оказывал землякам радушный прием, щедро деля с ними пищу и кров.

— Мы свои люди! Человеку без человека не прожить.

— Сегодня я — тебе, завтра — ты мне...

— Все мы братья...

Переночевав в шалаше, люди шли дальше. И вот уже долина, которая кесикбельцу всегда казалась

¹ Х а р а р — большой мешок из козьих шкур.

² М е д ж и т — двадцать курушей.

безграничной, исхожена вдоль и поперек. А работы все нет.

— Может, на виноградники податься? — предложил Сейдали.

— Ах, мать моя! — злился Рюзгяр. — До сбора винограда еще сколько ждать.

За день они успевали обойти восемь—десять полей и отовсюду уходили ни с чем. Больше других убивался Рюзгяр. Он подолгу умолял хозяев жалобным голосом:

— Мы идем от самой Караахметли! Целую неделю в дороге. Дайте нам какую-нибудь работу.

— Ничего нет.

— Мы из Караахметли! — Рюзгяр ударял себя кулаком в грудь. — Каждый умеет работать за двоих.

— Нет же, говорю.

— Да мы гору можем своротить...

— Нет!

— Дорогой, мы хоть самого шайтана одолеем. Возьми только! Клянусь аллахом, не раскаешься! Где ты найдешь таких работающих людей, как мы?

— Мне люди не нужны!..

Шли к другому полю, все еще надеясь на то, что слепая судьба повернется к ним лицом и кончатся их мучения.

— Смотри — на том поле совсем мало народу.

— Милостью аллаха оставаться нам здесь!

Шагающий рядом с Сейдали парень жадно глядел вперед. Он только что вернулся из армии. И лучше бы ему не возвращаться!.. В солдатах хоть ни о еде думать не надо, ни о крыше над головой.

— Мы работу ищем, — обратился он к человеку, копошившемуся на меже.

— Все уже захватили, земляк, — ответил тот, сверкнув белками.

— Послушай, друг. Солдаты все умеют делать, что ни попроси. Ни к чему не придерешься.

— Прийти бы вам тремя днями раньше...

— Найди что-нибудь хоть двоим!

— Клянусь аллахом, если бы была работа, я бы с удовольствием...

Сейдали зашагал прочь. Солдат не трогался с места.

— Нет ли у вас воды? Умираю от жары.

Взяв протянутую кружку, он пил медленными глотками, настороженно глядя вслед удаляющимся товарищам.

— Папаша! — Он нагнулся к владельцу поля и вкрадчиво шепнул: — А для меня одного, может, найдешь?

Тот в сердцах выхватил из его рук кружку и молча ушел. Солдат послал ему вдогонку отборную ругань. Впервые в жизни он ругался с таким наслаждением. Облегчив душу, он бегом нагнал товарищей.

Путники подошли к очередному шалашу. Войдя в шалаш, Сейдали сразу схватил жестяную кружку, опрокинул над ней кувшин и долго пил. Остаток воды выплеснул себе за ворот.

Впереди виднелась гора. Равнина кончилась. Вот и отмерили они шаг за шагом огромную долину Сарайкей, до самого подножия хребта Кызылдере. На что еще надеяться? Впереди, за горами, есть еще две деревни. Может, там повезет?..

Измученные крестьяне возвращались домой. Некоторым из них посчастливилось найти работу на десять дней, некоторым — на неделю. Бедняги не знали, какая черная весть ждет их дома. Мастановы конфискаторы побывали в деревне. Опять мертвая тишина воцарилась в Караахметли — рты ножом не раскроешь. Каждый день Мастану доставалось по два поля. За день до продажи приезжал аукционист из касабы, провозглашал троекратно:

— Поле, принадлежащее Сулейману Оджаку из деревни Кайран, размером в пятнадцать дёнюмов, ограниченное с юга дорогой, с севера — полем Акча Мусы, с востока — горой, с запада — полем Вели Дурмуша, назначено к продаже...

На другой день опять:

— Поле, первоначальной стоимостью в триста лир, принадлежащее Сулейману Оджаку из деревни Кай-

ран, размером в пятнадцать дёнюмов, ограниченное с юга дорогой, с севера — полем Акча Мусы, с востока — горой, с запада — полем Вели Дурмуша, продается за двести пятьдесят лир. Кто даст больше?

— Двести шестьдесят, — отвечал Мастан.

— Двести шестьдесят! Кто больше? Желающих нет? Продаю! Про-о-о-о-дано...

Затем шло другое поле, за ним — третье...

О, случись, чудо! Пусть посыплются с неба камни, пусть разможат они череп Мастану!..

Хасан следил за аукционом издали. Все чаще в его памяти всплывало лицо Гюрро. «Бах! — и все!» — говорило оно Хасану. Хасан судорожно взмахивал руками, словно отрясал с них невидимую пыль, и машинально повторял: «Бах! — и все!»

Неужели не найдется смельчака, который наконец наберется решимости покончить с этим дьяволом? Крестьяне забрасывали по ночам дом Мастана камнями. Дальше этого дело не шло. Когда число отобранных полей достигло дваднати — двадцати пяти, конфискация прекратилась. Люди, которым судьба обломала все крылья, посылая одну беду за другой, уже и роптать перестали. Не в силах противостоять несчастьям, они склонились перед ними.

Хасан думал. Думал без конца. Нельзя покоряться Мастану! Надо идти к нему, протестовать! Хаджи, Сердер Осман, Сулейман — ведь разрушили же они стену. Рюзгар Салих, Кель, Гюдюк, где они все? Кто укажет людям правильный путь? Стоит выйти одному, крикнуть: «За мной!» — и все пойдут за ним, пойдут до конца!

Не будь Алие, не будь матери, он сам сделал бы решающий шаг, и все, как один, пошли бы за ним.

Но как быть с матерью, с Алие? Что станет со всеми их мечтами о будущем, о прекрасных далеких краях, куда он увезет Алие, одетую в платье из красного бархата, и мать, лишь только она поправится?

С бьющимся сердцем он бродил по деревне. Голова его раскалывалась от дум. Где же выход?

— Ах ты, безголовый крестьянин! — бормотал он. — Никто не поможет тебе, не укажет правильный путь. Ты всего лишь игрушка в руках таких, как Мастан!

Навстречу ему брел Сердер Осман.

— Здравствуй!

— Здравствуй, — ответил тот, не поднимая глаз. — Что не показываешься?

— Хозяйство... — начал Хасан и тут же осекся, мысленно обругав себя за слова, которые могли обидеть друга: Хасан, дескать, только о себе думает.

— Плохи наши дела. Поля-то уплыли. Не знаю теперь, что и делать?

— Как-нибудь обойдется... — неуверенно сказал Хасан. — Твое-то поле пока цело...

— Мое поле, мое поле! — резко оборвал его Сердер Осман. — Разве в этом дело? В твоём поле да в моём поле? Раздавит нас всех Мастан, вот что! Всех до единого. И духу нашего здесь не оставит, клянусь аллахом!

— Аллах все видит.

— Ничего он не видит! — В голосе Сердера Османа клокотала злоба. — Согресишь тут поневоле!

— Найдется какой-нибудь выход, обязательно найдется.

— Мне шайтан шепчет: убей одного — всех освободишь!

— Пусть аллах его покарает!

Словно убегая от соблазна, Хасан свернул с дороги и бросился прочь.

— Счастливого пути! — донеслось до него.

— Счастливо, — выдавил Хасан.

Домой он вернулся глубокой ночью. Мать поспешила встать с постели навстречу сыну.

— Добро пожаловать, сынок, — услышал он ее слабый голос.

Сели ужинать. Хасан не прикоснулся к еде. Из головы его не выходили слова Сердера Османа. Они вставали в памяти все отчетливее, звучали все сильнее, ранили и мучили его. Наконец он не выдержал и вскочил из-за стола.

— Что с тобой? — встревожилась мать.

Он молча повел плечами и пошел к дверям.

— Куда ты?

— Развеяться надо, — ответил Хасан сквозь зубы, берясь за щеколду. Одумался — мать-то чем виновата? — и обернулся: — Ты не беспокойся, я немного погуляю и приду.

На улице темень, хоть глаз выколи. В окнах начали дружно зажигаться огоньки. Однако светили они невесело. Деревня по-прежнему напоминала дом, где лежит покойник. Казалось, будто каждый зажег свет и ушел из своего дома.

Хасан остановился. Его шатало, как пьяного. Он развел руки и глубоко вздохнул. Воздух, еще вчера такой свежий и прохладный, сейчас казался ему смрадным и удушливым. В груди горело. Он чувствовал, что вот-вот заплачет. Чтобы преодолеть страшную тяжесть на сердце, еще раз судорожно глотнул воздух.

Караахметли, его родная деревня! Скоро он покинет ее. Этой земле отдал свои лучшие годы... Если бы не Мастан... Злость опять закипела в нем. Попадись ему сейчас Мастан, утопил бы его в ложке воды. Хасан плюнул на землю от омерзения. Перед глазами его опять всплыл образ Гюрро.

«Бах!» — Хасан щелкнул пальцами, вытянул вперед руку с воображаемым пистолетом.

Этим «бах!» Гюрро всегда заканчивал свои рассказы. «Бах! — и все кончено!» Не поднимая головы, Хасан медленно брел, сам не зная куда. Растерянно оглянувшись по сторонам, он увидел впереди темный силуэт высокого тополя. Такой тополь рос только возле дома Мастана. Да, это его дом, и свет горит в окошке — лампа «люкс». Хасан подошел к двери, остановился. Зачем он пришел сюда? Что он будет делать? Что говорить? Но какая-то сила заставила его поднять руку и несколько раз ударить в дверь. В доме задвигались, полоска света упала на улицу из дверной щели, на лестнице послышались шаги.

— Кто там?

— Хозяин дома?

— Дома.

Дверь приоткрылась. Перед ним стояла Зюбейде-ханым.

— Я хотел поговорить с ним.

— Вот и хорошо. Он как раз у себя.

При свете фонаря они поднялись по лестнице.

— Желаю вам добра.— Ее голос звучал встревоженно.

— А я и пришел с добром. Ничего дурного у меня нет на уме,— улыбнулся Хасан.

В голове у него стучало, будто он только что пробудился от тяжелого сна.

У Мастана сердце екнуло при виде Хасана. Но держался он непринужденно.

— Проходи, дорогой, добро пожаловать,— сказал он таким тоном, словно привык видеть Хасана у себя.

Тот присел на краешек тахты.

— Я потолковать пришел,— начал он глухим голосом.

— Потолковать и в кофейне можно.

— Об этом в кофейне нельзя.

— Значит, секреты завел,— скривился Мастан.

— Нет, зачем же... Наше дело, крестьянское.

— Эх! — Мастан смотрел насмешливо.— Неподходящее ты время выбрал вопросы решать.

— Кто знает: может, и удастся.

— Кто тебя послал?

— Никто меня не посылал, сам пришел.

— Ну говори, в чем дело.

— Я насчет конфискации...

Мастан подскочил на месте.

— У тебя большое хозяйство,— продолжал Хасан,— много в нем добра, милостью аллаха. Но знай, что аллах завистников не любит. Ты же отнял у крестьян все, что у них было. Последнего клочка земли лишил.

— Черт с ними!

— Неужели тебе ни капли их не жаль?

Мастан кинул окурок в пустой мангал.

— Долги надо платить вовремя.

— Разве ты не знаешь, какой год был? Люди даже на поденщине не смогли ничего заработать. Такое ведь не часто случается.

— Что ты этим хочешь сказать?

— Отдал бы им поля обратно...

— Э-э-э!

— ...а они выплатят долги на следующий год. Сделай хорошее дело!

Мастан осклабился в улыбке, словно в лицо Хасану плюнул.

— Да ты в своем уме?!

— Видит аллах.

— Да ты как со мной разговариваешь!

Лицо Хасана залилось краской. Его откровенно выгоняли. Он резко встал.

— Аллах всем дал понемногу, чтобы не умереть с голоду. Кому три, кому пять дёнумов. Ты и это у людей отнимаешь. Не к лицу тебе такое, не к лицу.

— Долго еще будешь брехать попусту? — взревел Мастан.

Хасан спускался по неосвещенной лестнице, оступаясь на каждом шагу. Ощупью нашел дверь, открыл ее и с силой захлопнул за собой.

Из-за горы выглядывал краешек месяца, излучая тихий ровный свет. Освещаемая им деревенька словно съежилась. Перед глазами Хасана все плыло. Ему показалось, что стены домов смыкаются вокруг него. Сейчас раздавят!.. Он провел ладонью по лбу, чтобы прогнать наваждение. Прислонился спиной к ограде, попытался собраться с мыслями, прийти в себя. Исчезло, отступило все, во имя чего он жил последнее время: мать, Алие, отъезд из деревни... Огромная тень Мастана заслоняла теперь и их и весь мир.

Луна почти целиком выплыла из-за горы, белые камешки на обочине дороги отражали ее матовый, мертвенный свет. Хасан побрел вперед, бормоча себе под нос проклятия, но вместо слов изо рта его вылетало только какое-то шипение. У-у, шайтан! Даже плюнуть нечем! Все во рту пересохло. Он быстро зашагал к кофейне, словно вспомнил о срочном деле. Лампа «люкс» в окне Мастана сверкала на всю деревню; и казалось, чем дальше убегал от нее Хасан, тем более вызывающим становился ее яркий свет.

В кофейне пусто. Только в уголке сидят Сердер Осман и Рюзгяр. Хасан направился к ним.

— Здравствуйте!

— А-а! Здравствуй,— удивился Сердер Осман.

Хасан тяжело плюхнулся на стул. Стул жалобно скрипнул.

— Раздавишь,— усмехнулся Рюзгяр.

Хасан промолчал. Грудь его вздымалась от тяжелого дыхания. Он слышал, как бешено колотится его сердце. Собеседники его тоже молчали, озадаченные.

— Что же теперь люди делать будут? — вдруг резко сказал Хасан.

— Пойдут в Айдын, Измир,— спокойно ответил Сердер Осман, словно только этого вопроса и ждал.— Что под руку попадется, то и будут делать. А к чему ты спросил?

— Так,— буркнул Хасан,— просто на ум пришло. Подождали бы уходить-то,— сказал он после некоторого молчания.— Может, выход какой найдем.

— Что-то ты знаешь, да недоговариваешь.

— Да нет! — Хасан вскочил с места.— Вся надежда на аллаха. Не оставит он деревню без защитника!

Он бросил: «Прощайте!» — и быстро вышел.

Сердер Осман только глазами хлопал. Что все это могло значить? «Должно быть, есть у него что-то на уме», — решил он наконец.

— Пошли, аллах, удачи! — пробормотал он.

— Пошли, аллах, пошли, аллах! — подхватил Рюзгяр.

Дул легкий ветерок. Начиналось утро. Муса разжигал огонь в очаге, когда в кофейню вошел Хасан. Грубая черная рубаша застегнута наглухо. Глаза опущены. Тихо прошел в угол, сел там. Тяжело дыша, медленно достал сигареты, положил на стол и с неожиданной жадностью закурил, словно только сейчас осознал, что именно он держит в руке.

— Ты первая ласточка сегодня,— бросил ему Муса.

Хасан не шелохнулся. Муса покрутил головой и вернулся к своим делам.

— Чаю! — вдруг поднял голову Хасан.

— Подождешь. Вода еще не вскипела.

Хасан придавил окурок ногой.

— Ладно.

Дверь открылась, вошел Дештиман.

— О-о!.. — протянул он с порога. — Что за вид? На тебе лица нет.

— Да так что-то... Дома не сидится, сюда пришел.

— Ну, мы с тобой сегодня ранние пташки.

Оба замолчали. Разговор не ладился. Муса поставил перед ними чай.

Они молча, большими глотками осушили стаканы и одновременно, будто сговорившись, поставили их на стол.

Кофейня наполнялась медленно. Посетители подходили поодиночке. За полчаса пришло человек десять. У всех были мрачные лица. В ровном унылом гуле их голосов нельзя было уловить ни одной веселой ноты. Иногда и этот гул вдруг стихал, и в кофейне воцарялось напряженное молчание, которое нарушало только бульканье кипящей в самоваре воды. Сидящие за столами люди не поднимали друг на друга безжизненных глаз, словно стыдясь чего-то. Глядя на них, трудно было поверить, что они давно знают и любят друг друга.

Дверь открылась, пахнуло утренней свежестью. Вошел Сердер Осман и тяжело протопал к центральному столику.

Кофейня опять начала пустеть. Только голоса двух игроков в нарды иногда раздавались в тишине.

Минут через десять-пятнадцать после прихода Сердера Османа в дверях появился Мастан. Он оглянулся по сторонам и внушительно откашлялся, словно желая этим сказать: «Эй! Смотрите все, это я пришел». Увидев его, Хасан забарабанил пальцами по столу, потом встал и, ни слова не говоря, вышел. Он исчез так внезапно, что никто в кофейне и не заметил его ухода. Только Сердер Осман остался сидеть с раскрытым от изумления ртом. Подумать только! Даже не попрощался!

— Тьфу! — наконец вышел он из оцепенения. — Чудной стал этот Хасан. Поди догадайся, какое колечко он еще выкинет. О, аллах!

Мастан оглядывал кофейню алчным взглядом, точно готов был проглотить ее всю целиком, с людьми. И даже с темными пятнами на месте отвалившейся штукатурки. Не спеша подошел к игрокам в нарды и долго следил за игрой, неодобрительно качая головою, как взрослый, который осуждает детские забавы. Сел за стол, подозвал к себе Мусу, подмигнув, спросил:

— Какие новости?

— Все хорошо, клянусь. Никакого безобразия, хозяин.

Мастан облегченно вздохнул. Значит, сегодня никто еще не зубоскалил. Появляясь в кофейне, он всякий раз, подмигнув и многозначительно понизив голос, задавал Мусе один и тот же вопрос. Муса почтительно шептал ему: «Никакого безобразия, хозяин», или начинал: «Да говорят тут...» От этого «да говорят тут» Мастан нервничал, потому что слова эти означали: опять его народ проклиняет.

Сейчас он был очень доволен.

— А ну, говори, — весело обратился он к Мусе, — чай у тебя сегодня хорош?

— Хорошо, хозяин. Густой, как заячья кровь.

— Не врешь?

— Клянусь аллахом!

— Дай-ка чашечку!

Муса отошел к самовару. Кофейня опять погрузилась в мрачное оцепенение, словно где-то рядом лежал покойник. Струйки дыма от сигарет причудливо извивались в тяжелом, как свинец, воздухе.

Мастан сидел спиной к окну и в ожидании чая играл металлической пепельницей. В окне мелькнула фигура Хасана с ружьем за плечами. Сердер Осман, сидевший лицом к свету, прикусил губу и затеребил мочку уха. Что все это значит? Что еще надумал Хасан?

Дверь медленно отворилась. Хасан вошел. Все в кофейне застыли, глядя на него. Почувяв что-то неладное, Мастан оторвал взгляд от пепельницы и поднял

голову. Хасан стоял прямо перед ним и медленно наводил на него дуло ружья.

— Что это ты, дорогой? — вскочил Мастан.

Хасан ногой подвинул к себе стоявший сзади него стул и сел.

— Ну, теперь поговорим.

Мастан не шелохнулся. Он уже смекнул, что дело принимает серьезный оборот, и опыт старого волка, которому не раз удавалось обманывать охотника, подсказал ему, что главное сейчас — хладнокровие и спокойствие.

— Поговорим, друг мой, — ответил он. — Люди понимают друг друга, разговаривая¹.

— Скажи, — начал Хасан, — разве наша деревня по наследству тебе досталась?

Мастан молчал.

— Скажи, — продолжал Хасан, — у тебя еще осталась хоть капля совести?

Мастан продолжал невозмутимо молчать, будто и не было перед ним опасного ружейного дула.

— Аллах нам всего понемногу дал, послал нам испытания, чтобы мы не зарились на чужое добро. А ты у своего ближнего землю отнимаешь. В народе говорят: лежачего не бьют. А ты бьешь только лежачих. Теперь слушай мое слово.

Мастан насторожился.

— Дай караахметлийцам год. Пусть народ соберет еще один урожай. Тогда ты получишь свой долг.

— Да ты соображаешь?! — не выдержал Мастан.

— Конечно, соображаю. Аллах на небе видит, как ты людей целыми семьями по миру пускаешь.

Хасан замолчал. Мастан ни слова в ответ.

— Возьми бумагу, — в гробовой тишинескомандовал Хасан.

Мастан мешкал. По лицу его было видно, что он обдумывает ситуацию. Почесал лоб, сорвал с головы кепку, швырнул ее на стол.

— Возьми бумагу, — повторил Хасан, — и пиши, что продлеваешь договор на год...

¹ Вторая часть пословицы: «Звери понимают друг друга, обнюхиваясь, а люди понимают друг друга, разговаривая».

В ответ опять последовало молчание. Хасан угрожающе повел стволом ружья.

— Напишешь?

Одной рукой он вынул из кармана бумагу. Сердер Осман взял ее и передал Мастану.

— Что писать-то? — глухо спросил тот, доставая ручку.

— Пиши: «Сулейман Оджак, Вели Думлу, Хасан...» Как его фамилия?

— Чакмак, — подсказал Сердер Осман.

Хасан продиктовал имена и фамилии всех, у кого была конфискована земля.

— Теперь так пиши: «Если вышеуказанные люди в течение года выплатят стоимость своих конфискованных полей, то они получают обратно документы, подтверждающие их право на владение этими полями». Ставь подпись.

Мастан расписался.

— Еще палец оттисни на всякий случай.

Люди вокруг заулыбались. Мастан помазал чернилами кончик пальца и нажал им на бумагу рядом с подписью. Сердер Осман протянул бумагу Хасану. Тот молча сложил ее, сунул в карман, вскинул ружье на плечо и, ни на кого не глядя, вышел из кофейни.

— Разбойник! — плюнул на пол Мастан. — Эх, недаром говорят, груша падает под грушевое дерево! Чего еще ждать от разбойничьего племени? Бандиты!

Между тем кофейня заходила ходуном. Людей как живой водой сбрызнули. Смех и шутки сыпались со всех сторон. Карахметлиец обрел наконец свое прежнее лицо.

С тех пор Хасана без ружья никто не видел. Оно будто приклеилось к его спине. Казалось, он и спит с этим ружьем. О его храбрости восторженно говорили повсюду. Только и слышалось: «Хасан!», «Лев Хасан». Один вид его фигуры с ружьем за плечами вселял уверенность в сердца односельчан и прогонял страх. «Пока Хасан с нами...» — шептали они друг другу.

Мастан из дому и носа не казал. Выйдет иногда под вечер пройтись — и обратно. У самого вид озабоченный — небось, что-то прикидывает в уме, новые паучьи сети плетет.

Трудно было крестьянам смыть с души этот горький осадок страха и тревоги за завтрашний день. И не мудрено. Ведь этот осадок накапливался годами. Но теперь никто уже не высказывал вслух своих опасений. Их заглушали заклинанием: «Пока Хасан с нами...»

Но Мастан еще рядом — этот подлый, бездушный лихоимец, наказание аллаха! Он еще сыграет свою шутку и с Хасаном и с Караахметли. Эти мысли порождали новые тревоги, сгоняли радость с крестьянских лиц.

Опять повадился Хасан ходить к своему роднику. Сидит под деревом, размышляет о чем-то.

Вот и сейчас, сидя под тутой, он задумался о матери. Ей лучше с каждым днем. Через недельку совсем поднимется. Тогда они смогут уехать отсюда. Хасан поднял голову, устремил взгляд в туманную даль. Они уедут далеко-далеко. И никогда сюда не вернуться... может быть. Трудно, наверное, будет забыть все это. Забыть родную деревню Караахметли, где он родился и вырос, где провел самые лучшие и самые горькие дни своей жизни. Над головой его поют птицы. Родные караахметлийские птицы! Рядом тихо журчат струи родного Булака. Хасан стянул с плеча ружье и улегся на землю, пахнущую прелой сыростью. Необыкновенное умиротворение охватило его. Значит, осталась неделя. Неделя — и он заживет вместе с Алие и матерью, не думая о Мастане. Только бы мать скорей вставала на ноги! Хасан прикрыл глаза. Так лучше ощущалось на лице прохладное прикосновение ветерка.

Внизу мелькнула тень. Бесшумно и осторожно заскользила вдоль дороги, медленно, будто под тяжестью огромного груза, приближаясь к Хасану. Мастан!.. Оттуда, снизу, ему видна была только голова Хасана — тело скрыто за каменной кладкой, ограждавшей родник. Беспокойные злобные глазки Мастана

неотрывно следили за этой головой. Открой Хасан глаза — Мастан мгновенно скроется. Щелки между веками Хасана совсем маленькие. Вот уже нет щелок, только две темные линии сомкнувшихся ресниц. Одна секунда, всего одна секунда! Над головой Хасана нависло дуло пистолета — известного на всю округу пистолета с серебряной рукояткой!

— Хасан!

Юноша раскрыл глаза, приподнялся на локте. Весь мир заслонила черная тень.

— Отдай бумагу! — приказал Мастан. — Отдай бумагу, которую ты силой заставил меня написать.

Ствол пистолета слегка покачивался из стороны в сторону. Видно, Мастан здорово трусит, собственного пистолета боится. Хасан оправился от смущения.

— А если не отдам?

— Отдай! — Голос Мастана звучал почти мольбой, но пистолет больше не дрожал.

Дело не шуточное.

— А если не отдам? — повторил Хасан, медленно поднимаясь с земли.

Рука с пистолетом опять часто задрожала.

— Не отдам — и все!

— Не дай пролить кровь, верни бумагу. — Пистолет опять прекратил свою пляску.

Хасан рванулся и одним прыжком очутился за деревом. В тот же момент грянул выстрел. Ружье Хасана лежало на земле. Он нащупал ногой ремень и потянул его к себе. Мастан выстрелил еще раз. Хасан успел подтянуть к себе ружье, но в ногу попала пуля. Все-таки ему очень везло. Ружье заряжено, руки целы. Он осторожно выдвинул плечо из-за дерева, Выстрел! Хасан свалился под дерево, но тут же опять выпрямился и нажал курок. Мастан поднялся из укрытия во весь рост, зашатался и рухнул на землю.

— Конец, — прохрипел он, — конец...

Хасан видел это словно сквозь туман. Ему нестерпимо хотелось лежать и не шевелиться, но он напрягся, подполз к дереву и прислонился к нему спиной. Со стороны казалось — сидит человек в безмятежной

позе, отдыхает под деревом. По телу Мастана пробежала последняя судорога.

На дороге показались бегущие люди. Хасан попытался подняться навстречу им — не было сил. Мгновение — и они окружили Хасана со всех сторон. На Мастана никто даже не глянул.

— Надо его в город скорей!

— Давай беги за арбой!

Подхватив Хасана под руки с двух сторон, крестьяне медленно повели его в деревню. Пока дошли, арба Мастана была уже готова. Ее дали без звука, никто и заикнуться не посмел в ответ на требование:

— Для раненого!

Алие увидела из окна странную картину: движется по дороге огромная толпа. Тут и дети, и старики, и старухи — вся деревня.

Алие кинулась на улицу.

— Кто? — закричала она.

— Хасан, — ответили ей. — Стреляли с твоим отцом друг в друга.

— Убит?

— Отец твой убит.

— А Хасан?

— Ранен.

Пока Алие расталкивала толпу, Хасана уложили в повозку. Сердер Осман стегнул лошадей.

Арба запрыгала по камням. Дверца повозки открывалась и с громким стуком закрывалась при каждом толчке.

Девушка из последних сил бежала за арбой. Вот уже совсем немного... Еще два шага... Она ухватила за дверцу и прыгнула в повозку, ударившись подбородком о косяк. Не замечая крови, сочащейся из разбитой губы, Алие опустилась на колени перед Хасаном. Он лежал в забытьи.

— Хасан, Хасан! — зашептала она тревожно.

Тот пошевелился.

— Хасан...

Глаза его открылись.

— Ты? — не слышала, а скорее догадалась Алие. Рыдание сдавило ей горло, она припала к его груди.

— Не плачь, не плачь,—шептал он. Его начал бить кашель. Он пытался приподняться, но голова бессильно упала на подстилку.

— Раны горят,—пожаловался он.— Так и печет...

Алие опять в слезах припала к нему. Две горячие капли поползли за ворот рубахи Хасана, зашекотали грудь. Он протянул руку, погладил лоб, глаза, щеки любимой. Алие взяла его руку, сжала в ладонях.

Выехали на ровную дорогу. Повозка катилась теперь так плавно, словно и не двигалась вовсе. Только дверца с тихим стуком открывалась и закрывалась...

СОДЕРЖАНИЕ

Г. А. Горбаткина. Живая связь времен	5
Кемаль Бильбашар. Джемю. Перевод Л. Дудиной	23
Я шар Кемаль. Легенда Горы. Перевод А. Ибрагимова	201
Дженгиз Тунджер. Конфискованная зем- ля. Перевод Л. Дудиной	291

Т 86 Турецкая романтическая повесть: Пер. с турецк./Вступ. ст. Г. А. Горбаткиной; Ил. А. К. Яцкевича.— М.: Правда, 1986.— 480 с., ил.

В сборник включены три повести современных турецких писателей: Кемаля Бильбашара «Джемо», Яшара Кемаля «Легенда Горы», Дженгиза Тунджера «Конфискованная земля», рассказывающие о суровой жизни крестьян, о пробуждении их сознания и борьбе за человеческое достоинство, о любви главных героев.

Т 4703000000—1092
080(02)—86 1092—86

84.5 Ту

ТУРЕЦКАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Редактор

Н. А. Галахова

Оформление художника

Н. Н. Каминского

Художественный редактор

Г. О. Барбашинова

Технический редактор

В. С. Пашкова

ИБ 1092

Сдано в набор 03.06.85. Подписано к печати 11.09.85.

Формат 84×108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная.

Гарнитура «Литературная». Печать высокая.

Усл. печ. л. 25,20. Усл. кр.-отт. 25,20. Уч.-изд. л. 24,10.

Тираж 100 000 экз. (1-й завод: 1—50 000).

Заказ № 31. Цена 2 р. 80 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС
«Правда», 125865, ГСП Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства
«Таврида», Крымская область, 333700, г. Симферополь,
ул. Генерала Васильева, 44.